90 коп.

231-14

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1990. № 10. 1—208.

1990 10 ОКТЯБРЬ

ISSN 0132-0637

ОКТЯБРЬ

10

1990

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1990

ОКТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **Е. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 12.09.90. Подписано к печати 28.09.90. Формат 70×108 1/16.
Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 335 000 экз. Заказ № 2817. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Розмари и Виктор ЗОРЗА

«Я умираю счастливой...»*

В. Дж. УЭЗЕРБИ,
без дружбы, поддержки и помощи которого
эта книга не была бы написана

От авторов. Мы благодарны персоналу хосписа не только за помощь во время болезни Джейн, но и за то, что они искренне поделились своими воспоминаниями. Некоторые из тех, кого мы упомянули, не пожелали быть названными, и потому мы изменили все фамилии, кроме фамилий родственников Джейн.

Вступление

Эту книгу написали родители двадцатипятилетней англичанки, умершей от рака.

Возможно, она окажет на советского читателя оглушающее впечатление. Временами ее очень тяжело читать. Но тот, кто найдет в себе мужество прочитать ее до конца, перевернет последнюю страницу с мыслями и чувствами, новыми для нашего общества.

Наверное, такое же состояние шока испытали в начале восьмидесятых годов американцы, прочитавшие в газете «Вашингтон пост» очерк Виктора и Розмари Зорза (из него и выросла книга). Вот что сказал сенатор Эдвард Кеннеди, выступая в конгрессе США: «Рассказ этот уже вселил надежду в сердца многих, в том числе и мое. Я считаю, что его следует прочитать каждому, кто потерял или боится потерять близкого человека от рака или какой-нибудь другой тяжелой болезни. История эта не только принесет утешение тем, кто страшится физических страданий, но и морально поддержит и укрепит всех, в том числе, конечно, и нас с вами, кому трудно примириться с мыслью о смерти, о смерти близких людей, о своей собственной обреченности...»

После опубликования очерка супруги Зорза получили более десяти тысяч писем потрясенных, но увидевших надежду американцев. Они включились в общенациональное движение за создание хосписов — особых заведений, в которых врачи и медсестры, зная, что дни больного сочтены, озабочены устранением его физических и душевных страданий. Их цель — не только дать больному возможность умереть спокойно и без страданий, но и принести его родным, проходящим через тяжелые испытания, душевное облегчение.

Первый хоспис современного типа был создан в Англии доктором Сесилией Сондерс в 1967 году. Сегодня в этой стране существует общенациональная сеть хосписов, и не найдется страдающего человека, которому отказали бы здесь в помощи. Однако общественное движение за создание хосписов в США столкнулось с серьезным препятствием морального порядка: своеобразным табу общества, которое отказывалось публично обсуждать саму проблему смерти. Понадобились усилия созданного супругами Зорза общества «Хоспис Экшн», в которое вошли такие известные люди,

* Журнальный вариант. Полностью книга выйдет в издательстве «Прогресс» под названием «Путь к смерти — жить до конца».

как сенатор Эдвард Кеннеди, Генри Киссинджер, супруга президента Форда, актриса Элизабет Тейлор, чтобы разрушить это табу. Спустя несколько лет в США работали уже десятки хосписов. Подобные учреждения сегодня существуют во всех развитых странах.

Я очень надеюсь, что книга супругов Зорза, переведенная на русский язык, станет для нашего общества тем моральным потрясением, которое поможет отбросить существующие и у нас табу и протянуть руку согражданам, обреченным порой на мучительную смерть, а также их родным и близким.

Два поколения назад в нашей стране было мало семей, которые не пострадали бы от злодеяний сталинизма. Сегодня у нас мало семей, которые не пострадали бы от злодеяний рака.

Несмотря на успехи, в представлении многих из нас ужас и боль окружают само это слово — рак.

Повторю: медики сегодня спасают многих. Но таково уж наше обыденное сознание — при первом подозрении мы забываем о возможностях медицины и заранее страшимся смерти, связанных с нею физических страданий близкого существа.

Я убежден: хосписы необходимы нашему обществу, в котором уровень боли превзошел все мыслимые пределы. Такова наша трагическая история. Всю сумму страданий, ставших привычными и неизбежными, невозможно отбросить сразу. Нужны усилия тысяч людей, один небольшой шаг за другим, чтобы сделать общество и каждого гражданина в нем немного счастливым, чуть-чуть защищеннее. Хоспис — один из таких шагов. Это путь к избавлению от страха перед страданиями, сопутствующими смерти, путь к восприятию ее как естественного продолжения жизни. То же самое говорят религии, над которыми мы десятилетиями смеялись. Но разве не ясно, что смех этот был грехом, ибо избавление от страха — благо?

Быть может, мы, помнящие о ГУЛАГе, должны понимать это лучше других.

Нам нужны хосписы, но пока их нет. И ленинградский врач А. В. Гнездилов уже пятнадцать лет работает над системой облегчения страданий умирающих онкологических больных, почти ничего не зная об успехах зарубежных коллег. Пятнадцать лет он бился в двери бюрократов от медицины, не получая никакой помощи. Что произошло с нами, если даже мучения сограждан не волнуют нас?

Вместе с авторами книги, общественностью он пытается сейчас создать такую службу в Ленинграде. В попечительский совет советского хосписа вошли председатель Общества милосердия Даниил Гранин, митрополит Ленинградский и Новгородский, а ныне Патриарх Московский и всея Руси Алексий, председатель Ленинградской медицинской ассоциации Анатолий Белоусов, народный депутат СССР, председатель Ленсовета Анатолий Собчак, народный депутат СССР Анатолий Ежелев, видные общественные деятели.

Мне очень хотелось бы, чтобы публикация этой книги стала толчком к формированию широкого общественного движения по созданию хосписов в нашей стране. Именно общественного, потому что государство, убежден, не должно вмешиваться в гражданскую инициативу, привносить в нее недобрые традиции нашей «бесплатной» медицины. Врачи и медсестры в хосписе или должны отдавать больным и их родным свою душу, или в противном случае их нельзя сюда подпускать даже близко.

Ленинградский хоспис — только начало большой работы. Виктор Зорза, заронив в Ленинграде эту гуманную идею и объединив для ее воплощения в жизнь многих людей, создал общество «Хоспис», возглавил его, послал двух советских врачей в Англию, организовал подготовку ленинградских медсестер английскими инструкторами. Ленинградский хоспис стал работать в виде стационара на 20—30 коек, и на его базе, если найдутся средства, начнется обучение врачей и медсестер, будет создаваться выездная служба в одном из районов города. Виктор Зорза намерен работать, чтобы его идея распространилась по стране, чтобы в СССР развернулось широкое общественное движение за ее реализацию и было создано всесоюзное общество хосписов.

Мы все, прочитавшие эту книгу, должны помочь ему. Я всегда твержу в своих выступлениях: помощь другим важна и для самого помогающего. Только активная помощь другим может как-то успокоить нашу совесть, которая все же должна быть беспокойной.

Председатель попечительского совета группы по созданию хосписов в СССР академик Д. С. ЛИХАЧЕВ

Глава 1

Началось это июльским утром 1975 года.

Мы проводили лето в своем английском доме Дэри-коттедж в одной из деревень Бакингемшира. Наша сверхсамостоятельная дочь Джейн поселилась 23 июля поблизости, в старом доме, где раньше жили рабочие фермы.

В то утро Розмари вышла позвать Джейн и залюбовалась чудесным пейзажем. Все выглядело безмятежно, и Розмари остановилась, чтобы продлить удовольствие.

Войдя в дом, она увидела, что дочь уже встала и шлепает по старому неровному полу босиком — в помещении она всегда ходила без обуви. Джейн подняла правую ногу...

— Что это, по-твоему, мам?

— Выглядит как-то чудно́, — отвечала Розмари. — Давно это у тебя?

Джейн, поколебавшись, медленно ответила:

— Точно не знаю. Сначала было маленькое пятнышко, а потом стало расти.

Розмари всегда чувствовала настроение дочери и поняла, что спокойный тон Джейн скрывает ее глубокую озабоченность.

— По-моему, тебе следует показаться доктору Салливану, — мягко сказала мать.

Она думала, дочь станет возражать, но Джейн выпалила:

— Он говорит, надо лечь в больницу, где мне это вырежут.

Розмари посмотрела на живое, привлекательное лицо дочери: порой оно казалось лицом умудренной жизнью женщины, а порой — еще совсем юной девушки. Не в привычках Джейн было, не сказав ни слова, обращаться к домашнему врачу. Розмари еще раз посмотрела на черно-красное пятно. Конечно, беспокоиться нечего — небольшое пятнышко и далеко от главных жизненных органов — сердца, легких, глаз...

— Помнишь, такое же пятно было у меня около уха? Его в два счета убрали. Сходишь со мной в больницу? — попросила Джейн мать. — Там всегда такая скучища!

Это было так не похоже на дочь, которая с тех пор, как выросла, всегда держалась самостоятельно. Розмари начала беспокоиться.

В больнице Джейн вошла к доктору одна. Она уже нервничала — ведь пришлось ждать целый час, пока подошла ее очередь. Дочь резко критиковала систему приема больных, когда людям приходилось терять так много времени. Наконец, совсем раскипятившись, она вошла в кабинет. Вышла оттуда в слезах.

— Доктор сказал мне: надо пробыть у них два дня.

Возникло легкое чувство тревоги.

— Что он еще сказал?

— Они сделают анализы. — Джейн испуганно взглянула на мать. — Я спросила: может, это рак? Но врач ответил, что он этого не говорил.

Р а к — сразу подумали обе.

Больше Джейн ничего не сказала, но ночью в дневнике записала: «Узнав, что у меня, возможно, растет раковая опухоль, я страшно испугалась. Несколько мгновений меня терзала мысль о смерти и о том, как жить, зная, что скоро умру. Кажется, что на самом деле ничего подобного не может случиться».

Через неделю Джейн положили в местную больницу. Она ужаснулась, узнав, что после операции ей придется пробыть там целую неделю. Врачи сказали, что ей вырежут черное пятно и возьмут кусок кожи с бедра, чтобы закрыть рану.

А на другой день Джейн сердито говорила нам:

— Теперь говорят: десять дней. Почему же они не могли решить сразу?

На десятый день мы сидели в саду, пытаясь наслаждаться солнечным теплом, когда зазвонил телефон. Говорила не Джейн, а ее соседка по палате:

— Джейн слишком ошеломлена и говорить не может. — Помолчав, женщина добавила: — Врач сейчас сообщил ей, что опухоль злокачественная. Рак.

Мы бросились в больницу. Джейн уже немного успокоилась. Она сказала, что почти ожидала этого.

— Я могу идти домой завтра же, чтобы набраться сил для новой операции.

Такая новость была не совсем уж плохой, так как оставляла надежду. То был рак кожи, и он мог не дать рецидива. Шансы у нее были не хуже, чем у других.

— Ни один врач не может гарантировать полного выздоровления, — сказала нам палатная медсестра.

— Разумеется, — согласились мы.

Консультация специалистов принесла некоторое облегчение. Повторная операция была не нужна: уже вырезали достаточно большой кусок кожи. И этого довольно.

Тревога стала спадать, и все немного успокоились: мы так сильно разволновались из-за пустяка. Теперь надо только помочь Джейн окрепнуть.

Дочь вернулась домой на поправку. Зная, что боли пройдут, она смогла теперь переносить их легче. Если Джейн и тревожила возможность возврата болезни, она держала свои опасения при себе.

Ричард, который жил в Бостоне, просил нас разузнать, каким именно видом рака заболела сестра. Родственник его невесты Джоан очень страдал от жестокой разновидности рака кожи. Может, это что-то сходное. Мы должны сообщить ему мельчайшие особенности болезни. Но мы не прислушались к Ричарду. Мнение казалось нам достаточно обоснованным. Зачем зря волноваться?

О Джейн мы всегда очень беспокоились. С самого раннего детства она росла страшно ранимой, несмотря на старания справляться со всем самой, а быть может, именно поэтому. Довольно рано стало ясно, что умом она не обделена. Джейн росла ребенком, не признававшим авторитетов. Она упрямо делала все по-своему, предпочитая сама набивать себе шишки.

Девушка выросла в Англии, рано пристрастилась к сочинению стихов, трагическая напряженность которых совсем не гармонировала с ее мягкой внешностью. Сила воли не соответствовала ее конституции, и Джейн часто заставляла себя делать то, что было для нее трудно. Дочь надо было защищать от нее самой.

Внешность Джейн таила очарование, и улыбкой она могла добиться своего. Более того, в ее облике было что-то особенное, заставлявшее оглядываться ей вслед. Незнакомым людям хотелось подержать на руках хорошенькую крошку. Когда она начала ходить, взрослых радовала внезапно озарявшая ее лицо улыбка. Но Джейн улыбалась все реже — она разделяла опасения своего поколения и страшилась «быть обманутой».

Подрастая, Джейн научилась видеть суть происходящего и отвергала легкие пути. В школе непримиримым, недоверчивым подросткам приходится несладко. Идеалисты, стремясь к своей мечте, неизбежно падают духом, романтики, не находя единомышленников, разочаровываются в жизни. Джейн никогда не верила в свой успех и всегда признавала собственное поражение. Мнение большинства для нее не существовало, но представлять ее несгибаемой реалисткой было бы неправильно. Она все очень сильно переживала, нервничала и зачастую меняла решения. Дочь любила задавать вопросы и, получив ответ, спрашивала дальше. Не боясь выделиться среди других, она не считала себя человеком сильным, хотя всегда имела собственное мнение.

У подраставшей Джейн характер становился все тверже, и она старалась держать свои сомнения при себе. Она бросила поэзию ради политики. Стала настоящим бунтарем, постоянно споря с отцом, — его либеральные взгляды казались ей слишком умеренными. Ведя разговоры с дочерью как с равной, Виктор надеялся, что она поймет, — он принимает ее всерьез, но их дискуссии часто кончались плохо. У Джейн не хватало терпения выслушать до конца взвешенные, продуманные аргументы отца, и она взрывалась, не дослушав.

Джейн закончила учебу на отделении социальных наук и решила стать учительницей. Эта профессия давала ей возможность заниматься тем, что ее больше всего привлекало: бороться за лучший мир, проводить много времени с детьми и путешествовать. Продолжая интересоваться социальными проблемами, она скоро разочаровалась в политике и занялась личными делами. Джейн стала вегетарианкой задолго до того, как это сделалось модой. Она по-научному составила для себя диету и пыталась побудить нас питаться рациональнее. Она бросала курить не раз и не два. Серьезно занялась садоводством. Теперь ее привлекала музыка, не только зовущая к борьбе, свободе и контркультуре. Она открыла в себе способность слушать классику, не чувствуя, что предает этим свое поколение.

Джейн ждала любви, но, когда она к ней пришла, дочь поняла, что отдать себя целиком, лишиться свободы слишком трудно. Она гнала от себя любимого, а когда наваливалось одиночество, снова мечтала о нем. В конце концов она решила проверить, сможет ли жить одна, так как считала, что не может называть себя свободной, если зависит от другого.

Мы знали, что болезнь усилит ранимость дочери. И вздохнули с облегчением, узнав, что эта разновидность рака не смертельна. Но, видя, что силы к дочери не возвращаются, снова забеспокоились. Лето кончалось, нам надо было возвращаться в Америку. Джейн хотела жить по-прежнему, но ездить в школу и учить детей было ей уже трудно. Зимой она перенесла еще несколько легких недомоганий. В классе у нее часто не хватало сил сделать то, к чему она тщательно готовилась накануне. Лучше бы работа была поближе к дому. Она решила оставить школу и поискать что-нибудь другое.

Но времена были плохие. В тот год в Англии остались безработными двадцать тысяч учителей. Миновала весна, мы снова приехали в Англию, а дочь еще ничего не подыскала. Постоянные отказы поколебали ее веру в себя — она стала серьезно беспокоиться о своем будущем. В конце концов ей предложили обучать в Греции детей из трех семей среднего достатка. Работа не соответствовала ее общественному темпераменту, но выбирать не приходилось. Кроме того, она любила Грецию.

Темной и сырой сентябрьской ночью, после торжественного обеда с нами, она улетела в Афины. В тот вечер всем нам было вместе хорошо и спокойно. И с отцом Джейн была ласковее, чем все прошедшие годы.

Джейн регулярно нам писала. Мы узнали, что в Греции она обустроилась, завела друзей и мечтает о лете, когда приедет на один из островов в Адриатике и пойдет бродить в горы. Эта новая Джейн казалась счастливой, и нам подумалось, что она совсем выздоровела.

Однажды в феврале мы проводили уик-энд, путешествуя по Вирджинии. Розмари отправилась к друзьям на чашку кофе, внезапно ворвался Виктор и заговорил так быстро, что почти ничего нельзя было разобрать: что-то о Джейн и раке.

— Ночью ты улетаешь в Англию.

Все стало ясно. Слово «рак», как молот, разбило привычную жизнь на мелкие куски. Виктор не говорил с Джейн лично. Она позвонила невесте Ричарда Джоан, та сообщила Ричарду, а он с трудом разыскал нас. Джейн не была еще готова разделить свои чувства с самыми близкими ей людьми. Мы тщетно пытались дозвониться ей в Грецию — никто не отвечал.

Мы возвращались в Вашингтон на машине и видели, как угасал закат страшно холодного дня. Вдалеке синели горы, но мы их почти не замечали. Наши мысли витали далеко. На полпути мы еще раз попытались дозвониться в Грецию из будки на пустынной автостоянке. Мы ждали, а ветер все крутил и крутил вокруг нас пластиковый пакет. Время, казалось, замерло в этом одиноком месте. Наконец мы услышали голос Джейн, с трудом пробивавшийся через огромное расстояние между Грецией и Америкой.

— Я уезжаю в Англию. Вам приезжать не надо, — первым делом ска-

зала она. Но, услыхав, что Розмари решила ее встретить, с облегчением крикнула: — Колоссально! — И весело добавила: — Увидимся завтра.

В Вашингтоне Розмари, укладываясь, пыталась оставить дом в порядке. Но в наступившем хаосе и неизвестности знакомые предметы выглядели странно. Привычная жизнь кончилась.

Новости были плохие. Неделю назад Джейн, проснувшись, нащупала в паху какой-то комок. Ей сразу вспомнилось, что, когда она приходила в больницу проверяться, врачи прежде всего осматривали пах. Припомнилось недомогание последних недель, когда она чувствовала себя совсем скверно. Джейн решила сходить к местному врачу. Тот сказал, что беспокоиться не о чем, — что-то не в порядке, но это не метастазы. Через несколько дней ее осмотрел другой врач.

Джейн появилась в аэропорту в синих джинсах и яркой индейской куртке, голова обмотана на пиратский манер шарфом. Она была так рада, что вернулась домой, что на мгновение кошмар забылся. Но бодрость скоро покинула ее.

Когда мы добрались до маленькой приемной деревенского доктора, нас сразу пригласили в кабинет.

— Пойдешь со мной, мам? Может, немного меня поддержишь.

Все же к врачу она вошла бодро. Этот человек годами следил за здоровьем нашей семьи, и дочь ему доверяла. Она знала, что он скажет ей правду.

Доктор Салливан был в красивом темном костюме, он с улыбкой пожал Джейн руку, в глазах его светилась доброта.

— Посмотрим, Джейн, что мы можем для тебя сделать.

Через минуту все стало ясно. В паху Джейн ясно виднелась белая опухоль. Доктор Салливан не скрыл беспокойства.

— Похоже на опухоль в лимфатических узлах, ее надо вырезать, — сказал он Джейн. — Я уже договорился о тебе в ближайшей больнице, — добавил он. — Вам надо быть там завтра в девять утра.

— Возможно, она злокачественная? — спросила Джейн, начиная нервничать, но еще надеясь, что ошибается.

Да, возможно, но он до конца не уверен.

— А если ее вырежут, это поможет?

— Нет, не исключено появление новых опухолей, которые тоже придется вырезать.

Джейн выругалась, потом расплакалась. Мать и врач смотрели на нее не в силах ничем помочь. Джейн обменялась с доктором рукопожатием, трясущимися руками зажгла сигарету и нервно закурила. Потом погасила ее в чистейшей раковине, а сообразив, что наделала, стала извиняться.

— Не надо извиняться, Джейн, — мягко сказал доктор Салливан. — Я знаю, каково сейчас тебе. Несколько лет назад у меня появился комок и его удалили. Но меня всего перевернуло.

Он успокаивал Джейн, пока она не пришла в себя. Но, когда мы проходили через приемную, другие пациенты с сочувствием смотрели на дочь, и она бросила:

— Пошли отсюда скорее.

Наутро, в девять тридцать, мы уже сидели в больнице у рентгеновского кабинета. Джейн была в добром настроении и пыталась подсчитать все хорошее: она теперь дома, уже повидала кое-кого из друзей и собиралась встретиться с остальными. Джейн знала, что получит самое лучшее лечение, так как для раковых больных все делается в первую очередь. И лечение благодаря Государственной службе здравоохранения будет бесплатным.

После рентгена Джейн прошла в маленькую комнату и стала ждать операции.

Хирург, невысокий, свирепого вида человек, казалось, был совсем не способен делать работу, достойную только бога, — резать живую плоть. После предоперационного осмотра он стремительно вышел из комнаты, где сидела Джейн. Глядя недобрыми глазами, он спросил Розмари:

— А вы кто такая?

Розмари хотела нагрубить, но не стала злить хирурга, который собирался оперировать ее дочь, и просто ответила, что она мать.

Хирург не смягчился. Без лишних слов он сообщил, что после обеда удалит у Джейн лимфатическую железу. Казалось, для него тело человека было просто машиной, которую нужно наладить. А механик, ремонтируя машину, не обязан быть с ней вежливым. Да и какое это имеет значение, если он вылечит Джейн?

Как принято в Англии, Розмари пошла домой, хотя ей хотелось по американскому обычаю дождаться исхода операции в больнице. Позвонив вечером, Розмари узнала, что операция прошла успешно и состояние Джейн удовлетворительное. Ответ дежурный, а Розмари хотелось знать, как на самом деле физически и морально чувствует себя дочь. Хорошо, что операция позади, но тревога не уходила.

На десятый день вечером хирург сообщил Джейн плохую новость — опухоль злокачественная. Ее худшие опасения подтвердились. Розмари собиралась идти домой, но палатная медсестра вернула ее и разрешила не придерживаться сегодня правил посещения. Матери удалось успокоить дочь. Она оставалась с ней, пока Джейн не пришла в себя. Снотворное помогло больной пережить ночь.

Джейн записала: «Не знаю, как реагировать. Внешне я очень спокойна и держусь, как философ. Известно, что многие навсегда излечиваются от рака. Но многие умирают».

А на другой день она писала: «Страшнее всего ночью. Сейчас мне так плохо... Жду, когда принесут снотворное, — боюсь ночных кошмаров».

Как-то Розмари поливала цветы и добавляла воды в вазы, стоявшие на длинном подоконнике около кровати Джейн. Она обрывала увядшие цветы, когда Джейн сказала:

— Между прочим, мам, я узнала, какой у меня вид рака. Это — меланома.

Рука Розмари замерла.

Меланома. Слово что-то напомнило. Однажды кто-то сказал ей: «Меланома может за неделю сожрать ногу».

Тогда эти слова ничего для нее не значили. Розмари узнала, что меланома смертельна, быстро прогрессирует и трудно излечивается. Но смертельный исход не фатален, не неизбежен. И жестокие боли вызывает меланома, но не всегда.

Розмари позвонила через Атлантику Ричарду и Виктору. В Бостоне Ричард позвонил Джоан на работу. В ее семье болели этой ужасной болезнью.

Через несколько дней Джейн выписали и направили для дальнейших исследований в другую лондонскую больницу. В тот вечер, когда Джейн вернулась домой, из Бостона позвонил Ричард и спросил, знает ли она об опасности.

— Она знает, что это серьезно, — осторожно отвечала Розмари: ведь Джейн могла ее услышать.

— Но понимает ли она, насколько это серьезно?

Розмари заговорила еще тише, но не настолько, чтобы Джейн подумала, будто мать не хочет, чтобы она слышала разговор.

— Я не знаю. — Ответ прозвучал немного двусмысленно, но иначе она не могла.

— Ты сказала ей, что смертельный исход очень вероятен? — выпалил Ричард.

— Не совсем...

— Ей надо сказать, — настаивал сын. — Она этого хочет. — Голос его звучал настойчиво, твердо. — Может, мне сказать?

— Нет.

«Только не теперь», — подумала Розмари, но сказала лишь.

— Джейн вернулась из больницы, но еще слишком слаба и подойти к телефону не может.

Ричард, видимо, понял намек матери, что сейчас не время сообщать ей такое.

За несколько дней до возвращения Джейн из больницы позвонила Тереза и спросила совсем просто:

— Хотите, я приеду? — Она была самой способной из тех, кого Розмари обучала искусству керамики, относилась к ней, как дочь, а к Джейн —

как к сестре. Тереза основала в Америке собственное дело. Ее помощь очень требовалась, но Розмари постеснялась просить ученицу бросить мужа, работу и приехать.

— Нет, право, не надо, я справлюсь сама.

Но, когда Тереза повесила трубку, Розмари захотелось крикнуть: «Пожалуйста, приезжай!» Она очень нуждалась в помощнице, свободной от других дел, которая разделила бы с ней бремя забот о дочери.

Снова зазвонил телефон. Розмари неохотно сняла трубку, содрогаясь при мысли, что опять звонят родные и будут настаивать, чтобы Джейн перевезли для лечения в Америку.

— Розмари? Это я, Тереза. Вылетаю в среду. Не трудись меня встречать, я доберусь сама...

Глава 2

Приезд Терезы оживил жизнь в доме. Она привезла специальные рецепты особо питательных блюд, которые могли укрепить силы ее подруги, серьезно подорванные тремя неделями пребывания в больнице, где не давали вегетарианской пищи. Джейн с неудовольствием рассказывала, как ее кормили:

— Сыр, помидор и белый хлеб, а на нем листик салата. На другой день — сыр, помидор и два листика салата...

Тереза кормила Джейн ее любимыми блюдами, вкусными и питательными, ее энергия поддерживала силу духа больной.

Чтобы вести борьбу со своим главным врагом — страхом — и не терять надежды, Джейн нуждалась в обществе, в разрядке. Она пыталась разузнать все про меланому, но ей это не удавалось. Никто не хотел снабжать ее нужной информацией.

Джейн старалась быть стоиком. Говорила, что примет предстоящее без борьбы. Если появится новая опухоль — «а в глубине души, как врожденная пессимистка, я готова к худшему», — быть может, удастся дожить до конца без операций и лечения.

В этом случае Розмари обещала уехать с дочерью в какое-нибудь красивое местечко, скажем, у моря. Или в специальную лечебницу для больных раком — она где-то читала про такую.

— Это не больница и не частная лечебница, а скорее похожа на настоящий дом, — вспоминала Розмари. — В статье сообщалось, что там обращаются с пациентами прежде всего как с людьми и ухаживают за ними с любовью и состраданием. Может, разузнать об этом побольше?

— Пожалуй, — нерешительно отвечала Джейн. — Но скорее всего там работают люди верующие. Им вряд ли придется ко двору такая атеистка, как я. Даже если они меня примут, не знаю, каково будет мне. Я им не подойду. Буду чувствовать себя неловко — ведь я нуждаюсь в этих людях, хоть и не разделяю их взгляды.

Тем не менее Розмари разузнала о хосписе Святого Кристофера, куда принимали безнадежно больных. Хоспис на самом деле оказался «религиозным», но не в том смысле, как думала Джейн. Основала его и возглавила движение за создание современных хосписов доктор Сесилия Сондерс, убежденная христианка, но она не требовала, чтобы у нее лечились только верующие. Располагался хоспис среди зеленых лужаек на окраине Лондона, и Джейн бы там понравилось. Но подойдет ли она им?

Тот, кто надеется выздороветь, обычно в хоспис не идет — ведь там стараются создать самые благоприятные условия для последних месяцев или недель жизни. Принимают больных с неизлечимыми заболеваниями, когда родные не способны квалифицированно ухаживать за умирающими или им необходима передышка. Две трети поступающих больных страдают от постоянных болей и других проявлений болезни. В хоспис предпочитают не брать тех, кому осталось жить день-другой или несколько часов, — ведь тогда уже почти ничем помочь невозможно. В хосписе стараются сделать все возможное, чтобы последние месяцы или дни больной прожил полной жизнью. Ему обеспечивают особый уход, чтобы сознание его оставалось ясным и он мог оценить заботу о себе родных, друзей, медперсонала, отвечать всем взаимностью и не чувствовать себя обузой, как это происходит

с множеством больных, чьи родственники решили, что больше ничего уже сделать нельзя. Розмари узнала, что в хосписе Святого Кристофера всегда находят, чем облегчить страдания умирающего. Если то или иное лекарство не облегчает болей, врачи продолжают искать другие средства, пока их не находят. И пациент постоянно чувствует свою значимость для других. Сесилия Сондерс сформулировала свое кредо так: «Вы для нас ценны потому, что вы — это вы. Мы делаем все, чтобы вы не только умерли спокойно, но и до самого последнего момента продолжали жить».

Розмари рассказала об услышанном Терезе. Та выждала подходящий момент, чтобы завести разговор с Джейн. Но когда Тереза предложила всем вместе съездить в хоспис, чтобы увидеть его собственными глазами, Джейн не откликнулась. Она решила не сдаваться и продолжать борьбу. Она настаивала, чтобы «они» сделали все возможное и чтобы рак отступил. Она хотела жить.

А от ее настроения зависело очень многое. Временами она думала о добровольной смерти, о которой она писала в дневнике, готовясь ко второй операции. Теперь ей уже хотелось поговорить с матерью начистоту, чтобы ее подготовить и получить у нее совет и помощь.

— Если будут появляться все новые метастазы и их придется удалять, лучше не влачить такое существование, а покончить разом.

Розмари с полуслова поняла дочь. Она сама думала, стоит ли в таком случае цепляться за жизнь. Мать поняла — пора поговорить с дочерью без утайки.

— Знаешь, Джейн, если ты всерьез решишься уйти из жизни, я постараюсь тебе помочь. Не сомневайся.

— Спасибо, мама, — устало ответила Джейн.

— Помнишь Франс, мою подругу, мы с ней занимались керамикой, — продолжала Розмари. — Она чуть было не отправилась на тот свет. Она уверяет, что по ошибке. Франс наглоталась снотворного, а для верности поставила еще около кровати бутылку с выпивкой. Не найди мы ее вовремя, она бы умерла. А потом говорила, что чувствовала себя восхитительно.

— Тут только одно препятствие — я не люблю алкоголя. Поэтому вряд ли решусь на такое.

Разговор засел у Розмари в голове. Может, она напрасно так легко обещала дочери помощь? Ну кто может знать, на самом ли деле Джейн решится на самоубийство, какие бы муки ей ни пришлось терпеть? А если один день ей будет плохо, а другой — хорошо? Или она проживет подольше и успеют найти средство против рака! Да разве отнять у человека жизнь — какой бы она ни была — не ужасно?

А еще, подумала Розмари, не является ли ее согласие помочь своего рода давлением на Джейн скрытым намеком на то, что всем им после смерти дочери станет легче. Джейн, заболев, не раз повторяла, что превратила жизнь матери в ад. И что подумают муж и сын?

Неделю Джейн прожила дома, потом показалась специалисту. Тот посоветовал для продолжения исследования лечь в другую лондонскую больницу.

Джейн писала в дневнике о помощи и поддержке матери и друзей, но добавляла: «И все-таки я чувствую себя совершенно одинокой. Хорошо, когда вокруг тебя люди, хотя и знаешь, что для многих твоя болезнь — беда. Окружающие острее чувствуют свою смертность, и выявляется огромное невежество всех нас — никто не знает, что представляет собой рак, но все понимают, что мое положение — нешуточное.

Хуже всего неведение. И не только потому, что доктора не говорят, что же они именно делают и какое будущее ждет больного. О болезни так мало известно наверняка, что все специалисты говорят разное».

На сей раз Джейн пробыла в больнице десять дней. Все, решительно все органы тщательно обследовали, болезнь нигде не обнаруживалась. Как будто бы настало облегчение, но предстояло еще исследовать мозг. Однажды Джейн почувствовала легкое головокружение. Она страшно испугалась: видимо, метастазы добрались до головы. Она записала: «Жутко думать, что образовалась опухоль в мозгу. Знаю, врачи делают все, что в их силах, стараясь овладеть положением. Но это совсем меня убило. Я цепенею от

страха...» Когда при обследовании мозга получили отрицательный ответ, Джейн с раздражением сказала:

— Если рентген ничего не обнаружил, это еще не значит, что там ничего нет.

Самой болезненной и неприятной оказалась пункция спинного мозга.

— Надо было меня подготовить,—сердито говорила Джейн.—Сказали—я почувствую лишь некоторое неудобство, а на самом деле это просто кошмар.

Джейн было не слишком больно, но в дневнике отразились ее душевные муки: «Страшно быть такой слабой. Для человека так привычно, что организм его работает то хуже, то лучше, но, когда даже ходьба превращается в мучение, к такому надо приспособиться физически и морально. И еще рождается чувство зависти, похожее на ревность, к тем, кто легко ходит, бегает, суетится день напролет.

Порой мне так плохо, что трудно даже шевельнуться. Тогда мне кажется, я больна очень серьезно. А иной раз я чувствую себя сносно и не понимаю, что у меня болит,—тело или душа. Когда мне плохо, меня ничто не интересует. Когда же кто-то рядом и может мне помочь, я лишь кажусь совсем слабой.

Только что я поняла совершенно очевидную истину. Есть два вида страха. Первый—иррациональный, я называю его «кошмарами». Когда он на меня нападает, я представляю себе, как рак пожирает мое здоровое тело, и не могу думать ни о чем ином. И лучший способ совладать с таким страхом—постараться проанализировать, чего же я боюсь: боли, смерти, неизвестности или как повлияет болезнь на мою плоть и душу. С такими страхами можно совладать. Когда «кошмары» не поддаются осмыслению и я не в силах отогнать их, стараясь сосредоточиться на чем-то другом, тогда я могу их подавить, пытаясь превратить в другой страх, с которым справиться можно».

Однажды вечером Розмари возвращалась домой усталая после долгого дежурства и поглощенная мыслью о том, как мало можно сделать для Джейн. Дочь, которая всегда ценила уединение, теперь попала в капкан, лежа в переполненной палате. Розмари охватило жгучее желание все бросить и бежать, исчезнуть. За угол сворачивало такси, захотелось вскочить в него, примчаться в аэропорт и улететь—но куда? Деваться было некуда. Она нужна Джейн. Сейчас не время отчаиваться. Да и вести пришли неплохие. После всех обследований в теле Джейн не обнаружили ни малейших следов опухоли. Решили, что больная уже может выйти из больницы, и доктора принялись продумывать превентивное лечение. Надежды вновь воскресли. Вечером накануне дня, когда Джейн должна была выйти из больницы, Тереза с Розмари отправились в Лондон посмотреть пьесу — Джейн придумала именно так отметить это радостное событие. Вернувшись из театра, они узнали, что Джейн звонила по телефону. Ее только что осмотрела доктор Берд, которой Джейн верила больше других. Эта элегантная женщина с неизменным терпением отвечала на бесчисленные вопросы Джейн. Девушка подготавливала целый список вопросов к приходу врача. В этот раз врач ничего особенного не сказала, но попозже передала через нянечку просьбу к матери Джейн — пусть та придет к ней утром. Хирург хотела поговорить с ними обеими. Внезапность такой просьбы очень напугала Джейн. Она искала успокоения у Розмари и Терезы, но те сами были перепуганы. Неужели удача их снова покинула?

Хирург была серьезна и говорила без обиняков.

При очередном осмотре обнаружилась еще одна опухоль. Как только освободится место в клинике, ее надо сразу же удалить. Джейн с Розмари безнадежно переглянулись—уже третья операция. Вначале черное пятно на ноге, потом лимфатический узел в паху, а теперь опухоль в стенке желудка. Видимо, болезнь очень прогрессирует.

Джейн сдерживалась, пока не добралась до своей палаты. И тут разрыдалась—слезы заливали ей лицо. Медсестра подозрительно быстро принесла лоток со шприцем.

— Я уже в порядке. Мне ничего не надо,—мгновенно запротестовала больная, стараясь успокоиться. Она села на кровать, лихорадочно хватаясь за одежду. Глаза были полны слез.—Уезжаем отсюда к черту!

За спиной сестры возник врач.

— Скажи им, чтоб они ушли!—отрезала Джейн.

Врач и сестра стояли в нерешительности. Розмари попыталась их успокоить:

— Дочь уже в порядке, спасибо.

Джейн взяла себя в руки, и они быстро покинули больницу. Но такси еле-еле ползло — был час пик. Джейн увидела в парке под деревьями нарциссы—была середина марта, и повсюду распускались цветы...

Джейн лежала в постели, много читала, писала письма, звонила по телефону и развлекала приходящих друзей. Эти встречи очень помогали—у Джейн была своя жизнь, и она не чувствовала себя беспомощным инвалидом. Не все уж так мрачно. Она пересказывала нам новости и шутки, которыми развлекали ее друзья.

— Не знаю, почему они ко мне приходят,—сказала однажды дочь.—Я ведь почти только про рак и говорю—может надоесть. Только бы они не устали от меня и не перестали навещать.

— Уверена, что им нравится общение с тобой,—заверяла ее Розмари.—Из жалости и симпатии можно прийти раз-другой, но друзьям приятно болтать с тобой, вот они и приходят.

И вдруг Джейн залилась счастливым смехом:

— Майкл сказал, что я—самая худшая реклама пищевых продуктов из всех, какие ему попадались.

Когда Джейн училась в университете Сассекса, Майкл стал ее первой любовью. Они провели вместе два года в Брайтоне, на каникулы уезжали в Европу и Америку, где у них было много замечательных приключений. Друг в друге они открывали неизвестные прежде черты, и каждый, изумляясь, обнаруживал в другом все новые достоинства. Джейн поощряла интерес Майкла к политике. И он, отринув уют и спокойное существование представителя средних классов, с головой окунулся в эту политику, став на сторону левых. К тому времени Джейн увлеклась женским движением. Они были так поглощены друг другом, так близки, что Джейн временами казалось, будто она утратила свое «я», и это ее пугало. Она начала отступать. Это вызвало между влюбленными напряженные отношения, и ни он, ни она не знали, как изменить ситуацию. В итоге Джейн решилась на откровенный разрыв, желая избавиться от зависимости.

Майкл старался понять Джейн, нуждавшуюся в собственном «пространстве», об этом они подолгу, страстно, мучительно спорили, анализируя свои отношения, но Майкл не находил нужным решительный разрыв. Однако переубедить Джейн он не смог. И только дал себе клятву прийти ей на помощь, когда будет нужно. Несколько лет они то расходились, то сближались, когда одиночество Джейн пересиливало ее стремление к независимости. Теперь, когда болезнь Джейн обострилась, Майкл вернулся, так как она в этом очень нуждалась. В них опять проснулась любовь—робкая, неуверенная в будущем, но очень необходимая Джейн в критический момент ее жизни.

Глава 3

Однажды к Джейн пригласили целительницу. Ее упросила приехать подруга цеплявшейся даже за соломинку Розмари. Говорили, целительница способна на чудеса.

Миссис Клэр оказалась маленькой кругленькой женщиной с добрыми серыми глазами, лицо ее обрамляли седые кудряшки. Лестницу, ведущую в комнату Джейн, она преодолела пыхтя, но не теряя величавости. На лице ее уверенность в себе сочеталась с материнской нежностью. Розмари поежилась при мысли, что Виктор был бы категорически против этой затеи.

Джейн села в постели и стала разыгрывать роль хозяйки. Целительница попросила горячей воды. Она откинула покрывало и ничуть не удивилась, увидав Джейн обнаженной — та не любила спать в ночной рубашке. Миссис Клэр погрузила в горячую воду руки, затем энергично встряхнула ими, обрызгав все вокруг. Потом медленно, сильно нажимая, провела мок-

рыми руками по телу девушки: от плеч до кончиков пальцев ног, от бедер до ступней — она как бы выдавливала болезнь. После каждого поглаживания целительница встряхивала руками, словно сбрасывая хворь.

Закрыв неподвижное тело Джейн одеялом, она произнесла:

— Теперь ты заснешь. А завтра наступит облегчение, — и бесшумно удалилась.

В холле она сказала Розмари:

— Ваша дочь очень, очень больна. Но я готова ее лечить. Может она совсем прекратить обычное лечение?

Предложение было искренним и серьезным, и Розмари неуверенно отвечала:

— Я спрошу Джейн... Я позвоню вам. И очень благодарна. — Розмари взялась за кошелек. — Я бы хотела...

— Только расходы на проезд, милая, — с чувством сказала целительница. — Иначе нельзя. И что бы вы ни решили, я буду думать о Джейн. И мои друзья тоже.

Розмари поднялась к дочери — она не спала.

— Миссис Клэр сказала, что может меня вылечить, если я всерьез ей поверю, — спокойно произнесла Джейн. — Но не знаю, смогу ли я, — вряд ли. Мне нельзя рисковать.

Позже она сказала матери, что именно тогда, после ухода целительницы душ, поняла, что скоро умрет. Она уже начала засыпать, когда ее охватили страх и отчаяние — надежды не было.

Вскоре после визита миссис Клэр Розмари проснулась среди ночи от жуткого крика. Джейн поднялась с постели, стараясь выпрямить ногу.

— Какая невыносимая боль в боку — наверное, неудобно лежала, — простонала она.

В этот момент и Розмари поняла, что Джейн обречена. Но об этом почти не говорили. Всячески старались облегчить друг другу жизнь, и довольно успешно.

Новым союзником стал Майкл — его появление всегда вселяло в Джейн уверенность. В серьезности заболевания Джейн он не признавался даже самому себе и, едва она падала духом, делал все, чтобы вернуть ей уверенность и стремление одолеть болезнь. Их прежнюю любовь он использовал как оружие, чтобы отразить нависшую над любимой беду. Он лучше других знал, как стать Джейн ближе и дороже всех. Чтобы оживить прошлое, он вспоминал годы, проведенные ими в Брайтоне.

Порой он просто говорил какие-то слова прежних дней, и смысл их был понятен только им одним. Эти слова не только выражали ласку, но приобрели особый смысл в те времена, когда влюбленные путешествовали и многое пережили. Иногда оба вспоминали свои прежние разногласия или времена гармонии. В попытках Майкла вернуть прошлое таилась опасность для обоих.

Майкл брал Джейн за руку, целовал ее и нежно, бережно обнимал. Он снова стал ее любовником, чтобы красноречивее всяких слов уверить любимую: «Ты моя прежняя Джейн». Она не говорила, что ей нужно именно такое подтверждение, но, вероятно, имела это в виду, сетуя на распухшую ногу и безобразный шрам на теле.

Обняв Джейн, Майкл заставил ее встать и спуститься по лестнице, а потом осторожно снова подняться. Он объяснил Джейн, что это необходимо, — так она скорее выздоровеет.

— Я знаю, тебе больно, но так надо.

И Джейн послушалась Майкла.

Она откликнулась на чувства Майкла и стала ему близка, как некогда в Брайтоне. В дневнике она записала: «После мамы и Терезы Майкл помог мне физически и духовно. Несколько раз, когда мы оставались наедине, я чувствовала себя с ним единым целым и в глубине души поняла, что после нашего разрыва мне его всегда недоставало».

«Может, только потому, что болезнь сделала меня еще более уязвимой и беспомощной, он и тянется ко мне?» — писала Джейн. Впоследствии Майкл, вспоминая эти дни, и сам не мог объяснить мотивы своего поведения. Перед отъездом Джейн в Грецию они опять ненадолго сблизились. Заново открывали друг друга, оба жалели, что так долго были в разлуке, охотно вспоминали прошлое. Джейн записала: «Возможно, я бы соблазнилась закрутить с Майклом роман вовсю, если б не уезжала за границу». Вернувшись в Англию и услышав от доктора Салливана плохие вести, она первым делом позвонила Майклу.

Тереза пробыла с нами уже три недели, и ей было необходимо возвращаться в Америку.

На смену Терезе из Бостона прилетали Ричард и Джоан. Мать опасалась, что, усталые и раздраженные с дороги, они ворвутся в дом и выложат больной всю правду.

Джейн хотелось узнать от Ричарда и Джоан все, что им известно про меланому. Она чувствовала — вся семья в курсе дела, а от нее скрывают. С Джоан они быстро сошлись, потому ее-то Джейн и спросила:

— Я умру?

Джоан отвечала, что это никто знать не может. Сама она полагала, что Джейн должна знать всю правду, но запрета Розмари не нарушала. Джоан с двенадцати лет работала сиделкой в больнице и не раз видела больных, которых врачи и сестры считали безнадежными. В той больнице никого не называли умирающим вслух, но о том, что врачи от больного отказались, мгновенно узнавал персонал и сами больные тоже.

Через два дня после приезда Ричарда Джейн исполнилось двадцать пять лет. Майклу всегда удавалось развеселить Джейн, но тут и он, потерпев фиаско, обескураженно отступился. До вечера ничто не помогало, пока Ричард не сделал попытку поговорить с сестрой, чтобы она могла ему поплакаться. Джейн выплакалась и почувствовала себя настолько лучше, что пригласила всех к себе поужинать. Вскоре она уже сидела в постели и весело шутила.

Джейн готовилась к третьей операции. Мы сняли квартиру около больницы. Старались поддерживать хорошее настроение у дочери и скрасить ее пребывание в больнице насколько возможно. Накануне ухода Джейн Ричард включил ее любимую музыку. Он собирался купить сестре наушники (самые легкие и удобные), чтобы она могла слушать магнитофонные записи, не мешая другим. Магнитофон с наушниками помог бы Джейн укрыться от шума в палате — особенно раздражал ее настырный, вездесущий телевизор — и от ненужных разговоров с назойливыми соседками.

Никак не могли решить, говорить ли Джейн правду. Розмари соглашалась с доводами Ричарда, но не знала, как это воспримет дочь.

Занимаясь магнитофоном, Ричард обратился к матери:

— Джейн говорит, если у нее есть десять шансов из ста, то не стоит и бороться за жизнь. Я намекнул, что, пожалуй, одна треть из ста, но их на самом деле гораздо меньше. Чертовски противно с Джейн лукавить.

— А по-моему, одна треть — как раз правильно. Тереза звонила врачу, своей подруге, которая так и сказала, — быстро отозвалась Розмари.

— Да, но тогда мы не знали, что необходима третья операция. Теперь надежды гораздо меньше.

Розмари нечем было крыть.

— Я не придаю большого значения статистике. Что она такое? Я или ты — это не цифры на листе бумаги. Меня тошнит от этих разговоров о статистике. — Розмари направилась к двери. — Джейн еще подумает, что мы говорим о ней. Отнесу ей чашечку кофе.

И спор на время прекратился.

Мы старались вести себя так, чтобы Джейн не чувствовала себя изолированной, но это оказалось нелегко. Мы часто делали ошибки.

— А знаете, Розмари, — к вечеру сказала Джоан, — когда вы вчера в холле разговаривали, до Джейн долетало каждое слово.

— Господи! А что я сказала?

— Ничего особенного. Но она все ясно расслышала. Вам надо это знать.

Розмари попыталась вспомнить, что она говорила. Может, что-то такое, что могло погасить последние надежды Джейн. Мать вздохнула свободней, узнав, что Тереза как-то говорила с Джейн о ее будущем, и дочь устало заметила:

— Не понимаю, из-за чего столько шума. Ведь самое худшее, что может случиться, — я умру.

Операция закончилась, и Джейн чувствовала себя нормально.

Но поправлялась она очень медленно. Целыми днями лежала пластом, еле говорила и почти ничего не ела. Около нее по очереди сидели Розмари, Ричард и Джоан; друзей пока просили не приходить.

Хирург сказал Розмари: не исключено, что он удалил не всю опухоль — углубление в органы грозило жизни больной, осталась отечность.

— Что мне ей сказать? — мягко спросил он Розмари.

Что могла она ответить? Правда была для Джейн убийственна.

— Ей надо знать, — с запинкой пробормотала мать. *Я обещала ей сказать всю правду, но только не сейчас.* А вслух произнесла: — Джейн так слаба, подождем немного, пусть окрепнет. Тогда придется сказать.

Наутро Джейн стало лучше, и новости были ободряющие. Биопсия нигде не обнаружила раковых клеток. Отечность была вызвана не опухолью, а тем, что при операции внутренние органы сместились.

Но время шло, а Джейн не поправлялась. Жизнь в ней еле теплилась. Кожа вокруг рта побелела, тусклые глаза — когда она их ненадолго открывала — ни на чем не останавливались. Она обитала в пустоте, где время не имело значения. По лицу больной нельзя было определить, видит ли оиа что-нибудь, чувствует ли.

Позже, оставшись одна, Джейн написала крупным, неуверенным, неуклюжим почерком:

«Я почти утратила чувство реальности. Мне нужна какая-то встряска или что-то в этом роде. Почти все время так плохо, что мне уже все равно... Женщинам в палате почти ничего сказать не могу. Они переживают за меня, а моя соседка все огорчается, что я мало ем. Но докторам и сестрам на это наплевать... Как трудно писать ровно, я чуть-чуть очнулась...»

Когда Розмари почти перестала надеяться, состояние Джейн резко изменилось. Она смогла сидеть в постели, на щеках появился румянец. Чудо сотворило переливание крови.

Но боли у Джейн остались. Когда она сказала об этом хирургу, он сердито повернулся к палатному врачу:

— Почему страдает эта девушка? Она не должна мучиться от болей!

Розмари увидела в коридоре молоденькую медсестру — та почти плакала.

— Вот всегда так! — почти кричала она. — Больные не говорят нам, что им нужно, а потом жалуются врачам, и у нас неприятности...

Несколько часов после этого Джейн не давали никаких лекарств. Ждали распоряжения авторитетных врачей. Дозы увеличивали, но боль не стихала. Розмари сказала Ричарду, что палатный врач, получив от хирурга нагоняй, решил, что Джейн симулирует боль.

— Я однажды сказала врачу, что дочь, заболев, всегда делается беспокойной, и теперь меня мучит совесть, что я предала Джейн. А она на самом деле страдает.

— Джейн никогда не притворялась больной, — возмутился брат. — И сейчас она не паникует.

— Я сказала врачу, что она держалась, пока боли не стали невыносимыми, но он только бросил: «Да, болит... Ну и что?»

Позже обнаружили, что наркотики на Джейн действуют слабее, чем на большинство людей, и ей пришлось увеличить дозы. Она быстро пошла на поправку, и друзьям разрешили ее навещать.

Мы стали надеяться, что болезнь Джейн вошла в стадию ремиссии. Новообразований рака не обнаруживалось, а слабость и боли могли быть последствием операции. Чтобы стабилизировать состояние, необходимо было убить все больные клетки, прежде чем они размножатся и снова превратятся в опухоль. Решили применить химиотерапию, которая за годы интенсивных поисков средств против рака дала очень хорошие результаты. С помощью инъекций в кровоток вводят лекарства, которые воздействуют на больные клетки, атакуют их, отравляют и уничтожают.

Джейн знала, что химиотерапия может вызывать очень неприятные побочные явления. В палате были две женщины, облысевшие после химиотерапии: одна ходила, повязав голову платком, другую Государственная служба здравоохранения снабдила париком. Терять волосы Джейн не хотелось, но, зная, что это случается не всегда, она согласилась рискнуть. Химиотерапия приводит иногда к выпадению волос, так как лекарства воздействуют на все быстрорастущие клетки. На коже головы клетки растут очень быстро, и некоторые лекарства ошибочно нападают на здоровые клетки, вызывая облысение. Другое побочное явление этого лечения — тошнота, рвота, понос.

Каждый больной реагирует на химиотерапию по-своему в зависимости от комбинации лекарств, подбираемых с учетом реакции пациента.

Джейн назначили вливание лекарств ежедневно в течение недели. Потом три недели отдыха. Затем собирались делать инъекции раз в месяц в течение года — пока химические препараты не убьют в теле Джейн все раковые клетки.

Совсем недавно Розмари считала, что Джейн умирает. Теперь начинается лечение, которое продлится год. А завтра все опять может измениться. Ни твердой надежды, ни полного отчаяния. Виктор все откладывал свой отъезд из Вашингтона. Он стал оптимистом. При помощи каких-то статистических выкладок он вычислил, что шансы выжить у Джейн один к пяти, но верил, что ей повезет. Ему самому-то в жизни везло, особенно во время второй мировой войны, когда смерть косила людей направо и налево.

В день, когда приступили к химиотерапии, Розмари отправилась в больницу, надеясь, что дочери повезет и она избежит побочных явлений или они не будут серьезными. Кровать Джейн оказалась пустой. Одна из больных сказала Розмари:

— Она в ванной.

— Бедняжка Джейн. Как ее тошнит! — шептались женщины.

Дверь в ванную не была закрыта. Розмари проскользнула внутрь и притворила дверь.

— Ах, мама, — простонала Джейн. — Раз десять рвало. Мне так плохо.

Ее рвало сильно, без передышек, и еще приходилось сдерживать понос. Наконец мать помогла больной добраться до постели. Джейн лежала неподвижно, измотанная нескончаемыми позывами рвоты. Палатная медсестра спокойно ее утешала: скоро тошнота пройдет.

— С каждым днем твой организм будет все больше привыкать к лечению, и тебе станет легче. Завтра тебе, Джейн, будет легче. А пока мы сделаем тебе противорвотную инъекцию.

— Я этого не выдержу, — еле слышно прошептала Джейн.

Розмари разрешили приходить к дочери еще до начала часов посещения, и наутро она увидела страшную картину. Язык у Джейн совсем распух и торчал изо рта. Она с трудом смогла объяснить, что ей надо пить, иначе станут вводить физиологический раствор. Слюна лилась безудержно. Розмари поднесла ко рту дочери сок черной смородины, но Джейн, как ни старалась, не могла сделать глоток. Салфетки, которыми Джейн промокала слюну, ее рот и рубашка стали красными. Больная тщетно снова и снова пыталась сделать глоток, глаза ее от страха выкатились. Сок стекал по языку на шею.

Розмари в ужасе позвала врача. Он был невозмутим и все повторял, что язык больной не увеличился. Надо сделать рентген, и станет ясно, в чем дело. Врач, видимо, не знал, что предпринять, и скрывал свою растерянность за маской невозмутимости. Розмари очень испугалась. Джейн жестами попросила убрать ширму. Мать повиновалась. Зря ее вообще поставили: сестры и больные, увидев, что с Джейн творится, скорее бы пришли ей на помощь.

Розмари вспомнила, что сегодня Виктор прилетает из Америки и скоро появится в больнице.

Она позвонила Виктору и просила не приезжать, но он настоял на своем. Отец не видел дочь полгода и оцепенел от ужаса. Что же они с ней сделали? Он обнял Джейн, и она, припав к отцу, пыталась что-то сказать, но он разобрал только одно слово «папа».

— Джейн, — сказал Виктор и прижался щекой к ее лицу.

Они плакали. Встреча получилась мучительной для обоих, и Розмари увидела, как страшно устала Джейн. Немного погодя дочь дала понять отцу, чтобы он ушел, и для ясности показала на выход. Но просила остаться мать.

С креслом-каталкой пришел служитель — отвезти Джейн в рентгеновский кабинет. «Глупости!» — прошептала больная, но дала усадить себя в кресло и поехала. Голова ее бессильно болталась, язык торчал изо рта, не переставая, текла слюна.

Ожиданию около рентгеновского кабинета не было конца. Наконец рентгенологи приступили к снимкам — вернее, попытались. Джейн уже совсем не управляла головой, плечи ее беспомощно опустились. Пока делали снимок, она не могла правильно держать туловище. Все повторялось снова и снова.

Потом случилось что-то непредвиденное, и нас задвинули в комнатушку вроде чулана, куда не проникали рентгеновские лучи, ждать, пока не освободятся рентгенологи. Дверь закрыли. Кресло еле вместилось в комнатку. Единственная лампочка на потолке тускло освещала испуганные лица в маленькой камере.

Розмари из последних сил старалась заглушить охватившую ее панику. Как в тюрьме. Джейн, казалось, ускользала все дальше. Говорить она не могла, но показала жестом, что ее начинает тошнить. Дверь была плотно закрыта. И вдруг она чудесным образом открылась, и оттуда подали таз. Стало казаться, что они останутся тут навечно.

Когда рентгенолог открыл дверь, нервы Розмари не выдержали. Она побежала. Ей было невмоготу видеть, как ее дочь, не получая никакой помощи, превращается в какого-то идиота: голова болтается, язык высунут, течет слюна. Розмари бежала по коридорам и лестницам, спасаясь от кошмара, ища помощи.

Остановилась она только у дверей палаты, где стояли родные. Ричард сразу понял, в чем дело, и поспешил с Джоан к рентгенкабинету. Розмари с отчаянием посмотрела на Виктора.

— Успокойся, — сказал он тихо. — Будет еще хуже.

Она знала, что за внешним спокойствием мужа скрывается отчаяние. Нельзя себя больше успокаивать, поняла Розмари. Муж сказал правду до конца.

Рентгенологи не успели ничего понять — Ричард унес сестру из кабинета. Вскоре она уже лежала в постели, окруженная докторами и сестрами. Ей нужен отдых, сказали нам, и попросили уйти. Вернувшись домой, мы почувствовали себя виноватыми — ведь мы покинули Джейн. Ричард не мог сидеть на месте и попросил Джоан вернуться с ним к сестре. Они сразу же ушли.

Зазвонил телефон. Мать ждала худшего, но это звонила сама Джейн, и голос ее звучал ясно, радостно:

— Все в порядке, мам! Мне сделали вливание, и все обошлось — я снова человек!

Один из врачей распознал очень редкую реакцию на противорвотное лекарство. Ликвидировать случившееся оказалось легко. Химиотерапию можно было продолжать.

Накануне отлета Ричарда и Джоан в Америку мы решили пригласить друзей. Джейн просила всех уйти пораньше. Она заверила, что чувствует себя хорошо. Брат остался с сестрой еще на несколько минут. Прощаясь с ним, Джейн старалась держаться молодцом. Ричард не мог показать сестре, каково у него на душе, и лишь пообещал:

— Если ты вскоре не приедешь к нам в Бостон погостить, мы сами прилетим в конце лета.

Ричард догнал нас, а Джейн осталась одна в переполненной палате и, уткнувшись в подушку, долго плакала.

Ночью она записала в дневнике: «Я окончательно поняла, что умру и не увижу больше Ричарда. За последние десять лет мы виделись редко, но он мне очень близок, и я его очень люблю».

Глава 4

Апрель был в Англии периодом народных торжеств — страна готовилась праздновать двадцатипятилетие правления королевы. Повсюду развевались флаги. В витринах магазинов и в книжных киосках с фотографий смотрело улыбающееся лицо Елизаветы II. Через улицы, от здания к зданию, тянулись полотнища, торжественно провозглашавшие: «Двадцать пять лет!» Контраст между этой праздничной атмосферой и реальностями двадцать пятого года жизни Джейн был ужасающим. Пышное уличное убранство казалось нам кричаще безвкусным, ликующие возгласы прохожих — издевкой. Тысячи переполнявших магазины сувениров казались уродливыми. Джейн мало что видела из всего этого. Через два дня после отъезда Ричарда и Джоан в Америку ее выписали из больницы, и она поселилась в квартире, которую мы сняли по соседству, чтобы быть поближе к ней после операции. Болезнь, казалось, не только подействовала разрушающе на ее организм, но и подорвала в ней веру в собственные силы и чувство независимости.

— Я просто не могу представить себя снова за рулем, — говорила она. — Все эти машины, эти толпы... Я не могу представить себя даже едущей в автобусе.

Понемногу Джейн начала есть как следует, мало-помалу к ней возвращались силы. Она начала стряпать и поговаривала о том, что вот-вот станет выходить из дому. Вскоре она уже была в состоянии спускаться по лестнице и выходить в небольшой парк, но ненадолго и не одна. Ей все еще нужна была поддержка — и физическая, и моральная.

Пробуждение в Джейн интереса к собственному будущему протекало с большим трудом. Она считала, что самое большое, на что она могла надеяться, была коротенькая жизнь, заполненная химиотерапией, год или, быть может, несколько лет лечения в том случае, если не возникнет новых опухолей. Она хотела зарабатывать себе на жизнь преподаванием: ей не хотелось существовать на доброхотную помощь родителей.

— Кому нужен человек, больной раком? — спрашивала она.

— Тут надо не гадать, — сказал ей Виктор, — захочет ли к т о - н и б у д ь взять тебя на работу, а решить для себя самой, чем ты хочешь заниматься, и, решив, начать действовать.

— Нет, папа, я хочу заниматься тем, что обеспечивало бы мне с р е д с т в а к с у щ е с т в о в а н и ю.

— Но прежде чем до этого дойдет, тебе придется найти занятие по силам. Нечто способное удовлетворить тебя. Разве когда-то ты не подумывала о том, чтобы приобщать людей к искусству?

— Да ты о чем это, папа? — Сейчас ее обуревала не столько злость, сколько своего рода нетерпение, слегка окрашенное любопытством.

— Я помню разговор о керамике, который ты как-то вела с мамой. Ты раскладывала ее изделия по полкам, готовя их к распродаже, и при этом сказала, что понимаешь, как ей приятно, когда их покупают не только ее богатые друзья, но и местные жители.

— Ну и что из того?

— И ты была согласна с мамой, что те, кого бабушка называла «низшими классами», так же способны оценить произведения искусства, когда им случалось видеть действительно хорошие работы, как и другие. Ты помнишь?

— Да, — неохотно признала она. — Но какое это имеет сейчас значение?

— Да очень простое. Ты сказала, что, быть может, вы с мамой могли бы заключить между собой соглашение: она делала бы различные вещицы на продажу — керамику, поделки из дерева и подобные вещи, — а ты продавала бы их по доступным ценам простым людям и тем самым вносила бы в их жизнь красоту вместо безвкусной стряпни из глины и гипса, которую они часто покупают в магазинах за неимением лучшего.

— Но такая лавка стоила бы массу денег, — с сомнением взглянула на него Джейн. — И опять-таки приходилось бы каждый месяц на неделю закрывать лавку из-за курса химиотерапии, да и еще всякий раз, когда мне становилось бы плохо. Нет, папа, спасибо, но практически это вряд ли

осуществимо. — Сейчас она уже совсем не сердилась, а только немного погрустнела.

Виктор, однако, не отступал.

— Ты могла бы занять деньги и впоследствии вернуть долг из своих заработков. Можно также нанять помощника или взять партнера, который замещал бы тебя в твое отсутствие. Если бы нам удалось найти для тебя подходящее помещение в Брайтоне, твои друзья сплотились бы вокруг тебя. У тебя могла бы быть квартирка над лавкой: ты всегда бы была в курсе происходящего, даже не стоя за прилавком. А мама говорила, что могла бы некоторое время пожить с тобой в Англии — она оборудовала бы для себя гончарную мастерскую позади лавки.

Вот тогда-то Джейн и крикнула Розмари: «Мама! Мама!» В голосе ее звучала радость, какой мы не слышали уже столько недель. Розмари быстро примчалась из кухни.

— Да, Джейн, что случилось?

— У папы возникла одна из его идей.

— И что именно на этот раз? — осторожно осведомилась Розмари. «Идеи» Виктора обычно отличались грандиозностью и редко носили практический характер.

Однако возбуждение, с каким Джейн изложила брайтонскую идею, подействовало на мать заразительно. Брайтон был тем местом, где дочь была счастлива в свои университетские дни и куда часто приезжала, чтобы повидать остававшихся там друзей.

Было ли это всего лишь забавной игрой? В тот день перспективы у Джейн были отнюдь не радужнее, чем сутки назад. Она снова проснулась с болью в спине, а мы знали, что непрекращающаяся боль могла быть симптомом рецидива рака. Мы это понимали, но тема была не из тех, на которую бы мы решились заговорить.

В своем дневнике Джейн записала: «Мне становится лучше, но это страшно медленный процесс. Я понимаю, как много мне предстоит преодолеть — и сейчас, и в будущем году, и в течение всего остающегося у меня отрезка жизни. Прежде всего я должна примириться с тем, что рак может дать рецидив и что вероятность близкой смерти для меня намного выше, чем у моих сверстников, а также с тем, что, по-видимому, никто не сможет или не захочет сказать мне достоверно, насколько велика угроза повторения моей болезни».

На другой день после появления на свет «Брайтонского проекта» ее запись в дневнике звучала гораздо жизнерадостнее: «Несмотря на простуду, я начинаю снова чувствовать себя здоровой. Наконец-то я могу пройти через всю комнату, не ощутив приступа слабости. По мере того как мне становится физически лучше, я с большей легкостью могу настроиться на оптимистический лад. Прошлой ночью меня впервые не разбудила острая боль в желудке. Поносы как будто тоже кончились... Огромную роль в улучшении моего состояния — как физического, так и душевного — сыграл новый план семейства Зорза. Папа с радостью готов снабдить меня деньгами, чтобы я могла открыть лавку художественных изделий в районе Брайтона. Конечно, осуществление этого плана — дело нелегкое: придется выяснять массу вещей и провернуть огромную работу, но много шансов, что наш проект может удасться».

Они посетили несколько магазинов, торгующих предметами искусства. Джейн с блокнотом в руках переходила от одной демонстрационной витрины к другой, записывала имена мастеров понравившихся ей работ, сравнительные таблицы действующих цен. Она продумывала, какую именно часть из общего количества товаров в лавке придется на долю керамики, поделок из дерева, изделий из стекла.

Она писала Терезе: «Сияет солнышко, поют птицы, и мир прекрасен, необыкновенно прекрасен... Я пребываю в моем обычном состоянии упадка сил, но мы провели очень приятный день — побывали в магазине Британского центра мастеров художественного творчества и на предприятии, носящем название Дом стекла, где производят и продают стекло». Посещение Дома стекла с его полыхающей пламенем печью и стеклодувами, дующими в свои длинные трубки, подняло настроение. Это оказалось одним из самых радостных событий за долгое время.

«Мы увидели несколько очень красивых, но весьма дорогих изделий из стекла. И посмотрели, как возникает стеклянный бокал — зрелище, совершенно захватившее меня, несмотря на то, что у меня сильно болело плечо уже много дней кряду». Даже эти немногие золотые дни не были свободны от горестных напоминаний о болезни. Джейн пыталась не дать им омрачить ее брайтонскую мечту, но подчас начинала сомневаться, достаточно ли у нее осталось времени для ее претворения в жизнь. И тогда она с горечью спрашивала, как она может заниматься своей лавкой, если ее страдания не прекратятся.

В письме к Терезе Джейн писала: «Конечно, проекту открытия лавки не удалось заставить меня совершенно забыть о раке. Думаю, что это повредило бы моему здоровью. Я просто должна сжиться с мыслью о возможности рецидива и не падать духом. С течением времени будет легче, и мне уже легче сейчас, когда у меня появилось что-то, чем я по-настоящему хочу заниматься. Теперь я смотрю на вещи гораздо оптимистичнее».

Когда в начале апреля Ричард покинул Англию, Джейн беспокоило, что она, возможно, никогда больше не увидит брата. К концу месяца она уже смогла написать ему: «Как бы мне хотелось, чтобы ты посмотрел на меня сейчас. Просто невероятно, насколько мне лучше... Мы полагаем, что сможем открыться в июле или августе, но многое зависит от того, до какой степени выбьют меня из колеи предстоящие процедуры, как скоро мы достанем нужные помещения, сколько времени займет закупка товаров и т. д. Однако весь этот процесс доставляет мне огромную радость — я сейчас лежу по ночам, не сплю и думаю больше о лавке и о всем прочем, чем о раке».

В течение короткого времени Джейн, казалось, была преисполнена надежд.

Она стала снова в «полном смысле слова личностью — будем надеяться, даже в большей степени», чем до своей болезни. В большей степени потому, что ее обострившаяся восприимчивость ко всему происходящему позволяла ей понимать собственные чувства и чувства других с небывалой доселе прозорливостью. Она находилась в уникальном положении, дававшем ей возможность распознать всю глубину и богатство человеческих ценностей и взаимоотношений, красоту окружающего мира. «Мне кажется, что я узнала массу таких вещей, которые, возможно, постигала и раньше, но только разумом, а не чувствами. Это некоторым образом сделало меня более эгоистичной, утвердило в решимости жить так, как я хочу жить сейчас, и не строить слишком много планов на будущее. Кроме того, я теперь гораздо больше ценю вещи (во всяком случае, красивые) и людей (приятных)».

В Брайтоне директор банка (первый из тех, с кем ей довелось вести продолжительные переговоры) выразил готовность уделить ей столько времени, сколько она пожелает. Он знал, что у Джейн рак, из чего заключил, что ей недолго оставаться на этом свете, и понял, что и она это знает. Его потрясло ее спокойствие и изумил практический подход к делам, однако он всячески старался не обнаружить своих чувств. И все же это от нее не укрылось.

— Я все время познаю все новые вещи, — сказала она. — Директора банков — л ю д и. Нет, не просто люди — это избитое клише. Они такие же люди, как вы и я. Они ч у в с т в у ю т.

И был такой еще случай. Один человек незадолго до того закрыл собственную торговлю художественными изделиями и был готов по очень дешевой цене продать Джейн весь остаток своего товара, передать ей всю свою клиентуру и снабдить ее подробной информацией относительно своих поставщиков и клиентов; чтобы собрать такие сведения, ей потребовались бы многие годы. Для него — как и для нее — это не было торговой сделкой. Его сердце открылось навстречу Джейн — сотоварищу, человеку, мужественно готовившемуся познать страдания смерти от рака и тайну человеческого существования, — и он предложил ей помощь и дружбу в такое время, когда она в них нуждалась. Для нее же то, что он ей давал, означало надежду на реальную осуществимость ее проекта и на успех будущего дела.

Она ходила от одного брайтонского агента по продаже недвижимости к другому, осматривая дома, относительно которых она с ними договаривалась из Лондона по телефону, объясняя, что именно ей нужно. Она иска-

ла чего-нибудь подходящего в одном из наиболее бедных торговых кварталов города, куда скорее всего могли заглядывать клиенты намеченного ею типа. Наконец, после того, как она почти целых два дня проходила по брайтонским улицам, едва передвигая ноги и испытывая все усиливавшуюся боль в плечах, вынуждавшую ее все чаще и чаще присаживаться — но без единой жалобы, — она набрела на то, что искала. Найденное ею место находилось на улице, на которой располагался также и базар, что обеспечивало присутствие здесь желательной клиентуры и не только это.

— Видите вон тот магазин на другом конце улицы, на углу? — обратилась она к нам. — Это, — пояснила она, — «Бесконечность» — кооператив по продаже калорийных продуктов лечебного питания, сейчас лучший в своем роде магазин в городе. У него масса клиентов из мелкобуржуазной среды именно того типа, — добавила она проницательно, — с которым мое предприятие могло бы иметь дело, пока не появится собственная клиентура. На это потребуется много времени, — продолжала Джейн, глядя отцу прямо в глаза. — Может случиться, что мне это не удастся, однако есть смысл попробовать. Ради того, чтобы заполучить этот магазин, папа, стоило заболеть раком.

Она подождала его ответа, но он не смог заставить себя вымолвить хоть слово. Впервые она открыто признала, каким уязвимым мог оказаться их план.

— «Бесконечность» — хорошее название, — продолжала она. — Жаль, что его уже захватил кооператив, оно так замечательно подошло бы нам, не правда ли?

Виктор по-прежнему не мог ничего сказать.

— Но, быть может, мы сумеем найти что-либо получше. Что-то даже более подходящее... О, пожалуй, я уже придумала. Мы назовем его «Близ бесконечности». Как, по-твоему? — Джейн улыбнулась.

— Да, Джейн, это звучит прекрасно, — согласился бесцветным голосом отец.

— Ну, что ты, папа! Это звучит лучше, чем прекрасно. Такое название вбирает в себя буквально все, что мы задумали, разве нет? Вот здесь мое место, и здесь я с этой минуты остаюсь. «Близ бесконечности».

Силы Джейн неуклонно прибывали, ее вера в себя росла. В один прекрасный день она договорилась проехать на другой конец Лондона, чтобы нанести визит Майклу. Путь этот она решила проделать самостоятельно, но попросила Розмари проводить ее до входа в метро — за это время она успела бы набраться храбрости, чтобы дальше ехать одной.

Майкл был в восторге, увидев Джейн на пороге своего дома. К нему вернулась прежняя Джейн — усталая, но приехавшая своим ходом и счастливая, что добралась без посторонней помощи. Это было как праздник, неожиданно ниспосланный им небесами. Он испытал при встрече тот же восторг, что и она. Обнял Джейн и привлек к себе. Она радостно прильнула к нему. Они вошли в дом, и все было так, словно между ними никогда ничего не вставало, словно их студенческие дни в Брайтоне никогда не кончались.

Майкл всегда стремился, чтобы Джейн неизменно оставалась личностью, стараясь не допустить, чтобы она превратилась в некий объект жалости, в пораженную раком страдалицу, единственной характеристикой которой было бы определение «больная» Оставшись одни, завороженные атмосферой счастья этой ночи, они забылись в любовном порыве. Память об угрозе, под тенью которой жила Джейн, хоть они и не пропускали ее в свое сознание, никогда не отступала далеко. Но той ночью «мы заставили ее уйти», — вспоминал позже Майкл. Эта встреча наполнила их такой радостью, что, забыв долгие месяцы болезни и разлуки, они жадно ухватились за возможность, как прежде, стать любовниками. Сначала это давалось нелегко, оба испытывали некоторую робость. Они много говорили, неторопливо нащупывая путь к связывавшей их когда-то физической близости. Постепенно сомнения по поводу своего тронутого болезнью тела стали покидать Джейн. Майкл помнил о перенесенных ею операциях, о рубцах, которые у нее остались, о, возможно, терзавшей ее боли. Но как бы внешне ни изменилось ее тело, он решил доказать ей свою любовь. «Разумом я не хотела физической близости из-за моих травм, — писала в своем дневнике Джейн, — но тело мое ее желало». Майкл ощутил ее неуверенность и потребность убедиться в том, что она полноценный человек, ибо представлял себе, как в ее положении можно страдать, не получив подобного заверения. Все оказалось легче, чем он ожидал.

— Посмотри, что они со мной сделали, — сказала она, показывая ему свои рубцы.

Это не имело никакого значения. Он хотел выразить ей свои чувства, был преисполнен решимости заставить ее понять их, и ему было ясно, что лучше всего он мог сделать это с помощью любовного акта. «Если вы любите кого-то достаточно сильно, — говорил он позднее, — вы в состоянии позабыть обо всем другом. Даже слова, в которые вы облекаете свою любовь, даже то, как вы себя в момент близости ведете, — все это превращает вас в совершенно другого человека, переносит вас за грань настоящего. Так это и было со мной и Джейн».

Джейн уже давно не спала так крепко, причем без снотворного, что было огромным достижением. Проснулась она с улыбкой и долго не вставала с постели, счастливая и сбросившая с себя напряжение. Они поговорили о ее планах, о брайтонском проекте, но, словно по молчаливому уговору, их беседа касалась только настоящего и ближайшего будущего. Майкл при всем своем нежелании посмотреть фактам в глаза подсознательно понимал, что они были вместе, может быть, последний раз, хотя такая мысль шла вразрез с его сознательным и хорошо продуманным желанием помочь ей вести себя как нормальный, здоровый человек. Он испытывал радость от ощущения, что перед ним открывалось нечто новое, и одновременно смутно чувствовал, что какая-то дверь, возможно, закрывалась для него навечно.

Джейн же радовалась победе над немощью своего тела. С возродившейся уверенностью в себе она отказалась от предложения Майкла вызвать для нее такси и настояла на том, чтобы он не провожал ее до метро.

Когда после посещения Майкла она вернулась домой и вновь возникшая боль напомнила ей о сомнительности ее будущего, Джейн, в свою очередь, ощутила, как перед ней открывается — и опять закрывается — дверь. «Если какой-то человек способен удовлетворить мои потребности — в хорошем друге, с которым я могу поговорить, в любовнике или спутнике, пусть даже на какое-то время, — то это он. Но я понимаю, что могу дать ему в ответ совсем немного, а такое положение не может стать основой для близости». Она снова впала в депрессию, переживая один из тех периодов уныния, когда будущее казалось ей мрачным — если, конечно, ей вообще было суждено иметь будущее.

Боли в плечах начали усиливаться. Вначале их относили за счет «болей в пояснице» или «ревматизма», которыми она якобы страдала. Когда боли становились сильнее, говорили, что виновата, видимо, погода. Если бы обнаружилось, что у нее нет никакого ревматизма, исчезла бы последняя соломинка, за которую хваталась Джейн, и мы уже не могли бы больше помогать ей обманываться.

Наступление ночи было для нас облегчением. Снотворное часто помогало ей, пусть даже всего на несколько часов. Обычно Джейн просыпалась рано, но однажды утром пробило уже десять, а она все еще не давала о себе знать. Сон пойдет ей на пользу, решили мы, — совершенно очевидно, что она в нем нуждалась. Боли делали ее раздражительной — и боли, и, возможно, понимание того, что Брайтон был просто мечтой. Она начинала действовать нам на нервы — и знала это. Уже несколько раз Джейн говорила, что стала для нас обузой. И говорила это почти злобно, а не извиняющимся тоном, как сделала бы это в прошлом. Ее непрерывно дымившаяся сигарета распространяла по дому застоявшийся запах табака, и мы с трудом это терпели. Курение приносило ей большое облегчение, и то неудобство, какое мы от этого испытывали, было мелочью по сравнению с душевными страданиями, причинявшимися нам ее болями. Но пока она спала, мы были избавлены и от табачного дыма.

Близился полдень, а Джейн все не просыпалась. Виктор больше не ходил на цыпочках. Он поставил пластинку с записью музыки Моцарта, одну из ее любимых, надеясь, что это сделает пробуждение дочери более приятным Тем не менее сверху по-прежнему не доносилось ни звука.

Внезапно зазвонил телефон. Сон у Джейн всегда был чутким, звонок наверняка разбудит ее. Виктор дал телефону звонить до тех пор, пока он не замолк сам собой, но дочь никак не реагировала.

Розмари стояла за дверью ее комнаты и прислушивалась.

— Ни звука, — подтвердила она уже громко. — Если Джейн еще спит, значит, ей нужен сон.

Виктор выглядел задумчивым.

— А что, если она приняла бо́льшую дозу снотворного, чем обычно, что нам, так и оставить ее?

Розмари помедлила с ответом. Она отвела мужа от двери Джейн, и они прошли в гостиную.

— Дадим ей еще немного времени, — мягко сказала Розмари.

Виктор позволил подвести себя к дивану, он вдруг почувствовал, что силы его оставляют.

— Она когда-нибудь спала так долго?

— Нет, никогда. — Розмари явно нервничала. — Но ведь она еще никогда прежде не бывала в таком состоянии, правда? — Ей припомнился разговор с Джейн относительно самоубийства, но Виктору она сказала только: — Оставим ее в покое. Пусть поспит.

— Хорошо, — согласился Виктор. — Она, очевидно, приняла бо́льшую дозу, чем всегда, иначе не спала бы так крепко.

— Может быть, когда боли у нее обострились, как обычно по ночам, и она очень долго не могла уснуть, ее депрессия усилилась.

— Ты думаешь, этого было довольно, чтобы побудить ее принять добавочную порцию снотворных пилюль?

— Быть может, она ночью проснулась...

Виктор обнял жену.

— Да, — согласился он. — Она могла подумать: еще целая ночь страданий, и еще, и еще...

Розмари взяла его руку, готовая теперь ответить на его вопрос.

— Этого было бы довольно, чтобы она приняла добавочную порцию пилюль, — подтвердила она тихо. — Или чрезмерную.

Вот теперь все было сказано.

— Или чрезмерную, — повторил он и немного помолчал. — Именно об этом я думал все последнее время.

— Да, я знаю. И я тоже. Это, возможно, лучший выход, — заметила Розмари.

Виктор притянул ее к себе и поцеловал.

— Да, — сказал он. — Она имеет право сделать то, что хочет.

— Это ее жизнь.

— Если бы мы попытались помешать ей, мы сделали бы это ради себя самих, а не ради нее.

Мы приняли решение, но нам необходимо было как-то утешить друг друга, помочь друг другу перенести удар.

— Сейчас она, вероятно, уже ничего не чувствует, — сказала Розмари.

— Да, но мы должны дать ей как можно больше времени.

— Конечно. Мы должны знать наверняка.

Мы сидели и ждали...

Пробило двенадцать, затем час. И тут в голову Розмари пришла новая мысль — страшная. Что, если Джейн попыталась — и неудачно? Что, если она лежит наверху в полубессознательном состоянии, не в силах двинуться или позвать, отчаянно нуждаясь в помощи?

Впервые за это утро контакт между родителями прервался. Розмари посмотрела на Виктора безумным взглядом и бросилась наверх. Виктор хотел последовать за ней, но не смог в страхе перед тем, что могло быть в спальне. Ему вспомнилась Джейн веселым ребенком, Джейн, играющая с другими детьми, с лицом, заляпанным грязью, освещенным озорной улыбкой.

Он услышал, как отворилась дверь в спальню и Розмари вошла. Минутная тишина, а затем до него донеслось «О!», которое выкрикнула проснувшаяся Джейн. Она приходила в себя медленно и неохотно и, по-видимому, была очень недовольна тем, что ее разбудили. У нее были боли, и в течение всего остального дня она почти не открывала рта, уйдя в себя

и почти враждебная нам. Когда Розмари принесла ей что-то поесть, дочь сердито оттолкнула руку матери.

— Если так будет продолжаться, — огрызнулась она, — мне придется покончить с собой.

Розмари не смогла ничего ей на это ответить.

Глава 5

— Ну, как твои боли? — спросила Розмари.

— Погано.

— Помогла тебе ночью грелка?

— От нее стало только хуже.

Накануне Виктор сделал Джейн массаж, и она сказала, что ее ревматизм несколько утих. Но сейчас его старания были напрасны. Когда Виктор коснулся ее поясницы, дочь закричала:

— Не трогай меня! Пойдем в больницу. Они наверняка могут что-нибудь сделать с этим ревматизмом.

С больницей договорились о приеме на следующий день после полудня, но боль внезапно вспыхнула с такой силой, что Джейн почувствовала, что не в состоянии терпеть до завтра.

— Нет, не завтра. Сейчас! С е й ч а с!

Когда Виктор дозвонился наконец до больницы, ему сообщили, что врач, который должен был на следующий день принять Джейн, уехал.

— Но Джейн не может ждать, — едва смог выговорить он. — Она должна показаться кому-то. Сегодня!

— Сегодня слишком поздно. Ей придется приехать на прием завтра.

— Нет, нет, п о ж а л у й с т а. — Виктор знал, что не может вернуться к Джейн с подобным известием. В отчаянии он крикнул: — Она говорит, что покончит с собой.

На другом конце провода минуту помолчали. Затем он услышал:

— Привозите ее сейчас, только сразу же. Поторопитесь, клиника закрывается. Вы сможете быть здесь не позже, чем через час?

Они едва успели к назначенному времени, но им пришлось ждать еще час, прежде чем медсестра вызвала Джейн. За всю дорогу та не вымолвила ни слова и только один раз что-то раздраженно буркнула, когда Виктор слишком резко затормозил и заставил ее вздрогнуть от боли. В приемном покое она тоже молчала.

Осмотр длился недолго: Джейн выбежала из кабинета взбешенная, готовая разразиться слезами — не от боли, от злости.

— Сейчас же пойди к нему! Поговори с врачом, скажи, что нам прежде говорили, — она почти кричала на отца, не обращая внимания на других пациентов.

— Что случилось? Что я должен сказать врачу? Кто тебе что говорил?

— Иди! Иди!

В кабинете его ждал врач. Крайне расстроенный, он обратился к Виктору:

— Она страшно остро реагирует на все. Это можно было ожидать. Очевидно, ее вывело из равновесия что-то, что я ей сказал. Вам известно, что это могло быть?

— Что вы ей сказали?

— Я ей сказал, что мы ничего не можем сделать с ее болями. Этого она должна была ожидать в ее положении. Ведь она же знает, что с ней. Если она научится терпеть это, ей станет легче.

Виктор потрясенно посмотрел на него:

— Вы т а к ей сказали?

— Только это я и мог ей сказать, посмотрев историю ее болезни и исходя из собственного опыта.

— Но врачи говорили, что боли могли быть вызваны и чем-то другим, например, ревматизмом, — возразил Виктор. — «Подождите немного, — утверждали они, — и он может пройти».

Врач взял со стола папку, на которой была написана фамилия Джейн, пробежал глазами последнюю страницу и посмотрел на Виктора.

— Здесь нет ничего о ревматизме.

— Может, в другой папке? Нам определенно назвали ревматизм. Неудивительно, что она расстроилась.

— Понятно. — Врач помолчал. — Ну что ж, ей лучше показаться своему лечащему врачу, он через день-два вернется. Я могу сказать только то, что знаю.

Когда Виктор возвратился к Джейн, она по-прежнему не хотела с ним разговаривать. Она выслушала, что ему сказали: что врач вывел свое заключение, исходя из истории болезни, которая, вероятно, была неполной, — но воздержалась от комментариев. Ее злость прошла; она словно потеряла интерес к случившемуся. Дома она молча проскользнула мимо Розмари, нетерпеливо ожидавшей новостей. Мать последовала за ней наверх, помогла лечь в постель.

— Что сказал врач?

— Ах, он вывел меня из терпения. Ему ничего не было известно о моем случае...

На следующий день в больнице уже подготовились к ее визиту. Без промедления провели в огромный кабинет, где уже обследовали двух или трех пациентов. Медсестра, так бесцеремонно обошедшаяся с ней накануне, сейчас была чрезвычайно внимательна и почти ласково помогла ей лечь. Не менее обходительны были и врачи. Джейн безучастно дала им себя тщательно осмотреть. От гнева, охватившего ее накануне, казалось, не осталось и следа. Против обыкновения она на этот раз не составила заранее списка вопросов, которые собиралась задать, ничего не пришло ей в голову и во время обследования.

Дождавшись, когда Джейн вышла из кабинета, Виктор осведомился насчет ревматизма, но не получил прямого ответа.

— Нам бы надо было показать ее кое-каким специалистам, — нерешительно заметил один из врачей. — Чтобы выяснить причину ее болей, нужны дополнительные анализы.

Врачи считали, что Джейн лучше вернуться в больницу. Ведь дома ей было не очень хорошо, не так ли? Боли подобного рода бывают мучительными, действуют на нервную систему и влияют на все самым неожиданным образом...

Час с лишним пролежала она молча, почти не шевелясь, на скамье в приемном покое, пока для нее готовили постель. Когда за ней наконец пришли, поднялась с большим трудом с помощью Виктора и сиделки. А ведь еще утром она не нуждалась ни в чьей поддержке. Сейчас положение изменилось — ей приходилось опираться на других людей, без них она не могла держаться на ногах. Джейн снова стала инвалидом.

Ее поместили в палате, где лежали почти одни старухи. Они с любопытством наблюдали, как Джейн пытается раздеться.

Но сиделка задернула занавес вокруг кровати и помогла ей улечься. Джейн лежала безжизненная, с закрытыми глазами.

В этот день мы поняли, что она от нас уходит. На попытки заговорить с ней никак не реагировала, на вопросы не отвечала. Впервые с начала болезни она забеспокоилась, чтобы мы не нарушили часов посещения. Вам пора уходить, напомнила она. Время для посещений истекло, оставаться дольше было бы нетактично по отношению к другим больным.

Мы неохотно покинули ее, не дождавшись, чтобы она с нами приветливо попрощалась. Позже, оглядываясь назад, мы поняли, что это ее новое настроение зародилось в то утро, когда она проснулась так поздно. Именно с того дня она стала угрюмой и едва ли не враждебной по отношению к нам. Дочь окружила себя защитной стеной молчания. Более, чем Виктор, чувствительная к реакциям дочери, Розмари видела в таком ее поведении потребность утвердить себя, показать, что она не попала снова в полную зависимость от родителей. Умом Виктор мог понять это отчуждение, но ему было очень обидно.

Мы чувствовали себя виноватыми. Но в чем? Мы понимали, что, несмотря на ее отпор, Джейн нуждалась в нас сейчас не меньше, а, пожалуй, даже больше, чем при других своих жизненных кризисах. Бывали и в прошлом времена, когда она сердилась на нас, однако мы терпеливо

сносили ее гнев, а когда буря проносилась, были рады, что так поступали. Будем терпеливы и на этот раз.

Нам вспоминалась пора, когда Джейн была подростком и ее неустойчивое настроение, сменявшие друг друга периоды подавленности и бунтарства приводили к длительному молчанию. Джейн в о т с у т с т в и и, — говорили в нашей семье и оставляли ее в покое, пока она вновь не подавала признаков «присутствия».

Розмари ждала появления знакомых симптомов ослабления у Джейн депрессии, но видела только старые, хорошо знакомые ей проявления о т с у т с т в и я — поднятые к небу взоры и мина, явно говорившая: Ну и н а г р а д и л ж е м е н я Б о г р о д и т е л я м и - д у р а к а м и. Контакт с ней не налаживался, так как мы не могли трезво обсуждать перспективы ее болезни. Нам хотелось выглядеть преисполненными надежд и настроенными оптимистически, а это, наверное, еще больше раздражало Джейн, которая мучительно собиралась с духом, чтобы посмотреть правде в лицо. О ревматизме она никогда больше не упоминала.

В это время она не получала никакого лечения. Второй курс химиотерапии оказался почти столь же тяжелым, как первый. К третьему должны были приступить только через неделю с лишним. Редкие высказывания дочери относительно этих процедур позволили получить некоторое представление о том, что творилось в глубине ее души. Розмари, пытавшаяся заговорить о ее будущем, заметила:

— Если у тебя и в самом деле возникнет еще одна опухоль, тебе не придется снова подвергаться химиотерапии.

Джейн резко оборвала мать:

— Спасибо, я предпочитаю продолжить химиотерапию, а не болеть раком.

Боясь ночных кошмаров, Джейн не позволяла себе уснуть, однако мысли, приходившие в это время, были зачастую страшнее кошмаров. Не потому ли она укрывалась за своей стеной молчания?

Новые исследования пока ничего не обнаружили. Врачи отказывались сказать что-то определенное. Каких-либо признаков опухоли не было, и некоторые врачи не исключали ревматизм как возможный источник болей. Если мы хотели обманывать себя, они были готовы нам в этом помочь. Они настоятельно рекомендовали нам отвлекать дочь от неотвязных мыслей о раке. Поводите ее по магазинам, советовал один врач, купите ей красивое новое платье. Другой врач подал идею о поездке в Париж.

— В соседней палате лежит молодой человек, который как раз так и сделал. Он съездил в отпуск во Францию, чтобы развлечься и обо всем забыть, и это ему помогло.

В конце концов они советовали сказать Джейн, что она делает из мухи слона, что ее боли были совсем не так сильны, как она утверждала.

— Вы все время сидите здесь с вытянутыми физиономиями, — заявил Виктору один из врачей. — А это никому не идет на пользу.

Существовало опасение, что Джейн с ее склонностью все толковать пессимистически воспримет наше терпение как подтверждение близости смерти.

Джеймсу — писателю и старому другу семьи, когда-то поддерживавшему стремление Джейн стать поэтом, — она говорила не только о собственных страданиях, но и о том, что эти страдания значили для ее родителей. Дружеские отношения установились у Джейн с Таней, которая сама перенесла тяжелую болезнь и все еще испытывала сильные боли. Но у Тани была взрослая дочь, и поэтому ей удалось довести до сознания Джейн, что родители страдают.

Как-то днем Розмари стояла у кровати Джейн, глядя в окно и спрашивая себя, какими словами прервать долгое молчание. Джейн читала книгу или скорее притворялась, будто читает. Внезапно, не поднимая глаз от книги, она проговорила:

— Мама, я думаю, тебе лучше уйти и день-другой здесь не появляться.

Впервые дочь выразилась так предельно ясно и четко. Розмари произнесла сухим, бесцветным голосом:

— А ты не хотела бы видеть папу?

— Нет, лучше, чтобы пока никто из вас не приходил.

У Розмари словно что-то внутри оборвалось. Их отвергали уже совершенно открыто. Она поцеловала безучастно лежавшую Джейн в щеку и попросила позвонить, если та передумает.

Быстро, очень быстро прошла она по длинному коридору и спустилась по бесконечным лестницам. Обнаружила телефон и позвонила Виктору. Он был ошеломлен.

— Но ты же не ушла от нее? Ты не можешь, не должна этого делать. Мы нужны ей. Помнишь ту книгу, которую мы с тобой читали? Там говорится, что люди не должны отнимать у больного любовь и поддержку, на какой бы отпор они ни наталкивались. В книге говорится...

— Мне все равно, что говорится в книге. Мне велели уйти, я ухожу. Как я могу остаться?

Выйдя из больницы, она прошла по оживленным улицам и повернула в сторону ближайшего парка. Там Розмари пробыла около часа, тихо поплакала и, немного успокоившись, направилась домой.

Здесь ее ожидала весточка из больницы. Одна из приятельниц Джейн, только что навестившая ее, сообщала, что Джейн хочет видеть Розмари и Виктора на следующий день.

Однако, когда мы на следующее утро вошли в палату, дочь не приветствовала нас ни улыбкой, ни словом извинения. Она была вежлива, и не более. Наши попытки завести с ней разговор были ею отклонены. Ледяным тоном она осведомилась у Виктора, почему тот выглядит таким мрачным. Когда он попробовал сделать веселое лицо, Джейн обвинила его в притворстве.

— Ты хочешь, чтобы я ушел? — спросил он раздраженно.

— Да, и больше не приходи.

Отцу удалось сдержать гнев, но по дороге домой он зазевался, поехал на красный свет и чуть не столкнулся с другой машиной. Вот так она отплачивает за все, что они для нее сделали. Пора было как-то определиться, дать ей ясно понять, что они больше не будут терпеть ее грубость. Она не хочет их видеть? Прекрасно, она их больше не увидит. Это научит ее уму-разуму.

Спустя некоторое время Виктор поостыл. Одной из прочитанных нами книг было исследование Элизабет Кюблер-Росс «О смерти и умирании». Размышления автора по поводу больных, которые встречают приход своих близких без радости и нетерпеливого ожидания, в точности отражали нашу ситуацию. Подобная встреча, говорилось в книге, способна сделать свидание весьма тягостным. Реакцией на нее родных обычно бывают либо огорчение и слезы, ощущение вины или стыда, либо прекращение ими дальнейших посещений, что только усиливает дискомфорт или гнев больного.

То обстоятельство, что мы оба это понимали и были готовы к такой возможности, отнюдь не ослабило нашего отчаяния.

Э. Кюблер-Росс писала: «Трагедия, пожалуй, состоит в том, что мы не думаем о причинах гнева больного и воспринимаем его как нашу личную обиду; на самом же деле он вначале имеет очень мало или совсем не имеет отношения к людям, против которых направлен. Когда, однако, больничный персонал или семья отвечают на этот гнев личными выпадами, они тем самым только еще более разжигают враждебность к ним больного». Виктор не раз читал это место в книге, однако поведение Джейн задевало его. Причем сердился он не на Джейн, а на себя самого.

И тем не менее книга была полезной. Э. Кюблер-Росс рассказывала о горе, стыде и чувстве вины, испытываемых семьей умирающего. Ощущение горя всегда включает в себя некоторые характерные черты гнева. «И есть ли такой человек, который, будучи в гневе, не пожелал бы порой, чтобы кто-то исчез, ушел, или кто не осмелился бы воскликнуть: «А, провались ты в тартарары!»

Описанные в книге Э. Кюблер-Росс различные стадии болезни отнюдь не обязательно следуют друг за другом в том строгом порядке, в каком она их изложила, и различные аспекты процесса умирания могут проявляться на любой стадии. Процесс умирания каждого больного индивидуален. Знай мы это с самого начала, мы были бы избавлены от многих переживаний.

Мы начали понимать, что надеяться уже не на что и надо помочь Джейн смириться со своей участью. Все наши усилия найти контакт с дочерью были тщетны. Наши мучительные старания пробиться в ее душу были более завуалированными, чем прямая попытка Виктора завести с ней разговор о смерти, однако стена молчания оставалась нерушимой. О чем размышляла, укрывшись за ней, Джейн? Полагала ли, что, в то время как сама она продолжает борьбу, отец потерял всякую надежду на ее выздоровление? И она думала: какой же тогда смысл разговаривать с нами?

Но, отдаляясь от родителей, Джейн теснее сближалась с другими людьми из своего окружения. Ее регулярно навещала Кейт, подружка университетских дней. Позднее Кейт рассказала нам, как, собираясь поехать в отпуск в Париж, она пришла попрощаться с Джейн. Они подошли к окну в коридоре и стали смотреть вниз на толпы прохожих, на проносившиеся автомобили; с такого расстояния все это движение казалось бесцельным. Девушки ощущали полное единение друг с другом, даже курили по очереди одну и ту же сигарету. Кейт пришла в голову мысль, что подобные вещи делают скорее любовники, чем подруги, что это свидетельство духовной общности, декларация тесной связи. Такие периоды у Кейт и Джейн были и прежде, но никогда еще они не чувствовали свою общность столь глубоко и сильно.

Посещения Майкла не приносили такого удовлетворения. Он приводил с собой приятельницу, Рут, и Розмари, присутствовавшей при одной из таких встреч, показалось, что Джейн это было чрезвычайно неприятно. (Она призналась в своих чувствах по этому поводу гораздо позднее.)

Она больше не просила нас уйти. Временами нам чудилось в ее глазах нечто похожее на жалость. Тон ее высказываний, которые передавали нам друзья, стал иным. Да, иногда мы действительно раздражали ее, поскольку наше присутствие напоминало ей обо всем, что она потеряет. Она была близка к признанию, что ей, возможно, придется сдаться. «Если я все же умру, — сказала она, смеясь, Джеймсу, — мне будет очень недоставать моих ссор с папой».

Не только родителям предстояло потерять дочь, не только они заранее оплакивали потерю. Джейн тоже предвидела боль расставания, переживала ожидавшее ее горе потери родителей, потому что они исчезнут для нее, если не будет на свете ее самой. Ее тревожило наше будущее — она готовилась к тому, что будет ухаживать за нами, когда мы заболеем, заботиться о нас, когда мы состаримся. Как мы будем справляться, когда ее с нами не станет? Но этими мыслями она делилась с друзьями, а не с нами.

Эта новая нежность по-прежнему перемежалась у нее со вспышками раздражения, так сильно расстраивавшими нас, когда она в первый раз вернулась в больницу. «Но почему она так ведет себя, почему?» — настойчиво спрашивали мы друзей. Ответ, который больше всего нас растрогал, поначалу показался слишком надуманным, чтобы ему поверить. Однако чем больше мы над ним размышляли, тем больше смысла в нем обнаруживали. Джейн знала, как сильно мы ее любили, как трудно нам будет пережить потерю. Знала, что чем более любящей дочерью она проявит себя, тем более глубокой будет наша скорбь и тем дольше она будет длиться. Но если она сумеет порвать с нами, в полной мере излить на нас испытываемое ею раздражение, заставить нас принять на себя всю тяжесть его, тогда, возможно, мы увидели бы ее такой, какой она была на самом деле. И мы бы меньше горевали о ней.

— По сути дела, Джейн прямо говорит нам: «Посмотрите же, какое я чудовище», — сказал Джеймс.

— Она пытается внушить вам мысль, что вы ее предали, для того, чтобы вы прониклись к ней неприязнью, — твердил другой приятель.

Между тем исследования не находили у нее каких-либо новых проявлений рака. В моче все еще обнаруживались раковые клетки, но это было обычным после операции, и задача химиотерапии как раз в том и состояла, чтобы побороть это явление. Но она чувствовала, что рак все еще сидит в ней.

— Я не рассматриваю это как наличие у меня Рака с большой буквы, — сказала она Джеймсу. — Я думаю, что это множество маленьких

рачков, грызущих меня изнутри, подобно крысам, копошащимся в мешке с зерном. Это также похоже на некую жизнь, чье развитие пошло неправильным путем, — вместо того чтобы стремиться выйти наружу, она врастает в глубь моего организма.

Джеймс раздумывал, не пора ли попытаться сблизить ее с родителями. Зная, как плохо обстоят дела Джейн, он полагал, что им следует достичь взаимопонимания. Поэтому Джеймс сказал ей, что она вела себя как последняя скотина, особенно по отношению к отцу.

— Знаю, — ответила она. — Но именно ею я и являюсь. Во мне живет скотина. Я не хочу, чтобы папа, или мама, или кто бы то ни было другой, мне по-настоящему близкий, воображал, будто я лучше, чем я есть. Я считаю, что человек должен бороться, в буквальном смысле слова биться за тесное взаимопонимание с другим человеком. Это, по сути своей, борьба за правду. Я хочу, чтобы люди говорили мне правду, чтобы они достаточно для этого уважали меня. Конечно, если вам скверно, ваши близкие остаются единственными людьми, от которых вы можете с полным правом ожидать, что они скажут вам, как плохи ваши дела, а это тяжелое для них испытание. Когда я веду себя по отношению к людям по-скотски, то поступаю так вместо того, чтобы закричать: я ни от чего не прячусь. Я не притворяюсь. Если мне предстоит умереть, я хочу это знать.

Когда Джеймс передал нам этот разговор, нам стало понятно, почему Джейн от нас отдалилась. Но нам стало труднее скрывать от нее правду. Ибо какова б ы л а эта правда? Да, мы думали, что она близка к смерти, может быть, уже умирает, но врачи настойчиво утверждали, что существует какая-то надежда на улучшение ее состояния, что она может прожить по меньшей мере несколько лет. «Нет никаких оснований терять надежду», — неустанно повторяли они, напоминая о ряде известных им случаев подобного улучшения. Так, один врач рассказал нам о человеке, у которого после операции продолжались боли и анализы обнаруживали раковые клетки. После прохождения курса химиотерапии он смог вернуться на работу (водителем лондонского двухэтажного автобуса) и только восемь лет спустя был вынужден подвергнуться повторной операции. «Когда мы его вскрыли, все его внутренности были черными от рака, но ему было даровано восемь лет плодотворной жизни». Нет, настаивали врачи, пока мы не обнаружим чего-то определенного, у вас нет оснований терять надежду. Мы то были готовы примириться с неизбежным концом, то верили в возможность благоприятного исхода.

Джейн, вероятно, была того же мнения. «Познания врачей все еще весьма поверхностны, — сказал ей Джеймс. — Человеческий организм остается для них полутайной».

— Я тоже так считаю, — согласилась с ним Джейн. — Чрезвычайно важно верить и не сдаваться. Воздействие духа на организм человека может быть очень сильным. Я не хочу, чтобы мое тело разрезали. Я не хочу, чтобы с помощью наркотиков меня доводили до бессознательного состояния. Хочу, чтобы мой организм имел все шансы справиться с недугом. Рана, нанесенная растению, иногда зарастает, и оно продолжает расти как ни в чем не бывало. То же самое происходит и с некоторыми насекомыми, например, с тараканами. Их органы продолжают расти даже после того, как их отсекает человек. Я хочу дать своему организму такую же возможность.

Однако она говорила также и о том, что ее тело оказалось слабее духа, и Джеймс понял, что, быть может, каким-то усилием воли она заставляет себя примириться с мыслью, что скоро умрет.

Джейн всегда тщательно следила за собой. Когда она не могла содержать себя в чистоте, ей помогали в этом нянечка или Розмари. И сейчас, насколько могли судить сестры, она была вполне в состоянии встать и пойти в туалет, чтобы помыться. Они знали о ее болях — она жаловалась на них достаточно часто, — но это не делало ее инвалидом, и они старались настроить ее на то, чтобы она сама ухаживала за собой, как могла. Поэтому нянечки не предлагали помочь ей помыться, и она их об этом не просила. Когда же Розмари предложила свою помощь, Джейн в резкой форме отказалась. Виктор пробовал уговорить жену вымыть Джейн, но Розмари оборвала его, заявив, что сейчас не время посягать на ее право распоряжаться собой — оно и так было у нее весьма ограниченным.

Итак, Джейн лежала неумытая. Она даже не чистила зубы. Исходивший от нее запах смущал Виктора. Как-то однажды он извинился перед врачом, который как раз обследовал ее.

— Она так слаба, что едва может открыть рот, чтобы поесть, не говоря уже о том, чтобы почистить зубы, — сказал он. — Мы привыкли к запахам, — легким тоном успокоил его врач. Но не велел сиделкам привести Джейн в порядок.

Когда дочь сделала Виктору какое-то особенно обидное замечание, ему захотелось бросить ей: «Джейн, у тебя пахнет изо рта, ты должна что-то с этим сделать», — но остановил себя. Она всегда ухитрялась оставить за собой последнее слово. Когда он все же упрекнул ее: «Джейн, ты ведешь себя по-скотски», — она впервые за много дней улыбнулась ему милой, почти кокетливой улыбкой и заявила: «Но я же и в самом деле скотина!»

Глава 6

Вскоре Джейн перевели в самый дальний угол палаты, куда сестры не часто заглядывали. Они появлялись, чтобы дать болеутоляющее, но только после обхода других больных, хотя Джейн давно ждала их и страдала без очередной пилюли.

Один молодой специалист обычно заходил к ней в конце дня по дороге домой. Он осведомлялся о ее состоянии, сочувственно расспрашивал о последних симптомах, но это была скорее дружеская беседа, чем визит врача. Сейчас перестал приходить даже он.

Когда Джейн все же удавалось поговорить с кем-либо из врачей, она пыталась узнать, что ее ждет, но редко получала ответ. Хотя никто ей ничего откровенно не сказал, Джейн не пребывала в неведении. По всем признакам приближался конец. Она выводила свои заключения из манеры врачей говорить с ней, из того, что, по всей видимости, они перестали бороться за нее. «Зачем же мне здесь лежать, — спрашивала она, — если они ничего не могут для меня сделать?»

Тот врач теперь избегал ее. Мы подозревали, что он избегал также и нас, и поэтому попытались договориться о встрече с ним. Нам сказали, что он ушел. А когда он вернется? Его ждали только после окончания часов посещения. «Вы к тому времени уже уйдете».

— Нет, не уйдем, — решительно возразил Виктор. — Мы его дождемся.

Мы уселись возле палаты в коридоре, чтобы не дать ему проскользнуть мимо. Врач пришел поздно вечером, бледный и усталый, и сел на скамью рядом с нами. Ему пришлось сделать несколько операций, сообщил он, а потом еще выступить с лекцией. По-видимому, он пытался убедить нас в том, что не избегал встречи с нами, и мы ему поверили. Быть может также, что никто вовсе не игнорировал Джейн. Беспокойство заставляет человека воображать странные вещи.

Врач рассказал нам о сложности заболевания и о вызываемых им страданиях. Он сказал, что понимает наши переживания, поскольку у него была сестра, страдавшая неизлечимой болезнью. Когда он навещал ее в лечебном учреждении, это было для него мукой мученической, кошмаром. Он тоже спрашивал себя: неужели ничего нельзя было сделать, чтобы облегчить ее страдания? «Поверьте мне, — продолжал он. — Я знаю, каковы ваши чувства по отношению к этим «чертовым врачам».

Каким-то образом то, что он рассказывал о своей сестре, переплеталось с тем, что он говорил о Джейн, заверяя нас, что и для нее тоже было сделано все возможное. Ее оперировали самые искусные хирурги, ее лечили самыми передовыми методами, за ней был самый заботливый уход. Это звучало так, словно он пытался как-то оправдаться перед нами. Он отзывался о Джейн как о старом друге. «Эта милая девушка», — то и дело повторял он. Мы спросили, следует ли сказать ей теперь, что она умирает. Он отклонил такую идею как немыслимую. «Нет, нет, она не

умирает — у нас нет никаких оснований это утверждать. Она так молода — она не должна...»

Он был очень трогательным и усталым, но всячески старался помочь нам. И все же, несмотря на его отрицание, у нас создалось впечатление, что состояние Джейн намного ухудшилось. Он, по-видимому, понял, что разговор с ним привел нас к самым мрачным выводам.

На следующий день он приветствовал нас взмахом руки — это был уже совсем другой, отдохнувший человек.

— Ей сегодня чуточку лучше, — сообщил он. — Вот увидите, она еще над нами посмеется. У меня такое чувство, что она нам докажет, как все мы были не правы, и проживет еще лет шесть.

Его замечание произвело на Розмари впечатление, совершенно обратное тому, на какое он рассчитывал. «Еще шесть лет всего этого», — с горечью подумала она.

Дом и сад дышали покоем. Наконец-то мы снова были дома, в Дэри-коттедже, после долгого, тяжелого путешествия.

Два дня спустя случилось несчастье. Виктор позвонил Розмари из больницы.

— Они получили результаты последнего анализа, — сказал он. Голос его звучал тускло, бесцветно. — Он у нее в костном мозгу.

Это был смертный приговор. Окончательный и бесповоротный. Клетки меланомы в костном мозгу означали отсутствие всякой надежды, всякого смысла продолжать лечение. Джейн ничем уже не помочь. Ничем. Придется ей сообщить.

«Нельзя говорить двадцатипятилетней девушке, что она скоро умрет, — убеждал Виктора один из врачей. — Это сделало бы ее жизнь глубоко несчастной до самого конца, а неизвестно, как долго это будет продолжаться». «Поверьте мне, — твердил другой, — через мои руки прошло множество молодых людей. Я знаю, как они реагируют на подобное известие».

Специалисты не только были готовы взять на себя моральную ответственность за то, чтобы Джейн ничего не знала, но и уговаривали родителей не принимать противоположного решения. «Если она действительно захочет знать правду, если сможет с ней примириться, мы это узнаем. Тогда и сможем принять решение».

— Это решение будем принимать мы, — внезапно заявил о своих правах Виктор. Но, пока он это произносил, он уже знал, что врачи его убедили.

В больнице Джейн разрешили поехать на уик-энд домой. Это была для нее первая, после возвращения в Англию, возможность увидеть Дэри-коттедж, но она возразила, что ради этого не стоит предпринимать столь мучительной для нее поездки. Мы подумали, что ей просто не хочется быть с нами.

Потом она смягчилась. Объявила Джеймсу, что, быть может, и съездит домой на ближайший уик-энд. Ко всеобщему удивлению, новость о предстоявшем приезде Ричарда она восприняла совершенно спокойно, заметив, что ей приятно будет его повидать. Она как будто считала, что брат приезжает сейчас потому, что для него это удобно.

Джеймс привез нашего общего приятеля Хью, чья жена недавно скончалась от рака. Он надеялся, что рассказ Хью поможет Виктору и Розмари. Хью остался поужинать с нами в саду. Вечер был прекрасный, последние лучи заходящего солнца позолотили холм за прудом, воздух был тих и прохладен. Царившую вокруг тишину нарушали только наши голоса.

Ричард сделал нам сюрприз — привез сына своей невесты, Арлока. Вначале Розмари сомневалась, хорошо ли одиннадцатилетнему мальчику видеть, как Джейн умирает. Но оказалось, что всего два года назад Арлок видел, как умирал от рака его дед, и мальчик вел себя нормально, несмотря на то, что очень любил деда. Ричард, расходившийся с родителями в вопросе о том, сказать ли Джейн правду, нуждался в эмоциональной поддержке со стороны своей новой семьи. Джоан приехать не могла, но он и Арлок были очень близки друг другу. Он считал Арлока сыном и был убежден, что Джейн будет полезно познакомиться с ним. Ему хотелось, чтобы сестра знала все о его новой семье, надеясь, что у нее возникнет чувство преемственности, сознание того, что дети становятся взрослыми, чтобы занять место людей ушедших. У нее было глубокое понимание совершающегося в природе круговорота, и такое сознание могло бы как-то ее утешить.

Розмари боялась, что при виде брата Джейн может сломиться, но, когда Ричард вошел в палату, та просияла от радости. Затем повернулась к Арлоку и спросила, немного озадаченная: «А ты кто?» Но тут же со вспыхнувшей улыбкой добавила: «Ну, конечно же, какая я глупая... Ты Арлок, кто же еще?» Арлок ответил ей такой же улыбкой. «Попала в самую точку», — сказал он. Так завязалась новая дружба.

Готовя Дэри-коттедж к приезду Джейн, мы пытались забыть о возникшем в семье напряжении, были довольны, что рядом с нами старый семейный врач. Доктор Салливан заверил нас, что всячески постарается помочь нам ухаживать за Джейн. К нам зашла также патронажная сестра нашего района, отвечавшая за организацию помощи на дому в рамках Государственной службы здравоохранения.

Мы сидели на террасе, обсуждая, во-первых, как лучше всего обеспечить врачебную помощь Джейн после возвращения в Дэри-коттедж, а также мучившую всю нашу семью проблему — что ей следовало сказать. Мы рассказали патронажной сестре — хрупкой темноволосой женщине — о наших разногласиях. Она внимательно выслушала каждого из нас и согласилась с Виктором и Розмари, что без желания самой Джейн никто не должен сообщать ей плохие новости. Но она поддержала и мнение Ричарда, считавшего, что Джейн нужно сказать правду, «если она захочет ее узнать». Мы так ничего и не решили, но наше настроение значительно улучшилось от того, что мы поговорили на беспокоившую нас тему в присутствии сочувственно отнесшегося к нам нейтрального собеседника. Было важно разрешить наши разногласия прежде, чем Джейн вернется домой.

Филиппа — к тому времени мы уже называли друг друга просто по именам — согласилась с тем, что лучшего места, чем дом, не существует, но подчеркнула, что заболевания некоторыми формами рака могут протекать чрезвычайно тяжело. Следовало также иметь в виду, что если уход за Джейн стал бы слишком трудным, то проблему мог решить один из хосписов для безнадежных пациентов.

Хоспис. Целую вечность назад — как представлялось сейчас — Розмари навела справки о хосписе Святого Кристофера. Но Джейн им не заинтересовалась, поэтому они не предприняли никаких дальнейших шагов. Для Виктора, бывшего в ту пору в Вашингтоне, идея обращения в хоспис была нова. Филиппе пришлось объяснить ему, что это не больница, а небольшое учреждение, предназначенное для ухода за больными, в основном раковыми, на последней стадии их болезни. Каким образом хоспис мог бы помочь Джейн, если больницы не сумели это сделать? Филиппа рассказала ему, что пациенты хосписа могли свободно выходить из него и возвращаться обратно, нередко оставаясь в нем на несколько дней — ровно на столько времени, сколько было нужно, чтобы взять их боли под контроль. Если бы боли у Джейн усилились — а имелись все основания ожидать, что они усилятся, — она могла бы лечь на короткое время в какой-либо хоспис, а затем снова вернуться домой. Персонал там составляли умелые люди, которые хорошо бы о ней заботились. «Это не дом смерти», — добавила Филиппа. Один такой хоспис был расположен недалеко от Оксфорда, в часе езды от Дэри-коттеджа. Она посоветовала нам съездить туда.

Нам казалось, что с этим нечего торопиться: трудно было поверить, что хоспис мог так сильно отличаться от больницы. Поднимаясь, чтобы уйти, Филиппа сказала: «Запомните хорошенько — вы уже не одни перед лицом вашей беды. Мы поможем вам чем только сможем». Она оставила нам номер своего телефона и обещала посещать нас регулярно раз в неделю, а если потребуется, то и чаще.

Мы продолжали спорить — говорить Джейн или не говорить, но Филиппа по крайней мере помогла нам быть более откровенными друг с другом. Ричард опасался, что Джейн начнет питать к нему недоверие, как это случилось по отношению к родителям. Возможно, что это уже

произошло. Скоро, боялся он, она решит, что на свете нет никого, кому она могла бы доверять, и тогда она почувствует себя совершенно одинокой. Мы уже были готовы поддаться неослабевавшему напору Ричарда, однако до конца он все же не сумел нас убедить. Мы согласились только с тем, что Джейн следовало сказать правду, если бы она ясно дала нам понять, что именно этого хочет. Но когда Ричард заявил: «Прекрасно, позвольте мне спросить ее», мы запротестовали. Что другое могла она ответить на такой вопрос, кроме «да»? Нам удалось обсудить все, что касалось будущего Джейн, совершенно бесстрастно, исключая лишь этот момент.

— Давайте представим нашу проблему на суд доктора Салливана, — в конце концов предложил Виктор.

Розмари эта идея понравилась. Они знали, как восхищал Ричарда здравый смысл доктора. И сын сразу же согласился, возможно, потому, что был убежден — Салливан будет на его стороне.

Договорились о встрече. В условленное время мы всей компанией направились в маленький кабинет доктора, чтобы изложить наши взгляды, словно он был в некотором роде разбирающим конфликт арбитром. Ричард был прям и непреклонен. «Надо сказать Джейн всю правду», — настаивал он. Так же непреклонен был и отец: «Мы ни в коем случае не можем допустить, чтобы она все узнала сейчас. Она не выдержит». Розмари твердила, что им следует подождать: «Она отклоняет любую попытку вступить с ней в контакт. Как же мы можем сказать ей, что она умирает?»

— Со мной она разговаривает, — возразил Ричард. — Я могу ей все сообщить.

— Да, — разозлился Виктор. — А потом ты через неделю-другую укатишь назад в Америку. Тогда ты уже не сможешь с ней разговаривать, а она не будет разговаривать с нами. Во что превратится ее жизнь? Ты толковал тут о ее физических трудностях. А как насчет психологических?

Доктор Салливан выслушал их чрезвычайно терпеливо, дав каждому высказаться и ни разу никого не прервав. Теперь он спокойно взял слово.

— Вполне может быть, Ричард, что она по-иному реагирует на ваши попытки заговорить с ней именно по тем причинам, которые вы здесь привели. Но, видимо, ее реакции меняются, и в ту пору, когда родители предлагали раскрыть ей глаза, она действительно ничего не хотела знать.

— Возможно, — неохотно признал Ричард. — Но в таком случае не означает ли это, что теперь она хочет правды, если судить по всем тем намекам, которые она делала в нашем разговоре.

— Вероятно, вы правы, — согласился доктор Салливан. — И мы сможем это узнать, когда она вернется домой насовсем. Она сбросит напряжение, и с ней станет легче разговаривать. Да и боли у нее благодаря облучению к тому времени могут стать слабее.

Розмари опасалась, что, если Джейн узнает, что умирает, она откажется от облучения. Мы все еще надеялись, что процедуры облегчат боли и по меньшей мере замедлят распространение рака. Но мы также знали, что Джейн боится воздействия облучения на ее наружность, особенно опасаясь выпадения волос.

— Тот вид облучения, которому ее подвергают, не должен оказывать подобного воздействия, — пояснил доктор Салливан. — Но если она откажется от него, возникнут сильные, ненужные боли.

— А если ей станет хуже? — упорствовал Ричард.

— Я ее ясно предупрежу, что рак может возникнуть у нее снова. Затем, недели через две-три, если боли у нее не пройдут, я скажу, что, значит, облучение не подействовало. Никакой лжи не будет, Ричард.

— И вы ей скажете, что она умирает?

— Конечно, если станет очевидно, что она этого хочет.

— Тогда, доктор, договорились, — поспешно вмешался Виктор. — К тому времени Ричард будет уже в Штатах. Он может положиться на вас, так как считает, что у нас не хватит мужества с этим справиться.

Это было предложение перемирия, но убедить Ричарда оказалось не так-то просто.

— А что мы скажем ей про анализ костного мозга? — осведомился он. — Она постоянно спрашивает меня и об этом. Думаю, что следует сообщить ей результаты анализа.

— В больнице ей ответили отрицательно, — возразил Виктор. — Если мы скажем правду, то, когда она туда вернется, поднимется скандал. Они заявят, что мы мешаем им проводить лечение, и снимут с себя всякую ответственность.

Доктор Салливан заверил Виктора, что тот ошибается. Он был согласен с Ричардом, что Джейн необходимо сообщить о результате анализа костного мозга. Он обещал, что сделает это сам.

— Сделаете?

— Полагаю, что тебе не следовало бы ставить слова доктора Салливана под сомнение, — смутилась Розмари.

— Ну что ж, пожалуй, мне нужно будет присутствовать при вашем разговоре с ней.

— Постыдись, Ричард, — возмутился отец.

— Все в порядке, — мягко отозвался доктор Салливан. — Нет никаких оснований отказать ему в этом.

Это было слабым утешением для Ричарда, но все же лучше, чем ничего. Ему казалось, что он покинул Джейн в беде. В письме к Джоан он написал: «Я чувствую свою полную несостоятельность, не сумев добиться, чтобы Джейн было сказано все».

Глава 7

Возвращение Джейн домой совпало с началом длинного праздничного уик-энда, составлявшего часть юбилейных торжеств британской короны. Королеве предстояло разжечь огромный костер в парке Виндзорского дворца, находившегося всего в нескольких милях от Дэри. Это должно было явиться сигналом для разжигания тысяч костров во всех уголках страны. На небольшом участке общественного выгона в конце узкой дороги близ Дэри-коттеджа уже высилась целая куча хвороста, приготовленного для этой цели. Быть может, Джейн будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы полюбоваться пламенем. Она всегда любила костры.

Время ползло в этот солнечный день особенно медленно. Джейн не звонила, хотя физически она была способна добраться до телефона в холле. Если же она чувствовала себя неважно, то могла попросить кого-нибудь позвонить нам.

Друзья должны были привезти ее вечером на своей машине, пока мы занимались последними приготовлениями. Однако пробило уже девять, а ни Джейн, ни каких-либо известий о ней так и не было. Уже почти стемнело, когда на подъездной аллее послышался наконец шум мотора. Мы бросились к двери и увидели Джейн, медленно идущую по садовой дорожке впереди своих друзей. На ней была яркая индийская куртка, она приветливо улыбалась. Было заметно, что она устала, но назвать ее безнадежно больной было нельзя. На лице играл слабый румянец, она выглядела оживленной, почти веселой. Показывая нам маленькую бутылочку, Джейн, смеясь, объяснила: «Таня дала мне ее на дорожку, уверяя, что водка помогает снять боли». Как ни в чем не бывало она поцеловала нас всех, включая и Виктора.

Дорога и возбуждение утомили ее, и мы приготовили постель в небольшой комнате на первом этаже в задней половине дома. Там было тихо, комната находилась далеко от остальной шумной части коттеджа, рядом ванная. Не нужно подниматься по лестнице, рядом сад — кровать была придвинута вплотную к одному из окон.

— Как красиво ты убрала комнату, мама, — воскликнула дочь.

Цветы были повсюду — на столике у кровати, на письменном столе, среди плетеных корзиночек и деревянных шкатулок на подоконнике. Пол покрывали толстые коврики, на окнах висели тяжелые полосатые занавеси, выдержанные в любимых ею тусклых тонах.

— Я никогда раньше не замечала, до чего же красива эта комната, — сказала Джейн, осматриваясь. Затем, прежде чем со вздохом облегчения опуститься на подушки, она несколько мгновений пристально вгля-

дывалась в темневшие за окном деревья. В эту ночь она быстро заснула.

На другой день Джейн сама оделась и старалась вести себя как здоровый человек. Она пришла в столовую, чтобы позавтракать вместе с нами, но мягкий складной стул оказался для нее слишком неудобным. Она переместилась на диван в общей комнате, но и на нем не смогла устроиться так, чтобы ее ничто не беспокоило. Попробовала заняться своим стереопроигрывателем, однако не могла удержать в руках больше одной пластинки, и ей никак не удавалось найти нужную. Розмари предложила помочь. Сначала Джейн не хотела говорить, какую пластинку искала, но потом призналась, что пыталась найти «Реквием» Форе. «Она думала, что эта музыка меня расстроит»,— промелькнуло в мозгу Розмари, когда она поставила пластинку. Фактически же оказалось, что долго слушать ее не смогла не она, а Джейн. «Выключи,— попросила та.— Это слишком грустно».

В полдень пришел человек, которого ждали мы все,— Джулиан Салливан. Он беседовал с Джейн наедине. Ричард уже не настаивал на своем присутствии при разговоре. Вместе с Джо — нашей приятельницей, пришедшей подстричь Джейн,— мы ждали конца беседы на террасе. Ожидание сильно затянулось. Большую часть времени мы просидели в молчании, задаваясь вопросом, о чем же они говорят. Наконец доктор вышел к нам один.

Ровным голосом он сообщил:

— Она была готова, поэтому я ей сказал. Она восприняла известие спокойно.

У всех нас был один и тот же вопрос: «Как долго?»

Он мог рискнуть только на догадку — возможно, шесть месяцев.

Говорить больше было не о чем. Он быстро ушел, и мы направились к Джейн.

Она лежала на диване и тихо плакала, но не давала овладеть собой тому отчаянию, какое, очевидно, испытывала. Один за другим мы поцеловали ее, и она со слезами ответила нам тем же, однако держала себя в руках. Никакой драматической сцены, которая стала бы кульминационным пунктом минувших месяцев неизвестности, семейных споров и трений, не было.

Виктор спросил, что сообщил доктор.

— Он сказал, что рассчитывать можно скорее на меньший, чем на больший срок. Каждый новый день будет для меня подарком.— Голос ее был спокойным, таким же спокойным, каким был голос доктора.

В ее устах это прозвучало просто, неприкрыто ясно, однако на самом деле, как позднее рассказал доктор Салливан, разговор проходил несколько иначе. Он вел беседу осторожно, отвечая на ее вопросы таким образом, чтобы побудить либо прозондировать почву поглубже — если бы она того пожелала,— либо уклониться от дальнейшего обсуждения проблемы. Каждый действовал по собственному усмотрению. Врач давал ей возможность попросить: «Расскажите мне побольше».

— Как узнать, поможет ли мне облучение? Стоит ли мне ему подвергаться?

Он понял, что может говорить более конкретно. Врачи надеются облегчить ее боли, повторил он, но никто по-настоящему не знает, насколько полезными окажутся процедуры. Если облучение ей действительно поможет, то раковые клетки будут погибать. «По крайней мере некоторые из них,— добавил он, словно эта мысль только сейчас пришла ему в голову,— наиболее активные».

— А если боли будут продолжаться?

Доктор почувствовал, что они приближаются к опасной черте. Он предвидел этот вопрос и уже косвенно ответил на него. Теперь он мог высказаться более открыто.

— Если облучение не поможет, значит, оно было не нужно.

Он все еще не отнимал у нее последнюю надежду и никогда этого не сделал бы. Сейчас, когда оба понимали друг друга, они уже не ходили вокруг да около.

— На что я могу рассчитывать, если боли возобновятся?

Доктор Салливан понял: она спрашивает, сколько ей осталось жить,— и ответил немедленно, чуть ли не резко, потому что пора увертoк прошла. Вот тогда-то он и сказал ей: «По всей вероятности, у вас есть месяцев шесть»,— и ушел, предоставив Джейн возможность разделить и тяжелую правду, и горе наедине с семьей.

Но, приняв неизбежность смерти, Джейн воспряла духом.

— Мы постараемся сделать оставшееся время как можно более приятным для тебя,— заверила ее Розмари. Другие обещания, данные ею дочери во время болезни, не были выполнены. Розмари надеялась, что это ей удастся сдержать.

Джейн взглянула на Джо, державшуюся в тени.

— Не подстрижешь ли ты меня сейчас? Мои волосы слишком отросли, а мне хотелось бы выглядеть прилично.— Она подробно рассказала подруге, какую стрижку ей сделать.

— Очень коротко,— добавила она,— а то волосы торчат у меня во все стороны. Кроме того, их нужно помыть.

Создавалось впечатление, что она всячески старалась избежать проявления чувств. Мы молча наблюдали за начавшейся стрижкой, а подружки принялись болтать как ни в чем не бывало, Джейн смеялась над рассказом Джо о шалостях ее детей. Напряжение слегка спало.

Ричард сообщил игравшему в саду Арлоку, что Джейн узнала, что умирает. Мальчик реагировал на это неожиданно.

— А она знала это и раньше. Нет, я ей ничего не говорил. Это чувствовалось.

Когда стрижка, к полному ее удовлетворению, была закончена, Джейн заявила:

— Сейчас, когда я знаю, что дней у меня впереди немного, я хочу насладиться каждым из них и прошу всех вас мне в этом помочь. Для начала,— добавила она,— пройдемся по саду.

Было ясно, что она все продумала заранее. Ее спокойствие, ее смирение не могли быть мгновенной, инстинктивной реакцией на услышанное от доктора. Вероятно, минувшие месяцы она часто думала о возможности скорой смерти. Очевидно, она решила, что когда все узнает наверняка, то отнесется к ожидавшей ее судьбе мужественно, примирится с ней и извлечет из остатка своей жизни все радости, какие только сумеет.

Во время этой прогулки Джейн как будто отбросила все тревоги, наслаждаясь только красотой сада. У пруда она остановилась и долго стояла, опираясь на палку. Поверхность его была покрыта толстым зеленым ковром ряски, не пропускавшим животворный свет в скрытую под ним воду. О чем думала она, пристально всматриваясь в этот мертвый пруд?

— Обрати внимание вон на ту необыкновенно красивую розу у французских окон,— тихонько сказала ей Розмари.

Цветок, только что бывший тугим красным бутоном, блистал в апогее своей красоты. Джейн прижалась к нему носом.

— Это, безусловно, роза высочайшего класса,— похвалила она.

Немного отдохнув, она приняла участие в церемонии посадки дерева. Она упросила Ричарда и Арлока купить для нее ко дню рождения Розмари сливовое дерево сорта «виктория». Потом они выкопали для него глубокую яму рядом с пнем засохшей вишни. На дно ямы уложили немного торфа, затем Арлок принес шланг и залил яму водой. К тому времени, когда Джейн завершила свой медленный, осторожный путь по садовой дорожке, все уже было готово. Тяжело опираясь на палку, она смотрела, как опускали деревцо в яму, засыпали корни землей, а затем плотно утрамбовали землю ногами. Когда тонкое молодое деревцо было привязано к опоре, Виктор откупорил бутылку шампанского. Мы распили ее, провозгласив ритуальный тост за благополучие дерева и за здоровье Джейн.

Прежде чем войти обратно в дом, она еще раз окинула взглядом сад, как будто зная, что видит его в последний раз.

Через четыре дня она возвратилась в больницу. В одной руке была заново наполненная Танина бутылка водки, в другой — письмо Виктора врачу, который убеждал их не говорить Джейн правды. Джейн теперь

знает, что умирает, говорилось в письме, и семья хочет, чтобы она покинула больницу, как только закончится курс облучения.

В больнице наше решение приняли без возражений. Джейн сообщили, что лечение, рассчитанное на две-три недели, будет проведено в сжатый срок и займет всего три дня. Однако врачи не заговаривали с Джейн о том, что было уже известно: больничное табу оставалось в силе.

Когда Ричард и Розмари поехали в больницу, чтобы забрать Джейн домой, шел проливной дождь. Дороги были забиты транспортом, видимость не превышала нескольких ярдов. Мы со страхом думали об обратном пути, зная, что каждая неровность на дорожном покрытии причиняет дочери острую боль.

Больничный персонал, как всегда, держался холодно и отстраненно, но Джейн встретила Розмари приветливо. Она как-то ухитрилась надеть на себя часть одежды без посторонней помощи, сложить хранившиеся в шкафчике пожитки и лежала на подушках вконец обессиленная. Розмари натянула на дочь носки и высокие сапожки. Обеим не терпелось скорее уйти из больницы.

Джейн с трудом передвигала ноги, опираясь на Розмари и палку. «Никаких колясок»,— тем не менее решительно заявила она. Проходя через палату, она попрощалась с больными. «Мне нужно проститься также с персоналом, особенно с сестрами»,— сказала она матери. Утром палата была полна врачей и сестер, занимавшихся обычными делами, однако сейчас никого из них не было видно. Когда они вышли в коридор, оказалось, что и там пусто. Не было сестер и в соседней палате. Такое бывало редко.

— Я и вправду хотела повидать их,— призналась Джейн. Задыхаясь, она поплелась обратно и попросила соседей по палате попрощаться за нее с персоналом. «Скажите, что я хотела бы поблагодарить их за все, что они для меня сделали»,— сказала она и, опираясь на Розмари, медленно двинулась к выходу. Уходила Джейн молча и выглядела расстроенной. Позднее объяснила нам почему: ни одна сестра не пришла с ней попрощаться. А ведь они знали, что она в тот день покидала больницу. Возможно, у них не хватило мужества посмотреть ей в глаза, особенно теперь, когда она знала, что ее ждет.

Ричард подогнал машину как можно ближе к входу. Мы помогли Джейн сесть на заднее сиденье, где для нее уже были приготовлены пледы и подушки. Она откинулась на них и закрыла глаза.

— Я постараюсь объехать все неровности, Джейн,— пообещал Ричард, опускаясь на место водителя.

— Не беспокойся, Рич, мне действительно удобно.

Внезапно все трудности и препятствия словно отступили. Движение на дороге уменьшилось, дождь почти прошел, небо прояснилось. Ричард ехал чрезвычайно осторожно, и Джейн ни на что не жаловалась. Она лежала с закрытыми глазами, пока машина не затормозила перед домом. Тогда она открыла их и сказала:

— Это была самая легкая поездка с тех пор, как у меня заболели плечи. Спасибо.

В первое утро дома она хотела встать. «Но я чувствую себя такой слабой,— огорчилась она,— такой измотанной...» И осталась в постели, просыпаясь на короткое время и снова засыпая. Мы подумали, что ее измучила дорога, но и на следующий день она была не в состоянии встать.

— Это последствия облучения,— сказала ей Розмари.— Ты не можешь не чувствовать усталости после такой большой дозы. Завтра тебе станет легче.

Джейн снова могла откровенно разговаривать со своей семьей — с каждым в отдельности и со всеми сразу. Ее отчуждение от родителей кануло в прошлое. Отношения ее с каждым из нас носили разный характер, соответственно менялась и ее реакция. Непонятливость или упрямство родителей могли вызвать у нее снисходительную улыбку, но никаких ссор, никаких приступов холодного молчания уже больше не было.

Мы снова вспомнили о хосписе и подумали, что в каком-то неопределенном будущем ее придется туда поместить. Но у каждого из нас была на этот счет собственная точка зрения. Ричард упорно твердил, что это нужно сделать как можно скорее. Розмари не была убеждена, что Джейн там будет хорошо, а Виктор, разрываясь между ними, колебался и что ни день менял свое мнение. Джейн по очереди соглашалась с каждым. Ей хотелось быть близкой всем нам.

Теперь она знала, что болеутоляющие пилюли ей будут давать без ограничения. Этот врач не станет ждать от нее беспредельной стойкости и выносливости, а будет помогать ей по мере своих возможностей. Твердо в это уверовав, Джейн уже никогда больше не заговаривала о том, чтобы покончить с собой.

Арлок часто наведывался к Джейн. Он приходил и уходил, когда ему вздумается, порой устраиваясь для долгой беседы или забегая мимоходом. Он предложил соорудить за ее окном кормушку для птиц и постоянно следил, чтобы в ней был корм. Виктор помог ему сделать основание конструкции, и мальчик что ни день вносил все новые усовершенствования. Джейн часами счастливо и восхищенно наблюдала за суетливой птичьей жизнью под ее окном. «Взгляни,— то и дело восклицала она,— зеленушка... воробышек!»

Арлок помог установить в доме сложную систему внутренней связи, чтобы Джейн могла позвонить, если нуждалась в помощи или соскучилась. Провода тянулись по всем комнатам, вокруг картин, поверх дверных рам. Мы поставили телефонный аппарат и в гончарной мастерской, чтобы Розмари — когда Джейн окончательно обосновалась дома — могла работать с легким сердцем, зная, что ее в любую минуту могут вызвать.

Еще в больнице Джейн получила в подарок от одной из своих приятельниц горшок с цветущим перцем. Она сказала тогда, что ей хотелось бы иметь садик, выращенный ею самой. И мы посадили за окном в общей комнате, где Джейн могла их видеть, несколько огородных растений в мешочках с торфом. К перцу добавились помидоры и вьющиеся бобы. У Джейн снова был свой огород.

Розмари огорчалась, что ей приходится тратить столько времени на домашнюю работу, но хозяйство не могло идти само собой. Она понимала, что Виктору и Джейн нужно побыть вместе, а у нее с дочерью все было выяснено. Однако взаимопонимание между людьми никогда не бывает таким полным, как бы хотелось. И если к тому же и времени остается мало, бывает отчаянно жаль каждой напрасно потраченной минуты. А никто из нас не знал, как мало осталось у Джейн времени.

Глава 8

Кроме физических болей, Джейн мучила неотвязная мысль, которую первым заподозрил Ричард и помог сестре высказать ее. Джейн до сих пор не могла забыть своей обиды и гнева на отца за слова, сказанные ей более десяти лет назад,когда она еще была ребенком.

Они прилетели из Токио в Сан-Франциско, осмотрели достопримечательности города и собирались в Вашингтон. В аэропорту физическая усталость Джейн привела к одному из ее приступов «отсутствия». Вначале она погрузилась в молчание, которое он расценил как проявление знакомых симптомов. Попытка разговорить ее, втянув в приготовления к отъезду и задавая вопросы, на которые она была вынуждена отвечать, не увенчалась успехом. Она стала раздраженно-неприступной: едва что-то мычала ему в ответ и демонстративно отворачивалась, словно стараясь привлечь к себе внимание других пассажиров.

Это его задело. На нее и прежде накатывались такие настроения: в Израиле, после посещения районов боевых действий войны 1967 года, происходивших здесь несколько месяцев назад; в Индии, после прогулки по улицам, ставшим прибежищем для нищих, больных и голодных; в Гонконге, где они заблудились в районе, напоминавшем муравейник, кишевший миллионами обезумевших людей. Но обычно дочери удавалось сдерживать свои чувства. Сейчас же она устроила публичный спектакль и проявила то самое отсутствие самоконтроля, от которого он надеялся излечить ее с помощью этой поездки. Пробиться к ней, когда она впадала в такое состояние, не было никакой возможности. Но он хотел заставить ее осознать, что она причиняла своим поведением и ему, и себе и как

портила удовольствие от путешествия. Он старался внушить дочери, что ей следовало научиться жить в согласии как с самой собой, так и с окружающими. В тот момент Виктору казалось самым важным встряхнуть дочь, вывести из состояния угрюмого сопротивления, в которое она впала и в котором находилась перед путешествием.

В самолете Джейн не могла сразу застегнуть ремень безопасности.

— Дай я тебе помогу, — сказал, наклоняясь к ней, Виктор.

— Оставь меня в покое! — почти закричала она.

Это было последней каплей. Он огрызнулся:

— Если ты будешь и дальше вести себя так, Джейн, у тебя никогда не будет друзей. Ты пойдешь по жизни совсем одна. А если и появятся какие-то приятели, ты не сумеешь их удержать.

Она не сказала ни слова и отвернулась к окну. Наблюдая за ней краешком глаза, Виктор заметил текущую по щеке дочери слезинку.

Они не говорили об этом случае, но, вернувшись домой, Джейн рассказала о нем матери, и Розмари яростно накинулась на мужа. «Как ты мог сказать ей такую чудовищную вещь? Она и так неуравновешенна. Она никогда этого не забудет. Никогда не простит тебе».

Так оно и вышло. То была одна из тем, которые следовало разобрать, но Джейн упорно избегала ее.

Виктор стал искать, как затронуть нужную тему. Несколько раз он собирался завести с дочерью разговор, но каждый раз останавливался. Наконец без всякого предупреждения, начал:

— Насчет того дня в Сан-Франциско...

Она сразу же поняла, что отец имел в виду, и попыталась облегчить ему задачу:

— Да, папа, по-моему, мы оба вели себя довольно гнусно.

Отец начал оправдываться:

— Знаешь, Джейн, я не хотел быть скотиной. Мне казалось, что я пытаюсь тебе помочь. — И принялся объяснять ей мотивы, которыми руководствовался. Его действительно беспокоило ее будущее, тревожило, сумеет ли она привлечь к себе друзей, построить собственную жизнь.

Джейн не стала ходить вокруг да около.

— Мне было очень больно, папа. Мне до сих пор больно. Я выхожу из себя, как только вспоминаю об этом.

— Прости меня, Джейн. Что я еще могу сказать?

Однако ей было мало извинения.

— Так что, ты и сейчас считаешь, что был прав?

Теперь он знал, что ей сказать. Он напомнил о друзьях, приобретенных ею в университете, о молодых людях, которых она любила и которые, в свою очередь, любили ее, о детях, так привязавшихся к ней, когда она их учила.

— Конечно же, я был не прав, — добавил он. — Но тогда я этого не знал.

Казалось, именно это нужно было, чтобы Джейн успокоилась, — отец признал допущенную им несправедливость. Она не хотела, чтобы он чувствовал себя виноватым, и заговорила о своей задиристой манере вести себя в бытность подростком: «Я понимаю, как, должно быть, испытывала твое терпение».

Потом они вспоминали другие случаи и проблемы, возникавшие между ними. Людские страдания, увиденные Джейн в Азии, усилили ее радикализм, и, вернувшись в Англию, она с еще большей активностью включилась в политические движения конца 60-х годов, заигрывавшие с коммунистическими и маоистскими идеями. Дома она вкладывала весь пыл шестнадцатилетнего подростка в политические споры с отцом, обычно начинавшиеся достаточно спокойно, но редко кончавшиеся без желчных выпадов. Отец обращался с дочерью как с интеллектуальной ровней, отвечая на каждый приведенный аргумент контраргументом и требуя, чтобы она тоже подкрепляла свои утверждения убедительными доказательствами. Розмари просила его помягче обходиться с Джейн. Однако он с легкостью находил доказательства в защиту собственных высказываний и не давал Джейн пощады, когда она терялась в споре.

В ту пору Ричард, он был на два года старше, находился в Гарварде и активнейшим образом участвовал в студенческом движении протеста

против вьетнамской войны. Его отношения с отцом оставались хорошими — возможно, потому, что он был далеко от дома. Он просил отца обращаться с Джейн бережнее. «Дай ей победить тебя в некоторых из ваших споров, — писал он. — Ей нужна вера в свою правоту».

Было, однако, уже слишком поздно. Джейн больше не спорила с отцом о политике, а если он пытался затронуть эту тему, отмалчивалась. Между ними возник барьер, который не исчезал, даже когда они беседовали о других вещах. Из их отношений исчезли прежняя близость и яростная страсть недавних дискуссий. Оба держали себя в рамках — или старались держать, — поскольку понимали, что любой новый спор способен привести к полному краху и без того серьезно разладившиеся отношения, чего обоим хотелось избежать. Состояние холодной сдержанности длилось более года.

Несколько потеплели их отношения, лишь когда Джейн поступила в университет. Через год Джейн разочаровалась в политической деятельности студентов и в политике вообще. Но мировоззрение Джейн не менялось, она не отказывалась от убеждения в том, что большая часть человечества страдает от несправедливости, никогда не сбрасывала с себя тягостного чувства вины, овладевшего ею во время той поездки с отцом.

С тех пор они никогда не говорили о своих разногласиях и не признавались в том, что, возможно, ошибались оба. Но больнее всего ранило Джейн мнение Виктора о мотивах ее позиции. Ее воспоминания об их дискуссиях отличались от тех, какие сохранились в памяти отца. Она считала, что он обвинял ее в поддержке насильственных способов борьбы со злом в мире, в том, что ее теории и политические концепции были ей дороже, чем люди, чье дело она претендовала защищать. Он поставил под сомнение ее честность, высмеял ее идеалы.

Виктор пришел в ужас, узнав об обиде, которую она носила в душе все эти годы. Теперь он понял, почему их примирение никогда не выглядело полным, почему в их отношениях отсутствовали глубина и теплота, которых он так жаждал. Неужели он и правда был таким бесчувственным? Сначала он хотел убедить дочь, что вовсе не намеревался так обойтись с ней, что она, очевидно, неправильно его поняла. Но правда ли это и вообще уместно ли приводить подобный аргумент? Важнее было другое: теперь он знал, что ее ценности были истинными, что она была честной и искренней, и он мог заверить ее в этом без малейших угрызений совести.

Виктор не ограничился пустыми уверениями. Он вспомнил, как однажды в Индии дочь вернулась в их роскошный отель настолько потрясенная увиденной на улицах нищетой, что не могла проглотить и куска пищи.

— Но ты ведь заставил меня есть, разве ты не помнишь? — прервала она отца.

— Я помню только нашу ссору. Ты была так расстроена, что несколько дней отказывалась выходить на улицу, а когда все же вышла, то возвратилась такой возмущенной, что мы снова поссорились.

Она вернулась в отель в бешенстве и угостила его подробным описанием нищеты и страданий, представших ее глазам в тот день. Рассказ свой она завершила убийственными нападками на капиталистическую систему, допускавшую подобное положение вещей. Джейн не пыталась проанализировать эту систему или что-либо предложить для преодоления ее пороков. «Специалист в области политики — ты, а не я», — с издевкой добавила она.

Затем скептически выслушала предлагаемое отцом решение: мир, в котором Соединенные Штаты, Россия и Китай объединили бы свои силы с Европой и Японией, чтобы помочь остальной части человечества достичь сносного уровня жизни. Гонку вооружений должно заменить сотрудничество между передовыми странами для помощи странам, менее щедро наделенным природными богатствами. Грядущий золотой век должен принести всему роду человеческому блага, которыми прежде пользовались отдельные нации и цивилизации, когда переживали свой золотой век.

— Чепуха! — вспыхнула Джейн. — Ты когда-нибудь давал себе труд задуматься о судьбе рабов во времена римского золотого века? Или о бо-

лезнях, голоде и нищете, терзавших простых людей в эпоху Возрождения?

— Тогда не было современной техники,— слабо защищался Виктор.

— Ты имеешь в виду такую технику, какую американцы применяют во Вьетнаме? — насмешливо осведомилась Джейн.

Он заговорил о мечах, перекованных на орала. В ответ дочь обвинила его в банальности. Почему же, спрашивала она отца, если его действительно так уж заботит участь людей, которых они видели на улицах городов и в деревнях Индии, он никогда ничего не писал о проблемах слаборазвитых стран?

— Это не моя тема,— отпарировал Виктор,— но кто знает, я, быть может, еще что-нибудь напишу. Да, полагаю, мне следует это сделать.

Она смягчилась:

— Обещаешь?

— Да.

Когда сейчас они вспоминали тот десятилетней давности разговор, Джейн напомнила отцу о его обещании, и он назвал ряд статей, написанных им с тех пор.

— Пожалуй, если бы не ты, я бы вряд ли их написал. Сейчас я рад, что ты на меня тогда навалилась.

До чего же несвойственны были Виктору такие речи: он не имел привычки каяться. Только бы дочь не подумала, что он говорит это потому, что она умирает.

— Я говорю совершенно серьезно, Джейн.

— И о золотом веке говорил тоже серьезно?

— Ну, конечно.

— Но об этом ты не писал.

— Для этого еще не пришло время,— ответил отец.— Никто бы не принял меня всерьез, если бы я это написал. Но рано или поздно...

— Вот так ты говорил и в Нью-Дели, папа. Ты твердил мне, что все идет к тому, что это случится через десяток лет или лет через двадцать — сорок. Ты что, не помнишь?

— Нет.

— Было еще что-то, что ты сказал, папа.— Она явно старалась напомнить ему что-то.

— Что именно, Джейн?

— Ты добавил: «Я, быть может, до этого не доживу, но ты-то доживешь».

Наступила неловкая пауза. Виктор отозвался:

— Я и этого не помню.

— Сейчас как будто непохоже, что я тебя переживу?

Растерянность отразилась на лице отца.

— Не огорчайся, папа. Полагаю, я справлюсь. А если я смогу с этим справиться, значит, сможешь и ты. У меня было достаточно времени, чтобы свыкнуться с этой мыслью. В больнице я почти все время думала об этом. Вернее, когда мне было тяжело. То есть тогда, когда я не могла с тобой разговаривать.

— Все в порядке, Джейн, теперь все в порядке,— машинально повторял отец, как твердят ребенку, когда он ушибся.— Все в порядке.

— Знаю, тебе тоже было тяжело.— Джейн не извинялась, она объясняла. Но эти слова сгладили душевную боль, которую отец продолжал испытывать, вспоминая недели отчужденности.

Он заметил, что вряд ли нашлось бы много людей, способных воспринять слова Салливана, как она. «Уверен, что я бы не смог». Как она могла принять приговор без возражений, так спокойно, так естественно?

— Потому, что смерть естественна.

Виктор не считал это естественным — во всяком случае, для человека ее возраста, но не осмелился сказать это вслух. Он спросил лишь:

— Что ты понимаешь под «естественным»?

— По-моему, можно рассматривать эту проблему с двух сторон — в смысле географическом и в смысле историческом.

— У тебя, значит, на этот счет есть своя философия?

— Не знаю, можно ли это так назвать. В больнице я рассматривала эту проблему. И рассуждала я так: взгляните на меня, Джейн, лежащую в этой постели — в этой именно точке земного шара, в городе с семимиллионным населением,— и каждый день, каждый час, быть может, каждую минуту кто-то здесь, в Лондоне, умирает. А Лондон расположен в Англии, где проживает пятьдесят миллионов человек, которые все рано или поздно умрут. Англия же составляет всего лишь крохотную частицу мира, населенного четырьмя миллиардами человек. Это значит, что в это время во всем мире непрерывно умирают, очевидно, миллионы людей, причем сейчас, в эту самую минуту, их число достигает нескольких тысяч. И что же я такое, в этом географическом смысле, как не простая песчинка? Так почему же моя смерть должна быть чем-то страшным, чем-то, с чем трудно примириться? Почему она должна быть более неприемлемой, чем смерть всех других людей? Что во мне такого особенного?

— Да, это достаточно логично. Однако ясно и то, что я боюсь смерти, а ты не боишься.

— Ох, я тоже сначала боялась. Но у меня было много времени, чтобы все обдумать. Все эти месяцы. Мне было известно, что шансов у меня довольно мало. Случались моменты, когда я говорила себе: «Лучше бы мне умереть поскорее, сейчас, чем жить так, как я живу». Бывали и другие времена, когда я была готова предпринять что угодно, примириться с самым худшим, что могли сделать со мной химиотерапия или облучение,— со рвотами, судорогами, выпадением волос, со всем, лишь бы у меня оставался хоть какой-то шанс. Страх больше всего мучил меня по ночам. Днем, когда вокруг были люди, легче было оставаться спокойной. Ночью же, когда все уходили и я оставалась одна, я чувствовала себя такой измученной, что страстно желала заснуть, забыться. Но не могла. Лишь только я пыталась уснуть, как страх во мне вспыхивал с такой силой, что я была не в силах уснуть. Я могла думать только о раковых клетках, которые носятся вокруг моего тела или, что было еще хуже, отыскивают новые места в моем организме, проникают в него, делятся, растут. И пожирают здоровые части тела.

— Мне думается, я знаю, что ты чувствовала. Помнишь тот случай, когда врач в первый раз сказал мне, что у меня грудная жаба? Я пришел тогда домой, и мы сидели на террасе, глядя на заходившее солнце. Я не сразу собрался с духом сообщить тебе и маме, что он мне сказал, и обе вы были ко мне так добры и ласковы и всячески успокаивали меня. А я просто сидел и не мог ничего больше из себя выжать.

— Ты держался очень мужественно, папа, я хорошо помню. Быть может, мне это передалось от тебя.

Всю эту неделю к Джейн приезжали друзья из Лондона. Они вспоминали прошлое, готовили ее любимые вегетарианские блюда. Диагноз доктора Салливана они знали, но Джейн отнеслась к нему спокойно, и эти дни по-доброму запомнились всем.

Каждому, кому она была дорога, Джейн хотела оставить на память о себе что-нибудь не только приятное, но и полезное. И она стала подбирать, что кому подойдет. Книги, кружки, домашняя утварь — все, что она старательно выбирала и покупала на свои сбережения или получала в подарок, останется у тех, кого она любила. Иногда, не найдя для кого-то ничего подходящего, она просила мать что-нибудь купить. Составляла с помощью Розмари списки, кому что подарить.

— Я задаю тебе столько хлопот,— порой говорила Джейн.— Все это мне надо бы сделать самой.

На это мать отвечала:

— Сейчас, когда ты еще с нами, делать покупки легче, а потом у меня, наверное, не хватило бы сил.

Иногда мать и дочь вместе плакали — расставание было неизбежным. Порой Розмари объясняла дочери, почему они ее никогда не забудут, всегда будут о ней помнить.

В их жизни она занимает так много места — как же им ее забыть? Тело ее умрет, но любовь к ней останется, и в этом смысле она будет по-прежнему жить; будет с ними. Как могут они забыть то, что узнали от нее? После нее останется так много вещей, сделанных ее руками,— предметов обихода и просто красивых вещей, которые будут напоминать о ней.

— Терять дочь очень горько,— говорила Розмари.— Одна русская

женщина, Анна Ахматова, мужа и сына которой посадили в тюрьму, написала в своей поэме:

Нет, это не я, это кто-то другой страдает,
Я бы так не могла...

Вот такое и у меня чувство. Но мне придется вынести свою утрату, и я знаю, что вынесу.

Джейн несколько раз выражала желание, чтобы родители усыновили какого-нибудь малыша, может быть, из развивающейся страны.

Когда Джейн заболела, мать и дочь в своих разговорах не допускали мысли о смерти. И однажды Розмари рассказала свой сон: «Он был таким счастливым, и все было как в жизни. Я умерла, и похоронили меня под дорожкой, что ведет к порогу дома, — сама бы я это место не выбрала. Солнце нагрело камни, и я это чувствовала. Очень счастливый сон». Тогда еще Розмари, смеясь, добавила:

— Когда я умру, на всякий случай ходи по этому месту осторожно!

Теперь бы она уже так не пошутила. Мать знала, что Джейн умрет раньше и никогда больше не пройдет к дому.

Но сама больная говорила о своей смерти просто, как о событии, которое должно произойти.

— Когда я умру, не зарывайте меня в землю, — вдруг сказала она, словно обсуждая фасон платья или стрижку. Джейн волновало, как распорядятся ее телом. — Я всегда жутко боялась, что меня похоронят заживо, — продолжала она. — Это — один из моих ночных кошмаров. Ты, мам, устроишь, чтобы меня кремировали?

— Конечно. Многие люди боятся того же. Обычная история. А пепел рассеять по саду?

— М-м-да. И над прудом, и над ручьем. — Джейн откинулась на подушки и закрыла глаза. В тишине вечера обе слышали журчание ручья.

Боли все усиливались, и становилось ясно, что Джейн уже не встанет. Даже в ванную комнату добраться без помощи других стало ей трудно. Ноги не слушались, Джейн их еле переставляла. Сигналы мозга уже не доходили до конечностей, и ноги под тяжестью тела подкашивались. Садиться на стульчак в туалете стало мукой. Мать с отцом помогали ей, она же кричала: «За что вам такие мучения?!»

Однажды Розмари отнесла измученное тело дочери в постель, где ей не стало легче. Мать знала, что Джейн никогда больше не попытается встать с постели, — и у нее уже нет сил бороться. Розмари позвонила доктору Салливану, и через двадцать минут он входил в комнату больной.

— Мы тебе поможем, не старайся управляться сама.

Сейчас приедут нянечки. Они поправят постель, вымоют Джейн, будут подавать ей судно.

— Джейн должна как можно скорее перебраться в хоспис, — сказал доктор Салливан. — Я позабочусь, чтобы все бумаги оформили побыстрее.

Решение было принято, споры прекратились. Все стало ясно.

Доктор Меррей, дежуривший в хосписе, услышав от Салливана про мучения Джейн, сразу же принял решение. Больную терзали боли, и помощь требовалась сейчас же, в хосписе готовы принять ее немедленно.

Не теряя надежды, что Джейн еще немного поживет, Виктор и Ричард отправились в хоспис посмотреть, что это такое.

Джейн с матерью терпеливо ждали возвращения мужчин — просто сидели рядом. Обе смотрели на бесконечную суету птиц возле кормушки: птахи присаживались, беспокойно клевали корм и улетали. Слабые неизменно уступали место сильным, потом возвращались и тоже кормились.

...Ричард и Виктор с шумом вошли в комнату — и показалось, вещи от избытка их энергии вздрогнули.

— Этот хоспис — замечательное место, — сказал Виктор. — На больницу совсем не похоже, ну, как обыкновенный дом.

— А врач этот — прямо блеск, и сестры превосходные! — перебил отца Ричард. — И они поговорили с нами, разговор был общим. Для Джейн приготовят отдельную комнату. За окном прикреплена кормушка для птиц. И что главное — там есть комната для посетителей, в ней даже можно остаться на ночь.

Джейн с Розмари переглянулись, как бы говоря друг другу: «Как легко в них вселяется надежда», — но вслух Джейн сказала:

— А мне, видно, уж давно пора принять лекарство.

Оставшись с мужем наедине, Розмари расспросила его о хосписе более подробно. Но его восхищение было искренним.

— Дежурный врач заверил, что сможет снять у Джейн боли, хотя на это и потребуется некоторое время. Он хотел знать про Джейн решительно все. Я сказал ему, что в больнице врачи запретили нам говорить ей о приближающемся конце, но он целиком принял нашу сторону. Ни минуты не сомневаюсь — мы поступаем правильно. Пожелай мы, они бы приняли ее сегодня же вечером, а если завтра, то она сразу вселится в приготовленную для нее комнату.

Виктор подал Розмари несколько листочков:

— Список вещей, которые Джейн надо взять с собой.

Розмари стала читать: «Мы рады приветствовать вас» — начало неплохое. И продолжала читать вслух:

— Ночная рубашка, зубная щетка, расческа, карманное зеркальце и т. д., платья — они ей больше не нужны. Как и блокнот, ручка, шлепанцы, халат... — Розмари замолчала...

— Там настаивали, что все это надо принести, — сказал Виктор. — В хосписе всячески стараются, чтобы пациент чувствовал себя как дома. У них тепло и уютно. И много современного оборудования, чтобы персоналу было легче...

Прежде чем доверить хоспису свою дочь, Виктор с присущей ему тщательностью разузнал решительно все. Основан хоспис был на частные пожертвования и средства Национального общества помощи больным раком, остальное добавили из местного бюджета. В дальнейшем хоспис передали под управление Государственной службы здравоохранения, которая бесплатно обслуживает всех нуждающихся. Во всей Англии таких хосписов было всего полдюжины. К счастью, мы жили недалеко от одного из них. Но официально Дэри-коттедж лежал за пределами его территории. Правда, в случае крайней необходимости доктор Меррей имел право делать исключение. Частные хосписы, как приют Святого Кристофера, совершенно независимы и обычно отделены от больниц. Основанные Национальным обществом помощи больным раком, хосписы создаются на территории уже работающих больниц и могут пользоваться всем, чем они располагают. Кроме того, всегда можно поместить пациента в стационар, если в дальнейшем требуется уже другое лечение.

Поздно вечером Джейн понадобилась утка. В лучшие времена сосуд, который принесла районная медсестра, очень бы их всех рассмешил. То была большая высокая конструкция, и на сиденье готическим шрифтом было написано, что для удобства больного края лучше покрыть теплой фланелью. Современную утку можно подсунуть под лежачего больного, но тут Джейн должна была сесть прямо. Мать и отец с трудом усадили дочь. Каждое движение причиняло ей боль. Она неловко сидела, опираясь на плечи родителей, лицо ее искажала мука.

— Ничего не получается, мама.

Дочь тужилась, но зря, и мы уложили ее обратно.

Доктора Салливана дома не оказалось — он отправился этим вечером на какое-то собрание. Джейн собралась с силами.

— Давайте попробуем еще раз.

И чудо свершилось. Измотанные, мы стали устраиваться на ночь.

Джейн уже не могла сама нажать кнопку звонка. Ей помогала только чья-то рука, подложенная снизу. Рука здорового человека — неважно кого — вливала в нее животворное тепло человеческого прикосновения, так для нее необходимого.

Розмари постелила себе в комнате дочери. Джейн дали на ночь снотворного. Собрались засыпать.

В дверь просунулась голова Виктора.

— Ты спишь, Джейн?

— Почти.

— Тут доктор. Спрашивает: как ты?

— Ну и человек! Скажи, я в порядке.

Через несколько минут отец вернулся.

— Говорит: будет лучше спать, узнав, как ты себя чувствуешь.

— По-моему, я тоже.

Наутро боли усилились. Пришла районная медсестра, собираясь вымыть больную, но смогла лишь губкой освежить Джейн лицо. Узнав про недавние мучения, медсестра уверенно сказала:

— Об этом, милочка, не беспокойтесь. В хосписе вам дадут катетер. Введут тоненькую трубочку, жидкость будет по ней стекать, и это совсем не больно.

Ровно в девять появился доктор Салливан и сделал Джейн инъекцию, чтобы она смогла безболезненно добраться до хосписа.

Шел уже десятый час, а машина за Джейн все не приезжала. Мы начали волноваться, но дочь вела себя спокойно. Она лежала безучастная ко всему и лишь изредка просила дать ей ложку лекарства. Время тянулось медленно. Напряжение среди нас росло, мы видели, что Джейн как бы переходит в другой мир. Боли мучили ее, но она не страшилась предстоящего. Говорить она не могла и не хотела, чтобы ее беспокоили разговорами. Тихо лежала и смотрела в потолок.

Наконец у калитки хлопнула дверца машины, прибежал Ричард и крикнул:

— Приехали!

Когда санитары, завернув Джейн в красное одеяло, осторожно несли ее вниз по крутой дорожке в машину, молодой санитар нервничал — видно, дело было для него новое. Вокруг пели птицы, но дочь их уже вряд ли слышала. Всего неделю назад, вернувшись из больницы, она сама спускалась по этой дорожке.

Переезд в машине оказался кошмаром. Каждый толчок казался Джейн острым ножом, который вонзали все глубже. Молодой санитар вел автомобиль очень осторожно, совсем медленно. Санитар постарше стоял в ногах больной и просил ехать еще осторожнее. Он пытался отвлечь Джейн непринужденным разговором. Но на лице его проступали сострадание и безнадежность.

Окружающая природа была резким контрастом нашей боли и страху. Раньше она бы Джейн порадовала. На полях лежало свежескошенное сено, в низинах прятались деревушки. Вдоль дороги на откосах цвели маргаритки. Мы проехали мимо старого дома — к дымоходу было прикреплено колесо от повозки. В этом коттедже, подумалось Розмари, люди доживали до старости и здесь умирали, а Джейн никогда не станет старой...

Сначала мы не спешили, но действие инъекции кончалось. Шофер решил ехать побыстрее, и остаток пути превратился для Джейн в настоящую пытку. Когда мы наконец достигли цели, старший санитар сказал:

— Сейчас посмотрим, как там, — и исчез.

В наступившей тишине Джейн четко проговорила:

— Еще одна проклятая больница.

Мужчины вернулись обратно очень быстро.

— Вы, должно быть, человек особый. Постель для вас готова, двери распахнуты, и никакой канители!

В ответ Джейн попыталась улыбнуться.

Мы стояли перед низким, современным, без претензий зданием. Оно располагалось в тихом месте, на самом краю больничной территории, вблизи полей и лесов. Подъезжали сюда только машины хосписа. Неподалеку виднелись домики, построенные во время второй мировой войны. Теперь в них располагались клиники и конторы — каждую обозначала табличка. Все окна хосписа были обращены к зеленеющим полям и деревьям. Казалось, он жил сам по себе, вдали от больничной суеты.

К двери вело несколько ступеней. Быстро, ловко, без лишних движений санитары перенесли через порог носилки, на которых лежала Джейн. Кошмарный переезд кончился.

(Окончание следует).

Перевод с английского Э. БАШИЛОВОЙ, Н. ВЫСОЦКОЙ и И. МАКАРОВОЙ.

●

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

Граница света

* * *

Ночами, такими туманными,
что хочется навести резкость,
проступают казармы с бурым освещением,
в затхлых спальнях которых
раздаются лязг и бряцание,
оттого что кому-то приснился автомат;
проступают больницы,
в приемных покоях которых
землистые больные и их землистые близкие
сидят в ожидании;
проступает тюрьма,
команда которой заняла первое место
в соревнованиях облсовета «Динамо»
по борьбе самбо.
Проступает такое,
чего ты не видел днем.

* * *

В сентябре я с болью вспоминаю
черный отцовский мундштук
с гильзами против никотина.
Никотин оседал в них
липкой коричневой гущей,
завораживающе пахнущей
осенними кострами.
Как отцу удавалось вместить
длинную и широкую, высокую
и глубокую
осень
в эти узкие, цилиндрической формы
гильзы?

* * *

Поздно вечером
в гастрономе
я увидел их всех
сразу и поодиночке.
Электрический лютый свет
обтекал скулы, спитые глаза,
лица хорошо поработавших убийц.
Рядом,
покачиваясь, как водоросли,
стояли на тонких ногах
их полусонные дети;
их некрасивые жены
в масках из пудры и помады
били продавщиц.
Когда кто-нибудь из них
пересекал хрупкую границу света
и срывался во мрак,
мое сердце сжималось,
и я понимал,
что не любить их просто невозможно.

* * *

Пасть собаки
в сантиметре от губ.
Если скажу что-нибудь вслух,
она откусит мне рот.
Собака подрагивает
от нетерпения.
Отмолчаться
или все-таки рискнуть?

Неотправленное

А что касается Николая Георгиевича,
то его уже нет. Умер в декабре.
Ему сделали операцию на глаз, он очень волновался,
так как на другой глаз ему сделали давно и неудачно,
и он прожил три месяца и от сердца умер. Не могу.
Жили интересом. С Нового года начинала собираться
к поездке в Полтаву. Приезжали — все свободное время только мне.
Гуляли целый день. Вместе обедали в облисполкомовской столовой.
Накупит подарков целый воз. А в последний раз лето было дождливое,
так мы встречались на переговорной станции. Как будто вызова ждали,
а сами смеялись исподтишка. Преданный,
даже с собой в дорогу колбасу давал, докторскую. После операции
не мог писать сам, так диктовал внуку,
внук же и мои читал.
С тех пор
не езжу в Полтаву.
С тех пор
ничего себе не покупаю, ни на грош
из одежды.

Она сидит, сжав авторучку. Ей зябко.
Ей не понадобится конверт
и загодя купленная марка.

* * *

К-ов готовился к поездке
в Германию несколько лет.
По приезде
он пришел в полицейский участок
просить политического убежища.
Однако,
услышав немецкую речь,
вышел вон
с металлическим привкусом
во рту.

* * *

Эти щуплые муравьи
в лондонском парке,
похожие на интернатских детей
шароварами и выпученными животами,
узнают меня
и с надеждой окликают,
загибая окончания
имени и отчества
по-украински.

Стратегия

Удары следует наносить
в разных направлениях.
Зоны такие:
печень,
почки,
сердце.
Вдруг печень выдюжит,
почки не подкачают,
тогда, может, сердце.
Но печень держать
в перманентном шоке:
пусть себе плавает,
то в белом,
то в красном.
Почки же —
пивом.
Сердце —
спиртом.
И все одновременно.
Что-то да сдаст.
Главное —
не падать духом.

* * *

Еще молодой Пастернак,
Еще молодой Маяковский
На снимке журнальном. На доски
Был брошен журнал. О, как просто
Расстаться с тобою. В известке
Обуглился угол. Под Босха
Сработана жизнь. Нет. Как хлестки
Слова твои. Вздор. Не под Босха —
Под Хичкока. Плавится лак
Ногтей. Нет. Не верьте. Под Господа
Сработана. Каждый пустяк
Царапает память: полоска,
Что вместо закладки, обшлаг
Весь в пуговках бисерных. Как
Хлестки слова. И подростком
Ты больше не будешь. Не просто
Расстаться с тобою. Итак:
Массив недостроен. На доски
Был брошен пиджак. Маяковский.
От сварки холодные блестки
Сводили с ума. На пиджак
Был брошен журнал. С перекрестка,
Еще молодой, отголоски
Клаксонов летели. Костяк
Железобетонный. Как рак,
Бульдозер попятился. Блестки.
Еще молодой. Снова блестки
Холодной дугой. Пастернак.

* * *

Сыну

Между ног у нее ракушка,
а в ракушке — мартышка,
а в мартышке — подмышка,
а в подмышке
душно,
тошно,
страшно.

* * *

Вот так живешь
и чувствуешь:
почему-то лучше.
А почему?
Ведь вроде и нет.
И вдруг замечаешь:
больше не страшно
снять трубку.
Сквозь специфический шум
больше никто не скажет:
— Икса арестовали.
Может, кто-то
смысла жизни лишился,
но только не я.

* * *

Когда приходит она,
жалею,
что недостаточно
стары.
Кажется, что тогда
отчетливее
шелестели бы шторы,
гуще

была бы пыль,
толстокожее
виноград.

* * *

А. П.

Толстой и Леонтьев:
поэт и непоэт.
Один презирает поезда и прогресс.
Другой строит роман
на приближении поезда.
Критерий поэта:
можно ли вставить в строку?

Интеллигента,
ругающего интеллигенцию, —
можно.
Телевидение — можно:
пусть сверкает в стихе,
как перстень
с фальшивым камнем.

* * *

Задачу выполнил:
писал стихи,
которые не запомнят наизусть;
стихи, про которые говорят:
— А с чего ты взял, что это стихи?
Стихи, которые не нравятся.
Сейчас сказали:
— Стихи твои мне не нравятся.
Почему же не радуюсь?

●

А. И. ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Неизвестные страницы известных исторических событий

Генерал-лейтенант старой армии Антон Иванович Деникин, чей труд мы публикуем...

— Постойте, постойте! Уж не тот ли это Деникин, который воевал с нами? — спросит удивленный читатель. — Это белый генерал, в девятнадцатом шел на Москву, взял Орел, приближался к Туле? Который хотел свергнуть Советскую власть, правительство Ленина, вернуть помещиков, капиталистов, вновь посадить царя?

— Правильно. И не только это. Ленин говорил, что если Деникин победит, каждый коммунист станет реальным кандидатом на виселицу.

— Только Деникина нам сейчас не хватает, — продолжит в сердцах читатель.

— Успокойтесь, успокойтесь, разберем все по порядку.

Чтобы познать историю России такой, какой она была на самом деле, во всей ее сложности и противоречивости, светлости и трагичности, во всей палитре красок, надо показать все силы исторического процесса, всех лиц, делавших историю.

В наше время особое значение приобретает историческая правда об Октябрьской революции и гражданской войне. Кризисные явления сегодняшнего дня требуют изучения и осмысления не только состояния современного общества, но и той исторической обстановки, когда советское общество только рождалось. Ибо есть известные закономерности общественного развития в переходные, переломные моменты.

«Великие потрясения, — пишет «военный интеллигент», как нередко называли Деникина, — не проходят без поражения морального облика народа». Увы, слова эти во многом справедливы и сегодня...

Об этих потрясениях, о духовной жизни народа эпохи Октябрьской революции и гражданской войны мы знаем главным образом по нашей официальной литературе. Но известно, что в ней прежде всего и больше всего освещается одна сторона истории: революционеры-большевики, их идеи, дела, *их видение* истории. Противники изображаются штрихами и чаще всего односторонне, примитивно, только в отрицательном плане. Но жизнь сложнее. История требует всестороннего описания и раскрытия событий.

Одним из самых ярких представителей людей, стоявших по ту сторону баррикады, был генерал Деникин (1872—1947). Он активный деятель другой стороны, вождь «белого дела» и одновременно блестящий летописец старой России. Свои мысли и дела он изложил в пяти томах воспоминаний «Очерки русской смуты». Написаны они в эмиграции. Первый том вышел в Париже в 1921 г., последний — в 1926 г. в Берлине.

«Очерки» — это военно-политическая эпопея России эпохи двух последних революций и гражданской войны, это видение нашей страны глазами наблюдательного, крупного знатока военного дела, разбирающегося в политике, дворянина с полукадетским, полумонархическим настроем. Они блестяще написаны и читаются как исторический роман. Одновременно «Очерки» очень документированы. В них приводятся подлинные приказы, донесения, воззвания, дневниковые записи воинских частей, частные письма. Широко использованы газеты того времени. Автор цитирует работы Ленина, Троцкого, Керенского, Мартова, Савинкова, Станкевича, Милюкова и многих других русских и иностранных авторов. «Очерки русской смуты» — это одновременно и ретроспективный взгляд на недалекое прошлое, это подведение итогов, извлечение исторического опыта

из кровавой междоусобной борьбы, это переоценка многих ценностей, это, наконец, своеобразное завещание потомкам.

Две книги первого тома внимательно прочитал Ленин, сделав на них множество пометок. Читать плохие книги у большевистского лидера не было времени.

Деникин дважды сильно озадачил большевиков. Первый раз летом 1919 г., когда предпринял поход на Москву, о чем выше говорилось. Второй раз в 1943 году. В обоих случаях его действия рассматривались на заседаниях Политбюро правящей Коммунистической партии. Вначале в присутствии Ленина, затем — Сталина. В 1919 г. от Деникина спасали Советскую Россию, в 1943 г. Деникин спасал Россию.

В тяжелейший период войны с фашистской Германией, когда все было на строжайшем учете, от патрона до перевязочного бинта, Деникин послал на свою родину вагон медикаментов для Красной Армии. Сталин оказался в большом затруднении: что сказать народу? Решили: медикаменты принять, народу не сообщать. Так и сделали. Тайну раскрыли архивные документы.

Известно, что Гитлер предлагал Деникину сотрудничество с Германией, но он решительно отверг это предложение. Когда в 1940 г. немцы вошли в Париж, русский генерал переехал в не оккупированный противником город Бордо. Он неоднократно и резко выступал против политики Гитлера, называл его злейшим врагом России и русского народа, призывал к поддержке Красной Армии, которая «отстоит русскую землю, а затем повернет штыки против большевиков».

Антон Деникин не смирился с Советской властью, коммунистами, но он до конца жизни оставался патриотом России. Любил ее даже «распятой». Таковой, по его словам, она стала после двух революций. Часто повторял: «Я борюсь за Россию, а не за революцию». Генерал строго относился к народу, но не проклинал его даже тогда, когда он пошел за большевиками. Партии приходят и уходят, Родина, народ всегда остаются, рассуждал Деникин.

Добавим к биографическим данным автора «Очерков русской смуты», которые содержатся в его труде (отец — крепостной крестьянин, затем рекрут-солдат, наконец офицер. Сам Деникин — участник русско-японской войны), еще некоторые сведения. Он окончил Киевское пехотное юнкерское училище, затем Академию Генерального штаба. В первую мировую войну, до Февральской революции, состоял в должностях командира бригады, начальника дивизии, командира корпуса. С 5 апреля 1917 г. Деникин — начальник штаба Верховного Главнокомандующего генерала Алексеева, с июля — главнокомандующий Юго-Западным фронтом. В начале сентября 1917 г. был арестован как активный корниловец.

Отличительной чертой «Очерков русской смуты» является то, что их автор все события в России рассматривает через призму войны, жизнь и боевые действия армии. Но поскольку армия является частью народа, государства (генерал это неоднократно подчеркивает), то он обстоятельно повествует о революциях, правительствах, общественных организациях, в частности Советах, о партиях, политических деятелях. И делает это вдумчиво, обстоятельно, проявляя большую наблюдательность, проникновение в суть событий.

Мне представляется, что именно эта сторона труда наиболее ценна для читателя журнала, ибо больше всего созвучна нашей эпохе. В самом деле, разве сейчас не приобретают особого значения вопросы, которые в той или иной мере, прямо или косвенно поставлены в «Очерках»: существовал ли для России в 1917 г. другой путь, кроме двух революций? При каких условиях возникают диктаторские режимы, как соотносятся в обществе диктатура и демократия? Почему после Февральской революции существовала многопартийная система власти, а после Октябрьской — однопартийная? Была ли неотвратима гражданская война в России, кто ее виновник, почему она явилась такой длительной и жестокой? Когда вообще возникают гражданские войны и можно ли их избегнуть? Как уменьшить моральные издержки людей при «великих потрясениях»? Какой урок можно извлечь из междоусобной борьбы? Все это вопросы большой политики.

Разумеется, в «Очерках русской смуты» мы не найдем полного ответа на эти вопросы. Да его и не может быть. Встретим в них много спорного и противоречивого. Но и это хорошо. Порассуждаем вместе. Можно, наверное, обвинить Деникина в неквалифицированном рассмотрении исторического процесса, как это сделал Ленин, написав на полях книги: «Автор «подходит» к классовой борьбе, как слепой щенок». Но достаточно ли этого? Лучше сесть со вчерашним врагом за один стол и поговорить. Есть о чем. У нас общий предмет спора — Родина, ее судьба.

Что касается политических взглядов самого автора «Очерков русской смуты», то можно сказать так: он не кадет, но близок к ним. С кадетами его роднит стремление создать сильную государственную власть. Но кадеты за буржуазную республику, Деникин — за военную диктатуру, за крепкую единоличную власть. Он за «единую и неделимую» Россию, хотя и не монархист, но в душе сочувствует им. Деникин — решительный противник советской системы правления, независимо от того, кто стоит во главе ее: эсеры, меньшевики или большевики. Генералу антипатичен слабовольный, по его понятиям, Керенский, «лебезивший» перед Советами, одергивавший высших офицеров. Антипатичны ему эсеры и меньшевики, развалившие армию и страну.

Деникин убежден, что без мощных вооруженных сил нет и не может быть великой России. Армия решает судьбу страны как у себя дома, так и на международной арене. Только победа в войне с немцами сделает Россию сильной и независимой. Армия должна стоять вне политики. Она зиждется на строгой дисциплине, на твердом единоначалии. Путь армии — это путь народа. Армия «отражает в себе все недостатки и достоинства народа». Таково военное кредо Деникина. Оно отражало взгляд подавляющего большинства старого генералитета.

Самым трагическим событием для армии, а значит, и для всей страны Деникин считает издание Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов сразу же после Февральской революции (1 марта 1917 г.) Приказа № 1. В нем говорилось о переходе фактической военной власти к солдатским комитетам, о выборности командного состава, о смене солдатами начальников. Приказ, получивший широкую и печальную известность, дал «первый и главный толчок к развалу армии»,— пишет Деникин. Но это был субъективный фактор, и автор «Очерков» это понимает. Он идет дальше, видит больше и формулирует две объективные социально-политические и духовные причины, оказавшие решающее влияние на армию. Одна: противопоставление в ней барина мужику, офицера солдату. Вторая: крестьянские массы, составляющие основу армии, страдали «невежеством, инертностью и слабой волей к сопротивлению, к борьбе с порабощением, откуда бы оно ни исходило,— от вековой традиционной власти или от внезапно появившихся псевдонимов».

Автор «Очерков русской смуты» отмечает, что Февральская революция, свергнувшая царя, была с восторгом принята всем народом, ибо дала ему свободу, посеяла светлые надежды у «опьянелой толпы». Но одновременно он указывает на кровавые расправы с офицерами, предостерегает от оптимизма, считает, что именно с этого времени началось в народе и армии моральное падение. Деникин — решительный противник революционных действий.

Не случайно поворотным пунктом в развивавшейся российской революции Деникин видит события в Петрограде 3—4 июля 1917 г., когда, по его словам, анархисты и большевики подняли кровавое восстание, когда ушел глава буржуазного правительства князь Львов и образовалось новое коалиционное правительство Керенского, в котором социалисты получили большинство. Новая коалиция не была жизненной: буржуазия, фактически отстраненная от власти, не могла примириться с социалистами. Она стала искать выхода в установлении военной диктатуры. Такова логика рассуждений автора «Очерков русской смуты».

«Я категорически утверждаю,— продолжает Деникин,— что в известных мне общественных и военных кругах, в которых возникло движение в пользу диктатуры, оно было вызвано высоким патриотизмом и ясным, жгучим сознанием той бездонной пропасти, в которую бешено катился русский народ. Но ни в малейшей степени не вызывалось стремлением к реакции и контрреволюции». Оставим это заверение на совести автора.

В подтверждение своей оценки общественной обстановки в стране в середине 1917 г. Деникин приводит слова министра-председателя Временного правительства социалиста Керенского: «Военный разгром (имеется в виду провал наступления русских войск на фронте в конце июня 1917 г.— **Л. С.**)... создал на почве оскорбленного национального самолюбия сочувствующую заговорам среду, а большевистское восстание (3—5 июля) вскрыло для непосвященных глубину распада демократии, бессилие революции против анархии и силу меньшинства (имеются в виду большевики.— **Л. С.**), действующего организованно и внезапно».

Интересно отметить, что Деникин приводит из книги Керенского «Дело Корнилова» и слова о том, что казаки и некоторые общественные деятели предлагали главе Временного правительства заменить бессильную власть личной диктатурой. И только тогда, когда люди разочаровались в Керенском, начались поиски нового человека для установления сильной власти.

Да, Керенский боролся как против диктатуры справа, то есть буржуазно-помещичье-военной, так и слева — диктатуры пролетариата, носителями которой являлись большевики. Александр Керенский действительно был «первым тенором» всенародной Февральской революции, человеком страстным, увлеченным, по-своему честным, но поставленным историей в трагическое положение. Им многие были недовольны, его били с двух сторон: с одной — деятели буржуазии, военные, как Деникин, с другой — большевики, Ленин. Били его за то, что он пытался проводить третий путь, путь народно-социалистической демократии. Но в условиях острейшей классовой и национальной борьбы, начавшейся с июля 1917 г. гражданской войны, когда один класс навязывал свою волю другому силой оружия, «третий путь» общественного развития, о котором мечтал Керенский, был обречен на поражение. Но, повторяю, именно Керенский в то время

воплощал народную демократию, Деникин же и большевики — путь диктатуры. Это были антиподы.

В обстановке развала страны (отделилась Польша, требовала самостоятельности Финляндия, автономии — Украина; катастрофическим становилось экономическое положение, подталкивающее развитие политических страстей; рабочие решительнее выступали против капиталистов, крестьяне — против помещиков, а все вместе требовали немедленного прекращения войны, установления мира) в августе 1917 г. верхи армии, руководители казачества, буржуазные деятели назвали имя военного диктатора. Им был Верховный Главнокомандующий армией, герой империалистической войны генерал Лавр Корнилов. Он стал кумиром Деникина. Автор «Очерков русской смуты» уделил ему много места в первом томе и весь второй том своих воспоминаний.

Оправдывая Корнилова и корниловщину, то есть военную диктатуру, Деникин приводит аргументы ненавистных ему меньшевиков о ситуации в стране. По словам Мартова, вначале революция была всенародной, потом различные слои буржуазии один за другим стали отходить от нее, а затем включаться в борьбу с ней. Произошло это потому, что революционная демократия не смогла установить порядка, наладить хозяйство. «Разочарование в революции и возбуждение против рабочих и солдат, — продолжает меньшевистский лидер, — не охватили бы таких широких кругов населения, если бы безответственная агитация не толкала рабочие и солдатские массы на путь опасных авантюр». В последнем случае Мартов имел в виду большевиков.

В связи с этим небезынтересно привести характеристику большевизма, данную Деникиным и отмеченную Лениным: большевизм «внес в рабочую среду постоянное бродящее начало, потворствуя низменным инстинктам, разжигая ненависть против имущих классов, поддерживая самые неумеренные требования, парализуя всякие попытки власти и демократических организаций локализовать распад промышленности. «Все для пролетариата и все через пролетариат...»

К большевикам относятся и слова генерала: «Толпа не шла за отвлеченными лозунгами... Толпа шла за реальными обещаниями тех людей, которые потворствовали ее инстинктам». Последнюю фразу Ленин тоже подчеркнул. Разве это не созвучно нашему времени?

Деникин расценивает мятеж Корнилова как открытую междоусобную войну, то есть гражданскую войну. В этой войне «мы», пишет он, имея в виду высший офицерский состав, «всей душой сочувствовали корниловскому выступлению».

Чего же хотел Корнилов? Позже на следственной комиссии он скажет: дал приказ генералу Крымову двинуться с конным корпусом на Петроград, занять город, обезоружить солдат гарнизона, большевиков, рабочих, разогнать Советы, ликвидировать «кронштадтское мятежное гнездо».

28 августа 1917 г. все газеты оповестили об антиправительственном выступлении Корнилова. Керенский, круто повернув фронт, обратился за поддержкой в ЦИК Советов, исполком Всероссийского Совета крестьянских депутатов. В правительстве он требовал создания Директории. В ответ на это кадеты вышли из состава правительства. Они высказывали явные симпатии мятежному генералу, называли его патриотом, спасителем столицы от большевистского бунта, требовали примирения между Корниловым и Керенским.

Все социалистические партии поддержали Керенского. Только большевики выступили против доверия министру-председателю. Однако они приняли самое активное участие в борьбе против мятежников, они спасали революцию, но не Керенского.

Между тем глава Временного правительства дал указ об отчислении от должностей и предании суду Корнилова и его сподвижников. Одновременно он назначил себя Верховным Главнокомандующим, а начальником штаба уговорил стать генерала Алексеева. Последний, пишет Деникин, «ради спасения жизни корниловцев решился причять на свою седую голову бесчестие».

«Партия порядка» во главе с Корниловым потерпела поражение, «партия развала», возглавляемая Керенским, победила, делает вывод Деникин. И далее рассуждает: для Керенского победа оказалась хуже поражения, ибо глава Временного правительства и оно само лишились поддержки буржуазии и окончательно оттолкнули от себя большинство офицерства — единственную силу, способную к борьбе с идущими на власть большевиками.

«Корнилов должен быть казнен,— говорил Керенский,— но когда это случится, приду на могилу, принесу цветы и преклоню колено перед русским патриотом». В этой фразе весь Керенский.

Генерал Деникин, как и все корниловцы, враждебно воспринял победу Октябрьской революции. Корнилов составил план побега на Дон, к казакам, чтобы там начать открытую борьбу с Советской властью. Направились на Дон Деникин и другие генералы, предварительно переодевшись. Деникин ехал под видом «польского помещика» (он знал польский язык) с подложным удостоверением на имя Александра Домбровского. Впервые в жизни автор «Очерков русской смуты» по-настоящему увидел народ. В переполненных до отказа, с удушающим запахом вагонах, стоя, сидя, лежа на верхней полке, он видел кругом грязь, разрушение, бежавших домой солдат, ехавших рабочих, хлеборобов, мелких служащих, слышал их разговоры, ругань и ужасался. Его поразила безбрежная ненависть, накопившаяся за войну, и к людям, и к идеям, ко всему, что было «выше толпы», что носило «малейший след достатка или культуры», что выражалось одним словом — буржуй.

Прибывшие на Дон генералы Корнилов, Алексеев, Деникин стали формировать Добровольческую армию, самую сильную по своему духу, непримиримости к Советской власти из всех белогвардейских армий. Она стала костяком белого движения, «белого дела» в России. Долгое время Добровольческая армия состояла из офицеров и юнкеров. «Армия в самом зародыше своем,— констатировал Деникин,— таила глубокий органический недостаток, приобретая характер к л а с с о в ы й».

Белое, как и любое антибольшевистское, движение, отмечает Деникин, не создавалось отдельными людьми, оно вырастало «стихийно и неотвратимо», то есть порождалось объективными причинами. С этим можно согласиться, как и с тем, что стимулы для борьбы с Советской властью были крайне многообразны.

Одной из главных причин, поднявших людей на борьбу с Советской властью, развязавших гражданскую войну, генерал Деникин считает строго классовую и однопартийную политику большевиков. Буржуазия, утверждает он, истреблялась как класс независимо от степени ее сопротивления. Подвергались гонениям и рабочие, если они были связаны с эсерами и меньшевиками. Подавлялись крестьяне как собственники и особенно выступавшие против власти. По отношению к социалистической демократии (эсерам и меньшевикам), продолжает автор «Очерков», советское правительство, по выражению Ленина, проявило «много терпения и даже добродушия» в надежде, что она «сделает выбор» между большевиками и буржуазной диктатурой. «Правда, терпение это было относительным: периодически, особенно же в день разгона Учредительного собрания, потом в Ленинские дни (после покушения на Ленина 31 августа 1918 г.— Л. С.) большевистские тюрьмы наполнялись социалистами».

Здесь много правды, но не вся. В частности, скажем, что буржуазных специалистов брали на службу, в том числе и военных.

Ленин по-иному объясняет причины гражданской войны. «...После первого серьезного поражения,— писал он,— свергнутые эксплуататоры, которые не ожидали своего свержения, не верили в него, не допускали мысли о нем, с удесятеренной энергией, с бешеной страстью, с ненавистью, возросшей во сто крат, бросаются в бой за возвращение отнятого «рая», за их семьи, которые жили так сладко и которые теперь «простонародная сволочь» осуждает на разорение и нищету (или на «простой» труд...)» (Полн. собр. соч., т. 37, с. 264).

Очень серьезное обоснование. Но вот вопрос: является ли принцип «грабь награбленное», отнимай у одних и давай другим той основой, на которой может быть создано свободное цивилизованное общество? История не дает на него положительного ответа.

Что касается самой гражданской войны, трагедии в ней народа, то я полностью согласен со словами автора «Очерков русской смуты»: «Человеческое страдание — всегда страдание. Убийство — всегда убийство, льется ли при этом «белая» или «красная кровь». Мы глубоко понимаем и его призыв: «Мне хочется сказать людям в шорах: говорите о ваших терзаниях. Чтите ваших мертвых. Но когда проходите случайно мимо бездонной могилы русской буржуазии — по существу русской интеллигенции, снимите шапку над ней. Ибо там, вместе с окровавленными трупами, погребены невознаградные культурные ценности страны, ее интеллектуальные силы, ее надежда!» И еще: гражданская война «калечила жестоко не только тело, но и душу». Здесь много горькой правды.

Нельзя не согласиться и с мыслью автора военно-исторического труда о том, что гражданская война в России в тех конкретных условиях, к великой беде, была «трагической неизбежностью». Но это ни в какой мере не снимает ответственности с тех, кто развязал ее, придал огромные размеры, сделал ее жестокой, разрушительной, кровавой. Документы свидетельствуют: войну начали противники Советской власти, поддержанные войсками интервентов Четверного союза и Антанты. Но огромную вину за нее несут и большевики, которые своей политикой на разжигание классовой борьбы ожесточили народ, особенно казачество.

В начале лета 1918 г. Добровольческая армия во главе с Деникиным вступила в новый этап борьбы с Советской властью, начался так называемый второй Кубанский поход. Положение теперь в корне отличалось от того, которое было в первой половине 1918 г. Тогда казаки и крестьяне отбирали у помещиков землю и делили ее. В деревне шла буржуазно-демократическая революция, объединившая все трудовое крестьянство и казачество. В этих условиях Добровольческая армия не могла иметь поддержки в народе и терпела поражения.

Теперь малоземельные крестьяне начали отбирать земли у казаков, а боль-

шевики от голодной жизни пошли в деревню за хлебом, брали его силой, оружием. Неимущие и малоимущие сельские жители, объединенные в комитеты деревенской бедноты, помогали рабочим продовольственных отрядов. Развернулась ожесточенная классовая борьба в станицах, подталкиваемая и обостряемая большевиками. Ленин назвал ее социалистической революцией в деревне.

«Глубокий антагонизм между казаками и крестьянами,— объяснял председатель Реввоенсовета Республики Лев Троцкий,— придал в южных степях исключительную свирепость гражданской войне, которая здесь забиралась глубоко в каждую деревню и приводила к поголовному истреблению целых семейств. Это была чисто крестьянская война, глубокими корнями уходившая в местную почву и мужицкой свирепостью своей далеко превосходила революционную борьбу в других частях страны» («Моя жизнь. Опыт автобиографии», т. 2, Берлин, 1930, с. 172).

Богатые и многие средние казаки пошли в армию Деникина.

Заметим, однако, что одной из главных причин восстания на Дону против Советской власти в начале 1919 г. были новые, более мощные репрессии, проводимые большевиками по отношению к донским казакам. Они осуществлялись на основе секретного постановления Организационного бюро ЦК РКП(б), принятого 24 января 1919 г. «Необходимо, учитывая опыт гражданской войны с казачеством,— говорилось в нем,— признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления». И далее: «Провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью».

Это была величайшая ошибка большевиков. (Ошибка ли это?) Она дорого обошлась Советской власти.

Среди российских генералов главнокомандующий Вооруженными силами Юга России был неплохим политиком и дипломатом, во всяком случае, гибче, чем верховный правитель России адмирал Александр Колчак. Деникин признал его в июне 1919 г., но фактически проводил свою политику. Цель этой политики — свержение большевистского господства при помощи армии, «диктатуры в лице главнокомандующего», восстановление сил «государственного и социального мира», создание условий «для строительства земли соборной волею народа», «установление порядка», «защита веры», создание общества, в котором не будет «никаких классовых привилегий», а произойдет «единение с народом».

Для выполнения своих политических замыслов Деникин создал «Особое совещание», законодательно-управительный в одном лице орган из буржуазно-помещичьих деятелей, высшей служилой интеллигенции. Оно разрабатывало проекты законов и реформ, подлежащих утверждению главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, по мере возможности претворяло их в жизнь. Главное внимание отводилось аграрной реформе, чтобы удержать на стороне белого движения казаков и привлечь крестьян. О восстановлении помещичьего землевладения в его прежнем виде речи не могло идти. Ставка делалась на «крепкого мужика», земельного собственника. Но крестьяне не верили «барину» Деникину. Этому способствовала также широко развернувшаяся агитация большевиков, которые убеждали, что вслед за белой армией идут помещик, капиталист, а затем будет царь. Действительно за армией шли люди, столетиями терзавшие крестьян и рабочих. Об этом свидетельствует сам Деникин.

Многие читатели поверят Деникину, что его нередко охватывали «мучительные сомнения о правильности такого нашего курса». Речь шла прежде всего о крестьянском вопросе, о земле. «Таким образом,— делает вывод автор «Очерков русской смуты»,— вся обстановка, создавшаяся на Юге России в 1919 г., психология общественности, соотношение сил и влияний решительно не способствовали проведению в жизнь в молниеносном революционном порядке радикальной аграрной реформы. Не было ни идеологов, ни исполнителей».

Не удалось решить Деникину ни национального, ни автономно-территориального вопросов. Сложные отношения, вплоть до открытия боевых действий, складывались с республиками Закавказья. Не смог поладить генерал с Польшей, которая боялась «единой и неделимой России» и не оказала вовремя военной помощи белогвардейцам в боях с Красной Армией.

В открытую конфронтацию встали кубанские казаки, оказавшие в свое время огромную помощь Деникину. Они требовали автономии, создания своей самостоятельной армии. «Взаимоотношения, сложившиеся между властью Юга и Кубанью, вернее — правившей его группой, я считаю одной из наиболее серьезных «внешних» причин неудачи движения»,— с горечью писал Деникин.

Далеко не все благополучно обстояло и с армией. Примечательным является то, что главнокомандующий Вооруженными силами Юга России говорит не только о подвигах своих генералов и армий, но и о допущенных крупных ошибках, о творимых офицерами и солдатами насилиях и грабежах, о страшных делах белых контрразведок. «Постиние нужен был гром небесный, чтобы заставить всех оглянуться на себя и свои пути». Такими словами заканчивает он одну из глав, назвав ее «Черные страницы». Речь идет о черных страницах белогвардейской армии. Ни один большевик не осмелился так писать о Красной Армии, о советской военной контрразведке, о ВЧК, ее местных органах. А было бы что сказать...

Автор «Очерков русской смуты» перечисляет много объективных и субъективных причин, приведших к поражению Вооруженных сил Юга России и всего белого дела. В его словах много правды. «Вопрос заключался лишь в том, изжит ли в достаточной степени народными массами большевизм и сильна ли воля к его преодолению? Пойдет ли народ с нами, или по прежнему останется инертным и пассивным между двумя надвигающимися волнами, между двумя смертельно враждебными станами? В силу целого ряда сложных причин — стихийных и от нас зависящих — жизнь дала ответ сначала нерешительный, потом отрицательный». Но, главное, в то время не было силы, которая могла бы сокрушить большевиков. И это несмотря на то, что многие крестьяне были очень недовольны продразверсткой, даже восставали. Ворчали на Советскую власть из-за голода рабочие. Устали до смерти перегруженные физически и морально коммунисты, в партии начинался кризис.

Если коммунистам суждено когда-либо погибнуть, говорил Ленин, то они погибнут только сами от себя.

О многом задумается внимательный читатель, перевернув последние страницы «Очерков русской смуты». Будет все: и одобрение, и непонимание, и обида, и возмущение. Но одного, уверен, не случится: никто не скажет, что потерял зря время. Так много пищи для размышлений, для сравнений настоящего с прошлым, для раздумий о главных вопросах нашей духовной жизни, о судьбах Родины, о народе, об историческом выборе.

Предлагаемый читателю труд А. Деникина «Очерки русской смуты» дается в извлечениях, отражающих главным образом социально-политические моменты; военная сторона событий сильно сокращена.

Доктор исторических наук профессор Л. М. СПИРИН.

Как создавались «Очерки русской смуты»

«Очерки русской смуты», пять томов, шесть лет труда. Я думаю, что исторический вес этих книг будет ясен всем читателям, но, может быть, им интересно узнать, когда, как, в какой обстановке они писались.

А. И. Деникин принялся за работу с первых же дней эмиграции, то есть в конце 1920 года. Жили мы сначала в Англии (недолго), потом в Бельгии, на маленькой дачке в глухом предместье Брюсселя. Я тогда была ребенком, воспоминаний нет, но вот краткое описание нашего «домашнего быта» из дневника моей матери:

«14 марта 1922.

День наш проходит приблизительно так: А. И. встает в 7 часов утра, спускается, открывает ставни, приносит угли, чистит и растопляет печи и плиту. Я встаю на полчаса позже, кипячу молоко и кофе, приготавливаю завтрак. После кофе уборка. А. И. метет, я чищу обувь... После обеда я иногда еду на трамвае за покупками или пишу на машинке. А. И. копается в нашем маленьком огороде, а потом начинает топить печь в спальне. Я не очень огорчаюсь, что ему приходится много работать физически — моцион ему очень нужен, а когда он засядет за писанье, его уже никакими силами не вытянешь даже погулять. Хорошо что II том окончен...»

Следующие тома были составлены моим отцом в Венгрии, куда нам пришлось переехать и где — это уже я хорошо помню — он продолжал «много работать физически».

Какие же соображения подтолкнули его посвятить шесть лет жизни писанию «Очерков»? На этот вопрос А. И. Деникин отвечает сам в личных — и неопубликованных — записках от 1944 года, которые у меня хранятся:

«Белое движение со всеми его светлыми и темными сторонами подвергалось и подвергается доныне нападкам и искажению со стороны людей, ходящих в узких политических шорах, смотрящих сквозь призму национального шовинизма или попросту невежественных.

Надо было сказать ПРАВДУ о Белом движении и сказать ее возможно скорее — во-первых, потому что «не знаешь дня и часа...», во-вторых — пока

живы были многие современники событий, «свидетели истории», враги и друзья, которые могли бы подтвердить, исправить или опровергнуть писаниое.

Первый том «Очерков» принялся составлять по памяти, почти без материалов: несколько интересных документов, уцелевших в моих папках, небольшой портфель с бумагами ген. Корнилова, дневник Маркова, записки Новосливцева... (за последнюю фамилию я не ручаюсь. Боюсь, что плохо разобрала почерк отца.— М. Д.), комплекты газет. Поэтому 1-й том имеет характер более «воспоминаний», чем «очерка».

Для 2-го тома у меня уже был ряд заметок моих соратников, а для прочих томов — архив Особого Совещания, вывезенный по моему приказанию заблаговременно за границу генералом Лукомским, а затем и архив генерал-квартирмейстерской части, полученный из Сербии после Крымской эвакуации. Кроме архивного материала, на мой призыв откликнулись многие общественные и военные деятели, прислав мне ценные записки. Менее всех, однако, помогли мои ближайшие помощники — члены Особого Совещания...

Бывали и курьезы: после выхода двух томов «Очерков» в Белграде адъютанта генерала Романовского встречает бывший Кубанский атаман, генерал Филимонов, и говорит ему:

— Читали мою статью в «Архиве русской революции»? Я знаю, что генерал Деникин будет меня ругать в следующих томах «Очерков», так я, чтобы предупредить события, сам его ругаиул... у читателя кое-что и остается.

Но когда в дальнейших томах Филимонов прочел свою характеристику, объективную, правдивую и доброжелательную, он прислал мне хорошее письмо и сам предложил свое сотрудничество в освещении событий Юга.

Я думаю, что в писаниях моих не было нелицеприятия даже в отношении врагов.

«Очерки русской смуты» я считаю самым важным делом моего эмигрантского житья. На работу эту я смотрел как на свой долг в отношении Белого движения и перед памятью павших в борьбе, как на добросовестное показание перед судами народными, судами истории».

Интересно, очень интересно мне, как откликнутся русские «суды народные», «суды истории» на появление в московской печати «Очерков русской смуты»...

Марина ДЕНИКИНА

В кровавом тумане русской смуты гибнут люди и стираются реальные грани исторических событий.

Поэтому, невзирая на трудность и неполноту работы в беженской обстановке — без архивов, без материалов и без возможности обмена живым словом с участниками событий,— я решил издать свои очерки.

В первой книге говорится главным образом о р у с с к о й а р м и и, с которой неразрывно связана моя жизнь. Вопросы политические, социальные, экономические затронуты лишь в той мере, в какой необходимо очертить их влияние на ход борьбы.

Армия в 1917 году сыграла решающую роль в судьбах России. Ее участие в ходе революции, ее жизнь, растление и гибель — должны послужить большим и предостерегающим уроком для новых строителей русской жизни.

И не только в борьбе с нынешними поработителями страны. После свержения большевизма наряду с огромной работой в области возрождения моральных и материальных сил русского народа перед последним с небывалой еще в отечественной истории остротой встанет вопрос о сохранении его державного бытия.

Ибо за рубежами русской земли стучат уже заступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании ее кончины.

Не дождутся. Из крови, грязи, нищеты духовной и физической встанет русский народ в силе и в разуме.

А. ДЕНИКИН

Брюссель,
1921 г.

ТОМ ПЕРВЫЙ

Выпуск первый

КРУШЕНИЕ ВЛАСТИ И АРМИИ

февраль — сентябрь 1917

Глава I. УСТОИ СТАРОЙ ВЛАСТИ: ВЕРА, ЦАРЬ И ОТЕЧЕСТВО

Неизбежный исторический процесс, завершившийся февральской революцией, привел к крушению русской государственности. Но, если философы, историки, социологи, изучая течение русской жизни, могли предвидеть грядущие потрясения, никто не ожидал, что народная стихия с такой легкостью и быстротой сметет все те устои, на которых покоилась жизнь: верховную власть и правящие классы — без всякой борьбы ушедшие в сторону; интеллигенцию — одаренную, но слабую, беспочвенную, безвольную, вначале среди беспощадной борьбы сопротивлявшуюся одними словами, потом покорно подставившую шею под нож победителей; наконец — сильную, с огромным историческим прошлым, десятимиллионную армию, развалившуюся в течение трех-четырех месяцев.

Последнее явление, впрочем, не было столь неожиданным, имея страшным и предостерегающим прообразом эпилог маньчжурской войны и последующие события в Москве, Кронштадте и Севастополе... Прожив недели две в Харбине в конце ноября 1905 года и проехав по сибирскому пути в течение 31 дня (декабрь 1907 года) через целый ряд «республик» от Харбина до Петрограда, я составил себе ясное понятие о том, что можно ожидать от разнузданной, лишенной сдерживающих начал солдатской черни. И все тогдашние митинги, резолюции, советы и вообще все проявления военного бунта — с большей силой, в несравненно более широком масштабе, но с фотографической точностью повторились в 1917 году.

Следует отметить, что возможность столь быстрого психологического перерождения отнюдь не была присуща одной русской армии. Несомненно, усталость от трехлетней войны сыграла во всех этих явлениях не последнюю роль, в той или другой степени коснувшись всех армий мира и сделав их более восприимчивыми к разлагающим влияниям крайних социалистических учений. Осенью 1918 года германские корпуса, оккупировавшие Дон и Малороссию, разложились в одну неделю, повторив до известной степени пройденную нами историю митингов, советов, комитетов, свержения офицерского состава, а в некоторых частях — распродажи военного имущества, лошадей и оружия... Только тогда немцы поняли трагедию русского офицерства. И нашим добровольцам приходилось видеть не раз унижение и горькие слезы немецких офицеров — некогда надменных и бесстрастных.

— Ведь с нами, с русскими, это же самое сделали вы — собственными руками...

— Нет, не мы — наше правительство,— отвечали они.

Зимою 1918 года я как командующий Добровольческой армией получил предложение от группы германских офицеров, желавших поступить в нашу армию рядовыми добровольцами...

Нельзя также объяснить развал психологией неудач и поражения. Брожение армии испытали и победители: во французских войсках, оккупировавших в начале 1918 года Румынию и Одесский район, во французском флоте, плававшем в Черное море, в английских войсках, прибывших в район Константинополя и в Закавказье, и даже в могучем английском флоте в дни его наивысшего нравственного удовлетворения победой, в дни пленения германского флота — было не совсем благополучно. Войска начали выходить из повиновения начальникам, и только быстрая демобилизация и пополнение свежими, отчасти добровольческими элементами, изменили положение.

Каково было состояние русской армии к началу революции?

Испокон века вся военная идеология наша заключалась в известной формуле:

— З а в е р у, ц а р я и о т е ч е с т в о.

На ней выросли, воспитались и воспитывали других десятки поколений. Но в народную массу, в солдатскую толщу эти понятия достаточно глубоко не проникали.

Религиозность русского народа, установившаяся за ним веками, к началу XX столетия несколько пошатнулась. Как народ-богоносец, народ вселенского душевного склада, великий в своей простоте, правде, смирении, всепрощении — народ поистине х р и с т и а н с к и й терял постепенно свой облик, подпадая под власть утробных, материальных интересов, в которых сам ли научался, его ли научали видеть единственную цель и смысл жизни... Как постепенно терялась связь между народом и его духовными руководителями, в свою очередь оторвавшимися от него и поступившими на службу к правительственной власти, разделяя отчасти ее недуги... Весь этот процесс духовного перерождения русского народа слишком глубок и значителен, чтобы его можно было охватить в рамках этих очерков. Я исхожу лишь из того несомненного факта, что поступавшая в военные ряды молодежь к вопросам веры и церкви относилась довольно равнодушно. Казарма же, отрывая людей от привычных условий быта, от более уравновешенной и устойчивой среды с ее верою и суевериями, не давала взамен духовно-нравственного воспитания. В ней этот вопрос занимал совершенно второстепенное место, заслоняясь всецело заботами и требованиями чисто материального, прикладного порядка. Казарменный режим, где все — и христианская мораль, и религиозные беседы, и исполнение обрядов — имело характер официальный, обязательный, часто принудительный, не мог создать надлежащего настроения. Командовавшие частями знают, как трудно бывало разрешение вопроса даже об исправном посещении церкви.

Война ввела в духовную жизнь воинов два новых элемента: с одной стороны, моральное огрубение и ожесточение, с другой — как будто несколько углубленное чувство веры, навеянное постоянной смертельной опасностью. Оба эти антипода как-то уживались друг с другом, ибо оба исходили из чисто материальных предпосылок.

Я не хочу обвинять огульно православное военное духовенство. Много представителей его проявили подвиги высокой доблести, мужества и самоотвержения. Но надо признать, что духовенству не удалось вызвать религиозного подъема среди войск. В этом, конечно, оно нисколько не виновато, ибо в мировой войне, в которую была вовлечена Россия, играли роль чрезвычайно сложные политические и экономические причины и не было вовсе места для религиозного экстаза. Но вместе с тем духовенству не удалось создать и более прочную связь с войсками. Если офицерский корпус все же долгое время боролся за свою командную власть и военный авторитет, то голос пастырей с первых же дней революции замолк и всякое участие их в жизни войск прекратилось [1].

Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма характерный для тогдашнего настроения военной среды. Один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, любовно, с большим старанием построил возле позиции походную церковь. Первые недели революции... Демагог поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм — это предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для...

Я не удивляюсь, что в полку нашелся негодяй-офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему две-три тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?

Как бы то ни было, в числе моральных элементов, поддерживающих дух русских войск, вера не стала началом, побуждающим их на подвиг или сдерживающим от развития впоследствии звериных инстинктов.

[1] Съезды духовенства в Ставке и в штабах армий не имели никакого реального значения.

В общероссийском масштабе православное духовенство также осталось за бортом разбушевавшейся жизни, разделив участь с теми социальными классами, к которым примыкало: высшее — причастное, к сожалению, некоторыми именами (митрополиты Питирим и Макарий, архиепископ Варнава и др.) к распутинскому периоду петроградской истории — с правившей бюрократией; низшее — со средней русской интеллигенцией.

Для успокоения религиозной совести русского народа Святейший Синод впоследствии посланием от 9 марта санкционировал совершившийся переворот и призвал «довериться Временному правительству... чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни»... Но когда жизнь эта стала принимать донельзя уродливые, аморальные формы, духовенство оказалось совершенно бессильным для борьбы: русская революция в первой стадии своей не создала ни одного сколько-нибудь заметного народно-религиозного движения, хотя бы в таком масштабе, как некогда у лжеучителей Иллиодора и Иннокентия, не выдвинула ни одного яркого имени поборника поруганной правды и христианской морали. Я не берусь судить о действенном начале в русской православной церкви после пленения ее большевиками. Жизнь церкви в советской России покрыта пока непроницаемой для нас завесой. Но процесс духовного возрождения ширится несомненно, а мученический подвиг сотен, тысяч служителей церкви, по-видимому, бороздит уснувшую народную совесть и входит в сознание народное творимой легендой.

Царь?

Едва ли нужно доказывать, что громадное большинство командного состава было совершенно лояльно по отношению к идее монархизма и к личности государя. Позднейшие эволюции старших военачальников-монархистов вызывались чаще карьерными соображениями, малодушием или желанием, надев «личину», удержаться у власти для проведения своих планов. Реже — крушением идеалов, переменой мировоззрения или мотивами государственной целесообразности. Наивно было, например, верить заявлениям генерала Брусилова, что он с молодых лет «социалист и республиканец». Он — воспитанный в традициях старой гвардии, близкий к придворным кругам, проникнутый насквозь их мировоззрением, «барин» — по привычкам, вкусам, симпатиям и окружению. Нельзя всю долгую жизнь так лгать себе и другим.

Русское кадровое офицерство в большинстве разделяло монархические убеждения и в массе своей было, во всяком случае, лояльно.

Несмотря на это, после японской войны как следствие первой революции офицерский корпус почему-то был взят под особый надзор департамента полиции, и командирам полков периодически присылались черные списки, весь трагизм которых заключался в том, что оспаривать «неблагонадежность» было почти бесполезно, а производить свое, хотя бы негласное, расследование не разрешалось. Мне лично пришлось вести длительную борьбу с киевским штабом по поводу маленьких назначений (командира роты и начальника пулеметной команды) двух офицеров 17-го Архангелогородского полка, которым я командовал до последней войны. Явная несправедливость их обхода легла бы тяжелым бременем на совесть и авторитет командира полка, а объяснить ее не представлялось возможным. С большим трудом удалось отстоять этих офицеров, и впоследствии оба они пали славною смертью в бою. Эта система создавала нездоровую атмосферу в армии.

Не ограничиваясь этим, Сухомлинов [2] создал еще свою сеть шпионажа (контрразведки), возглавлявшуюся неофициально казненным впоследствии за шпионаж в пользу Германии полковником Мясоедовым. В каждом штабе округа учрежден был орган, во главе которого стоял переодетый в штабную форму жандармский офицер. Круг деятельности его официально определялся борьбою

[2] Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — генерал-адъютант, военный министр с 1911 г. Летом 1915 г. отстранен в связи с обвинением в государственном преступлении. **(Прим. ред.).**

с иностранным шпионажем — цель весьма полезная; неофициально — это было типичное воспроизведение аракчеевских «профостов». Покойный Духонин[3] до войны, будучи еще начальником разведывательного отделения киевского штаба, горько жаловался мне на тяжелую атмосферу, внесенную в штабную службу новым органом, который, официально подчиняясь генерал-квартирмейстеру, фактически держал под подозрением и следил не только за штабом, но и за своими начальниками.

Действительно, жизнь как будто толкала офицерство на протест в той или другой форме против «существующего строя». Среди служилых людей с давних пор не было элемента настолько обездоленного, настолько необеспеченного и бесправного, как рядовое русское офицерство. Буквально нищенская жизнь, попрание сверху прав и самолюбия; венец карьеры для большинства — подполковничий чин и болезненная, полуголодная старость. Офицерский корпус с половины XIX века совершенно утратил свой сословно-кастовый характер. Со времени введения общеобязательной воинской повинности и обнищания дворянства военные училища широко распахнули свои двери для «разночинцев» и юношей, вышедших из народа, окончивших гражданские учебные заведения. Таких в армии было большинство. Мобилизации, в свою очередь, влили в офицерский состав большое число лиц свободных профессий, принесших с собою новое миросозерцание. Наконец, громадная убыль кадрового офицерства заставила командование поступиться несколько требованиями военного воспитания и образования, введя широкое производство в офицеры солдат как за боевые отличия, так и путем проведения их через школы прапорщиков с низким образовательным цензом.

Последние два обстоятельства, неизбежно присущие народным армиям, вызвали два явления: понизили, несомненно, боевую ценность офицерского корпуса и внесли некоторую дифференциацию в его политический облик, приблизив еще более к средней массе русской интеллигенции и демократии. Этого не поняли или, вернее, не хотели понять вожди революционной демократии в дни революции.

Везде в дальнейшем изложении я противополагаю «революционную демократию» — конгломерат социалистических партий — истинной русской демократии, к составу которой, без сомнения, принадлежат средняя интеллигенция и служилый элемент.

Но и кадровое офицерство постепенно изменяло свой облик. Японская война, вскрывшая глубокие болезни, которыми страдала страна и армия, Государственная Дума и несколько более свободная после 1905 года печать сыграли особенно серьезную роль в политическом воспитании офицерства. Мистическое «обожание» монарха начало постепенно меркнуть. Среди младшего генералитета и офицерства появлялось все больше людей, умевших различать идею монархизма от личностей, счастье родины — от формы правления. Среди широких кругов офицерства явились анализ, критика, иногда суровое осуждение. Появились слухи — и не совсем безосновательные — о тайных офицерских организациях. Правда, подобные организации как чуждые всей структуре армии не имели и не могли приобрести ни особого влияния, ни значения. Однако они сильно беспокоили военное министерство, и Сухомлинов в 1908 или 1909 году секретно сообщал начальникам о необходимости принятия мер против тайного общества, образовавшегося из офицеров, недовольных медленным и бессистемным ходом реорганизации армии и желавших якобы насильственными мерами ускорить ее...

Настроения в офицерском корпусе, вызванные многообразными причинами, не прошли мимо сознания высшей военной власти. В 1907 году вопросу об улучшении боевой подготовки армии и удовлетворении насущных ее потребностей, в том числе и офицерский вопрос, обсуждались в «Особой подготовительной комиссии при Совете государственной обороны», в которую входили, между прочим,

[3] Духонин Николай Николаевич (1876—1917) — генерал. В сентябре 1917 г. назначен начальником штаба Верховного Главнокомандующего. После Октябрьской революции объявил себя Верховным Главнокомандующим. Пытался поднять мятеж против Советской власти. Убит солдатами. **(Прим. ред.)**

такие крупные генералы старой школы, как Н. И. Иванов, Эверт, Мышлаевский, Газенкампф и др. ... Интересно их отношение к данному вопросу[4].

Генерал Иванов говорил: «Упрекнуть наших офицеров в готовности умереть нельзя, но подготовка их, в общем, слаба и в большинстве они недостаточно развиты; кроме того, наличный офицерский состав так мал, что наблюдается, как обычное явление, что налицо в роте всего один ротный командир. Старшие начальники мало руководят делом обучения; их роль сводится по преимуществу к контролю и критике. За последнее время приходится констатировать почти повальное бегство офицеров из строя, причем уходят, главным образом, лучшие и наиболее развитые офицеры»...

О повальном бегстве из строя «всего наиболее энергичного и способного» говорил и генерал Эверт. А генерал Мышлаевский добавил: «С полным основанием можно сказать, что наши военные училища пополняют не столько войска, сколько пограничную стражу, главные управления и даже в значительной мере гражданские учреждения». Мышлаевский в качестве начальника Главного штаба, имевшего постоянное соприкосновение с бытом войск, указывал на новые явления: на «недоумение и беспокойство в верхних и средних слоях офицерского состава», вызванное, по его мнению, непопулярностью вновь введенного аттестационного порядка, принудительным увольнением по предельному возрасту и «неопределенностью новых требований»; на пропаганду среди «самого молодого офицерского состава», которая уже «достигла некоторых успехов».

Все они — Иванов, Эверт, Мышлаевский и другие — видели главную, некоторые исключительную причину ослабления офицерского корпуса в вопиющей материальной необеспеченности его, а в устранении этого положения — надежнейшее средство разрешения офицерского вопроса. Не отрицая большого значения этого материального фактора, нельзя, однако, ограничиться таким элементарным объяснением перелома в жизни офицерской среды; в его возникновении играли роль и другие причины, более глубокие: и суженные тяжелыми внешними условиями духовные запросы и интересы военной среды, и те обстоятельства, которые, вероятно, впервые в таком высоком собрании умудренных жизнью и опытом военных сановников изложил молодой подполковник генерального штаба, князь Волконский: «Что важно и что не важно, определяют теперь прежде всего соображения политические... Действительно неотложны теперь лишь меры, могущие оградить армию от революционирования... Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее. Здесь говорили — «офицеры преданы царю». Морские офицеры были не менее преданы. Говорят: «Морские бунты совпали с разгаром революции». Но революция может вновь разгореться: аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется. Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течения другого рода: офицеры, преданные присяге, смущены происходящим в армии; иные подозревают верхи армии в тайном желании ее дезорганизировать. Такое недоверие к власти — тоже материал для революционного брожения, но уже справа. Вообще, непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность истрепали нервы, т. е. создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение, нередко даже наперекор убеждениям»...

При этих условиях можно только удивляться, насколько все-таки сохранилось наше офицерство и насколько твердо противостояло оно левым противогосударственным течениям. Процент деятелей, ушедших в подполье или изобличенных властью, был ничтожен.

Что касается отношения к трону, то как явление общее в офицерском корпусе было стремление выделить особу государя от той придворной грязи, которая его окружала, от политических ошибок и преступлений царского правительства, которое явно и неуклонно вело к разрушению страну и к поражению армию. Государю прощали, его старались оправдать. Как увидим ниже, к 1917 го-

[4] Из секретного журнала заседаний.

ду и это отношение в известной части офицерства поколебалось, вызвав то явление, которое князь Волконский называл «революцией справа», но уже на почве чисто политической.

Несколько в стороне от общих условий офицерской жизни стояли офицеры гвардии. С давних пор существовала рознь между армейским и гвардейским офицерством, вызванная целым рядом привилегий последних по службе — привилегий, тормозивших сильно и без того нелегкое служебное движение армейского офицерства[5]. Явная несправедливость такого положения, обоснованного на исторической традиции, а не на личных достоинствах, была больным местом армейской жизни и вызывала не раз и в военной печати страстную полемику. Я лично неоднократно подымал этот вопрос в печати. Один из военных писателей, полковник Залесский (ныне генерал),— тот даже лекцию о применении в бою технических средств связи заканчивал катоновской формулой:

— Кроме того, полагаю, что необходимо упразднить привилегии гвардии.

Заметьте — только привилегии. Так как никто не посягал на существование старых, испытанных частей, многие из которых имели выдающуюся боевую историю.

Замкнутый в кастовых рамках и устаревших традициях корпус офицеров гвардии комплектовался исключительно лицами дворянского сословия, а часть гвардейской кавалерии и плутократией. Эта замкнутость поставила войска гвардии в очень тяжелое положение во время мировой войны, которая опустошила ее ряды. Страшный некомплект в офицерском составе гвардейской пехоты вызвал такое, например, уродливое явление: ряды ее временно пополняли офицерами-добровольцами гвардейской кавалерии, но не допускали армейских пехотных офицеров. Помню, когда в сентябре 1916 года, после жестоких боев на фронте Особой и 8-й армий, генерал Каледин настоял на укомплектовании гвардейских полков несколькими выпусками юнкерских училищ,— офицеры эти, неся наравне с гвардейцами тяжелую боевую службу, явились в полках совершенно чужеродным элементом и не были допущены по-настоящему в полковую среду.

Нет сомнения, что гвардейские офицеры, за редкими исключениями, были монархистами par excellence[6] и пронесли свою идею нерушимо через все перевороты, испытания, эволюции, борьбу, падение, большевизм и добровольчество. Иногда скрытно, иногда явно. Я не желаю ни возносить, ни хулить. Они — только члены своей касты, своего класса и разделяют с ним его пороки и достоинства. И если в минувшую войну в гвардейских корпусах было больше крови, чем успеха, то виною этому отнюдь не офицерство, а крайне неудачные назначения старших начальников, проведенные в порядке придворного фаворитизма. Особенно ярко это сказалось на Стоходе. Офицерство же дралось и гибло с высоким мужеством. Но наряду с доблестью, иногда рыцарством, в большинстве своем в военной и гражданской жизни оно сохраняло кастовую нетерпимость, архаическую классовую отчужденность и глубокий консерватизм — иногда с признаками государственности, чаще же с сильным уклоном в сторону реакции.

В солдатской толще, вопреки сложившемуся убеждению, идея монархизма глубоких мистических корней не имела. Еще менее, конечно, эта малокультурная масса отдавала себе тогда отчет в других формах правления, проповедуемых социалистами разных оттенков. Известный консерватизм, привычка «испокон века», внушение церкви — все это создавало определенное отношение к существующему строю как к чему-то вполне естественному и неизбежному.

В уме и сердце солдата идея монарха, если можно так выразиться, находилась в потенциальном состоянии, то подымаясь иногда до высокой экзальтации при непосредственном общении с царем (смотры, объезды, случайные обращения), то падая до безразличия.

Как бы то ни было, настроение армии являлось достаточно благоприятным и для идеи монархии, и для династии. Его легко было поддержать.

Но в Петрограде, в Царском Селе ткалась липкая паутина грязи, распутства, преступлений. Правда, переплетенная с вымыслом, проникала в самые отдаленные уголки страны и армии, вызывая где боль, где злорадство. Члены романовской династии не оберегли «идею», которую ортодоксальные монархисты хотели окружить ореолом величия, благородства и поклонения.

Война не изменила обстановки. Создание ненужных, дорого стоивших должностей для лиц императорской фамилии (Верховный санитарный инспектор, инспектор войск гвардии, походный атаман казачьих войск и т. д.), назначение их на строевые должности, на которых без надлежащей подготовки они или приносили вред, или служили игрушкой в руках штабов,— все это было хорошо известно армии, комментировалось, осуждалось.

Маленькая деталь: войска чрезвычайно чутко относятся ко всякому проявлению внимания к ним, к признанию их заслуг. Ко мне в дивизию и в корпус четыре раза приезжали великие князья награждать от имени государя георгиевскими крестами. Эти приезды всегда вызывали подъем настроения и кончались полным разочарованием. После славного и тяжкого боя так много у всех накопилось переживаний, так хотелось поделиться своими горестями и радостями, хотелось по крайней мере, чтобы тот, кто приехал награждать, немножко поинтересовался жизнью, бытом, подвигами их... В ответ — полное безразличие; приехал, роздал и уехал, как будто исполняя скучную формальность...

Помню впечатление одного думского заседания, на которое я попал случайно.

Первый раз с думской трибуны раздалось предостерегающее слово Гучкова о Распутине:

— В стране нашей неблагополучно...

Думский зал, до тех пор шумный, затих, и каждое слово, тихо сказанное, отчетливо было слышно в отдаленных углах. Нависало что-то темное, катастрофическое над мирным ходом русской истории...

Я не стану копаться в той грязи, которая покрыла и министерские палаты, и интимные царские покои, куда имел доступ грязный, циничный «возжигатель лампад», который «доспевал» министров, правителей и владык.

Рассказывали, что попытки Распутина попасть в Ставку вызвали угрозу Николая Николаевича[7] повесить его. Так же резко отрицательно относился к нему Алексеев. Этим двум лицам мы обязаны всецело тем обстоятельством, что гибельное влияние Распутина не коснулось старой армии.

Всевозможные варианты по поводу распутинского влияния проникали на фронт, и цензура собирала на эту тему громадный материал даже в солдатских письмах из действующей армии.

Но наиболее потрясающее впечатление произвело роковое слово:

— Измена.

Оно относилось к императрице.

В армии громко, не стесняясь ни местом, ни временем, шли разговоры о настойчивом требовании императрицей сепаратного мира, о предательстве ее в отношении фельдмаршала Китченера, о поездке которого она якобы сообщила немцам, и т. д.

Переживая памятью минувшее, учитывая то впечатление, которое произвел в армии слух об измене императрицы, я считаю, что это обстоятельство сыграло огромную роль в настроении армии, в отношении ее и к династии, и к революции.

Генерал Алексеев[8], которому я задал этот мучительный вопрос весною 1917 года, ответил мне как-то неопределенно и нехотя:

— При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземпля-

---

[5] Быстрое чинопроизводство, перевод в армию высшим чином, несоразмерный процент назначений гвардейцев командирами армейских полков и т. д.

[6] По преимуществу (франц.). — **Прим. ред.**

[7] Николай Николаевич Романов (1858—1929) — великий князь, генерал-адъютант. Верховный Главнокомандующий в 1914—1915 гг. **(Прим. ред.)**

[8] Алексеев Михаил Васильевич (1657—1918) — генерал, с осени 1915 г. по март 1917 г. начальник штаба Верховного Главнокомандующего, с апреля по июль — Верховный Главнокомандующий. Во время гражданской войны стоял во главе белогвардейской Добровольческой армии. **(Прим. ред.)**

рах — для меня и для государя. Это произвело на меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею...

Больше ни слова. Переменил разговор...

История выяснит, несомненно, то исключительно отрицательное влияние, которое оказывала императрица Александра Федоровна на управление русским государством в период, предшествовавший революции. Что же касается вопроса об «измене», то этот злосчастный слух не был подтвержден ни одним фактом и впоследствии был опровергнут расследованием специально назначенной Временным правительством комиссии Муравьева, с участием представителей от Совета р. и с. депутатов.

Наконец третий устой — Отечество. Увы, затуманенные громом и треском привычных патриотических фраз, расточаемых без конца по всему лицу земли русской, мы проглядели внутренний, органический недостаток русского народа: недостаток патриотизма.

Теперь незачем уже ломиться в открытую дверь, доказывая это положение. После Брест-Литовского договора, не вызвавшего сокрушительного народного гнева; после инертного отношения русского общества к отторжению окраин, даже русских по духу или крови, мало того — оправдания его; после польско-петлюровского договора и польско-советского мира; после распродажи русских территориальных и материальных ценностей международным политическим ростовщикам...

Нет сомнения, что явление распада русской государственности, известное под именем «самостийности», во многих случаях имело целью только отгородиться временно от того бедлама, который представляет из себя «Советская республика». Но жизнь, к сожалению, не останавливается на практическом осуществлении такого в своем роде санитарного кордона, а поражает самую идею государственности. Даже в землях крепких, как, например, казачьи области. Правда — не в толще, а в верхах. Так, в Екатеринодаре в 1920 г. на Верховном круге трех казачьих войск после горячего спора из предложенной формулы присяги было изъято упоминание о России...

Или распятую Россию любить не стоит?

Какую же роль в сознании старой армии играл стимул «Отечества»? Если верхи русской интеллигенции отдавали себе ясный отчет о причинах разгоравшегося мирового пожара — борьбы государства за гегемонию политическую и главным образом экономическую, за свободные пути, проходы, за рынки и колонии, борьбы, в которой России принадлежала роль лишь самозащиты, то средняя русская интеллигенция, в том числе и офицерство, удовлетворялась зачастую только поводами — более яркими, доступными и понятными. Войны не хотели, за исключением разве пылкой военной молодежи, жаждавшей подвига; верили, что власть примет все возможные меры к предотвращению столкновения; мало-помалу, однако, приходили к сознанию роковой неизбежности его; поводы были чужды какой-либо агрессивности или заинтересованности с нашей стороны, вызывали искреннее сочувствие к слабым, угнетаемым, находились в полном соответствии с традиционной ролью России. Наконец, не мы, а на нас подняли меч... И потому, когда началась война, стих голос и тех, в которых таился страх, что уровень культуры и экономического состояния нашей страны не даст ей победы в борьбе с сильным и культурным противником. Войну приняли с большим подъемом, местами с энтузиазмом

Офицерский корпус, как и большинство средней интеллигенции, не слишком интересовался сакраментальным вопросом о «целях войны». Война началась. Поражение принесло бы непомерные бедствия нашему Отечеству во всех областях его жизни. Поражение повело бы к территориальным потерям, политическому упадку и экономическому рабству страны. Необходима победа. Все прочие вопросы уходили на задний план, могли быть спорными, перерешаться и видоизменяться. Это упрощенное, но полное глубокого жизненного смысла и национального самосознания отношение к войне не было понято левым крылом

русской общественности и привело ее в Циммервальд и Киенталь. Неудивительно поэтому, что когда у анонимных[9] и русских вождей революционной демократии перед созидательным разрушением ими армии в феврале 1917 года предстала дилемма: спасение страны или революция?..— они избрали последнее.

Еще менее идея национальной самозащиты была понята темным народом. Народ подымался на войну покорно, но без всякого воодушевления и без ясного сознания необходимости великой жертвы. Его психология не подымалась до восприятия отвлеченных национальных догматов. «Вооруженный народ», каким была, по существу, армия, воодушевлялся победой, падал духом при поражении; плохо уяснял себе необходимость перехода Карпат, несколько больше — борьбу на Стыри и Припяти, но все же утешал себя надеждой:

— Мы тамбовские, до нас немец не дойдет...

Мне приходится повторить эту довольно избитую фразу, ибо в ней глубокая психология русского человека.

Сообразно с таким преобладанием материальных ценностей в мировоззрении «вооруженного народа» в его сознание легче проникали упрощенные, реальные доводы за необходимость упорства в борьбе и достижения победы, за недопустимость поражения: чужая немецкая власть, разорение страны и хозяйств, тягость предстоящих в случае поражения податей и налогов, обесценение хлеба, проходящего через чужие проливы, и т. д. Кроме того, было все же некоторое доверие к власти, что она делает то, что нужно. Тем более, что ближайшие представители этой власти — офицеры — шли рядом, даже впереди и умирали так же безотказно и безропотно, по велению свыше или по внутреннему убеждению.

И солдаты шли мужественно на подвиг и на смерть.

Потом, когда это доверие рухнуло, сознание солдатской массы затуманилось окончательно. Формулы «без аннексий и контрибуций», «самоопределение народов» и проч. оказались более абстрактными и непонятными, чем старая отметаемая, заглохшая, но не вырванная из подсознания идея родины.

И для удержания солдат на фронте с подмостков, осененных красными флагами, послышались вновь и преимущественно знакомые мотивы материального порядка — немецкое рабство, разорение хозяйств, тяжесть налогов и т. д. Раздавались они уже из уст социалистов-оборонцев.

Итак, три начала, на которых покоился фундамент армии, были несколько подорваны.

Указывая на внутренние противоречия и духовные недочеты русской армии, я далек от желания поставить ее ниже других: они в той или иной степени свойственны всем народным армиям, получившим почти миллионный характер, и не мешали ни им, ни нам одерживать победы и продолжать войну. Но выяснение облика армии необходимо для уразумения ее последующих судеб.

Глава II. СОСТОЯНИЕ СТАРОЙ АРМИИ ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

Огромное значение в истории развития русской армии имела японская война.

Горечь поражения, ясное сознание своей ужасной отсталости вызвали большой подъем среди военной молодежи и заставили понемногу или переменить направление, или уйти в сторону элемент устаревший и косный. Невзирая на пассивное противодействие ряда лиц, стоявших во главе военного министерства и генерального штаба,— лиц неспособных или донельзя безразлично и легкомысленно относившихся к интересам армии, работа кипела. В течение десяти лет русская армия, не достигнув, конечно, далеко идеалов, все же сделала огромные успехи. Можно сказать с уверенностью, что, не будь тяжкого маньчжурского урока, Россия была бы раздавлена в первые же месяцы отечественной войны.

Но чистка командного состава шла все же слишком медленно. Наша мягкотелость («жаль человека», «надо его устроить»), протекционизм, влияния, нако-

[9] Имеются в виду политические деятели, выступающие под переделанными на русский лад фамилиями. (Прим. ред.)

нец слишком ригористически проводимая линия старшинства засорили списки командующего генералитета вредным элементом.

Высшая аттестационная комиссия, собиравшаяся раз в год в Петрограде, почти никого из аттестуемых не знала...

Этими обстоятельствами объясняется ошибочность первоначальных назначений: пришлось впоследствии удалить четырех главнокомандующих (из них один, правда, временный, оказался с параличом мозга...), нескольких командующих армиями, много командиров корпусов и начальников дивизий.

Генерал Брусилов[10] в первые же дни сосредоточения 8-й армии (июль 1914 г.) отрешил от командования трех начальников дивизий и корпусного командира.

Бездарности все же оставались на своих местах, губили и войска, и операции. У того же Брусилова генерал Д., последовательно отрешаемый, переменил одну кавалерийскую и три пехотных дивизии, пока наконец не успокоился в немецком плену.

И обиднее всего, что вся армия знала несостоятельность многих из этих начальников и изумлялась их назначению...

Неудивительно поэтому, что стратегия за всю кампанию не отличалась ни особенным полетом, ни смелостью. Таковы операции Северо-Западного фронта в Восточной Пруссии[11], в частности позорный маневр Ренненкампфа, таково упорное форсирование Карпат, о которые разбились войска Юго-Западного фронта в 1915 году, и, наконец, весеннее наступление наше 1916 года.

Последний эпизод настолько характерен для высшего командования и настолько серьезен по своим последствиям, что на нем следует остановиться.

Когда армия Юго-Западного фронта в мае перешла в наступление, увенчавшееся огромным успехом — разгромом нескольких австрийских армий, когда после взятия Луцка моя дивизия большими переходами шла к Владимир-Волынску,— я, да и все мы считали, что в нашем маневре — вся идея наступления, что наш фронт наносит главный удар.

Впоследствии оказалось, что нанесение главного удара предназначено было Западному фронту, а армии Брусилова производили лишь демонстрацию. Штаб хорошо сохранил тайну. Там, в направлении на Вильну, собраны были большие силы, небывалая еще у нас по количеству артиллерия и технические средства. Несколько месяцев войска готовили плацдармы для наступления. Наконец, все было готово, а успех южных армий, отвлекая внимание и резервы противника, сулил удачу и западным.

И вот почти накануне предполагавшегося наступления между главнокомандующим Западным фронтом генералом Эвертом и начальником штаба Верховного Главнокомандующего генералом Алексеевым происходит исторический разговор по аппарату, сущность которого заключается приблизительно в следующем:

А. Обстановка требует немедленного решения. Вы готовы к наступлению, уверены в успехе?

Э. В успехе не уверен, позиции противника очень сильны. Нашим войскам придется наступать на те позиции, на которых они терпели раньше неудачи...

А. В таком случае делайте немедленно распоряжение о переброске войск на Юго-Западный фронт. Я доложу государю.

И операция, так долго жданная, с таким методическим упорством подготовлявшаяся, рухнула. Западные корпуса к нам опоздали. Наше наступление захлебнулось. Началась бессмысленная бойня на болотистых берегах Стохода, где, между прочим, прибывшая гвардия потеряла весь цвет своего состава.

А Восточный германский фронт переживал тогда дни смертельной тревоги: «Это было критическое время; мы израсходовали все наши средства, и мы хо-

---

[10] Брусилов Алексей Алексеевич (1853—1926) — генерал от кавалерии, в первую мировую войну командовал 10-й армией, Юго-Западным фронтом, в 1917 г. — Верховный Главнокомандующий, с 1920 г. служил в Красной Армии. **(Прим. ред.)**

[11] Вызваны были, впрочем, исключительно желанием Ставки выручить французскую армию из отчаянного положения.

рошо знали, что никто не придет к нам на помощь, если русские пожелают нас атаковать»[12].

Впрочем, и с Брусиловым случился однажды эпизод, мало распространенный и могущий послужить интересным дополнением к общеизвестной характеристике этого генерала, одного из главных деятелей кампании. После блестящей операции 8-й армии, завершившейся переходом через Карпаты и вторжением в Венгрию, в декабре 1914 года наступил какой-то психологический надрыв в настроении командующего армией ген. Брусилова: под влиянием частной неудачи одного из корпусов он отдал приказ об общем отступлении, и армия быстро покатилась назад. Всюду мерещились прорывы, окружения и налеты неприятельской конницы, угрожавшей якобы самому штабу армии. Дважды генерал Брусилов снимал свой штаб с необыкновенной поспешностью, носившей характер панического бегства, уходя далеко от войск и теряя с ними всякую связь.

Мы отходили изо дня в день, совершая большие, утомительные марши, в полном недоумении: австрийцы не превосходили нас ни численно, ни морально и не слишком теснили. Каждый день мои стрелки и соседние полки Корнилова переходили в короткие контратаки, брали много пленных и пулеметы.

Генерал-квартирмейстерская часть штаба армии недоумевала еще более. Ежедневные доклады ее о неосновательности отступления сначала оставлялись Брусиловым без внимания, потом приводили его в гнев. Наконец генеральный штаб обратился к иному способу воздействия: пригласили друга Брусилова, старика генерала Панчулидзева[13], и внушили ему, что если так пойдет дальше, то в армии может возникнуть мысль об измене и дело окончится очень печально...

Панчулидзев пошел к Брусилову. Между ними произошла потрясающая сцена, в результате которой Брусилова застали в слезах, а Панчулидзева в глубоком обмороке. В тот же день был подписан приказ о наступлении, и армия с быстротой и легкостью двинулась вперед, гоня перед собой австрийцев, восстановив стратегическое положение и репутацию своего командующего.

Нужно сказать, что не только войска, но и начальники, получая редко и мало сведений о действиях на фронте, плохо разбирались в общих стратегических комбинациях. Войска же относились к ним критически только тогда, когда явно приходилось расплачиваться своей кровью. Так было в Карпатских горах, на Стоходе, во время второго Перемышля (весна 1917 года) и т. д.

Нет нужды прибавлять, что технические, профессиональные знания командного состава в силу неправильной системы высших назначений и сильнейшего расслоения офицерского корпуса мобилизациями не находились на должной высоте.

Наиболее угнетающее влияние на психику войск имело великое галицийское отступление и безрадостный ход войны (без побед) Северного и Западного фронтов, а затем нудное сидение их на опостылевших позициях в течение более года.

Об офицерском корпусе я уже говорил. Большие и малые недочеты его увеличивались по мере расслоения кадрового состава. Не ожидали такой длительности кампании, и потому организация армии не берегла надлежаще ни офицерских, ни унтер-офицерских кадров, вливая их в ряды действующих частей все сразу в начале войны.

Я живо помню один разговор в период мобилизации, первоначально имевшей в виду одну Австрию, в квартире В. М. Драгомирова, одного из авторитетных генералов армии. Подали телеграмму: объявление войны Германией... Наступило серьезное молчание... Все сосредоточились, задумались.

— Как вы думаете, сколько времени будет продолжаться война? — спросил кто-то Драгомирова.

---

[12] Людендорф. Mes souvenirs de guerre. («Мои воспоминания о войне». Вышли в Париже в 1921 г. На рус. яз. опубликованы Госиздатом в 1923—1924 гг. в 2-х тт.— **Прим. ред.**)

[13] Начальник санитарной части армии.

— Четыре месяца...

Роты выступали в поход иногда с пятью-шестью офицерами. Так как неизменно, при всех обстоятельствах кадровое офицерство (потом и большая часть прочих офицеров) в массе своей служило личным примером доблести, бесстрашия и самоотвержения[14], то, естественно, оно было в большинстве перебито. Так же нерасчетливо был использован другой прочный элемент — запасные унтер-офицеры, число которых в первый период войны на должностях простых рядовых достигало иногда до 50% состава роты.

Отношения между офицерами и солдатами старой армии не везде были построены на здоровых началах. Нельзя отрицать известного отчуждения между ними, вызванного недостаточно внимательным отношением офицерства к духовным запросам солдатской жизни. Но по мере постепенного падения кастовых и сословных перегородок эти отношения заметно улучшались. Война сблизила офицера и солдата еще более, установив во многих, по преимуществу армейских, частях подлинное боевое братство. Здесь необходимо, однако, оговориться: на внешних отношениях лежала печать всеобщей русской некультурности, составлявшей свойство далеко не одних лишь народных масс, а и русской интеллигенции. Оттого наряду с сердечным попечением, трогательной заботливостью о нуждах солдата, простотой и доступностью офицера, по целым месяцам лежавшего вместе с солдатом в мокрых, грязных окопах, евшего вместе с ним из одного котла и тихо, без жалоб ложившегося с ним в одну братскую могилу,.. наряду с этим были нередко грубость, ругня, иногда самодурство и зашения.

Несомненно, такого же рода взаимоотношения существовали и в самой солдатской среде с тою лишь разницей, что свой брат взводный или фельдфебель бывал и грубее, и жестче. Вся эта неприглядная сторона отношений в связи с нудностью и бестолковостью казарменного режима и мелкими ограничениями внутренним уставом солдатского быта давала всегда обильную пищу для подпольных прокламаций, изображавших солдата «жертвой произвола золотопогонников».

Здоровой сущности не замечали: она умышленно затемнялась неприглядной внешностью.

А между тем все мотивы обвинений, исходящих от печальников солдата, были хорошо известны. Они излагались в наводнивших армию в 1905 году листовках, повторялись заученными фразами на всех митингах, перепечатывались с некоторыми вариантами и в 1917 году. Кажется, кроме пресловутой формулы «без аннексий и контрибуций», солдатская революционная литература не обогатилась ни одним новым понятием. Если бы власть своевременно отнеслась внимательнее к психологии солдатской среды, изъяла из уставов все несущественные для сохранения дисциплины ограничения и некоторые смешные или казавшиеся унизительными требования, то потом не пришлось бы отменять их под давлением, не вовремя и в расширенных размерах.

Все эти обстоятельства имели тем большее значение, что закрепление внутренней связи во время войны и без того встречало большие затруднения: с течением времени, неся огромные потери и меняя 10 — 12 раз свой состав, войсковые части, по преимуществу пехотные, превращались в какие-то этапы, через которые текла непрерывно человеческая струя, задерживаясь недолго и не успевая приобщиться духовно к военным традициям части. Одной из причин сохранения относительной прочности артиллерии и отчасти других специальных родов оружия было то обстоятельство, что в них процент потерь в сравнении с пехотой составлял не более $^1/_{20}$ — $^1/_{10}$.

Два фактора имели несомненное значение в создании неблагоприятного настроения в войсках. По крайней мере впоследствии, во время «словесной кампании» министров и военных начальников, солдатские ораторы очень часто касались этих двух тем: введенное с 1915 года официально дисциплинарное наказание розгами и смертная казнь — «палечникам»[15]. Насколько необходимость борьбы с дезертирством путем саморанения не возбуждала ни малейшего сомнения и требовала лишь более тщательного технического обследования для избежания возможных судебных ошибок, настолько же крайне нежелательным и опасным независимо от этической стороны вопроса являлось телесное наказание, применяемое властью начальника. Военные юристы не сумели разрешить иначе этого вопроса. Между тем судебные уставы не обладают в военное время решительно никакими реальными способами репрессий, кроме смертной казни. Ибо для элемента преступного праволишения не имеют никакого значения, а всякое наказание, сопряженное с уходом из рядов, является только поощрением. Революционная демократия этого вопроса также не разрешила.

[14] В этом отношении нельзя поставить упрека и большинству старшего командного состава. Личная храбрость, часто безрассудная,— явление далеко не редкое.

Впрочем, после полной демократизации, после завоевания всех свобод и даже самостийности войсковой круг Донского казачьего войска, весьма демократического состава, ввел в свою армию в 1919 году наказание розгами за ряд воинских преступлений.

Такова непонятная психология русского человека!

Значительно сложнее вопрос о взаимоотношениях во флоте. Сословные и кастовые перегородки, замкнутость офицерского корпуса, консерватизм и неподвижность устарелых форм быта и взаимоотношений, большая отчужденность от матросской среды — все это не могло не повлиять впоследствии на значительно большую обостренность борьбы этих двух элементов. Кронштадт, Свеаборг, Гельсингфорс, Севастополь, Новороссийск — все эти кровавые этапы несчастного морского офицерства, нещадно избивавшегося, приводят в ужас и содрогание своим бессмысленным жестоким зверством и вместе с тем требуют глубокого и внимательного изучения...

В конечном итоге все эти обстоятельства создавали не совсем здоровую атмосферу в армии и флоте и разъединяли где в большей, где в меньшей степени два их составных элемента. В этом несомненный грех и русского офицерства, разделяемый им всецело с русской интеллигенцией. Грех, вызвавший противоположение «барина» мужику, офицера — солдату и создавший впоследствии благоприятную почву для работы разрушительных сил.

В стране не было преобладания анархических элементов. В особенности в армии, которая отражает в себе все недостатки и достоинства народа. Народ — крестьянская и казачья массы — страдал другими пороками: невежеством, инертностью и слабой волей к сопротивлению, к борьбе с порабощением, откуда бы оно ни исходило — от вековой традиционной власти или от внезапно появившихся псевдонимов. Не надо забывать, что наиболее яркий представитель чистого русского анархизма Махно недолго мог держаться на юге России своим первоначальным лозунгом: «Долой всякую власть, свободное соглашение между собой деревень и городов. Вся земля и все буржуйское добро — ваше»... Дважды разбитый, весною 1920 года он уже сам приступает к организации гражданского управления и произносит слово:

— Порядок.

Правда, лозунг этот не получил реального осуществления, но уже сама потребность в нем знаменательна.

В армии отнюдь не было преобладания анархических элементов. И потребовались потрясение слегка подгнивших основ, целый ряд ошибок и преступлений новой власти, огромная работа сторонних влияний, чтобы инерция покоя перешла наконец в инерцию движения, кровавый призрак которого долго еще будет висеть над несчастной русской землей.

Сторонним разрушительным влиянием в армии не противополагалось разумное воспитание. Отчасти по крайней неподготовленности в политическом отношении офицерского корпуса, отчасти вследствие инстинктивной боязни старого режима внести в казармы элементы «политики», хотя бы с целью критики противогосударственных учений. Этот страх относился, впрочем, не только к

[15] «Палечники» — явление не русское. Наши солдаты выучились этому способу у австрийцев, которые первыми начали практиковать его массами еще летом 1914 года.

социальным и внутренним проблемам русской жизни, но и к вопросам внешней политики. Так, например, незадолго до войны был издан высочайший приказ, строго воспрещавший воинским чинам где бы то ни было вести разговор на современную политическую тему (Балканский вопрос, австро-сербская распря и т. д.). Накануне неизбежно предстоявшей отечественной войны старательно избегали возбуждения здорового патриотизма, разъяснения целей и задач войны, ознакомления со славянским вопросом и вековой борьбой нашей с германизмом.

Признаться, я, как и многие другие, не исполнил приказа и подготовлял соответственно настроение Архангелогородского полка, которым командовал. А в военной печати выступил против приказа с горячей статьей на тему: «Не угашайте духа».

Ибо для меня нет сомнений, что обвитая траурным флером статуя Страсбурга на площади Согласия сыграла огромную роль в воспитании героической армии Франции.

Пропаганда проникала и в старую армию с разных сторон. Нет сомнения, что судорожные потуги быстро сменявшихся правительств Горемыкина, Штюрмера, Трепова остановить нормальный ход русской жизни сами по себе давали достаточно материала, возбуждая все больше и больше нараставший народный гнев, переливавшийся и в армию; его использовала социалистическая и пораженческая литература; Ленин нашел первоначальный путь в Россию своему учению через социал-демократическую фракцию Государственной Думы. Еще более интенсивно работали немцы. Об этих вопросах говорится подробно в главе XXIII.

Должен, однако, отметить, что вся эта пропаганда извне и изнутри, оказывая воздействие главным образом на тыловые части, гарнизоны и запасные батальоны крупных центров и в особенности Петрограда, до революции имела сравнительно небольшое влияние на войсковые части фронта. И сбитые с толку пополнения, придя на фронт и попадая в тяжелую, но более здоровую боевую атмосферу, зачастую быстро меняли к лучшему свой облик.

Тем не менее местами влияние разрушительной пропаганды находило подготовленную почву, и до революции еще были один-два случая, когда целые части оказали неповиновение, сурово подавленное.

Наконец, перед главной массой армии — крестьянской — вставал один практический вопрос, который заставлял ее инстинктивно не торопиться с социальной революцией:

— Без нас поделят землю... Нет, уж когда вернемся, тогда и будем делить!..

Своего рода естественной пропагандой служили неустройство тыла и дикая вакханалия хищений, дороговизны, наживы и роскоши, создаваемая на костях и крови фронта. Но особенно тяжко отозвался на армии недостаток техники и главным образом боевых припасов.

Только в 1917 году процесс Сухомлинова вскрыл перед русским обществом и армией главные причины, вызвавшие военную катастрофу 1915 года. Еще в 1907 году был разработан план пополнения запасов нашей армии и отпущены кредиты. Кредиты эти возрастали, как это ни странно, часто по инициативе комиссии государственной обороны, а не военного ведомства. Вообще же ни Государственная Дума, ни министерство финансов никогда не отказывали и не урезывали военных кредитов. В течение управления Сухомлинова ведомство получило особый кредит в 450 миллионов рублей и не израсходовало из них 300 миллионов! До войны вопрос о способах усиленного питания армии боевыми припасами после израсходования запасов мирного времени даже не подымался... Если действительно напряжение огневого боя с самого начала войны достигло неожиданных и небывалых размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей и западноевропейской военной науки, то тем более героические меры нужны были для выхода из трагического положения.

Между тем уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на 1/10, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом телеграфировал в Ставку: «Источники пополнения боевых припасов иссякли совершенно. При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в самых тяжелых условиях»...

А в то же время (конец сентября) на вопрос Жофра: «Достаточно ли снабжена российская императорская армия артиллерийским снаряжением для беспрепятственного продолжения военных действий?» — военный министр Сухомлинов отвечал: «Настоящее положение вещей относительно снаряжения российской армии не внушает серьезного опасения»... Иностранных заказов не делалось, от японских и американских ружей «для избежания неудобств от разнообразия калибров» отказывались.

Когда в августе 1917 года на скамью подсудимых сел виновник военной катастрофы, личность его произвела только жалкое впечатление. Гораздо серьезнее, болезненнее встал вопрос, как этот легкомысленный, невежественный в военном деле, быть может, сознательно преступный человек мог продержаться у кормила власти шесть лет. Какая среда военной бюрократии — «к добру и злу постыдно равнодушная» — должна была окружать его, чтобы сделать возможным и действия и бездействия, шедшие неуклонно и методично ко вреду государства.

Катастрофа разразилась окончательно в 1915 году.

Весна 1915 года останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои, изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость — физическая и моральная; то робкие надежды, то беспросветная жуть...

Помню сражение под Перемышлем в середине мая. Одиннадцать дней жестокого боя 4-й стрелковой дивизии... Одиннадцать дней страшного гула немецкой тяжелой артиллерии, буквально срывавшей целые ряды окопов вместе с защитниками их. Мы почти не отвечали: нечем. Полки, измотанные до последней степени, отбивали одну атаку за другой — штыками или стрельбой в упор; лилась кровь, ряды редели, росли могильные холмы... Два полка почти уничтожены — одним огнем...

Господа французы и англичане! Вы, достигшие невероятных высот техники, вам небезынтересно будет услышать такой нелепый факт из русской действительности:

Когда после трехдневного молчания нашей единственной шестидюймовой батареи ей подвезли пятьдесят снарядов, об этом сообщено было по телефону немедленно всем полкам, всем ротам, и все стрелки вздохнули с радостью и облегчением...

И какой тогда тяжелой, обидной иронией звучало для нас циркулярное послание Брусилова, в котором он, не имея возможности дать снаряды, с целью подбодрить, «поднять дух войск», убеждал нас не придавать такого исключительного значения преобладанию немецкой артиллерии, ибо были неоднократно случаи, что тяжелая артиллерия, выпустив по нашим участкам позиции огромное число снарядов, не наносила им почти никаких потерь...

21 марта генерал Янушкевич[13] сообщил военному министру: «Свершился факт очищения Перемышля. Брусилов ссылается на недостаток патронов — эту «bête-noire» вашу и мою... Из всех армий вопль — дайте патронов»...

Я не склонен идеализировать нашу армию. Много горьких истин мне приходится высказывать о ней. Но когда фарисеи, вожди российской революционной демократии, пытаясь оправдать учиненный главным образом их руками развал армии, уверяют, что она и без того близка была к разложению, они лгут.

Я не отрицаю крупных недостатков в системе назначений и комплектовании высшего командного состава, ошибок нашей стратегии, тактики и организации,

[16] Начальник штаба Верх. Главнок. вел. кн. Николая Николаевича. В 1918 г. убит большевиками.

технической отсталости нашей армии, несовершенства офицерского корпуса, невежества солдатской среды, пороков казармы. Знаю размеры дезертирства и уклонения от военной службы, в чем повинна наша интеллигенция едва ли не больше, чем темный народ. Но ведь не эти серьезные болезни армейского организма привлекали впоследствии особливое внимание революционной демократии. Она не умела и не могла ничего сделать для их уврачевания да и не боролась с ними вовсе. Я по крайней мере не знаю ни одной больной стороны армейской жизни, которую она исцелила бы или по крайней мере за которую взялась бы серьезно и практически. Пресловутое «раскрепощение» личности солдата? Отбрасывая все преувеличения, связанные с этим понятием, можно сказать, что самый факт революции внес известную перемену в отношения между офицером и солдатом, и это явление обещало при нормальных условиях, без грубого и злонамеренного вмешательства извне претвориться в источник большой моральной силы, а не в зияющую пропасть. Но революционная демократия в эту именно рану влила яд. Она поражала беспощадно самую сущность военного строя, его вечные, неизменные основы, оставшиеся еще непоколебленными: дисциплину, единоначалие и аполитичность. Это было, и этого не стало. А между тем падение старой власти как будто открывало новые широчайшие горизонты для оздоровления и поднятия в моральном, командном, техническом отношениях народной русской армии.

Каков народ, такова и армия. И, как бы то ни было, старая русская армия, страдая пороками русского народа, вместе с тем в своей преобладающей массе обладала его достоинствами и прежде всего необычайным долготерпением в перенесении ужасов войны; дралась безропотно почти три года; часто шла с голыми руками против убийственной высокой техники врагов, проявляя высокое мужество и самоотвержение; и своей обильной кровью[17] искупала грехи верховной власти, правительства, народа и свои.

Наши союзники не смеют забывать ни на минуту, что к середине января 1917 года эта армия удерживала на своем фронте 187 вражеских дивизий, т. е. 49% всех сил противника, действовавших на европейских и азиатских фронтах.

Старая русская армия заключала в себе достаточно еще сил, чтобы продолжать войну и одержать победу.

Глава V. РЕВОЛЮЦИЯ И ЦАРСКАЯ СЕМЬЯ

Государь, одинокий, без семьи, без близких, не имея возле себя ни одного человека, которому мог или хотел довериться, переживал свою тяжелую драму в старом губернаторском доме в Могилеве.

Вначале Протопопов[18] и правительство представляли положение серьезным, но не угрожающим: народные волнения, которые надо подавить «решительными мерами». Несколько сот пулеметов были предоставлены в распоряжение командовавшего войсками Петроградского округа генерала Хабалова; ему и председателю совета министров князю Голицыну расширены значительно права в области подавления беспорядков; наконец, утром 27-го с небольшим отрядом двинут генерал Иванов с секретными полномочиями — полнотой военной и гражданской власти, о которой он должен был объявить по занятии Царского Села. Трудно себе представить более неподходящее лицо для выполнения поручения столь огромной важности — по существу, военной диктатуры. Дряхлый старик, честный солдат, плохо разбиравшийся в политической обстановке, не обладавший уже ни силами, ни энергией, ни волей, ни суровостью... Вероятно, вспомнили удачное усмирение им Кронштадта в 1906 году.

Просматривая впоследствии последние донесения Хабалова и Беляева[19], я убедился в полной их растерянности, малодушии и боязни ответственности.

[17] Французский депутат Люи Мартэн исчисляет потери армий о д н и м и у б и т ы м и следующими цифрами (в миллионах): Россия — 2,5, Германия — 2, Австрия — 1,5, Франция — 1,4, Англия — 0,8, Италия — 0,6 миллиона и т. д. На долю России приходится 40% мартиролога всех союзных армий.

[18] Протопопов Александр Дмитриевич (1866—1918) — в 1916—1917 гг. царский министр внутренних дел, расстрелян в 1918 г. по приговору ВЧК. **(Прим. ред.)**

[19] Военный министр.

Тучи сгущались.

26 февраля императрица телеграфировала государю: «Я очень встревожена положением в городе»... В этот же день Родзянко[20] прислал историческую телеграмму: «Положение серьезное. В столице анархия. Правительство парализовано. Транспорт, продовольствие и топливо пришли в полное расстройство. Растет общее недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца». Эта телеграмма послана была Родзянко и всем главнокомандующим с просьбой поддержать его.

27-го утром председатель Думы обратился к государю с новой телеграммой: «Положение ухудшается, надо принять немедленно меры, ибо завтра будет уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

Трудно думать, что и в этот день государь не отдавал себе ясного отчета в катастрофическом положении; вернее, он — слабовольный и нерешительный человек — искал малейший предлог, чтобы отдалить час решения, фаталистически предоставляя судьбе творить неведомую волю...

Во всяком случае, новое внушительное представление генерала Алексеева, поддержанное ответными телеграммами главнокомандующих на призыв Родзянко, не имело успеха, и государь, обеспокоенный участью своей семьи, утром 28 февраля поехал в Царское Село, не приняв никакого определенного решения по вопросу об уступках русскому народу.

Генерал Алексеев — этот мудрый и честный патриот — не обладал достаточной твердостью, властностью и влиянием, чтобы заставить государя решиться на тот шаг, необходимость которого сознавалась тогда даже императрицей, телеграфировавшей 27-го: «Уступки необходимы».

Два дня бесцельной поездки. Два дня без надлежащей связи, осведомленности о нараставших и изменявшихся ежеминутно событиях... Императорский поезд, следуя кружным путем, распоряжением из Петрограда дальше Вишеры пропущен не был, и после получения ряда сведений о признании гарнизоном Петрограда власти Временного комитета Государственной Думы, о присоединении к революции царскосельских войск государь велел повернуть на Псков.

Вечером 1 марта в Пскове. Разговор с генералом Рузским; государь ознакомился с положением, но решения не принял. Только в два часа ночи второго, вызвав Рузского вновь, он вручил ему указ об ответственном министерстве. «Я знал, что этот компромисс запоздал,— рассказывал Рузский корреспонденту,— но я не имел права высказать свое мнение, не получив указаний от исполнительного комитета Государственной Думы, и предложил переговорить с Родзянко»[21].

Всю ночь телеграфные провода передавали разговоры, полные жуткого глубокого интереса и решавшие судьбы страны: Рузский с Родзянко и Алексеевым, Ставка с главнокомандующим, Лукомский[22] с Даниловым[23].

Во всех — ясно сознаваемая неизбежность о т р е ч е н и я.

Утром второго Рузский представил государю мнения Родзянко и военных вождей. Император выслушал совершенно спокойно, не меняя выражения своего как будто застывшего лица; в три часа дня он заявил Рузскому, что акт отречения в пользу своего сына им уже подписан[24], и передал телеграмму об отречении.

Если верить в закономерность общего исторического процесса, то все же приходится задуматься над фаталистическим влиянием случайных эпизодов, обыденно-житейских, простых и предотвратимых. Тридцать минут, протекшие вслед за сим, изменили в корне ход событий: не успели разослать телеграмму, как при-

[20] Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — председатель III и IV Государственных дум, один из лидеров буржуазной партии октябристов. **(Прим. ред.)**

[21] Chessin. La revolution russe. (Шессен. Русская революция. **(Прим. ред.)**

[22] Генерал-квартирмейстер штаба Верховного Главнокомандующего.

[23] Начальник штаба Северного фронта (Рузского).

[24] Акт был составлен в Ставке и прислан государю.

шло сообщение, что в Псков едут делегаты Комитета Государственной Думы Гучков и Шульгин... Этого обстоятельства, доложенного Рузским государю, было достаточно, чтобы он вновь отложил решение и задержал опубликование акта.

Вечером прибыли делегаты.

Среди глубокого молчания присутствующих[25] Гучков[26] нарисовал картину той бездны, к которой подошла страна, и указал на единственный выход — отречение.

— Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола,— ответил государь.— До трех часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться со своим сыном я неспособен. Вы это, надеюсь, поймете? Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.

Делегаты, застигнутые врасплох такой неожиданной постановкой вопроса, не протестовали. Гучков — по мотивам сердца — «не чувствуя себя в силах вмешиваться в отцовские чувства и считая невозможным в этой области какое-нибудь давление»[27]. Шульгин — по мотивам политическим: «Быть может, в душе маленького царя будут расти недобрые чувства по отношению к людям, разлучившим его с отцом и матерью; кроме того, большой вопрос, может ли регент принести присягу на верность конституции за малолетнего императора!..»

«Чувства» маленького царя — это был вопрос отдаленного будущего. Что касается юридических обоснований, то само существо революции отрицает юридическую законность ее последствий; слишком шатко было юридическое обоснование всех трех актов: вынужденного отречения императора Николая II, отказа его от наследственных прав за несовершеннолетнего сына и, наконец, впоследствии—передача верховной власти Михаилом Александровичем— лицом, не восприявшим ее,— Временному правительству путем подписания акта, в котором великий князь «просил» всех российских граждан подчиниться этому правительству.

Неудивительно, что «в общем сознании современников этого первого момента,— как говорит Милюков,— новая власть, созданная революцией, вела свое преемство не от актов 2 и 3 марта, а от событий 27 февраля»...

Я могу прибавить, что и впоследствии в сознании многих лиц высшего командного состава, ставивших на первый план спасение родины, в этом вопросе соображения юридического, партийно-политического и династического характера не играли никакой роли. Это обстоятельство имеет большое значение для уяснения многих последующих явлений.

Около 12 час. ночи на 3 марта после некоторых поправок государь вручил делегатам и Рузскому два экземпляра манифеста об отречении.

. . . .

«В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, Господу Богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее нашего дорогого отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками может окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему, великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского.

---

[25] Фредерикс, Нарышкин, Рузский, Гучков, Шульгин.

[26] Гучков Александр Иванович (1862—1936) — лидер партии октябристов, военный и морской министр первого Временного правительства. (Прим. ред.)

[27] Рассказ В. В. Шульгина.

Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои ими будут установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.

Призываю всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним — повиновением Царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет Господь Бог России.

Николай».

Поздно ночью поезд уносил отрекшегося императора в Могилев. Мертвая тишина, опущенные шторы и тяжкие, тяжкие думы. Никто никогда не узнает, какие чувства боролись в душе Николая II — отца, монарха и просто человека, когда в Могилеве при свидании с Алексеевым он, глядя на него усталыми, ласковыми глазами, как-то нерешительно сказал:

— Я передумал. Прошу вас послать эту телеграмму в Петроград.

На листке бумаги отчетливым почерком государь писал собственноручно о своем согласии на вступление на престол сына своего Алексея...

Алексеев унес телеграмму и... не послал. Было слишком поздно: стране и армии объявили уже два манифеста.

Телеграмму эту Алексеев, «чтобы не смущать умы», никому не показывал, держал в своем бумажнике и передал мне в конце мая, оставляя верховное командование. Этот интересный для будущих биографов Николая II документ хранится затем в секретном пакете в генерал-квартирмейстерской части Ставки.

Между тем около полудня 3 марта у великого князя Михаила Александровича, который с 27 февраля не имел связи со Ставкой и государем, собрались члены правительства и Временного комитета[28]. В сущности, вопрос был предрешен и тем настроением, которое царило в Совете рабочих депутатов по получении известия о манифесте, и вынесенной исполнительным комитетом Совета резолюцией протеста, доведенной до сведения правительства, и непримиримой позицией Керенского, и общим соотношением сил: кроме Милюкова и Гучкова, все прочие лица, «отнюдь не имея никакого намерения оказывать на великого князя какое-либо давление», в страстных тонах советовали ему отречься. Милюков предостерегал, что «сильная власть... нуждается в опоре привычного для масс символа», что «Временное правительство — одно — может потонуть в океане народных волнений и до Учредительного собрания не доживет»[29]...

Переговорив еще раз с председателем Государственной Думы Родзянко, великий князь заявил о своем окончательном решении отречься.

В тот же день обнародовано «заявление» великого князя Михаила Александровича.

«Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа.

Одушевленный со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.

Призывая благословение Божие, прошу всех граждан державы российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти впредь до того, как созванное в

---

[28] Князь Львов, Милюков, Керенский, Некрасов, Терещенко, Коновалов, Львов, Гучков, Родзянко, Шульгин, Ефремов, Караулов.

[29] Милюков. История второй русской революции (т. I. Киев, 1919; София, 1921—1924.— Прим. ред.)

возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

Михаил».

После отречения великий князь поселился возле Гатчины, не принимал решительно никакого участия в политической жизни страны и жил там до середины марта 1918 года, когда по инициативе местного большевистского комитета был арестован, препровожден в Петроград и затем вскоре сослан в Пермскую губернию.

Первоначально ходили слухи, что около половины июля 1918 года ему вместе с преданным секретарем-англичанином удалось бежать от большевиков; с тех пор об участи его никто ничего определенного не знает. Все розыски, произведенные органами Южного и Сибирского правительств и по инициативе вдовствующей императрицы не привели к достоверным результатам. Точно так же со стороны большевиков не было дано никаких официальных разъяснений. Позднейшие исследования, однако, заставляют думать, что «освобождение» явилось провокацией, великий князь увезен был тайно большевиками, убит недалеко от Перми, и тело его спущено под лед.

Эта таинственность исчезновения великого князя родила много легенд и вызвала даже появление в Сибири самозванцев. Летом 1918 года, ко времени первых успехов Сибирской армии, распространился широко по советской России и Югу слух о том, что сибирские войска ведет против большевиков великий князь Михаил Александрович. Газеты печатали его манифест. Периодически эти слухи и печатание апокрифических манифестов в провинциальной печати, преимущественно крайней правой, возобновлялись даже в 20-м году (в Крыму).

Нужно заметить, впрочем, что, когда летом 1918 года киевские монархисты вели сильную кампанию за придание антибольшевистскому военному движению монархического характера, они отказались от легитимного принципа, как, по некоторым соображениям, персонального свойства кандидатов, так — в отношении Михаила Александровича — и потому, что он «связал себя» торжественным обещанием перед Учредительным собранием.

Учитывая всю создавшуюся к марту 1917 года обстановку, я прихожу к убеждению, что борьба за оставление власти в руках императора Николая II вызвала бы анархию, падение фронта и окончилась бы неблагополучно и для него, и для страны; поддержка регентства Михаила Александровича была бы проведена с некоторой борьбой, но без потрясений и с безусловным успехом. Несколько труднее и все же возможным представлялось утверждение на престол Михаила Александровича при условии введения им широкой конституции.

И члены Временного правительства и Временного комитета, за исключением Милюкова и Гучкова, терроризованные Советом рабочих депутатов и переоценивая силу и значение возбужденной солдатской и рабочей массы Петрограда, взяли на себя большую историческую ответственность — убедить великого князя отказаться от немедленного восприятия верховной власти.

Дело не в монархизме и не в династии. Это — вопросы совершенно второстепенные. Я говорю только о России.

Трудно, конечно, сказать, насколько прочна и длительна была бы эта власть, какие метаморфозы испытала бы она впоследствии, но, если бы только на время войны она сберегла от распада армию, весь ход дальнейшей истории русской державы мог бы стать на путь эволюции и избавиться от тех небывалых потрясений, которые ныне ставят вопрос о дальнейшем ее существовании.

7 марта Временное правительство постановило «признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село». Выполнение этого постановления в отношении императрицы возложено было на генерала Корнилова, что впоследствии не могли ему простить ортодоксальные монархисты. Как странно: Александрв Федоровиа после объявления ей об аресте высказала удовлетворение, что это было сделано славным генералом Корниловым, а не кем-либо из членов нового правительства...

В отношении государя исполнение правительственного распоряжения возложено было на четырех членов Государственной Думы.

8 марта, простившись со Ставкой, государь уехал из Могилева при гробовом молчании собравшегося на вокзале народа; в последний раз его провожали полные горючих слез глаза матери.

Чтобы понять казавшееся странным отношение правительства к государевой семье во время пребывания ее и в Царском Селе, и в Тобольске, нужно напомнить следующее обстоятельство: невзирая на то, что за все семь с половиной месяцев власти Временного правительства не было ни одной серьезной попытки к освобождению арестованных, они пользовались исключительным вниманием Совета рабочих и солдатских депутатов; и в заседании Совета 10 марта товарищ председателя Соколов при полном одобрении собрания докладывал: «Вчера стало известным, что Временное правительство изъявило согласие на отъезд Николая II в Англию и даже вступило об этом в переговоры с британскими властями без согласия и без ведома исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Мы мобилизовали все находящиеся под нашим влиянием воинские части и поставили дело так, чтобы Николай II фактически не мог уехать из Царского Села без нашего согласия. По линиям железных дорог были разосланы соответствующие телеграммы... задержать поезд с Николаем II, буде таковой уедет... Мы командировали своих комиссаров... отрядив соответствующее количество воинской силы с броневыми автомобилями и окружили Александровский дворец плотным кольцом. Затем мы вступили в переговоры с Временным правительством, которое санкционировало все наши мероприятия. В настоящее время бывший царь находится не только под надзором Временного правительства, но и нашим надзором»...

1 августа 1917 года царская семья была отправлена в Тобольск, а после утверждения в Сибири советской власти император с семьей был перевезен в Екатеринбург, и там, подвергаясь невероятному глумлению черни, мучениями и смертью своею и своей семьи[30] — заплатил за все вольные и невольные прегрешения против русского народа.

Когда во время второго Кубанского похода на станции Тихорецкой, получив известие о смерти императора, я приказал Добровольческой армии отслужить панихиды, этот факт вызвал жестокое осуждение в демократических кругах и печати...

Забыли мудрое слово: «Мне отмщение и аз воздам»...

Глава VI. РЕВОЛЮЦИЯ И АРМИЯ. — ПРИКАЗ № 1

События застали меня далеко от столицы, в Румынии, где я командовал 8-м армейским корпусом. Оторванные от родины, мы если и чувствовали известную напряженность политической атмосферы, то не были подготовлены вовсе ни к такой неожиданно скорой развязке, ни к тем формам, которые она приняла.

Фронт был поглощен своими частными интересами и заботами. Готовились к зимнему наступлению, которое вызывало совершенно отрицательное отношение к себе у всего командного состава нашей 4-й армии; употребляли все усилия, чтобы ослабить до некоторой хотя бы степени ту ужасную хозяйственную разруху, которую создали нам румынские пути сообщения. Где-то в Новороссии на нашей базе всего было достаточно, но до нас ничего не доходило. Лошади дохли от бескормицы, люди мерзли без сапог и теплого белья и заболевали тысячами; из нетопленых румынских вагонов, не приспособленных под больных и раненых, вынимали окоченелые трупы и складывали, как дрова, на станционных платформах. Молва катилась, преувеличивая отдельные эпизоды, волновала, искала виновных...

Местами, в особенности на фронте 9-й армии, на высоких горах, в жестокую стужу, в холодных землянках по неделям жили на позиции люди — замер-

[30] Убийство произошло в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

завшие, полуголодные; с огромным трудом по козьим тропам доставляли им хлеб и консервы.

Потом с большим трудом жизнь как будто немного наладилась. Во всяком случае, едва ли когда-нибудь в течение отечественной войны войскам приходилось жить в таких тяжких условиях, как на Румынском фронте зимою 1916—1917 года. Я подчеркиваю это обстоятельство, принимая во внимание, что войска Румынского фронта сохранили большую боеспособность и развалились впоследствии позже всех. Этот факт свидетельствует, что со времен суворовского швейцарского похода и Севастополя не изменилась необыкновенная выносливость русской армии, что тяжесть боевой жизни не имела значения в вопросе о моральном ее состоянии и что растление шло в строгой последовательности от центра (Петрограда) к перифериям.

Утром 3 марта мне подали телеграмму из штаба армии «для личного сведения» о том, что в Петрограде вспыхнуло восстание, что власть перешла к Государственной Думе и что ожидается опубликование важных государственных актов. Через несколько часов телеграф передал и манифесты императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить их, потом, к немалому моему смущению (телефоны разнесли уже весть), задержать, потом наконец снова распространить. Эти колебания, по-видимому, были вызваны переговорами Временного комитета Государственной Думы и штаба Северного фронта о задержке опубликования актов ввиду неожиданного изменения государем основной их идеи: наследование престола не Алексеем Николаевичем, а Михаилом Александровичем. Задержать, однако, уже не удалось.

Войска были ошеломлены — трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14-й и 15-й дивизий весть об отречении своего императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слезы...

Спустя некоторое время, когда улеглось первое впечатление, я два раза собирал старших начальников обеих дивизий с целью выяснить настроение войск и беседовал с частями. Эти доклады, личные впечатления, донесения соседних корпусов, которые я читал потом в штабе армии, дают мне возможность оценить объективно это настроение. Главным образом, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса — слишком темная, чтобы разобраться в событиях и слишком инертная, чтобы тотчас реагировать на них,— тогда не вполне еще определилась.

Чтобы передать точно тогдашнее настроение, не преломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки из своего письма к близким от 8 марта:

«Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения:

1) Возврат к прежнему немыслим.

2) Страна получит государственное устройство, достойное великого народа: вероятно, конституционную ограниченную монархию.

3) Конец немецкому засилью, и победное продолжение войны».

Отречение государя сочли неизбежным следствием всей нашей внутренней политики последних лет. Но никакого озлобления лично против него и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее.

Назначение Верховным Главнокомандующим Николая Николаевича и его начальником штаба генерала Алексеева было встречено и в офицерской и в солдатской среде вполне благоприятно.

Интересовались, будет ли армия представлена в Учредительном Собрании.

К составу Временного правительства отнеслись довольно безучастно, к назначению военным министром штатского человека отрицательно, и только участие его в работах по государственной обороне и близость к офицерским кругам сглаживали впечатление.

Многим кажется удивительным и непонятным тот факт, что крушение векового монархического строя не вызвало среди армии, воспитанной в его традициях, не только борьбы, но даже отдельных вспышек. Что армия не создала своей Ванден...

Мне известны только три эпизода резкого протеста: движение отряда генерала Иванова на Царское Село, организованное Ставкой в первые дни волнений в Петрограде, выполненное весьма неумело и вскоре отмененное, и две телеграммы, посланные государю командирами 3-го конного и гвардейского конного корпусов, графом Келлером [31] и ханом Нахичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение государя для подавления «мятежа»...

Было бы ошибочно думать, что армия являлась вполне подготовленной для восприятия временной «демократической республики», что в ней не было «верных частей» и «верных начальников», которые решились бы вступить в борьбу. Несомненно, были. Но сдерживающим началом для всех их являлись два обстоятельства: первое — видимая легальность обоих актов отречения, причем второй из них, призывая подчиниться Временному правительству, «облеченному всей полнотой власти», выбивал из рук монархистов всякое оружие, и второе — боязнь междоусобной войной открыть фронт. Армия тогда была послушна своим вождям. А они — генерал Алексеев, все главнокомандующие — признали новую власть. Вновь назначенный Верховный Главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, в первом приказе своем говорил: «Установлена власть в лице нового правительства. Для пользы нашей родины я, Верховный Главнокомандующий, признал ее, показав тем пример нашего воинского долга. Повелеваю всем чинам славной нашей армии и флота неуклонно повиноваться установленному правительству через своих прямых начальников. Только тогда Бог нам даст победу».

Время шло.

От частей корпуса стало поступать ко мне множество крупных и мелких недоуменных вопросов:

Кто же у нас представляет верховную власть: Временный комитет, создавший Временное правительство, или это последнее?

Запросил, не получил ответа. Само Временное правительство, по-видимому, не отдавало себе ясного отчета о существе своей власти.

Кого поминать на богослужении?

Петь ли народный гимн и «спаси Господи люди Твоя»?..

Эти кажущиеся мелочи вносили, однако, некоторое смущение в умы и нарушали установившийся военный обиход.

Начальники просили скорее установить присягу.

Был и такой вопрос: имел ли право император Николай Александрович отказаться от прав престолонаследия за своего несовершеннолетнего сына?..

Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска: получен был первый приказ военного министра Гучкова с изменениями устава внутренней службы в пользу «демократизации армии» [32]. Этим приказом, на первый взгляд довольно безобидным, отменялось титулование офицеров, обращение к солдатам на «ты» и целый ряд мелких ограничений, установленных для солдат уставом,— воспрещение курения на улицах и в других общественных местах, посещения клубов и собраний, игры в карты и т. д.

Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что если необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо исподволь, осторожно, а главное, отнюдь не придавая этому характера «завоеваний революции»...

Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл этих мелких изменений устава, приняла их просто, как освобождение от стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания.

---

[31] Убит в Киеве в 1918 году петлюровцами.
[32] От 5 марта.

— Свобода, и кончено!

Впоследствии военному министру в приказе 24 марта пришлось разъяснять такие, например, положения: «Воинским чинам предоставлено право свободного посещения, наравне со всеми гражданами, всех общественных мест, театров, собраний, концертов и проч., а также и право проезда по железным дорогам в вагонах всех классов. Однако право свободы посещения этих мест отнюдь не означает права бесплатного пользования ими, как то по-видимому понято некоторыми солдатами»...

Нарушение дисциплины и неуважительное отношение к начальникам усилились. В частях, и особенно в тыловых, начала сильно развиваться карточная игра с дурными последствиями для солдат, имевших на руках казенные деньги или причастных к хозяйству. Командовавший 4-й армией для прекращения этого явления принял весьма демократическую меру, запретив на время войны карточную игру всем — генералам, офицерам и солдатам. Временное правительство только 22 августа 1917 года, обеспокоенное последствиями этого, казалось, мелкого изменения устава в пользу демократизации, сочло себя вынужденным особым постановлением «воспретить военнослужащим на театре военных действий, а также в казармах, дворах, военных помещениях и вне театра войны — всякую игру в карты».

Но если все эти мелкие изменения устава, распространительно толкуемые солдатами, отражались только в большей или меньшей степени на воинской дисциплине, то разрешение военным лицам во время войны и революции «участвовать в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью»... представляло уже угрозу самому существованию армии.

Ставка, обеспокоенная этим обстоятельством, прибегнула тогда к небывалому еще в армии способу плебисцита: всем начальникам, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новых приказов в телеграммах, адресованных непосредственно военному министру. Я не знаю, справился ли телеграф со своей задачей, достигла ли назначения эта огромная масса телеграмм, но все те, которые стали мне известны, были полны осуждения, во всех сквозил страх за будущее армии.

А в то же время Военный совет, состоявший из старших генералов — якобы хранителей опыта и традиций армии,— в Петрограде, на заседании своем 10 марта постановил доложить Временному правительству:

«...Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное правительство принимает в отношении реформ наших вооруженных сил, соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусского милитаризма».

Я не могу после этого не войти в положение штатского военного министра. Нам трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство, издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержном оппортунизме лиц, окружавших военного министра, о том, что Временное правительство находится в плену у Совета рабочих и солдатских депутатов и вступило с ним на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной[33].

1-го марта Советом рабочих и солдатских депутатов был отдан приказ № 1, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников,— приказ, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый и главный толчок к развалу армии.

[33] На съезде Советов (30 марта) Церетели признал, что в контактной комиссии не было случая, чтобы в важных вопросах Временное правительство не шло на соглашение.

Приказ № 1.

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградского округа всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов постановил:

1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра, 2-го сего марта.

3) Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.

4) Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее должно находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в каком случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности, вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется.

7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов, и в частности обращение к ним на «ты», воспрещается и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Петроградский Совет
Рабочих и Солдатских Депутатов

Генерал Монкевиц уверяет, что приказ такого же содержания он читал в 1905 году в Красноярске, изданный Советом депутатов 3-го железнодорожного баталиона[34]. Несомненно, приказ этот — штамп социалистической мысли, не поднявшейся до понимания законов бытия армии или, вернее, наоборот — сознательно ниспровергавшей их. Редактирование приказа приписывают присяжному поверенному Н. Д. Соколову, который извлек якобы образец его из своего архива, как бывший защитник по делу совета 1905 года. Генерал Потапов называет имена составителей приказа № 2, дополнявшего первый, в предположении, что та же комиссия редактировала и № 1[35].

Милюков упоминает о том, будто 4 марта решено было расклеить заявление Керенского и Чхеидзе[36], что приказ № 1 не исходит от Совета рабочих и солдатских депутатов. Такое заявление не попало ни в печать, ни на фронт и совершенно не соответствовало бы истине, ибо выпуск приказа Советом не подлежит никакому сомнению и подтверждается его руководителями.

[34] Монкевиц. La décomposition de l'armée russe.
[35] Соколов, Доброницкий, Борисов, Кудрявцев, Филипповский, Падерини, Заас, Чекалин, Кремков.
[36] Чхеидзе Николай Семенович (1864—1926) — один из лидеров меньшевиков, первый председатель Петроградского Совета в 1917 г. (Прим. ред.)

Результаты приказа № 1 отлично были поняты вождями революционной демократии. Говорят, что Керенский впоследствии патетически заявлял, что отдал бы десять лет жизни, чтобы приказ не был подписан... Произведенное военными властями расследование «не обнаружило» авторов его. Чхеидзе и прочие столпы Совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии отвергали участие свое личное и членов комитета в редактировании приказа.

Пилаты! Они умывали руки, отвергая начертание своего же символа веры. Ибо в отчете о секретном заседании правительства, главнокомандующих и исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов 4 мая 1917 года записаны их слова[37].

Церетели: «Вам, может быть, был бы понятен приказ № 1, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа, и ее надо было организовать»...

Скобелев: «Я считаю необходимым разъяснить ту обстановку, при которой был издан приказ № 1. В войсках, которые свергли старый режим, командный состав не присоединился к восставшим, и, чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать приказ № 1. У нас была скрытая тревога, как отнесется к революции фронт. Отдаваемые распоряжения внушали опасения. Сегодня мы убедились, что основания для этого были».

Еще более искренним был Иосиф Гольденберг, член Совета рабочих и солдатских депутатов и редактор «Новой Жизни». Он говорил французскому писателю Claude Anet[38]:

«Приказ № 1 — не ошибка, а необходимость. Его редактировал не Соколов; он является единодушным выражением воли Совета. В день, когда мы «сделали революцию», мы поняли, что, если не развалить старую армию, она раздавит революцию. Мы должны были выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы приняли решение в пользу последней и употребили — я смело утверждаю это — надлежащее средство».

5 марта Совет рабочих и солдатских депутатов отдал приказ № 2 «в разъяснение и дополнение № 1». Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные № 1-м, добавлял: приказ № 1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее все произведенные уже выборы офицеров должны остаться в силе; комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно Совета рабочих и солдатских депутатов, а в вопросах, относящихся до военной службы,— военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от № 1-го, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного правительства...

Генерал Потапов, именовавшийся «председателем военной комиссии Государственной Думы», так говорит о создавшихся взаимоотношениях между Советом рабочих и солдатских депутатов и военным министром: «6 марта вечером на квартиру Гучкова пришла делегация Совдепа в составе Соколова, Нахамкеса и Филипповского (ст. лейтенант), Скобелева, Гвоздева, солдат Падергина и Кудрявцева (инженера) по вопросу о реформах в армии... Происходившее заседание было очень бурным. Требования делегации Гучков признал для себя невозможными и несколько раз выходил, заявляя о сложении с себя звания министра. С его уходом я принимал председательствование, вырабатывались соглашения, снова приглашался Гучков, и заседание закончилось воззванием, которое было подписано от Совдепа Скобелевым, от комитета Государственной Думы мною и от правительства — Гучковым. Воззвание аннулировало приказы № 1 и № 2, но военный министр дал обещание проведения в армии более реальных, чем он предполагал, реформ по введению новых правил взаимоотношений командного состава и солдат». Эти реформы должна была провести комиссия генерала Поливанова.

Единственным компетентным военным человеком в этом своеобразном «военном совете» являлся генерал Потапов, который и должен нести свою долю нравственной ответственности за «более реальные реформы»...

[37] См. главу XXII.
[38] La révolution russe.

В действительности же воззвание, опубликованное в газетах 8 марта, вовсе не аннулировало приказов № 1 и № 2, а лишь разъяснило, что они относятся только к войскам Петроградского военного округа. «Что же касается армий фронта, то военный министр обещал незамедлительно выработать, в согласии с Исполнительным комитетом Совета рабочих и солдатских депутатов, новые правила отношений солдат и командного состава». Как приказ № 2, так и это воззвание не получили никакого распространения в войсках и ни в малейшей степени не повлияли на ход событий, вызванных к жизни приказом № 1.

Быстрое и повсеместное, по всему фронту и тылу, распространение приказа № 1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведенные в нем, зрели и культивировались много лет — одинаково в подпольях Петрограда и Владивостока, как заученные прописи, проповедовались всеми местными армейскими демагогами, всеми наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкосновенности от Совета рабочих и солдатских депутатов.

Были и такие факты: в самом начале революции, когда еще никакие советские приказы не проникли на Румынский фронт, командующий 6-й армией генерал Цуриков по требованию местных демагогов ввел у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведения, сообщил об этом и нам — командирам корпусов чужой армии.

С другой стороны, некоторые солдатские организации отнеслись отрицательно к приказу, считая его провокацией. Так, нижегородский совет солдатских депутатов 4 марта постановил не принимать к исполнению полученную «прокламацию» и призвать войска «повиноваться Временному правительству, его органам и командному составу».

Мало-помалу солдатская масса зашевелилась. Началось с тылов, всегда более развращенных, чем строевые части; среди военной полуинтеллигенции — писарей, фельдшеров, в технических командах. Ко второй половине марта, когда в наших частях только усилились несколько дисциплинарные проступки, командующий 4-й армией в своей главной квартире ожидал с часу на час, что его арестуют распущенные нестроевые банды...

Прислали наконец текст присяги «на верность службы Российскому государству». Идея верховной власти была выражена словами:

«...Обязуюсь повиноваться Временному правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве Учредительного собрания».

Приведение войск к присяге повсюду прошло спокойно, но идиллических ожиданий начальников не оправдало: ни подъема, ни успокоения в смятенные умы не внесло. Могу отметить лишь два характерных эпизода. Командир одного из корпусов на Румынском фронте во время церемонии присяги умер от разрыва сердца. Граф Келлер заявил, что приводить к присяге свой корпус не станет, так как не понимает существа и юридического обоснования[39] верховной власти Временного правительства; не понимает, как можно присягать повиноваться Львову, Керенскому и прочим определенным лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить свои посты... Князь Репнин XX века после судебной волокиты ушел на покой и до самой смерти своей не одел машкеры...

Было ли действительно принесение присяги машкерой? Думаю, что для многих лиц, которые не считали присягу простой формальностью — далеко не одних монархистов,— это, во всяком случае, была большая внутренняя драма, тяжело переживаемая; это была тяжелая жертва, приносимая во спасение Родины и для сохранения армии...

В половине марта я был вызван на совещание к командующему 4-й арми-

[39] На вопрос толпы, кто выбрал Временное правительство, Милюков ответил: «Нас выбрала русская революция».

ей генералу Рагозе. Участвовали генералы Гаврилов, Сычевский и начальник штаба Юнаков[40]. Отсутствовал граф Келлер, не признавший новой власти.

Нам прочли длинную телеграмму генерала Алексеева, полную беспросветного пессимизма, о начинающейся дезорганизации правительственного аппарата и развале армии; демагогическая деятельность Совета рабочих и солдатских депутатов, тяготевшего над волей и совестью Временного правительства; полное бессилие последнего; вмешательство обоих органов в управление армией. В качестве противодействующего средства против развала армии намечалась... посылка государственно мыслящих делегатов из состава Думы и Совета рабочих и солдатских депутатов на фронт для убеждения...

На всех телеграмма произвела одинаковое впечатление:

Ставка выпустила из своих рук управление армией. Между тем грозный окрик верховного командования, поддержанный сохранившей в первые две недели дисциплину и повиновение армией, быть может, мог поставить на место переоценивавший свое значение Совет, не допустить «демократизации» армии и оказать соответственное давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контрреволюции, ни военной диктатуры. Лояльность командного состава и полное отсутствие с его стороны активного противодействия разрушительной политике Петрограда превзошли все ожидания революционной демократии.

Корниловское выступление запоздало...

Мы составили сообща ответную телеграмму, предлагая решительные меры против чужого вмешательства в военное управление.

В штабе я ознакомился с телеграммами Родзянко и Алексеева главнокомандующим и от них государю. Как известно, все главнокомандующие[41] присоединились к просьбе Родзянко. Но Западный фронт долго задерживал ответ; Румынский также долго уклонялся от прямого ответа и все добивался по аппарату у соседних штабов, каков ответ дали другие. Наконец от Румынского фронта послана была телеграмма, в первой части которой высказывалось глубокое возмущение «дерзким предложением председателя Государственной Думы», а во второй, принимая во внимание сложившуюся обстановку, как единственный выход указывалось принятие предложения...

18 марта я получил приказание немедленно отправиться в Петроград к военному министру. Быстро собравшись, я выехал в ту же ночь и, пользуясь сложной комбинацией повозок, автомобилей и железных дорог, на 6-й день прибыл в столицу.

По пути, проезжая через штабы Лечицкого, Каледина, Брусилова, встречая много лиц военных и причастных к армии, я слышал все одни и те же горькие жалобы, все одну и ту же просьбу:

— Скажите им, что они губят армию...

Телеграмма не давала никакого намека на цель моего вызова. Полная, волнующая неизвестность, всевозможные догадки и предположения.

Только в Киеве слова пробегавшего мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью:

— Последние новости... Назначение генерала Деникина начальником штаба Верховного Главнокомандующего...

Глава VII. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПЕТРОГРАДА В КОНЦЕ МАРТА 1917 ГОДА

Перед своим отречением император подписал два указа — о назначении председателем совета министров кн. Львова и Верховным Главнокомандующим великого князя Николая Николаевича. «В связи с общим отношением к династии Романовых», как говорили петроградские официозы, а в действительности из опасения Совета рабочих и солдатских депутатов попыток военного переворота великому князю Николаю Николаевичу 9 марта было сообщено Временным правительством о нежелательности его оставления в должности Верховного Главнокомандующего.

[40] Впоследствии — начальник штаба Петлюры.

[41] Великий князь Николай Николаевич, Рузский, Эверт, Брусилов, Сахаров.

Министр-председатель князь Львов писал: «Создавшееся положение делает неизбежным оставление Вами этого поста. Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей. Временное правительство не считает себя вправе оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым могло бы привести к самым серьезным осложнениям. Временное правительство убеждено, что Вы, во имя блага родины, пойдете навстречу требованиям положения и сложите с себя еще до приезда Вашего в Ставку звание Верховного Главнокомандующего».

Письмо это застало великого князя уже в Ставке, и он, глубоко обиженный, немедленно сдал командование генералу Алексееву, ответив правительству: «Рад вновь доказать мою любовь к Родине, в чем Россия до сих пор не сомневалась»...

Возник огромной важности вопрос о заместителе... Ставка волновалась, ходили всевозможные слухи, но ко дню моего проезда через Могилев ничего определенного не было еще известно.

23-го я явился к военному министру Гучкову, с которым раньше никогда не приходилось встречаться.

От него я узнал, что правительство решило назначить Верховным Главнокомандующим генерала М. В. Алексеева. Вначале вышло разногласие: Родзянко и другие были против него. Родзянко предлагал Брусилова... Теперь окончательно решили вопрос в пользу Алексеева. Но, считая его человеком мягкого характера, правительство сочло необходимым подпереть Верховного Главнокомандующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились на мне с тем, чтобы, пока я не войду в курс работы, временно оставался в должности начальника штаба генерал Клембовский, бывший тогда помощником Алексеева[42].

Несколько подготовленный к такому предложению отделом «Вести и слухи» киевской газетки, я все же был и взволнован, и несколько даже подавлен теми широчайшими перспективами работы, которые открылись так неожиданно, и той огромной нравственной ответственностью, которая была сопряжена с назначением. Долго и искренно я отказывался от него, приводя достаточно серьезные мотивы: вся служба моя прошла в строю и в строевых штабах; всю войну я командовал дивизией и корпусом и к этой боевой и строевой деятельности чувствовал призвание и большое влечение; с вопросами политики, государственной обороны и администрации — в таком огромном, государственном масштабе — не сталкивался никогда... Назначение имело еще одну не совсем приятную сторону: как оказывается, Гучков объяснил генералу Алексееву откровенно мотивы моего назначения и от имени Временного правительства поставил вопрос об этом назначении до некоторой степени ультимативно.

Создалось большое осложнение: навязанный начальник штаба, да еще с такой не слишком приятной мотивировкой...

Но возражения мои не подействовали. Я выговорил себе, однако, право, прежде чем принять окончательное решение, переговорить откровенно с генералом Алексеевым.

Между прочим, военный министр во время моего посещения вручил мне длинные списки командующего генералитета до начальников дивизий включительно, предложив сделать отметки против фамилии каждого известного мне генерала об его годности или негодности к командованию. Таких листов с пометками, сделанными неизвестными мне лицами, пользовавшимися, очевидно, доверием министра, было у него несколько экземпляров. А позднее, после объезда Гучковым фронта, я видел эти списки, превратившиеся в широкие простыни с 10—12 графами.

[42] Генерал Клембовский был назначен на эту должность генералом Гурко во время исправления им должности начальника штаба Верховного Главнокомандующего, когда Алексеев был болен.

В служебном кабинете министра встретил своего товарища генерала Крымова[43] и вместе с ним присутствовал при докладе помощников военного министра[44]. Вопросы текущие, неинтересные. Ушли с Крымовым в соседнюю пустую комнату. Разговорились откровенно.

— Ради Бога, Антон Иванович, не отказывайся от должности — это совершенно необходимо.

Он поделился со мною впечатлениями, рассказывая своими отрывочными фразами, оригинальным, несколько грубоватым языком и всегда искренним тоном.

Приехал он 14 марта, вызванный Гучковым, с которым раньше еще был в хороших отношениях и работал вместе. Предложили ему ряд высоких должностей, просил осмотреться, потом от всех отказался. «Вижу — нечего мне тут делать в Петрограде, не по душе все». Не понравилось ему очень окружение Гучкова. «Оставляю ему полковника генерального штаба Самарина для связи — пусть хоть один живой человек будет». Ирония судьбы: этот, пользовавшийся таким доверием Крымова офицер впоследствии сыграл роковую роль, послужив косвенно причиной его самоубийства...

К политическому положению Крымов отнесся крайне пессимистически:

— Ничего ровно из этого не выйдет. Разве можно при таких условиях вести дело, когда правительству шагу не дают ступить совдеп и разнузданная солдатня? Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизией — конечно, не без кровопролития... Ни за что: Гучков не согласен, Львов за голову хватается: «Помилуйте, это вызвало бы такие потрясения!» Будет хуже. На днях уезжаю к своему корпусу: не стоит терять связи с войсками, только на них и надежда — до сих пор корпус сохранился в полном порядке, может быть, удастся поддержать это настроение.

Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувство вызывала столица... начиная с разгромленной гостиницы «Астория», где я остановился и где в вестибюле дежурил караул грубых и распущенных гвардейских матросов; улицы такие же суетливые, но грязные и переполненные новыми господами положения в защитных шинелях, далекими от боевой страды, углубляющими и спасающими революцию. От кого?.. Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его. Нигде. Министры и правители с бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, советах, комитетах, делегациях, представителям, толпе... Искусственный подъем, бодрящая, взвинчивающая настроение, опостылевшая, вероятно, самому себе фраза, и... тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой практической работы: министры, по существу, не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств; и заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать старыми частями и с новым приводом...

Рядовое офицерство, несколько растерянное и подавленное, чувствовало себя пасынками революции и никак не могло взять надлежащий тон с солдатской массой. А на верхах, в особенности среди генерального штаба, появился уже новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравший на слабых струнках Совета и нового правящего рабоче-солдатского класса, старавшийся угождением инстинктам толпы стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвременья открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры.

Следует, однако, признать, что в то время еще военная среда оказалась достаточно здоровой, ибо, невзирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не дала пищи этим росткам. Все лица подобного типа, как, например, молодые помощники военного министра Керенского, а также

[43] Генерал Крымов — начальник Уссурийской дивизии, потом командир 3-го конного корпуса, сыгравший такую видную роль в корниловском выступлении. До революции — один из инициаторов предполагавшегося дворцового переворота.

[44] Филатьев, Новицкий, Маниковский и сенатор Гарин.

генералы Брусилов, Черемисов, Бонч-Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и др., не смогли укрепить своего влияния и положения среди офицерства.

Наконец, петроградский гражданин — в самом широком смысле этого слова — отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл, и на смену явились некоторая озабоченность и неуверенность.

Не могу не отметить одного общего явления тогдашней петроградской жизни. Люди перестали быть сами собой. Многие как будто играли заученную роль на сцене жизни, обновленной дыханием революции. Начиная с заседаний Временного правительства, где, как мне говорили, присутствие «заложника демократии» — Керенского — придавало не совсем искренний характер обмену мнений... Побуждения тактические, партийные, карьерные, осторожность, чувство самосохранения, психоз и не знаю еще какие дурные и хорошие чувства заставляли людей надеть шоры и ходить в них в роли апологетов или по крайней мере бесстрастных зрителей «завоеваний революции» — таких завоеваний, от которых явно пахло смертью и тлением.

Отсюда — лживый пафос бесконечных митинговых речей. Отсюда — эти странные на вид противоречия: князь Львов, говоривший с трибуны: «Процесс великой революции еще не закончен, но каждый прожитый день укрепляет веру в неиссякаемые творческие силы русского народа, в его государственный разум, в величие его души»... И тот же Львов, в беседе с Алексеевым горько жалующийся на невозможные условия работы Временного правительства, создаваемые все более растущей в Совете и в стране демагогией.

Керенский — идеолог солдатских комитетов с трибуны, и Керенский — в своем вагоне нервно бросающий адъютанту:

— Гоните вы эти проклятые комитеты в шею!..

Чхеидзе и Скобелев — в заседании с правительством и главнокомандующими горячо отстаивающие полную демократизацию армии, и они же — в перерыве заседания в частном разговоре за стаканом чая признающие необходимость суровой военной дисциплины и свое бессилие провести ее идею через Совет...

Повторяю, что и тогда уже, в конце марта, в Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный перезвон, вместо того чтобы сразу ударить в набат. Только два человека из всех, с которыми мне пришлось беседовать, не делали себе никаких иллюзий:

Крымов и Корнилов.

С Корниловым[45] я встретился первый раз на полях Галиции, возле Галича, в конце августа 1914 г., когда он принял 48-ю пех. дивизию, а я — 4-ю стрелковую (железную) бригаду. С тех пор в течение четырех месяцев непрерывных, славных и тяжких боев наши части шли рядом в составе 24 корпуса, разбивая врага, перейдя Карпаты[46], вторгаясь в Венгрию. В силу крайне растянутых фронтов мы редко виделись, но это не препятствовало хорошо знать друг друга. Тогда уже совершенно ясно определились для меня главные черты Корнилова-военачальника: большое умение воспитывать войска; из второсортной части Казанского округа он в несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию; решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжелой, казалось, обреченной операции; необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность; наконец, высокое соблюдение военной этики в отношении соседних частей и соратников — свойство, против которого часто грешили и начальники, и войсковые части.

После изумившего всех бегства из австрийского плена, в который Корнилов попал тяжело раненным, прикрывая отступление Брусилова из-за Карпат, к началу революции он командовал 25-м корпусом.

[45] Корнилов Лавр Георгиевич (1870—1918) — генерал, после Февральской революции — командующий войсками Петроградского военного округа, затем Верховный Главнокомандующий. 26 августа 1917 г. поднял мятеж. После подавления был арестован. С установлением Советской власти бежал на Юг, где вместе с генералом Алексеевым создал белогвардейскую Добровольческую армию. Убит в апреле 1918 г. (**Прим. ред.**)

[46] Корнилов — у Гуменного, я — у Мезолярборча.

Все, знавшие хоть немного Корнилова, чувствовали, что он должен сыграть большую роль на фоне русской революции.

2 марта Родзянко телеграфировал непосредственно Корнилову: «Временный комитет Государственной Думы, образовавшийся для восстановления порядка в столице, принужден был взять в свои руки власть ввиду того, что под давлением войск и народа старая власть никаких мер для успокоения населения не предприняла и совершенно устранена. В настоящее время власть будет передана временным комитетом Государственной Думы — Временному правительству, образованному под председательством князя Львова. Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих в войске, а также в Петрограде лиц императорской фамилии, и все слои населения признают только новую власть. Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии назначение на должность главнокомандующего петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет Государственной Думы признает таким лицом ваше превосходительство, как известного всей России героя. Временный комитет просит вас, во имя спасения родины, не отказать принять на себя должность главнокомандующего в Петрограде и прибыть незамедлительно в Петроград. Ни минуты не сомневаемся, что вы не откажетесь вступить в эту должность и тем оказать неоценимую услугу родине. № 159. Родзянко».

Все построение этой телеграммы и такой «революционный» путь назначения, минуя военное командование, очевидно, не понравились Ставке: на телеграмме, проходившей через Ставку, имеется пометка «не отправлена», но в тот же день генерал Алексеев отдал свой приказ (№ 334): «Допускаю ко временному главнокомандованию войсками петроградского военного округа... генерал-лейтенанта Корнилова».

Я подчеркнул этот маленький эпизод для уяснения, как путем целого ряда мелких личных трений возникли впоследствии не совсем нормальные отношения между двумя крупными историческими деятелями...

С Корниловым я беседовал в доме военного министра за обедом — единственное время его отдыха в течение дня. Корнилов, усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, рассказывал много о состоянии петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с Советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь — в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск — поблекло. Они митинговали, дезертировали, торговали за прилавком и на улице, нанимались дворниками, телохранителями, участвовали в налетах и самочинных обысках, но не несли службы. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И если часто ему удавалось личным презрением опасности, смелостью, метким, образным словом овладеть толпой в образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего главнокомандующего, подымали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля (финляндский гвардейский полк).

Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов: отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились: Корнилов упрямо надеялся еще, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть петроградского гарнизона — надежда, как известно, несбывшаяся.

Глава XI. ВЛАСТЬ: ДУМА, ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОМАНДОВАНИЕ, СОВЕТ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ

То исключительное положение, в котором оказалась русская держава — мировой войны и революции,— повелительно требовало установления в ней сильной власти.

Государственная Дума, которая, как я уже говорил, пользовалась несомненным авторитетом в стране, после долгих и горячих обсуждений от возглавления собою революционной власти отказалась. Временно распущенная Высочайшим указом 27 февраля, она сохранила лояльность и «не пыталась открыть формальное заседание», исходя из взгляда на себя как на «законодательное учреждение старого порядка, координированное основными законами с остатками самодержавной власти, явно обреченной теперь на слом»[47]. Последующие акты исходили уже от «частного совещания членов Государственной Думы». Это же частное заседание избрало Временный Комитет Государственной Думы, осуществлявший первые дни верховную власть. При комитете существовала еще военная комиссия комитета Государственной Думы, возглавляемая генералом Потаповым[48]. Она пыталась оказать влияние на управление армией, но встретила решительный отпор со стороны Ставки. Сам генерал Потапов так претенциозно определял ее значение: «Я состоял председателем военной комиссии, в которой, с арестом членов царского правительства, сосредоточилась вся власть в стране... Я настаивал на скорейшем принятии от меня всех функций образовавшимся Временным правительством». Это оригинальное самодовлеющее учреждение, находившееся в оживленной связи с Советом раб. и солд. деп., «являясь посредником между Совдепом, комитетом и правительством», существовало, однако, до 17 мая, когда на запрос Родзянко военный министр Керенский уведомил его, что «военная комиссия блестяще исполнила все поручения и задачи в первые два месяца после переворота», но что «в продолжении деятельности комиссии надобности нет».

С передачей власти Временному правительству Госуд. Дума и Комитет ушли в сторону, но не прекращали своего существования, пытаясь давать моральное обоснование и поддержку первым трем составам правительства. Но если 2 мая во время первого правительственного кризиса комитет боролся еще за право назначать членов правительства, то позднее он ограничивался уже только требованием участия в составлении правительства. Так, 7 июля Комитет Гос. Думы протестовал против устранения своего от участия в образовании Керенским нового состава Временного правительства, считая это явление «юридически недопустимым и политически пагубным». Между тем Гос. Дума имела неотъемлемое право на участие в руководстве жизнью страны, ибо даже в лагере ее противников признавалась огромная услуга, оказанная революции Думой, «покорившей ей сразу весь фронт и все офицерство»[49]. Несомненно, революция, возглавленная Советом, встретила бы кровавое противодействие и была бы раздавлена. И, может быть, дав тогда победу либеральной демократии, привела бы страну к нормальному эволюционному развитию? Кто знает тайны бытия!

Сами члены Гос. Думы, тяготясь своим вначале добровольным, потом вынужденным бездействием, начали проявлять некоторый абсентеизм, с которым пришлось бороться председателю. Тем не менее и Дума и Комитет горячо отзывались на все выдающиеся события русской жизни, выносили постановления, осуждающие, предостерегающие, взывающие к разуму, сердцу и патриотизму народа, армии и правительства. Но Дума была отметена уже революционной стихией. Ее обращения, полные ясного сознания грядущей опасности и, несомненно, государственные, не пользовались уже никаким влиянием в стране и игнорировались правительством. Впрочем, и такая мирная, не борющаяся за власть Дума вызывала опасения в среде революционной демократии, и Советы вели яростный поход за упразднение Гос. Думы и Гос. совета. В августе декларативная деятельность Гос. Думы стала замирать, и когда 6 октября Керенский по требованию Совета распустил Гос. Думу[50], это известие не произвело уже в стране сколько-нибудь заметного впечатления.

Потом долго еще идею 4-й Гос. Думы или собрания Дум всех созывов как опоры власти гальванизировал М. В. Родзянко, пронеся ее через Кубанские походы и «Екатеринодарский добровольческий» период антибольшевистской борьбы...

---

[47] Милюков. История второй русской революции.
[48] Впоследствии жил в Японии, противодействовал адмиралу Колчаку. В 1921 г. поступил на службу к советскому правительству.
[49] Станкевич. Воспоминания (Станкевич В. Б. Воспоминания. 1914—1919 гг., Берлин, 1920.— **Прим. ред.**).
[50] Законный пятилетний срок оканчивался 25 октября.

Но Дума умерла.

Трудно сказать, был ли неизбежным отказ от власти Гос. Думы в мартовские дни, вызывался ли он реальным соотношением сил, боровшихся за власть, могла ли «цензовая» Дума удержать социалистические элементы, в нее входившие, и сохранить то влияние в стране, которое она приобрела в результате борьбы с самодержавием?.. Одно несомненно, что в годы русского безвременья, когда невозможно было нормальное народное представительство, во все периоды и все правительства чувствовали потребность в каком-либо суррогате его, хотя бы для создания себе трибуны, для выхода накопившимся настроениям, для опоры и разделения нравственной ответственности. Таковы «Временный совет Российской республики» — в Петрограде (октябрь 1917 г.), инициатива которого исходила, впрочем, от революционной демократии, видевшей в нем противовес предположенному большевикам Второму съезду Советов; осколок Учредительного собрания 1917 г.— на Волге (лето 1918 г.); подготовлявшийся созыв Высшего совета и Земского собора — на юге России и в Сибири (1919 г.). Даже наивысшее проявление коллективной диктатуры, каким является «совет народных комиссаров», дойдя до небывалого еще в истории деспотизма и подавления общественности и всех живых сил страны, обратив ее в кладбище, все же считает необходимым создать театральный декорум такого представительства, периодически собирая «Всероссийский съезд Советов».

Власть Временного правительства в самой себе носила признаки бессилия. Эта власть, как говорил Милюков, не имела привычного для масс «символа». Власть подчинилась давлению Совета, систематически искажавшего и подчинявшего все государственные начинания классовым и партийным интересам.

В составе ее находился и «заложник демократии» — Керенский, который так определял свою роль: «Я являюсь представителем демократии, и Временное правительство должно смотреть на меня как на выразителя требований демократии и должно особенно считаться с теми мнениями, которые я буду отстаивать»...[61] Наконец, что едва ли не самое главное, в состав правительства входили элементы русской передовой интеллигенции, разделявшие всецело ее хорошие и дурные свойства и в том числе полное отсутствие волевых импульсов — той безграничной в своем дерзании, жестокой в устранении противодействий и настойчивой в достижении силы, которая дает победу в борьбе за самосохранение — классу, сословию, нации. Все четыре года смуты для русской интеллигенции и буржуазии прошли под знаком бессилия, непротивления и потери всех позиций, мало того — физического истребления и вымирания. По-видимому, только на двух крайних флангах общественного строя была настоящая сильная воля; к сожалению, воля к разрушению, а не к созиданию. Один фланг дал уже Ленина, Бронштейна, Апфельбаума, Урицкого, Дзержинского, Петерса... Другой, разбитый в февральские дни, быть может, не сказал еще последнего слова...

Русская революция в своем зарождении и начале была явлением, без сомнения, национальным как результат всеобщего протеста против старого строя. Но когда пришло время нового строительства, столкнулись две силы, вступившие в борьбу, две силы, возглавлявшие различные течения общественной мысли, различное мировоззрение. По установившейся терминологии это была борьба буржуазии с демократией, хотя правильнее было бы назвать борьбой буржуазной демократии с социалистической. Обе стороны черпали свои руководящие силы из одного источника — немногочисленной русской интеллигенции, различаясь между собою не столько классовыми, корпоративными, имущественными особенностями, сколько политической идеологией и приемами борьбы. Обе стороны не отражали в надлежащей мере настроения народной массы, от имени которой говорили и которая, изображая первоначально зрительный зал, рукоплескала лицедеям, затрагивавшим ее наиболее жгучие, хотя и не совсем идеальные чувства. Только после такой психологической обработки инертный ранее народ, в частности, армия, обратился «в стихию расплавленных революцией масс... со страшной

[61] Речь в Совете.

силой давления, которую испытывал весь государственный организм»[62]. Не соглашаться с этим взаимодействием — значит, по толстовскому учению, отрицать всякое влияние вождей на жизнь народов — теория, в корне опровергнутая большевизмом, покорившим надолго чуждую ему и враждебную народную стихию.

В результате борьбы с первых же недель правления новой власти обнаружилось то явление, которое позднее, в середине июля, Комитет Гос. Думы в своем обращении к правительству охарактеризовал следующими словами: «Захват безответственными организациями прав государственной власти, создание ими двоевластия в центре и безвластия в стране».

Власть Совета была также весьма условна.

Невзирая на ряд кризисов правительства, на возможность взять при этом власть в свои руки безраздельно и безотказно[63], революционная демократия, представленная Советом, категорически уклонилась от этой роли, прекрасно сознавая, что в ней недостаточно ни силы, ни знания, ни умения вести страну, ни надлежащей в ней опоры.

Устами одного из своих вождей — Церетели — она говорила: «Не настал еще момент для осуществления конечных задач пролетариата, классовых задач... Мы поняли, что совершается буржуазная революция... И не имея возможности полностью осуществить светлые идеалы... *не захотели взять на себя ответственность за крушение движения*, если бы в отчаянной попытке решились навязать событиям свою волю в данный момент. Они предпочитали путем постоянного организованного давления заставлять правительство исполнять их требования» (Нахамкес).

Член Исполнительного комитета Станкевич в своих «Воспоминаниях», отражающих неисправимую идеологию сбившегося с пути социалиста, дошедшего ныне до оправдания большевизма, но вместе с тем производящих впечатление искренности, дает такую характеристику Совету: «Совет — это собрание полуграмотных солдат — оказался руководителем потому, что он ничего не требовал, потому что он был только фирмой, услужливо прикрывавшей полное безначалие»... Две тысячи тыловых солдат и восемьсот рабочих Петрограда образовали учреждение, претендовавшее на руководство всей политической, военной, экономической и социальной жизнью огромной страны! Газетные отчеты о заседаниях Совета свидетельствовали об удивительном невежестве и бестолочи, которые царили в них. Становилось невыразимо больно и грустно за такое «представительство» России.

Мало-помалу в кругах интеллигенции, демократической буржуазии, в офицерской среде накипала глухая и бессильная злоба против Совета; на нем сосредоточивался весь одиум, его поносили в этих кругах самыми грубыми, унизительными словами. Эту ненависть против Совета, проявлявшуюся зачастую открыто, революционная демократия совершенно неправильно относила к самой *идее демократического представительства.*

С течением времени приоритет Петроградского Совета, приписывавшего выдвинувшей его среде исключительную заслугу свержения старой власти, стал заметно падать. Огромная сеть комитетов, советов, наводнивших страну и армию, требовала участия в правительственной работе. В результате в апреле состоялся съезд делегатов Советов рабочих и солдатских депутатов. Петроградский Совет реорганизован на началах более равномерного представительства, а в июне открылся Всероссийский съезд представителей Советов рабочих и солдатских депутатов. Интересен состав этого уже более полного демократического представительства.

Соц.-революционеров	285
Соц.-дем. меньшевиков	248
Соц.-дем. большевиков	105

[62] Слова Керенского.
[63] Я говорю только о несопротивлении этому со стороны Временного правительства.

Интернационалистов	32
Вне фракц. социалистов	73
Объединен. соц.-демократов	10
Бундовцев	10
Группы «Единства»	3
Народн. социалистов	3
Трудовиков	5
Анархо-коммунистов	1

Таким образом, подавляющие массы не социалистической России не были представлены ни одним человеком. Даже те, чуждые политике или принадлежавшие к более правым группировкам элементы, которые прошли от советов и армейских комитетов под рубрикой «внепартийных», по побуждениям далеко не государственным поспешили нацепить на себя социалистический ярлык и растворились в партийном составе. Чисто социалистическими были и все составы Исполнительного комитета Совета. При этих условиях невозможно было рассчитывать на самоограничение революционной демократии и надеяться на удержание народного движения в рамках буржуазной революции. Фактически у полусгнившего кормила власти стал блок из социал-революционеров и социал-демократов меньшевиков с явным преобладанием вначале первых, потом последних. В сущности, этот узкопартийный блок, тяготевший над волей правительства, и несет на себе главную тяжесть ответственности за последующий ход русской революции.

Состав Совета был крайне разнороден: интеллигенты, мелкая буржуазия, рабочие, солдаты, много дезертиров... По существу, Совет и съезды, в особенности первый, представляли из себя довольно аморфную массу, совершенно невоспитанную в политическом отношении: центр тяжести всей работы руководства и влияния перешел поэтому в исполнительные комитеты, представленные почти исключительно социалистическим интеллигентским элементом. Самую уничтожающую критику Исполнительного комитета Совета вынес из недр самого учреждения член его В. Б. Станкевич: хаотичность заседаний, политическая дезорганизованность, неопределенность, торопливость и случайность в решении вопросов, полное отсутствие административного опыта и наконец демагогия членов Комитета: один призывает в «Известиях» к анархии, другой рассылает разрешительные грамоты на экспроприацию помещичьих земель, третий разъясняет пришедшей военной делегации, пожаловавшейся на военное начальство, что необходимо его сместить, арестовать и т. д.

«Поражающей чертой в личном составе комитета является значительное количество инородческого элемента,— пишет Станкевич.— Евреи, грузины, латыши, поляки, литовцы были представлены совершенно несоразмерно их численности и в Петрограде, и в стране».

Я приведу список первого президиума Всерос. центр. комит. советов р. и с.д.:

Чхеидзе — грузин
Гурвич (Дан) — еврей
Гольдман (Либер) — еврей
Гоц — еврей
Гендельман — еврей
Розенфельд (Каменев) — еврей
Саакиан — армянин
Крушинский — поляк
Никольский — если не псевдоним, то, вероятно, русский.

Это исключительное преобладание инородческого элемента, чуждого русской национальной идее, не могло, конечно, не повлиять, в свою очередь, на все направление деятельности Совета в духе, гибельном для русской государственности.

Правительство с первых же шагов своих попало в плен к Совету, которого значение, влияние и силу оно переоценивало и которому само не могло противопоставить ни силы, ни твердой воли к сопротивлению и борьбе. Правительство не надеялось на успех этой борьбы, так как, охраняя русскую государственность, оно не могло провозглашать такие пленительные для взбаламученного народного моря лозунги, какие выходили из Совета. Правительство говорило больше об обязанностях, Совет — о правах. Первое «запрещало», второй «позволял». Правительство было связано со старой властью преемственностью всей государственной идеологии, организации, даже внешних приемов управления, тогда как Совет, рожденный из бунта и подполья, являлся прямым отрицанием всего старого строя.

Если до сих пор еще среди небольшой части умеренной демократии сохранилось убеждение в «сдерживающей народную стихию» роли Совета, то это результат прямого недоразумения.

Совет в действительности не прямо разрушал русскую государственность — он ее расшатывал и расшатал до крушения армии и приятия большевизма.

Отсюда двойственность и неискренность направления его деятельности.

Не желая и не имея возможности принять власть, Совет вместе с тем не допускал укрепления этой власти в руках правительства. Наряду с призывом революционной демократии «оказывать поддержку Временному правительству, поскольку оно будет неуклонно идти в направлении к упрочению и расширению завоеваний революции и поскольку свою внешнюю политику оно строит на почве отказа от захватных стремлений», недоверием и прямой угрозой звучит дальнейший призыв: «Организуясь и сплачивая свои силы вокруг советов р. и с. д., быть готовым дать решительный отпор всякой попытке правительства уйти из-под контроля демократии или уклониться от выполнения принятых на себя обязательств». (Резолюция первого съезда 4 апр. 17 г.).

Но, помимо декларативных выступлений, в повседневной жизни Совета и Исполнительного комитета все речи, все разговоры, разъяснения, выступления — устные, печатные — пленума, отдельных групп, отдельных лиц, рассылаемых по стране и фронту,— клонились к разрушению авторитета правительства. «Не нарочно, но постоянно,— говорит Станкевич,— комитет наносил смертельные удары правительству».

Сознательно разрушая дисциплину в армии приказом № 1, декларацией прав солдата и постоянным воздействием на военное законодательство и войсковые организации, унизив и обезличив командный состав, Совет одновременно возвещал, что «армия сильна лишь союзом солдат и офицерства», что «командному составу должна быть предоставлена полная самостоятельность в области оперативной и боевой деятельности, решающее значение в области строевой и боевой подготовки».

Любопытно, кто же направлял военное законодательство по пути демократизации, ломая все устои армии, вдохновляя поливановскую комиссию, связывая по рукам двух военных министров? Состав лиц, выбранных в начале апреля от солдатской части Совета в Исполнительный комитет, определяется так[54]:

Офицеров воен. времени	Чиновников	Юнкеров	Солдат	
			тыловых частей	писарей к нестроевых
1	2	3	9	5

Характеристику же их предоставляю Станкевичу: «Вначале попали истерические, крикливые и неуравновешенные натуры, которые в результате ничего не давали комитету»... Потом вошли новые с «Завадьей и Бинасиком во главе. Последние добросовестно, насколько в силах, старались справиться с морем военных дел. Но оба были, кажется, мирными писарями в запасных батальонах,

[54] Ранее состояли в комитете три офицера военного времени и несколько солдат.

никогда не интересовавшимися ни войной, ни армией, ни политическим переворотом»...

Наиболее ярко двойственность и неискренность Совета выражалась в вопросе о войне. Левые интеллигентские круги и революционная демократия в большей части своей исповедовали идеи Циммервальда и интернационализма. Естественно поэтому, что первое слово, с которым Совет обратился «к народам всего мира» (14 марта 1917 года), было:

— Мир!

Но мировые проблемы, бесконечно сложные в сплетении национальных, политических, экономических интересов народов, расходящихся в понимании предвечной мировой правды, не могли быть разрешены таким элементарным путем. Бетман-Гольвег ответил презрительным молчанием. Рейхстаг 17 марта 1917 года большинством всех голосов против голосов обеих социал-демократических фракций отклонил предложение о заключении мира без аннексий. Немецкая демократия устами Носке сказала: «Нам из-за границы предлагают устроить революцию; если мы последуем этому совету, то рабочие классы постигнет несчастье»; в стане союзников и среди союзной демократии советский манифест вызвал лишь недоумение, тревогу и неудовольствие, особенно ярко выраженные в речах прибывших в Россию Тома, Гендерсона, Вандервельде и даже нынешнего французского большевика Кашэна.

В дальнейшем к слову «мир» Совет прибавил новое определение «без аннексий и контрибуций, на основе самоопределения народов». Теоретичность этой формулы немедленно же столкнулась с реальным вопросом об оккупированной немцами западной и южной России, о Польше, о разоренных немцами странах — Румынии, Бельгии и Сербии, об Эльзас-Лотарингии и Познани, наконец, о том рабстве, экспроприациях и принудительном труде для войны, которым были подвергнуты немцами все страны, подпавшие под их власть. Ибо согласно программе немецких социал-демократов, опубликованной наконец в Стокгольме,— для французов в Эльзасе и Лотарингии, поляков в Познани и датчан в Шлезвиге предназначалась только культурно-национальная автономия под скипетром германского императора.

В то же время всемерно поощрялась идея самостоятельности Финляндии, русской Польши, Ирландии. Требование возвращения немецких колоний находилось в каком-то трогательном единении с обещаниями самостоятельности Индии, Сиаму, Корее...

Chanteclair не вызвал солнца. Протянутая рука стыдливо повисла в воздухе. Совет вынужден был признать, что «нужно время, чтобы народы всех стран восстали и железною рукою принудили своих царей и капиталистов к миру»... А пока «товарищи солдаты, поклявшись защищать русскую свободу», не должны «отказываться от наступательных действий, которых может потребовать боевая обстановка»... В среде революционной демократии наступила растерянность, ярко выраженная в словах Чхеидзе: «Мы все время говорили против войны, как же я могу теперь призывать солдат к продолжению войны, к стоянию на фронте!» [55].

Но слова «война» и «наступление» были все-таки произнесены. Они разделили советских социалистов на два лагеря — «оборонцев» и «пораженцев». Теоретически к первым принадлежали только правые группы соц.-революционеров, народные социалисты, «Единство» и трудовики. Прочие социалисты исповедовали немедленную ликвидацию войны и углубление революции путем внутренней классовой борьбы. Практически же при голосовании вопроса о войне к оборонцам присоединялась большая часть соц.-рев. и соц.-дем. меньшевиков. Но выносимые формулы носили на себе печать этой двойственности — ни мира, ни войны. Церетели призывал «пробудить движение против войны во всех странах, как союзных, так и враждебных». Съезд делегатов Советов р. и с. депутатов в конце марта вынес не совсем определенное постановление, в котором после требования отказа от «аннексий и контрибуций», предъявленного всем воюющим державам, указывалось все же, что «пока война продолжается, крушение армии, ослабление ее устойчивости, крепости и способности к **активным** операциям было бы величайшим ударом для дела свободы и для жизненных интересов страны». В начале июня Второй съезд вынес новую резолюцию, которая наряду с определенным заявлением, что «вопрос о наступлении должен быть решаем исключительно с точки зрения чисто военных и стратегических соображений», вместе с тем внушала явно пораженческую идею: «Окончание войны путем разгрома одной из групп воюющих сторон послужило бы источником новых войн, еще более усилило бы рознь между народами и довело бы их до полного истощения, голода и гибели». Революционная демократия, очевидно, смешала два понятия: *стратегическую победу*, знаменующую окончание войны, и *условия мирного договора*, которые могут быть человечны и бесчеловечны, справедливы и несправедливы, дальновидны и близоруки.

[55] Станкевич. Воспоминания.

Итак, следовательно,— война, наступление, но *без победы*. Небезынтересно указать, что такую же формулу произнес еще в 1915 году прусский депутат и редактор «Vorwärts'a» Стребель: «Я исповедую открыто, что полная победа империи не послужит на пользу социал-демократии»...

Не было той области государственного управления, в которую бы не вмешивались Совет и Исполнительный комитет с той же двойственностью и той же неискренностью, которые вызывались, с одной стороны, боязнью нарушить основные догмы своих учений, и, с другой — явной невозможностью претворения их в жизнь. В государственном строительстве творческой работы его не было и не могло быть. В области экономической жизни страны, в аграрном и рабочем вопросах эта деятельность ограничивалась опубликованием широковещательных партийных социалистических программ, осуществление которых даже в глазах министров-социалистов в обстановке анархии, войны и экономической разрухи было невыполнимо. Тем не менее эти резолюции и воззвания принимались в народе, на фабрике и в деревне как «разрешение», возбуждали страсти, вызывали желание к немедленному и самочинному проведению их в жизнь. А вслед за такой подготовкой народных стремлений тут же следовали сдерживающие воззвания: «Потребовать немедленного и беспрекословного исполнения всех предписаний Временного правительства, которые оно сочтет необходимым издать в интересах революции и внешней безопасности страны»...[56].

Но декларативная литература далеко еще не определяет характер деятельности Совета.

Главною чертою Совета и Комитета было полное отсутствие дисциплины среди их членов. Говоря о взаимоотношениях особой делегации Комитета (контактной) с Временным правительством, Станкевич прибавляет: «Но что могла сделать эта делегация, если в то время, как она беседовала и приходила к полному единодушию с министрами, десятки Александровских [57] рассылали письма, печатали статьи в «Известиях», разъезжали от имени Комитета делегатами по провинции и в армии, принимали ходоков в Таврическом дворце, каждый выступая по-своему, не считаясь ни с какими разговорами, инструкциями или постановлениями и решениями»...

Обладал ли действительной властью Совет (**Центральный комитет**)?

Я отвечу словами обращения организационного комитета рабочей социал-демократической партии (июль 1917 года):

«И тот лозунг, за которым идут многие рабочие — «вся власть Советам»,— есть опасный лозунг. *Ибо за советами идет* **меньшинство** *населения*, и мы должны всеми силами добиваться, чтобы те буржуазные элементы, которые еще могут и хотят вместе с нами отстаивать завоевания революции, вместе с нами взяли на себя и то тяжкое наследство, какое досталось нам от старого режима, и ту огромную ответственность за исход революции, какая ложится на нас перед лицом всего народа».

Но Совет позднее и Всерос. Центр. Комитет) в силу своего состава и поли-

[56] Кронштадтцам 26 мая 1917 года.

[57] Член Комитета, выдававший разрешения на захваты земель.

тической идеологии не мог и не хотел оказывать в полной мере хотя бы сдерживающего влияния на народную стихию, вырвавшуюся из оков, мятущуюся и бушующую, ибо члены его были вдохновителями этого движения и все значение, влияние и авторитет Совета находились в строгой зависимости от степени потворствования инстинктам народных масс. А эти массы, как говорит даже сторонний наблюдатель из марксистского лагеря Карл Каутский[58], «как только революция втянула их в свое движение, знали лишь о своих нуждах, о своих стремлениях и плевали на то, осуществимы ли и общественно полезны или нет их требования». И сколько-нибудь твердое и решительное противодействие их давлению грозило смести бытие Совета.

К тому же день за днем, шаг за шагом Совет подпадал все больше и больше под влияние анархо-большевистских идей.

Глава XII. ВЛАСТЬ: БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ БОЛЬШЕВИКОВ, ВЛАСТЬ АРМИИ, ИДЕЯ ДИКТАТУРЫ

Первый период деятельности большевиков — от начала революции до октябрьского переворота заключался в борьбе за власть путем упразднения всего буржуазного строя страны и дезорганизации армии, подготовляя тем почву для пришествия большевизма (L'avénement, как торжественно называет Бронштейн-Троцкий).

На другой день после своего приезда в Россию Ленин опубликовал свои «Тезисы», которые я привожу в извлечении:

1. Война, веденная «капиталистическим правительством», остается грабительской, империалистической, и потому недопустимы ни малейшие уступки «революционному оборончеству».

Представителям революционного оборончества и действующей армии разъяснить, что кончить войну истинным демократическим, не насильственным миром нельзя без свержения капитала.

Братанье.

2. Переход от первого этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму, который должен дать власть пролетариату и беднейшим слоям крестьянства.

3. Никакой поддержки Временному правительству; разъяснение полной лживости его обещаний.

4. Признание факта, что в большинстве Советов рабочих депутатов партия большевиков — в меньшинстве и поэтому пока нужно вести работу критики и выяснения ошибок, проповедуя в то же время необходимость перехода всей государственной власти к Совету рабочих депутатов.

5. Россия — не парламентарная республика,— это было бы шагом назад,— а республика Советов рабочих, батрацких и крестьянских депутатов по всей стране, снизу доверху.

Устранение полиции (милиции?), армии, чиновничества.

6. В аграрной программе — перенесение центра тяжести на советы батрацких депутатов. Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране; распоряжение землею местными советами батрацких и крестьянских депутатов. Выделение советских депутатов от беднейших крестьян.

7. Немедленное слияние всех банков страны в один общенациональный банк и введение контроля над ним со стороны Совета рабочих депутатов.

8. Пока — не введение социализма, а только переход к контролю со стороны Совета рабочих депутатов за общественным производством и распределением продуктов.

9. Требование государства-коммуны и перемена названия партии социал-демократов большевиков на коммунистическую партию.

Я не буду останавливаться на этой программе, проведение которой в жизнь

[58] Терроризм и коммунизм (Каутский Карл. Терроризм и коммунизм. Берлин. Пер. с немецк.— Прим. ред.).

началось с конца октября с известными отступлениями. Для первого периода деятельности большевиков важнее тактика их, исходившая из следующих конкретных положений:

1) свержение правительства и разложение армии;

2) возбуждение классовой борьбы в стране и даже внутриклассовой — в деревне;

3) отрицание демократических форм государственного строя и переход власти к меньшинству (партии с.-д. большевиков) — «меньшинству хорошо организованному, вооруженному и централизованному» (Ленин).

Но идеология партии была недоступна пониманию не только темных масс русского народа, но и второстепенных работников большевизма, которые были рассеяны по стране. Массам нужны были лозунги простые, ясные, немедленно проводимые в жизнь и отвечающие их желаниям и требованиям, чрезмерно возросшим в бурной атмосфере революции. Этот упрощенный большевизм — с типичными чертами русского бунта — проводить было тем легче, что он отрешился от всяких сдерживающих моральных начал, поставив целью первоначальной своей деятельности одно чистое разрушение, не останавливаясь при этом перед угрозой военного разгрома и разорения страны.

Первым объектом борьбы было Временное правительство. Во всей большевистской печати, в словесной агитации, в выступлениях советов, съездов, даже в дискуссиях с членами Временного правительства главари большевиков проводили резко и настойчиво идею его устранения, как «орудия контрреволюции и международной реакции».

Но переходить к решительным действиям большевики все же воздерживались, опасаясь «отсталой в политическом отношении провинции». Начался ряд действий, имевших по военной терминологии характер усиленной разведки: захват особняков в Петрограде[59] и демонстрация 20—21 апреля. Это был первый «смотр» пролетариату и подсчет большевистских сил. Демонстрация, в которой приняли участие рабочие и войска, имела внешним[60] поводом ноту Милюкова по международной политике и следствием — волнение в столице и вооруженное столкновение с убитыми и ранеными. Толпа носила плакаты с надписями «Долой захватную политику Милюкова», «Долой Временное правительство».

«Смотр» не удался. И, хотя в прениях по этому поводу в Совете большевики требовали свержения правительства, в речах их звучала, однако, нота некоторой неуверенности: «...но прежде чем пойти на это, пролетариат должен обсудить существующее положение и подсчитать свои силы». Совет вынес осуждение и захватной политике правительства, и выступлению большевиков и вместе с тем «горячо приветствовал революционную демократию Петрограда, своими митингами, резолюциями и демонстрациями засвидетельствовавшую свое напряженное внимание к вопросам внешней политики!..» (Из воззвания Совета.)

10 июня, во время съезда Советов, Ленин готовил новую крупную вооруженную демонстрацию, но ввиду совершенно отрицательного отношения к ней огромного большинства съезда ее пришлось отменить. Демонстрация имела своей целью также переход власти к советам. Весьма оригинальна была эта борьба внутри самой революционной демократии, между двумя ее крыльями, ставшими в непримиримые отношения друг к другу. Левое крыло всеми силами предлагало оборонческому блоку — так как за ним было большинство — порвать с буржуазией и взять в свои руки власть. Блок также всеми силами открещивался от этой власти. В среде советов шла некоторая дифференциация, выражавшаяся в сближении по частным вопросам с большевиками левых социалистов-революционеров и социал-демократов интернационалистов; но тем не менее до сентября большевики не имели еще абсолютного большинства как в Петроградском Совете, так и во многих провинциальных. Только 25 сентября место председателя в Петроградском Совете занял Бронштейн (Троцкий), сменивший Чхеидзе. Формула «вся власть Советам» казалась поэтому в их устах или самопожертвова-

[59] Дача Дурново, дача Кшесинской и т. д.

[60] Внутренние причины лежали, несомненно, в том основном расхождении двух течений, о котором я говорил раньше. Все остальное — только поводы.

нием, или провокацией. Бронштейн (Троцкий) разъясняет это недоразумение. По его словам[61], «благодаря постоянным перевыборам, механизм советов мог отражать правильное (?) настроение рабочих и солдатских масс, все время уклоняющееся влево; а после порыва с буржуазией крайние тенденции должны были возобладать в советах».

По мере выяснения истинной физиономии большевизма это расхождение принимало более глубокие формы, не ограничиваясь рамками социал-демократической программы (максимум и минимум) и партийной тактики. Это была борьба демократии с пролетариатом; большинства с меньшинством — интеллектуально наиболее отсталым, но сильным своим бунтарским дерзанием и возглавляемым людьми сильными и абсолютно беспринципными; демократических принципов — всеобщего избирательного права, политических свобод, равенства и т. д.— с диктатурой привилегированного класса, с безумием и грядущим рабством.

2 июля произошел второй министерский кризис по внешнему поводу несогласия либеральных министров с актом об украинской автономии. А 3—5 июля большевики подняли опять мятеж в столице, произведенный вооруженными толпами рабочих, солдат и матросов,— на этот раз в широких размерах, вызвавший грабежи, убийства, много жертв и поставивший правительство в тяжелое положение. Керенский был в это время у меня на Западном фронте, и переговоры его по прямому проводу с Петроградом свидетельствовали о крайне подавленном состоянии председателя кн. Львова и членов правительства. Кн. Львов вызывал Керенского немедленно в Петроград, но предупреждал, что не ручается за безопасность его жизни.

Восставшие требовали от Совета рабочих и солдатских депутатов и Центрального комитета съезда — взять власть в свои руки. Органы революционной демократии вновь категорически отказались.

Провинция не поддержала. Восстание было подавлено главным образом благодаря Владимирскому военному училищу и казачьим полкам; приняли участие на стороне правительства и несколько рот гарнизона. Бронштейн (Троцкий) пишет по этому поводу, что выступление оказалось явно преждевременным, в гарнизоне было слишком еще много элементов пассивных и нерешительных. Но что оно доказало все же, что «за исключением юнкеров никто не был расположен сражаться против большевиков за правительство или за руководящие партии совета».

В этом заключался весь трагизм положения правительства Керенского и Совета. Толпа не шла за отвлеченными лозунгами. Она оказалась одинаково равнодушной и к родине, и к революции, и к интернационалу и не собиралась ни за одну из этих ценностей проливать свою кровь и жертвовать своею жизнью. Толпа шла за реальными обещаниями тех людей, которые потворствовали ее инстинктам.

Исследуя понятие «власть» по отношению ко всему дооктябрьскому периоду русской революции, мы, в сущности, говорим лишь о внешних формах ее. Ибо в исключительных условиях мировой войны небывалого в истории масштаба, когда 12% всего мужского населения было под ружьем, вся власть находилась в руках — Армии.

Армии, сбитой с толку, развращенной ложными учениями, потерявшей сознание долга и страх перед силой принуждения. А главное — потерявшей «вождя»... Ни правительство, ни Керенский, ни командный состав, ни Совет, ни войсковые комитеты по причинам, весьма разнообразным и взаимно исключающим друг друга, не могли претендовать на эту роль. Их взаимоотношения и столкновения, болезненно преломлявшиеся в сознании солдатской массы, еще более усиливали ее развал. Бесполезно делать предположения, которые нельзя обосновать воплощением их в жизнь, тем более при отсутствии исторической перспективы. Но вопрос этот настолько жгучий и мучительный, что невольно будет привлекать к себе внимание всегда: можно ли было поставить плотину, которая в состоянии

[61] L'avénement du bolchevisme (Победа большевизма. Работа Л. Троцкого. Издана в Париже в 1919 г.— Прим. ред.).

была бы сдержать напор народной стихии и удержать в повиновении армию? Я думаю, что можно было. Вначале могло и верховное командование, и правительство — настолько решительное, чтобы раздавить советы, или настолько сильное и мудрое, чтобы привлечь их в орбиту государственности и истинно демократического строительства.

С другой стороны, армия представляла из себя плоть от плоти и кровь от крови русского народа. А этот народ в течение многих веков того режима, который не давал ему ни просвещения, ни свободного политического и социального развития, не сумел воспитать в себе чувства государственности и не мог создать лучшего демократического правительства, чем то, которое говорило от его имени в дни революции.

В начале революции Временное правительство, несомненно, пользовалось широким признанием всех здоровых слоев населения. Весь старший командный состав, все офицерство, многие войсковые части, буржуазия и демократические элементы, не сбитые с толку воинствующим социализмом, были на стороне правительства. Газеты того времени полны огромным количеством телеграмм, адресов, обращений, поступавших со всех концов России от самых разнообразных общественных, сословных, военных групп, организаций, учреждений, конечно, и таких, демократизм которых был вне всякого сомнения. Это доверие по мере обезличения, обессиления правительства и перехода его последовательно к двум коалициям в этих кругах все более падало и взамен не компенсировалось большим признанием революционной демократии, ибо в ее среде все более росли течения анархического характера, отрицавшие всякую власть.

К началу мая, после вооруженного выступления на улицах Петрограда, происшедшего без ведома Совета, но при участии его членов, после ухода Гучкова и Милюкова, полное бессилие Временного правительства стало настолько очевидным, что князь Львов в согласии с Комитетом Государственной Думы и кадетской партией обратился к Совету, приглашая «к непосредственному участию в управлении государством... те активные творческие силы страны, которые доселе не принимали прямого и непосредственного в нем участия». Совет после некоторой борьбы счел вынужденным согласиться на вступление в состав правительства своих членов[62] и тем возложить на себя прямую ответственность за судьбы революции. Совет не пожелал взять всю власть, так как «переход всей власти к Советам р. и с. д. в переживаемый период русской революции значительно ослабил бы ее силы, преждевременно оттолкнув от нее элементы, способные еще ей служить, и грозил бы крушением революции»[63]. Легко можно представить себе то впечатление, которое производили подобные революции на буржуазию и ее «заложников» в коалиционном министерстве.

И хотя Совет выражал новому правительству свое полное доверие и призывал демократию «оказать ему деятельную поддержку, обеспечивающую ему всю полноту власти»[64], но эта «власть» была уже окончательно и безнадежно дискредитирована и потеряна. Социалистическая среда, давшая своих представителей в правительство, нисколько не изменила и не усилила этим его интеллектуальных качеств. Наоборот — ослабила еще более, увеличив эту зияющую трещину, которая образовалась между двумя политическими группировками, представленными в нем. Совет, выражая официальное доверие правительству, продолжал фактически расшатывать его власть, охладев вместе с тем к министрам-социалистам, вынужденным несколько уклониться от прямолинейного выполнения партийных социалистических программ под влиянием реальных условий жизни. А народ и армия отнеслись к факту совершенно равнодушно, утрачивая постепенно сознание существования власти, не проявлявшейся сколько-нибудь заметно в области их повседневной жизни.

Кровавое восстание в Петрограде, поднятое 3—5 июля левым крылом Совета (анархо-большевистское), уход князя Львова и новое коалиционное мини-

[62] Вошли: Скобелев (м. труда). Чернов (м. землед.), Пешехонов (м. продов.), Церетели (почт. и телегр.).
[63] Резолюция Всер. съезда; июнь 17 года.
[64] Резолюция Совета 5 мая.

стерство, в котором представители социалистических партий, проведенные Советом, получили окончательное преобладание[65], явились не более как этапами, приближающими к окончательному падению государственной власти. Поводы, вызвавшие и первый и второй правительственные кризисы (декларация прав солдата, международная политика Совета, отделение Украины, аграрные реформы Чернова и т. д.), при всей их государственной важности были все же только поводами. Коалиция, в которой демократической буржуазии представлялась пассивная роль, когда ее «временное» участие требовалось только для разделения ответственности, а все дела решались за кулисами правительства, в кругах, близких к Совету, такая коалиция не была жизненной и не могла примирить с революционной демократией даже наиболее оппортунистически настроенную буржуазию.

В соотношении сил независимо от политических и социальных признаков, несомненно, играли большую роль факты чисто объективные: неудовлетворенность широких народных масс в силу общего положения страны деятельностью правительства.

Народные массы воспринимали революцию не как тяжкий переходный этап, связанный тысячью нитей с прошлым и настоящим русского и мирового государственного развития, а как самодовлеющее реальное явление сегодняшнего дня, с такими же реальными бедствиями — войны, бандитизма, бесправия, бессудности, бестовария, холода и голода. Народные массы не разбирались вовсе в чрезвычайно сложной обстановке происходящих событий, не отделяли причин непредотвратимых, космических, неизбежно сопровождавших пришествие революции, от доброй или злой воли тех или других органов власти, организаций и лиц. Они ощущали ясно и напряженно невыносимость создавшегося положения и искали выхода.

В результате всеобщего признания несостоятельности установившейся власти в общественном сознании возникла мысль о

— Д и к т а т у р е.

Я категорически утверждаю, что в известных мне общественных и военных кругах, в которых возникло течение в пользу диктатуры, оно было вызвано высоким патриотизмом и ясным, жгучим сознанием той бездонной пропасти, в которую бешено катился русский народ. Н о н и в м а л е й ш е й с т е п е н и н е в ы з ы в а л о с ь с т р е м л е н и е м к р е а к ц и и и к о н т р р е в о л ю ц и и. Несомненно, к этому движению примыкали люди и этого направления и просто авантюристы, но они составляли привходящий, наносный элемент. Керенский так объясняет начало движения, или, как он выражается, «заговорщической волны»: «Военный разгром (Тарнополь) создал на почве оскорбленного национального самолюбия сочувствующую заговорам среду, а большевистское восстание (3—5 июля) вскрыло для непосвященных г л у б и н у р а с п а д а д е м о к р а т и и, б е с с и л и е р е в о л ю ц и и п р о т и в а н а р х и и и силу меньшинства, действующего организованно и внезапно»[66]. Вряд ли можно дать лучшее оправдание начавшемуся движению. Действительно, в обстановке глубокого разочарования народных масс, всеобщего развала и надвигавшейся анархии, в силу неизбежного исторического и психологического процесса жизнь д о л ж н а б ы л а создать попытки диктатуры; и русская жизнь действительно создала их — как мучительное искание с и л ь н о й н а ц и о н а л ь н о й, д е м о к р а т и ч е с к о й в л а с т и, н о н е р е а к ц и и.

Вообще революционная демократия жила в атмосфере, отравленной беспокойным ожиданием контрреволюции. Начиная с разрушения армии и кончая упразднением сельской полиции, все ее заботы, мероприятия, резолюции, воззвания так или иначе клонились к борьбе с этим воображаемым врагом, грозившим якобы завоеваниям революции. Насколько искренне было это убеждение среди сознательных руководителей Совета и не было ли разжигание беспричин-

[65] Керенский (с.-р.), Некрасов (р.-д.), Авксентьев (с.-р.), Терещенко (бесп.), Скобелев (с.-д.), Пешехонов (н.-с.), Чернов (с.-р.), Ольденбург (к.-д.), Зарудный (с.-р.), Ефремов (р.-д.), Юренев (к.-д.), Прокопович (с.-д.), Никитин (с.-д.), Кокошин (к.-д.), Карташов (к.-д.).

[66] Керенский. Дело Корнилова. М., 1918.

ного опасения просто тактическим приемом, оправдывавшим разрушительный характер деятельности его? Я склонен остановиться на последнем выводе — до того ясно, очевидно не только для меня, но и для Совета должен был, казалось, определиться оппозиционный, а не контрреволюционный характер действий демократической буржуазии. Тем не менее и в русской партийной литературе и в широких зарубежных кругах именно в этом последнем освещении представляют себе дооктябрьский период революции.

Временное правительство, в первые дни своего создания объявившее широко демократическую программу[67], даже в правых кругах встречало критику этой программы и неудовольствие, но не активное противодействие[68]. В первые четыре-пять месяцев после начала революции во всей стране не было ни одной хоть сколько-нибудь серьезной контрреволюционной организации. Оживление деятельности одних и появление других тайных кружков, преимущественно офицерских, относится к июлю в связи с предположениями о диктатуре. В состав этих кружков входило, несомненно, немало лиц и с ярко выраженными реставрационными тенденциями, но целью своею и они ставили по преимуществу борьбу с фактом существования классового неофициального правительства и с личным составом Совета и Исполнительного комитета, членам которых действительно грозило бы физическое истребление, если бы эти кружки не распались преждевременно благодаря своей слабости, малочисленности и неорганизованности.

А наряду с постоянным противодействием такой контрреволюции справа Совет обеспечивал полную возможность подготовки подлинной контрреволюции, исходившей из недр его, со стороны большевиков.

Помню, что первые разговоры на тему о диктатуре в виде легкого зондирования почвы начали со мной различные лица, приезжавшие в Ставку приблизительно в начале июня. Все эти разговоры настолько стереотипны, что я могу кратко обобщить их:

— Россия идет неизбежно к гибели. Правительство совершенно бессильно. Необходима твердая власть. Раньше или позже нам нужно перейти к диктатуре.

Но никто не говорил о реставрации или о перемене политического курса в сторону реакции. Называли имена Корнилова, Брусилова.

Я предостерегал от поспешного решения этого вопроса. Должен сознаться, что тогда была еще некоторая иллюзорная надежда, что правительство путем внутренней эволюции, под влиянием нового вооруженного выступления опекаемых им крайних антигосударственных элементов или в сознании бесцельности и безнадежности своего дальнейшего управления страной само придет к необходимости создания единоличной власти, придав известную закономерность ее появлению. Вне этой закономерности будущее представлялось чреватым грозными потрясениями. Я указывал, что в данное время нет военных вождей, которые пользовались бы достаточным авторитетом среди развращенной солдатской массы, но что если назреют государственная необходимость и возможность проведения военной диктатуры, то Корнилов и теперь уже пользуется большим удельным весом, по крайней мере в глазах офицерства, тогда как репутация Брусилова сильно подорвана его оппортунизмом.

Интересно, что и в самом правительстве однажды возник вопрос о диктатуре. По сведениям «Русского Слова», министр путей сообщения Некрасов в Киеве, на кадетском заседании, рассказал следующее: «Вы не знаете, как того не знает и вся Россия, какая колоссальная опасность грозила России! В ночь на 3 мая, когда было достигнуто соглашение о коалиционном министерстве[69], вдруг оказалось, что... на одно место (портфель) предъявлено два ультимативных требования. Мы, желая сохранить преемственность власти, остановились на возможном исходе — создать личную диктатуру. Мы решили передать всю власть в руки одного человека. Были даже созваны знатоки государственного права, чтобы оформить новый порядок правления в виде указа Временного правительства сенату. Но... удалось достигнуть полного соглашения».

[67] См. гл. IV.

[68] Неприемлемым был лишь пункт, предрешавший декларацию прав солдата.

[69] Первое коалиционное министерство Львова.

Сам Керенский в своей книге говорит, что ему неоднократно делали предложения заменить бессильное правительство личной диктатурой «казачьи круги и некоторые общественные деятели»[70]. И только когда «общественность» разочаровалась в нем «как в возможном организаторе и главном деятеле изменения системы управления в сторону сильной власти», тогда уже «начались поиски другого человека».

Нет никакого сомнения, что те лица и общественные круги, которые обращались к Керенскому по вопросу о диктатуре, не были его апологетами и не принадлежали к составу «революционной демократии». Но одно уже это обращение именно к нему доказывает, что они не могли руководствоваться стремлениями к реакции, отражая лишь патриотическое желание всей русской общественности видеть у руля русского государственного корабля, отданного на произвол стихии, сильную власть.

Впрочем, может быть, и другой мотив побуждал их к этому обращению... Был, несомненно, такой краткий, но довольно яркий период в жизни Керенского — военного министра — я его отношу приблизительно к июню,— когда не только широкие круги населения, но и русское офицерство подчинилось обаянию его экзальтированной фразы, его истерического пафоса. Русское офицерство, преданное на заклание, тогда все забыло, все простило и мучительно ждало от него спасения армии. И уже не фразой звучало их обещание — умереть в первых рядах.

И больно становилось много раз во время объездов Керенского, когда у этих обреченных разгорались глаза, а в сердце светлая надежда — скоро, очень скоро безжалостно и грубо растоптанная.

Замечательно, что несколько раньше в той же книге Керенский, оправдывая временную «концентрацию власти», перешедшей 27 августа[71] единолично к нему, говорит: «В борьбе с заговором, руководимым единоличной волей, государство должно противопоставить этой воле власть, способную к быстрым и решительным действиям. Такой властью не может быть никакая коллегия, тем более коалиционная».

Полагаю, что внутреннее состояние русской державы перед лицом чудовищного коллективного заговора немецкого генерального штаба и антигосударственных и антинациональных элементов русской демократии было в достаточной степени грозно и давно уже требовало власти, «способной к быстрым и решительным действиям».

Глава XIII. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА, ГРАЖДАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ; ГОРОД И ДЕРЕВНЯ, АГРАРНЫЙ ВОПРОС

В этой и следующей главах я приведу краткий схематический очерк внутреннего состояния России в первый период революции лишь в той мере, в какой оно отражалось на ведении мировой войны.

Я уже говорил о двоевластии в верховном управлении страной и о непрестанном давлении Совета на Временное правительство, взаимоотношения которых метко охарактеризовал в совещании Думы В. Шульгин: «Старая власть сидит в Петропавловской крепости, а новая — под домашним арестом».

Но и помимо этого в характере деятельности правительства были некоторые, в обычном понимании положительные и отрицательные черты, которые в исключительной обстановке смуты одинаково приводили к бессилию и обреченности.

Временное правительство, являясь представительством далеко не всенародным, не хотело и не могло предрешать воли Учредительного собрания путем проведения реформ, в корне ломающих политический и социальный строй государства. Оно поневоле должно было ограничиваться временными законами, полумерами, в то время как возбужденная народная стихия проявляла огромное

[70] Керенский. Дело Корнилова.
[71] День корниловского выступления.

нетерпение и требовала немедленного осуществления капитальной перестройки всего государственного здания. Правда, и Совет, и отдельные представители его в коалиционных министерствах в теории зачастую признавали идею исключительного права в этом отношении Учредительного собрания. Но только в теории. Ибо на практике все они предрешали, предвосхищали эти права путем широкой проповеди социального переворота, словесного и письменного ведомственного разъяснения и, наконец, на местах — прямыми действиями явочного и захватного порядка.

Временное правительство «в основу государственного управления полагало не насилие и принуждение, а добровольное повиновение свободных граждан созданной ими самими власти. Ни одной капли крови не пролито по его вине, ни для одного течения общественной мысли им не создано насильственных преград»...[72]. Это непротивление в тот момент, когда шла жестокая и не стеснявшаяся нравственными и патриотическими побуждениями борьба за самосохранение одних групп населения и за осуществление захватным путем неограниченных домогательств других,— являлось несомненным признанием своего бессилия. В позднейших декларациях второго и третьего коалиционных министерств мы читаем уже о «самых решительных мерах» против дезорганизующих страну сил. Слова — не претворившиеся в дело.

Идею «не предрешения» воли Учредительного собрания соблюсти правительству не удалось, в особенности в области национального самоопределения. Правительство объявило акт о самостоятельности Польши, поставив, однако, в полную зависимость от Всероссийского Учредительного собрания «согласие на те изменения государственной территории России, которые необходимы для образования свободной Польши». Акт этот, юридически спорный, находился, однако, в полном соответствии с общественным правосознанием. В отношении Финляндии правительство, не изменяя юридических отношений ее к России, подтвердило права и привилегии страны, отменило все ограничения финляндской конституции и созывало сейм, которому должны были быть переданы проекты новой формы правления великого княжества. В дальнейшем правительство самым широким образом шло навстречу всем справедливым стремлениям финляндцев к местному строительству. Тем не менее на почве общего стремления к немедленному и наиболее полному осуществлению частных национальных интересов между Временным правительством и Финляндией возникла длительная борьба за власть. 6 июля сейм большинством голосов социал-демократов принял закон о переходе к нему после отречения «великого князя финляндского» верховной власти, предоставив Временному правительству лишь внешние сношения, военное законодательство и военное управление. Это постановление находилось в известном соответствии с резолюцией съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, требовавшей, чтобы финляндцам еще до решения Учредительного собрания дана была полная независимость с приведенными выше ограничениями. На это, по существу, фактическое отторжение Финляндии от России правительство ответило роспуском сейма, который, впрочем, в сентябре самовольно собрался вновь.

В этой борьбе, которая то принимала острые формы, то затихала сообразно политическому барометру Петрограда (правительственные кризисы), финляндские деятели, не считаясь ни в малейшей степени с общегосударственными интересами и не имея опоры в вооруженной силе, играли исключительно на лояльности или, вернее, слабости Временного правительства.

На почве этой создалась серьезная угроза финляндскому театру, с некоторых пор привлекавшему к себе усиленное внимание: как фланг армий Северного фронта база Балтийского флота, прикрытие столицы и Мурманской железной дороги,— театр этот, связанный с центральной Россией одним лишь железнодорожным путем, который нетрудно было прервать, стал вызывать большие опасения; этому способствовал развал Балтийского флота и 42-го армейского корпуса и нараставший шовинизм финляндцев.

[72] Из правительственной декларации 25 апреля 1917 года.

Финляндская социал-демократия прежде всего начала с отрицания войны, опираясь на «компетентное мнение» своих русских товарищей в Совете рабочих и солдатских депутатов. Затем губернаторы, городские и сельские управы одни за другими потребовали вывода со своей территории русских войск, присутствие которых «нарушало якобы конституцию страны». Создавались серьезные затруднения по расквартированию, питанию и снабжению войск. Русский рубль был обесценен, что создавало тяжелое экономическое положение для военного и служилого элемента, а Финляндия отказала в валютном займе 350 миллионов марок Временному правительству[73] на содержание войск финляндского фронта, невзирая на то, что в течение всей войны получала с России замаскированную контрибуцию и на разнице курса, и на вывозных ценах произведений своей промышленности, и на ввозимом дешевом, по твердым ценам русском хлебе...

До открытого восстания дело не дошло: благоразумная часть населения если не из побуждений лояльности, то учитывая последствия междоусобной борьбы, в особенности теми методами действий, которых можно было ожидать от распущенной солдатской и матросской вольницы, удержала край в известных границах.

Весь май и июнь протекали в борьбе за власть между правительством и самочинно возникшей на Украине Центральной Радой, причем собравшийся без разрешения 8 июня Всеукраинский военный съезд потребовал от правительства, чтобы оно немедленно признало все требования, предъявляемые Центральной Радой и съездами, а Раде предложил не обращаться более к правительству, а немедленно приступить к созданию автономного строя Украины. 11 июня объявлен универсал об автономии Украины и образован секретариат (совет министров) во главе с Винниченко. В результате переговоров послов правительства, министров Керенского, Терещенко и Церетели с Радой явилась декларация Временного правительства 2 июля, которая, предрешая постановление Учредительного собрания, признавала с некоторыми оговорками автономию Украины. Центральная Рада и секретариат, захватывая постепенно в свои руки управление, создавали на местах двоевластие, дискредитировали общерусскую власть, вызывали междоусобную рознь и давали моральное обоснование всяким проявлениям отказа от исполнения гражданского и военного долга перед общей родиной. Мало того, с самого начала своего существования Центральная Рада таила в себе немцефильские симпатии и имела несомненную связь через «Союз освобождения Украины» с генеральными штабами центральных держав. Учитывая обширный материал, собранный Ставкой, полупризнание Винниченко французскому корреспонденту о немцефильских течениях в кругах Рады и, наконец, доклад прокурора Киевской судебной палаты в конце августа 1917 года, я нисколько не сомневаюсь в оценке той преступной роли, которую играла Рада. Прокурор жаловался, что полное разрушение аппарата контрразведки и уголовного сыска не дает прокурорскому надзору возможности разобраться надлежаще в обстановке, но что все нити немецкого шпионажа и пропаганды, бунтов украинских войск и течение темных сумм — несомненно, австро-германского происхождения... ведут и обрываются возле Центральной Рады.

Правительство не считало возможным до Учредительного собрания установить автономные начала и в сфере областного управления[74]. Правда, были созданы Туркестанский и Закавказский комитеты в целях устроения и гражданского управления этих областей. Первый — с правами генерал-губернатора, второй даже «с правами Временного правительства». О деятельности их у меня мало данных. Во всяком случае, полная неопределенность прав и обязанностей этих областных комитетов и вторжение их в область власти военной, особенно вредной на Кавказском фронте — с одной стороны, насилие над ними Советов рабочих и солдатских депутатов — с другой,— все это отнюдь не способствовало нормальной их деятельности. По крайней мере Туркестанский комитет через месяц после своего назначения обратился уже с воззванием к населению области, что ввиду трений с Ташкентским советом и Сыр-Дарьинским комитетом, он просит Временное правительство об увольнении. Дальнейшая жизнь области представляет длительное состояние беспорядков и мятежа.

Правительство, как я уже говорил, проявляло полнейшее игнорирование Верховного Главнокомандующего даже в таких вопросах, которые непосредственно затрагивали его компетенцию, как управление областями театра войны. О создании, например, Закавказского комитета и назначении генерала Аверьянова с совершенно неопределенными функциями военным комиссаром на Кавказ, Ставка узнала только из газет. Генерал Алексеев 10 мая по жалобе генерала Юденича вынужден был телеграфировать министру председателю «прося поставить его в известность о положении, выработанном и утвержденном, правах и обязанностях особого Закавказского комитета[75]; устранить всякое вмешательство комитета в оперативные и внутренние дела армии со всеми ее учреждениями, предоставив надлежащую власть войсковым начальникам» «Без (соблюдения) этого условия — заканчивалась телеграмма — нужно уничтожить войсковых начальников и их дело передать комитетам».

Точно так же без ведома Верховного Главнокомандующего состоялось назначение комиссаром Галиции и Буковины Дорошенко, и без всякого участия Ставки разрабатывалась «схема управления» этими областями, хотя комиссар в военном отношении был подчинен главнокомандующему Юго-Западным фронтом. Такое игнорирование верховного командования вызвало подражание со стороны второстепенных агентов правительства, тот же Дорошенко, вызванный генералом Алексеевым в Могилев, отказался приехать за недосугом и проследовал непосредственно в Киев для согласования своих действий с украинскими кругами.

Министерство внутренних дел — некогда фактически державшее в своих руках самодержавную власть и вызывавшее всеобщую ненависть — ударилось в другую крайность: оно, по существу, самоупразднилось. Функции ведомства фактически перешли в распыленном виде к местным самозваным организациям.

История органов Министерства внутренних дел имеет большое сходство во многом с судьбой военного командования.

5 марта министр-председатель отдал распоряжение о повсеместном устранении губернаторов и исправников и замене их в качестве правительственных комиссаров председателями губернских и уездных управ, а также о замене полиции милицией, организуемой общественными учреждениями. Эта мера, вызванная общим ненавистным отношением к агентам прежней власти, в сущности, была единственным реальным волеизъявлением правительства, потому что до сентября месяца не было установлено в законодательном порядке положение комиссаров, а инструкции и распоряжения правительства имели, в общем, лишь академический характер, так как жизнь шла своим путем, регулируемая или, вернее, разрушаемая местным революционным правотворчеством.

Должность правительственных комиссаров с первых же дней стала пустым местом. Не имея в своем распоряжении ни силы, ни авторитета, они были обезличены совершенно и попали в полную зависимость от революционных организаций. Вынесенное «неодобрение» прекращало фактически деятельность комиссара. Организации избирали нового, и утверждение со стороны Временного правительства являлось простою формальностью. В течение первых шести недель таким путем было устранено 17 губернских комиссаров и множество уездных. Позднее, в июле, управляющий Министерством внутренних дел Церетели[76] оформил этот порядок, приглашая циркуляром местные Советы и комитеты указывать ему желаемых кандидатов вместо не соответствующих своему назначению комиссаров. Таким образом, представителей центральной власти на местах не стало.

Если в начале революции так называемые «общественные комитеты», или

[73] Любопытно, что убеждать финляндцев в необходимости поддержки метрополии ездил в числе других и грузинский шовинист Гегечкори.

[74] В декларации 2-го коалиционного министерства от 8 июля имеется, впрочем, обещание «привлечь местных представителей к образованию коллегиальных органов областного управления, объединяющего ряд губерний».

[75] К концу августа «Положение» еще не вышло.

[76] Церетели занимал этот пост с 10 по 24 июля.

«советы общественных организаций» представляли из себя начало действительно общественное — представительство союза городов и земств, думы, профессиональных союзов, кооперативов, магистратуры и т. д., то обстановка значительно ухудшилась, когда эти общественные комитеты распались на организации классовые и партийные. Власть на местах перешла к Советам р. и с. депутатов и местами к насильственно, до введения закона, «демократизованным», социалистическим думам, мало чем отличавшимся от полубольшевистских Советов.

Бытописатель русской смуты едва ли почерпнет поучительные примеры из лоскутной деятельности этих учреждений, где невежество, бесхозяйственность, провинциальный эгоизм, вопиющие нарушения самых элементарных свобод и права прикрывались «волею революционной демократии». Местные Советы рабочих и солдатских депутатов усвоили себе все навыки ушедшего абсолютизма с той только разницей, что худшие представители прежней власти все же чувствовали над собой иногда карающую десницу, тогда как Советы были абсолютно безответственны. Эта коллегиальная безответственность прикрывала ошибки невежд и преступления людей злой воли. При этом Советы распространяли свою компетенцию на все области управления и жизни, даже на церковную[77].

Страна, как и правительство, как и армия, попала под власть Советов. Прав был комиссар Москвы Н. Кишкин, который считал совершенно безнадежным строительство местной власти, пока власть самого Временного правительства не станет национальной, единой и независимой от каких-либо партийных и классовых организаций.

В дальнейшем предполагалось все функции активного управления передать демократизованным земским и городским управлениям, а за комиссарами сохранить только правительственный надзор за законностью действий указанных органов.

Изданное 15 апреля постановление правительства об устройстве городского самоуправления заключало в себе следующие главные положения:

1) Пассивным и активным правом выбора пользуются все граждане города обоего пола, достигшие 20-летнего возраста;

2) ценз проживания не введен;

3) пропорциональная система выборов;

4) воинские чины пользуются правом выборов по месту нахождения гарнизона.

Я не буду входить в обсуждение этих норм, едва ли не наиболее демократичных из всех, которые знает муниципальное право, ввиду отсутствия опытных данных их применения. Отмечу лишь одно явление извращенной русской действительности, сопровождавшее введение в жизнь положения осенью 1917 года. Свобода выборов во многих местах оказалась злой насмешкой. Как явление, широко распространенное по России, все несоциалистические, даже политически нейтральные группы, взятые под подозрение, подверглись гонению. Агитация их не допускалась, собрания срывались; в выборном делопроизводстве практиковались вопиющие злоупотребления; нередко в отношении их представителей применялось и прямое насилие — избиение и уничтожение избирательных списков. А в то же время солдатская масса многочисленных гарнизонов, буйных и распропагандированных,— случайных гостей города, быть может, только вчера появившихся в нем,— повалила к урнам, заполняя их списками крайних противогосударственных партий. Были случаи, что войсковые части, пришедшие после выборов, требовали переизбрания, подкрепляя это требование угрозами, иногда убийствами. Несомненно, среди других причин наличие в Петрограде огромного разложившегося гарнизона не осталось без влияния на выборы в августе в столичную Думу, в которой большевики получили 67 мест из 200.

Власть безмолвствовала, ибо ее не было.

Мелкая буржуазия, трудовая интеллигенция, словом, городская демократия — в самом широком смысле слова — в этой революционной борьбе являлась стороной наиболее слабой и неизменно побеждаемой. Все предтечи кровавого

[77] Циркуляр министра-председателя в половине мая.

советского правления — мятежи, восстания, «отложения республик» — отзывались наиболее тяжко на ее жизни. «Самоопределение» солдат вносило страх и зависимость от грубой уничтожающей силы и до крайности затрудняло или даже лишало возможности передвижения по стране, так как дороги попали во власть к дезертирам. «Самоопределение» рабочих привело к невозможности ввиду страшного повышения цен удовлетворения предметами первой необходимости. «Самоопределение» деревни остановило подвоз припасов и обрекало ее на недоедание. Я не говорю уже о моральных переживаниях класса, обреченного на поношение и унижение. Революция всем дала надежды на улучшение условий жизни, только не буржуазной демократии. Ибо даже те моральные завоевания, которые возвещены были новой революционной властью — свобода слова, печати, собраний и т. д.,— скоро стали достоянием одной лишь революционной демократии. И если крупная (интеллектуально, конечно) буржуазия имела известную организацию в лице органов конст.-демократ. партии (кадет), то вся мелкая буржуазия (буржуазная демократия) была лишена всякой организации и всяких организованных средств борьбы. Демократические городские самоуправления — не в результате нового муниципального закона, а в силу революционной практики — теряли свою общедемократическую форму и получали характер классовых органов пролетариата или представительства оторванных от массы чисто социалистических партий.

Приблизительно такой же характер имело самоуправление уезда и деревни в первый период революции. К осени оно должно было принять формы демократической системы земского управления, в основу которого были положены приблизительно те же начала, что и в городском, причем компетенции мелкой единицы — волостного земства — предоставлялось все местное хозяйство, народное просвещение и охрана общественного порядка и безопасности. Фактически деревня управлялась, если только можно применить это слово к состоянию анархии, чрезвычайно пестрым сплетением революционных и бытовых организаций в виде крестьянских съездов, продовольственных и земельных комитетов, «народных советов», сельских сходов и т. д. А над всеми ими доминировала зачастую еще одна самобытная организация — дезертиров. По крайней мере Всероссийский крестьянский союз согласился с заявлением, шедшим слева и поэтому достаточно компетентным: «Вся наша работа по созданию различных комитетов не будет иметь никакого значения, если эти общественные органы будут постоянно находиться под угрозой воздействия со стороны случайно организовавшихся вооруженных шаек».

Главный, более того — единственный вопрос, который глубоко волновал душу крестьянства, который заслонял собою все прочие явления и события,— вымученный, выстраданный веками:

— Вопрос о земле.

Необыкновенно сложный и запутанный, он вспыхивал много раз в безрезультатных попытках бунта и насилия, подавлявшихся кроваво и беспощадно. Уже в годы первой революции (1905—1906) волна аграрных беспорядков, пронесшаяся над Россией и оставившая за собою след пожаров и разгромов помещичьих имений, указывала на то, какие последствия будут сопровождать свершившийся в 1917 году государственный переворот. Вопрос весьма сложный, какими мотивами руководствовался класс земельных собственников (помещиков), охраняя с такой страстностью и силой свои права: атавизмом, природным ли тяготением к земле, соображениями государственными о повышении культурности землепользования, стремлением сохранить непосредственное влияние на народ или, наконец, просто своекорыстием... Одно бесспорно, что аграрная реформа запоздала. Долгие годы крестьянского бесправия, нищеты, а главное, той страшной духовной темноты, в которой власть и правящие классы держали крестьянскую массу, ничего не делая для ее просвещения, не могли не вызвать исторического отмщения.

То спокойствие, с которым народ ждал некогда «освобождения» в дни работ Главного и «губернских» комитетов, невзирая на их резко классовый, сословный

характер (1857—1861), теперь оказалось не под силу. Крестьянство пожелало немедленной передачи ему всей земли, не дожидаясь ни выработки основных норм демократическим Главным земельным комитетом, ни решения всенародного Учредительного собрания.

Нет никакого сомнения, что такое нетерпение обусловливалось в значительной мере слабостью власти и сторонними влияниями, о которых говорится ниже.

В основной идее реформы не было разногласия. Вся либеральная демократия и буржуазия, революционная демократия, Временное правительство — совершенно определенно говорили о «переходе земли в руки трудящихся».

Точно так же единодушно все эти элементы ставили вопрос о порядке законодательного разрешения земельного переустройства, предоставляя его Учредительному собранию.

Расхождение, притом непримиримое, возникло в определении самого существа земельной реформы. Либеральные круги русской общественности отстаивали частную собственность на землю[78] — идея, все больше и больше захватывавшая крестьянство,— и требовали наделения крестьян, а не общего передела; революционная же демократия во всех партийных, классовых и профессиональных организациях отстаивала положение, проведенное Всероссийским крестьянским съездом (25 мая) при участии министра Чернова о «переходе всех земель... в общее народное достояние для уравнительного пользования, без всякого выкупа». Эта резолюция социал-революционерского происхождения вносила смуту. Ее крестьяне не понимали или не хотели понять. По натуре собственники, они не признавали национализации. Уравнительное же пользование, принимая во внимание огромное число безземельных крестьян, наличие 20 миллионов крестьянских дворов и размеры не крестьянской пахотной земли, определяемые всего лишь в 45 миллионов десятин, грозило отнятием земли у многомиллионного крестьянства, владеющего сверх трудовой или даже сверх «потребительной» нормой, и обращением общего земельного передела в нескончаемую междоусобную кровавую распрю. Это обстоятельство впоследствии было учтено даже и социал-демократами, которые в резолюции по аграрному вопросу, относящейся к концу августа, допускали сохранение мелкоземельной собственности, ограничивая, однако, возможность перехода ее лишь к органам самоуправления и государству.

Временное правительство, не считая себя вправе разрешать основные вопросы земельного устройства и вместе с тем испытывая стихийный напор снизу, переложило свои права отчасти на министерство земледелия, отчасти на созданный на началах широкого демократического представительства Главный земельный комитет; на него, кроме сбора сведений и подготовки земельной реформы, возложено было урегулирование существовавших земельных отношений[79]. Фактическое заведование всеми землями в смысле использования, отчуждения их, арендных отношений, условий найма рабочих рук — перешло в волостные земельные комитеты[80] — органы, состоявшие зачастую из людей темных — интеллигенция обычно была устранена,— слишком заинтересованных и не имевших никакого представления о существе и пределах своей компетенции. В то же время центральные представительные учреждения и министерство Чернова наряду с воззваниями правительства о недопустимости самоуправства и о сохранении в неприкосновенности всего земельного фонда до Учредительного собрания явно поощряли «временное пользование землями», как назывались тогда захваты, объясняя эти действия «государственной необходимостью» полного использования земли под посев. Агитация в самых широких размерах, веденная в деревне безответственными представителями социалистических и анархических кругов, дополняла работу Чернова.

Результаты такой политики не замедлили сказаться. Управлявший министерством внутренних дел Церетели в одном из циркуляров губернским комиссарам[81] констатировал явление полной деревенской анархии: «Захваты, запашки чужих полей, снятие рабочих и предъявление непосильных для сельских хозяев экономических требований, племенной скот уничтожается, инвентарь расхищается; культурные хозяйства погибают; чужие леса вырубаются, заготовленные для отправки лесные материалы и дрова задерживаются и расхищаются. Одновременно частные хозяйства оставляют поля незасеянными, а посевы и сенокосы неубранными». Министр обвинял местные комитеты и крестьянские съезды в организации самочинных захватов и приходил к выводу, что создавшиеся условия ведения сельского и лесного хозяйств «грозят неисчислимыми бедствиями армии, стране и существованию самого государства».

[78] Партия к.-д. допускала национализацию недр и лесов

[79] Официально на комитет возлагалось вносить в правительство проекты временных норм земельных отношений.

[80] Под наблюдением — обычно фиктивным — уездных и губернских комитетов.

Если к этой картине прибавить местами пожары, убийства, самосуды, разрушение усадеб, представлявших из себя иногда хранилища предметов огромной исторической ценности, то получим истинную картину тогдашнего деревенского быта.

Вопрос о помещичьем землевладении вышел, таким образом, далеко из рамок эгоистических классовых интересов. Тем более что насилиям подвергались не только помещики, но и крестьяне — хуторяне, отрубники. По постановлениям комитетов и помимо их. Подымалось не раз и село на село. Дело шло теперь вовсе не о перемещении богатств из одних рук в другие, от одного сословия к другому, а об истреблении ценностей, разрушении земельной культуры и экономическом потрясении государства.

Стихия бушевала. «Учредительные» функции оказались не по плечу волостному комитету. Следственные власти не смели появляться в деревне. Суд бездействовал, ибо все равно приговоры его не нашли бы исполнителей. И деревня, предоставленная самой себе и агитации крайних элементов, кипела в котле страстей, давно назревших и никем, ничем не сдерживаемых.

Жизнь мстила за попрание своих требований.

Вместе с захватами и разделами росли неудержимо собственнические инстинкты крестьянства. Его идеология опрокидывала все планы революционной демократии и, обращая крестьянство в класс мелкой буржуазии, грозила надолго отдалить торжество социализма. Деревня замкнулась в узкий круг своего быта и, поглощенная «черным переделом», совершенно не интересовалась ни войной, ни политикой, ни социальными вопросами, выходящими за пределы ее интересов. Война отнимала и калечила ее работников, и деревня тяготилась войной. Власть препятствовала земельным захватам и стесняла монополией и твердыми ценами сбыт хлеба — и деревня невзлюбила власть. Город перестал давать произведения промышленности и товары — и деревня отгородилась от города, уменьшая и временами прекращая подвоз туда хлеба. Единственное вполне реальное «завоевание революции» было в известной мере осуществлено, и те, кто воспользовался им, с некоторым смущением и неуверенностью ждали, как отнесется к самочинному разрешению ими земельного вопроса грядущая власть.

При таких настроениях пролетарский большевизм оказался чужим и ненужным в деревне. Предвидя необходимость в будущем борьбы с такими «мелкобуржуазными стремлениями» крестьянской массы, Ленин и включил в свою программу «перенесение центра тяжести на Советы батрацких депутатов» и «выделение Советов депутатов от беднейших крестьян»... Однако с этим лозунгом, вносившим начало раскола и борьбы в крестьянскую среду и осуществленным позднее, летом 1918 г., большевики не посмели явиться открыто в деревню в 1917 г. И деятельная работа их поэтому вылилась в поддержание деревенской анархии, оправдание захватов и подрыв авторитета Временного правительства.

Этим путем они стремились создать в лице крестьянской массы сторону, если не сочувствующую, то по крайней мере нейтральную в предстоящей решительной борьбе своей за власть.

Одним из правительственных актов, внесших крайние осложнения в нормальное течение народной жизни, явилось упразднение постановлением от 17 ап-

[81] Циркуляр 17 июля.

реля общей полиции. В сущности, акт подтвердил лишь то положение, которое создалось почти повсеместно с первых же дней революции и которое явилось результатом народного гнева в отношении исполнительных органов старой власти, в особенности же результатом озлобления со стороны тех лиц, которые подвергались наибольшему угнетению и произволу полиции и теперь вдруг поднялись на гребень народной волны. Защищать русский полицейский институт — дело безнадежное. Отрицательная репутация его несколько поколебалась лишь под влиянием сравнения с милицией и чрезвычайками... Точно так же напрасно было бы в то время противиться его упразднению — оно вызывалось психологической необходимостью. Но также несомненно, что старый полицейский институт в своих действиях руководствовался не столько личными политическими убеждениями, сколько требованиями хлебодателя и собственными интересами. Неудивительно, что жандармы и чины полиции — гонимые, оскорбляемые, затравленные, поступив принудительно в армию, составили там элемент весьма отрицательный. Революционная демократия в самооправдание до крайности преувеличивала «контрреволюционную» роль их в армии; тем не менее безусловная правда, что многие бывшие жандармские и полицейские чины избрали себе, быть может, из чувства самосохранения, ремесло, ставшее тогда наиболее выгодным — демагога-агитатора.

Станем на почву фактов.

Упразднение полиции в самый разгар народных волнений, когда значительно усилилась общая преступность и падали гарантии, обеспечивающие общественную и имущественную безопасность граждан, являлось прямым бедствием. Но этого мало: с давних пор функции русской полиции незаконно расширялись путем передачи ей части своих обязанностей как всеми правительственными учреждениями, так и органами самоуправления, даже ведомствами православного и инославных вероисповеданий. На полицию возлагалось таким путем взыскание всяких сборов и недоимок, исполнение обязанностей судебных приставов и участие в следственном производстве, наблюдение за выполнением санитарного, технического, пожарного уставов, собирание всевозможных статистических данных, призрение сирот и лиц, впавших в болезнь вне жилищ и проч., проч. Достаточно сказать, что проект реорганизации полиции, внесенный в Государственную Думу в конце 1913 года, предусматривал 317 отдельных обязанностей, незаконно возложенных на полицию и подлежащих сложению.

Весь этот аппарат и сопряженная с ним деятельность — охраняющая, регулирующая, распорядительная, принуждающая — были изъяты из жизни и оставили в ней пустое место.

Созданная взамен милиция была даже не суррогатом полиции, а ее карикатурой. В то время как в западных государствах проводится принцип объединения полиции под властью правительственного центрального органа, Временное правительство поставило милицию в ведение и подчинение земских и городских управлений. Правительственные комиссары в отношении милиции имели лишь право пользоваться ею для исполнения законных поручений.

Кадры милиции стали заполняться людьми совершенно неподготовленными, без всякого технического опыта, или же заведомо преступным элементом. Отчасти этому способствовал новый закон, допускавший в милицию лиц, даже подвергшихся заключению в исправительных арестантских отделениях, с соответственным поражением прав, отчасти же благодаря системе набора их, практиковавшейся многими городскими и земскими учреждениями, насильственно «демократизованными». По компетентному заявлению начальника главного управления по делам милиции при этих выборах в состав милиции даже в ее начальники попадали нередко уголовные преступники, только что бежавшие с каторги...

Волость зачастую вовсе не организовывала милиции, предоставляя деревне управляться, как ей заблагорассудится.

Глава XVII. ВОПРОС О ПЕРЕХОДЕ РУССКОЙ АРМИИ В НАСТУПЛЕНИЕ

Итак, перед нами во всей своей силе и остроте встал вопрос:

— Нужно ли русской армии перейти в наступление?

Временное правительство опубликовало 27 марта обращение «к гражданам» о задачах войны. Среди ряда фраз, затемнявших в угоду революционной демократии прямой смысл обращения, Ставка не могла найти твердых оснований для руководства русской армией: «Оборона во что бы то ни стало нашего собственного родного достояния и избавление страны от вторгнувшегося в наши пределы врага — первая насущная и жизненная задача наших воинов, защищающих свободу народа... Цель свободной России не господство над другими народами, не отнятие у них национального достояния, не насильственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе самоопределения народов. Русский народ не добивается усиления внешней мощи своей за счет других народов... но... не допустит, чтобы Родина его вышла из великой борьбы униженной и подорванной в жизненных своих силах. Эти начала будут положены в основу внешней политики Временного правительства... при полном соблюдении обязательств, принятых в отношении наших союзников»...

В ноте от 18 апреля, препровожденной министром иностранных дел Милюковым союзным державам, находим еще одно определение: «Всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы... усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого. Это стремление стало более действенным, будучи сосредоточено на близкой для всех и очередной задаче — отразить врага, вторгнувшегося в самые пределы нашей Родины»... [82]

Конечно, все это были фразы, весьма робко, осторожно, туманно определяющие задачи войны, дающие возможность любого толкования их смысла, а главное, лишенные правдивого обоснования: стремление к победе в народе, в армии не только не усилилось, но шло значительно на убыль как результат, с одной стороны, усталости и падения патриотизма, с другой — чрезвычайно интенсивной работы противоестественной коалиции, заключенной между представителями крайних течений русской революционной демократии и немецким генеральным штабом, — коалиции, связанной невидимыми, но ясно ощущаемыми психологическими и реальными нитями. К этому вопросу я вернусь позднее. Здесь же отмечу лишь, что разрушительная работа по циммервальдовской программе в пользу прекращения войны началась задолго до революции, исходя как извне, так и изнутри.

Временное правительство, проводя для умиротворения воинствующих органов революционной демократии бледные, неясные формулы в отношении цели и задач войны, не стесняло, однако, нисколько Ставку в выборе стратегических способов для их достижения. Поэтому нам предстояло разрешить вопрос о наступлении независимо от существующих направлений политической мысли.

Единственное, ясное, определенное решение, в котором не могло быть разномыслия среди командного состава, было:

Разбить вражеские армии в тесном единении с союзниками. Иначе страну нашу неминуемо постигнет крушение.

Но такое решение требовало широкого наступления, без которого не только немыслимо было одержать победу, но и затягивалась бесконечно разорительная война. Ответственные органы демократии, в большинстве своем исповедуя пораженческие взгляды, старались повлиять соответственно на массы. От этих взглядов не были вполне свободны даже и умеренные социалистические круги. В солдатской среде идеология циммервальдовской формулы не воспринималась вовсе, но зато сама формула давала известное оправдание чувству самосохранения или попросту — шкурничеству. И потому идея наступления не могла быть особенно популярной в армии. Развал в войсках ширился все более, и терялась уверенность не только в упорстве наступления, но даже и в том, будет ли исполнен приказ — удастся ли сдвинуть армию с места... Огромный русский фронт дер-

[82] Подобные определения давали повод пораженческой пропаганде объяснять наступление, например, в направлении на Львов «империалистическими, захватными стремлениями».

жался еще прочно... по инерции, импонируя врагам, не знавшим, так же как и мы, размеров сохранившейся потенциальной силы его. Что, если наступление вскроет наше бессилие?

Таковы были мотивы против наступления. Но слишком много более веских причин повелительно требовали иного решения. Центральные державы дошли до полного истощения своих людских, материальных и моральных сил. Если осенью 1916 года наступление наше, не увенчавшееся решительным стратегическим успехом, поставило враждебные армии в критическое положение, то что было бы теперь, когда силы и техника наши возросли, соотношение их изменилось значительно в нашу пользу, а союзники к весне 1917 года заносили громовой удар над головою врагов. Немцы с болезненным страхом ожидали этого удара и с целью выйти из-под него еще в начале марта отвели свой стоверстный фронт между Арассом и Суассоном вглубь, верст на 30, на так называемую линию Гинденбурга, подвергнув невероятному и ничем не оправдываемому опустошению оставленную территорию. Этот отход был знаменателен как явный показатель слабости наших врагов и сулил большие надежды на будущее... Мы не могли не наступать: при полном развале контрразведывательной службы, вызванном подозрительностью революционной демократии, разгромившей органы ее, смешав по недомыслию их функции с кругом ведения ненавистных сыскных отделений; при установившейся связи между многими представителями Совета рабочих и солдатских депутатов и агентами Германии; при более чем легком общении между фронтами и облегченном донельзя шпионаже наше решение не наступать стало бы, несомненно, известным противнику, который немедленно начал бы переброску своих сил на запад. Это было бы равносильно прямому предательству в отношении союзных народов, несомненно, приводившему если не к официальному, то к фактическому состоянию сепаратного мира со всеми его последствиями. Настроение революционных кругов Петрограда в этом вопросе казалось, однако, настолько колеблющимся, что в Ставке создалась вначале совершенно необоснованная подозрительность даже в отношении Временного правительства. На этой почве произошел небольшой инцидент. В конце апреля, во время отъезда Верховного, начальник дипломатической канцелярии доложил мне, что среди иностранных военных представителей царит большое возбуждение: только что получена из Петрограда телеграмма итальянского посла, в которой он категорически уверяет, что Временное правительство пришло к решению заключить сепаратный мир с центральными державами. Когда факт получения такой телеграммы был установлен, я, не зная тогда, что итальянское представительство по свойственной его членам экспансивности не раз уже являлось источником ошибочных сведений, послал военному министру телеграмму в весьма горячих выражениях, оканчивавшуюся словами: «Презрением заклеймит потомство то дряблое, бессильное, безвольное поколение, которого хватило на то, чтобы свергнуть подгнивший строй, но не хватает на то, чтобы уберечь честь, достоинство и само бытие России». Вышел конфуз: сведение было ложным, правительство, конечно, не помышляло о сепаратном мире. Позднее, 16 июля, в историческом совещании в Ставке (главнокомандующих с членами правительства), мне еще раз пришлось высказать свой взгляд по этому вопросу:

«...Есть другой путь — предательство. Он дал бы временное облегчение истерзанной стране нашей... Но проклятие предательства не даст счастья. В конце этого пути — политическое, моральное и экономическое рабство».

Я знаю, что в некоторых русских кругах такое прямолинейное исповедование моральных принципов в политике впоследствии встречало осуждение: там говорили, что подобный идеализм неуместен и вреден, что интересы России должны быть поставлены превыше всякой «условной политической морали»... Но ведь народ живет не годами, а столетиями; я уверен, что перемена тогдашнего курса внешней политики существенно не изменила бы крестный путь русского народа, что кровавая игра перемешанными картами продолжалась бы, но уже за его счет... Да и психология русских военных вождей не допускала таких сделок с совестью: Алексеев и Корнилов, всеми брошенные, никем не поддержанные, долго шли по старому пути, все еще веря и надеясь на благородство или по

крайней мере здравый смысл союзников, предпочитая быть преданными, чем самим предать.

Донкихотство? Может быть. Но другую политику надо было делать другими руками... менее чистыми. Что касается лично меня, то три года спустя, пережив все иллюзии, испытав тяжкие удары судьбы, упершись в глухую стену неприкрытого слепого эгоизма «дружественных» правительств, свободный поэтому от всяких обязательств к союзникам почти накануне полного предательства ими истинной России я остался убежденным сторонником честной политики. Только роли переменились: теперь уже мне пришлось убеждать парламентских деятелей Англии[83], что «здоровая национальная политика не может быть свободна от всяких моральных начал, что совершается явное преступление, ибо иначе нельзя назвать оставление вооруженных сил Крыма, прекращение борьбы против большевизма, введение его в семью культурных народов и хотя бы косвенное признание его: что это продлит немного дни большевизма в России, но распахнет ему широко двери в Европу»... Я верю глубоко, что историческая Немезида не простит им, как не простила бы тогда нам.

Начало 1917 года было временем катастрофическим для центральных держав и решительным для Согласия. Вопрос о русском наступлении чрезвычайно волновал союзное командование. Военные представители Англии (генерал Бартер) и Франции (генерал Жанен) часто бывали у Верховного Главнокомандующего и у меня, интересуясь положением вопроса. Но заявления немецкой печати о производимом союзниками давлении или даже ультимативных требованиях в отношении Ставки неверны: это было бы просто не нужно, так как и Жанен, и Бартер понимали обстановку и знали, что задержкой и препятствием к переходу в наступление служит только состояние армии. Они старались ускорить и усилить техническую помощь, в то время как их более экспансивные сотрудники — Тома, Гендерсон и Вандервельде — лидеры социалистических партий Запада — пытались безнадежно горячим словом зажечь искру патриотизма среди представителей русской революционной демократии и войск.

Наконец, Ставка учитывала еще одно обстоятельство: в пассивном состоянии, лишенная импульса и побудительных причин к боевой работе, русская армия несомненно и быстро догнила бы окончательно, в то время как наступление, сопровождаемое удачей, могло бы поднять и оздоровить настроение если не взрывом патриотизма, то пьянящим, увлекающим чувством большой победы. Это чувство могло разрушить все интернациональные догмы, посеянные врагом на благодатной почве пораженческих настроений социалистических партий. Победа давала мир внешний и некоторую возможность внутреннего. Поражение открывало перед государством бездонную пропасть. Риск был неизбежен и оправдывался целью — спасения Родины.

Верховный Главнокомандующий, я и генерал-квартирмейстер (Юзефович) совершенно единомышленно считали необходимым наступление. Старший командный состав принципиально разделял этот взгляд. Колебания, и довольно большие при этом, на разных фронтах были лишь в определении степени боеспособности войск и их готовности. Я утверждаю убежденно, что одно это решение даже независимо от приведения его в исполнение оказало союзникам несомненную пользу, удерживая силы, средства и внимание врагов на русском фронте; этот фронт, потеряв свою былую грозную мощь, все же оставался для врагов неразгаданным сфинксом.

Любопытно, что в то же самое время в главной квартире Гинденбурга разрешался тождественный вопрос. «Общее положение в апреле, мае до июня,— говорит Людендорф,— не давало возможности открыть серьезные действия на восточном фронте». Но позже... «По этому поводу в главной квартире были большие споры. Быстрое наступление на восточном фронте с теми войсками, которые были в распоряжении главнокомандующего этого фронта, подкрепленными несколькими дивизиями с запада — не лучше ли это решение, чем ожидание? Это был наиболее подходящий момент, говорили некоторые, разбить русскую армию, когда боевая ценность ее уменьшилась. Я не согласился, невзирая

[83] Конец апреля 1920 года.

на улучшение положения на западе. Я не хотел делать ничего, что, казалось, могло разрушить реальную возможность мира»... Конечно — мира сепаратного. Какого — мы узнали позднее, после Брест-Литовска...

Армиям отдана была директива о наступлении. Общая идея его сводилась к прорыву неприятельских позиций на подготовленных участках всех европейских фронтов, к широкому наступлению большими силами Юго-Западного фронта в общем направлении от Каменец-Подольска на Львов и далее к линии Вислы, в то время как ударная группа Западного фронта должна была наступать от Молодечно на Вильно и к Неману, отбрасывая к северу немецкие армии Эйхгорна. Северный и Румынский фронты содействовали частными ударами, привлекая к себе силы противника.

Время для наступления было назначено предположительно, в широких пределах. Но дни шли, а войска, ранее управлявшиеся приказами и безропотно выполнявшие самые тяжелые задачи,— те самые войска, которые своею грудью, без патронов, без снарядов сдерживали некогда стихийное наступление австро-германских масс,— теперь стояли с парализованной волей и помутневшим разумом. Начало все откладывалось.

Между тем союзники, подготовившие к весне широкую операцию, учитывая значительное усиление врагов на Западном фронте в случае полного развала русской армии, начали великое сражение во Франции, как было обусловлено планом кампании, в конце марта, **не дожидаясь** окончательного решения вопроса о нашем наступлении. Впрочем, одновременность действий не считалась союзными главными квартирами необходимым условием предстоящей операции и раньше, до потрясения русской армии. Наше наступление в силу особенных физических и климатических условий театра предусматривалось не ранее мая. Между тем генерал Жофр согласно общему плану кампании 1917 года, выработанному 2 ноября 1916 г. на конференции в Шантильи, наметил началом наступления англо-французских армий конец января и первые числа февраля; сменивший его генерал Нивелль после конференции 14 февраля 1917 г. в Кале перенес начало наступления на конец марта.

27 марта начались атаки англичан у Арраса, на фронте около 20 верст. Подготовленный небывалой силы артиллерийским огнем[84] прорыв немецких позиций принял угрожающие для немцев размеры. С обеих сторон были введены огромные силы. Сражение, то замирая, то вновь вспыхивая, длилось весь апрель. Англичане проникли в глубь неприятельских позиций верст на 6, заняв линию Ленс — Фонтэн, так называемый хребет Вими, представлявший весьма важный и сильно укрепленный рубеж.

Сражение это потребовало от немцев огромного напряжения и больших потерь, поглотило резервы и запасы. А в то же время (2 апреля) на широком фронте — Суассон — Реймс — Оберив началась большая операция французов, ознаменовавшаяся вначале также большим успехом и вызвавшая оставление немцами, понесшими громадные потери, своих сильных позиций.

Этот комбинированный удар, направленный концентрически от Арраса на Дуэ и от Реймса на Шарлевиль, обещал решительные результаты. Битва народов, которая должна была решать судьбы их, протекала с огромными жертвами, нося поистине истребительный характер. Но вскоре в темпе грандиозной борьбы наступило какое-то замедление и равновесие. Введение в дело всех немецких резервов, их систематические и упорные контратаки приостановили движение союзников. Его не оживило ни начавшееся удачно 2 мая итальянское наступление на Изонцо, ни успешные атаки англичан в конце мая в Бельгии.

На разных участках Западного фронта шли еще кровавые бои, но уже не оставалось никакого сомнения, что решительная весенняя операция союзников, на которую возлагалось столько надежд, от которой ожидали конца страданиям народов, окончена, не оправдав надежд.

Обе стороны сочли себя победительницами и обе были обескровлены.

Стратегическое положение не изменилось. Большой тактический успех союз-

[84] 3 тысячи немецких орудий были противопоставлены 4 тысячам английских, выпустивших в первые семь дней атаки 9—10 миллионов снарядов.

ников несомненен. Немцы понесли весьма тяжелые потери: за период с 1 апреля по середину июня общие потери их составили свыше 250 тысяч человек, в том числе пленными 64 500. Англо-французам досталось 509 орудий, 1 318 пулеметов и много другой военной добычи. Моральное состояние немцев пало еще более от сознания явного превосходства техники союзников; благодаря истощению немецких запасов и резервов к англо-французам перешла инициатива на всем европейском фронте войны. Таковы были блестящие, но далеко не решительные результаты весеннего наступления.

К концу апреля официозная пресса союзников, вдохновленная главными штабами, предостерегала уже народ от увлечений, иллюзий и надежд на скорую победу и приглашала ждать терпеливо прибытия свежих британских и американских сил... В то же время в англо-французской печати начали подыматься нетерпеливые голоса в пользу скорейшего наступления русской армии.

Несогласованность операций Западного и Восточного европейских фронтов давала свои горькие плоды. Трудно решить, могли ли союзники отсрочить свое весеннее наступление на два месяца, поскольку выгода комбинированной с русским фронтом операции компенсировала бы представление Германии лишнего времени для усиления, устройства сил и пополнения запасов. Одно несомненно, что отсутствие этой связи во времени доставило немцам огромное облегчение. «Я враг бесполезных соображений,— говорит Людендорф,— но я не могу отказаться подумать, что было бы, если бы Россия наступала в апреле и мае и одержала ряд небольших успехов. Нам предстояла бы тогда, как и осенью 1916 г., очень тяжелая борьба. Наши боевые припасы уменьшились бы в угрожающей степени. По зрелом размышлении, если перенести на апрель — май (даже те) успехи, которые были одержаны русскими в июне, я не вижу, каким образом высшее командование могло бы остаться хозяином положения. В апреле и мае 1917 г., несмотря на нашу победу (?) на Эне и в Шампани, нас спасла только русская революция»...

Помимо общего наступления на австро-германском фронте, в апреле возник еще один не лишенный интереса вопрос — **самостоятельная операция по овладению Константинополем**. Министр иностранных дел Милюков, вдохновленный молодыми пылкими моряками, вел многократно переговоры с генералом Алексеевым, убеждая его предпринять эту операцию, которая, по его мнению, могла увенчаться успехом и поставить протестующую против аннексий революционную демократию перед совершившимся фактом.

Ставка отнеслась совершенно отрицательно к этой затее, так не соответствовавшей состоянию наших войск: десантная операция — чрезвычайно деликатная сама по себе — требовала большой дисциплины, подготовки, порядка, а главное, высокого сознания долга десантными войсковыми частями, которые временно становились совершенно оторванными от всякой связи со своей армией. Море в тылу — это обстоятельство угнетающе действует и на сильные духом части. Этих элементов в русской армии уже не было.

Просьбы министра становились, однако, так настойчивы, что генерал Алексеев счел себя вынужденным дать ему показательный урок: предположена была экспедиция в небольших размерах к малоазиатскому берегу Турции, кажется, в Зунгулдак. Операция эта, не имевшая особенно серьезного значения, потребовала сформирования отряда в составе полка пехоты, броневого дивизиона и небольшой конной части и возложена была на румынский фронт. Прошло некоторое время, и сконфуженный штаб фронта ответил, что сформировать отряд не удалось, так как войска... не желают идти в десант...

Этот эпизод, вызванный прямолинейно понятой идеей «без аннексий», извращавшей все начала стратегии, а может быть, и просто шкурничеством, служил еще одним плохим предзнаменованием для предстоящего общего наступления.

Оно между тем готовилось в муках и страданиях. Русский заржавевший, зазубренный меч все еще раскачивался, и неизвестно было только, когда раскачается окончательно и по чьим головам ударит...

(Продолжение следует.)

Владимир ВОЙНОВИЧ

Фиктивный брак

ВОДЕВИЛЬ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Однокомнатная квартира в Москве, в районе Беляево. Входят Отсебякин и Надя.

Отсебякин. Ну вот мы и дома. Раздевайтесь, вешайтесь, так сказать, и проходите... Замерзли?

Надя. Да нет, ничего. Все о'кей.

О. Ой! Подморозило здорово, как и положено на Рождество. Крещенские морозы, однако же, бывают трескучие. На улице-то ладно, но если б они хоть автобус отапливали, а они экономят. Они теперь на всем экономят.

Н. Кто — они?

О. Власти. (Поспешно поправляется.) Нет, я имею в виду, конечно, местные власти. Да вы не стесняйтесь, садитесь. Убрано не тщательно, квартира, сами понимаете, холостяцкая. (Пауза.) А я лично дрожу не от холода, а от страха.

Н. От страха? А чего это вы так боитесь?

О. Сейчас-то уже не боюсь, а в загсе боялся. Вы разве не заметили, я когда расписывался, рука сильно дрожала? Я обычно не сокращенно расписываюсь, а полностью: «От-се-бя-кин». А тут «О» написал, «т» написал, а дальше рука вовсе не подчиняется, и я тогда просто крючок вывел какой-то.

Н. Надо же! А в чем дело?

О. Ну как же. Фиктивный брак, сделка, можно сказать, тщательно незаконная.

Н. Подумаешь, незаконная. А кто сейчас по закону живет? Все воруют.

О. (осторожно). Я бы все-таки не обобщал.

Н. А я и не обобщаю. Я просто говорю: все воруют. Потому что не своруешь, не проживешь. Я в торговле работала, там все воровали, перешла в салон красоты, и говорить нечего.

О. Однако с мороза желательно разогреться. Как насчет чайку? Или кофе?

Н. С удовольствием.

О. А может, чего покрепче? Впрочем, вы, вероятно, водку не пьете?

Н. Почему же? Я женщина современная. Я и бормотуху употребляю.

О. Бормотуху? И часто?

Н. Нет, не часто. Иногда. С Витькой.

О. Кто это Витька?

Н. Витька? Хахаль.

О. Вы как-то выражаетесь не очень, я бы сказал, тщательно. Что значит хахаль? Можно ведь как-то иначе. Ну допустим, возлюбленный.

Н. Витька? Возлюбленный? Ха-ха. Насмешили. Возлюбленные сейчас только в театре бывают или в кино. Да и то из прошлого века.

О. Хорошо, согласен. Возлюбленный — понятие, может быть, устаревшее. Можно сказать, например, ухажер.

Н. Ой, что вы! Ухажер — это все же тот, кто ухаживает, а Витька... ну, в общем, хахаль.

О. Ну вот закуска готова, можно и выпить. (Наливает.) Берите вот хлеб, лук, сырок плавленый. Мяса, к сожалению, никакого. Вчера за одесской колбасой сорок минут стоял, давали по полкило в одни руки, а мне все же не досталось.

Н. В магазинах уже вообще жрать нечего.

О. Я бы все же не обобщал. Временные затруднения, конечно, имеются, но мы этого не скрываем.

Н. Вы-то не скрываете. Уж и скрывать нечего, все пусто.

О. Ну ладно, об этом не будем. Выпьем. Я даже не знаю за... ну, в общем... будьте здоровы.

Н. О'кей.

Чокаются, выпивают, закусывают.

О. А что же этот ваш Витька — хороший человек?

Н. (удивленно). Витька? Вы что, смеетесь? Пьянь да рвань. В такси работал, человеком был. Потом за пьянку в слесари перевели на исправление. А там исправишься. Там чего-нибудь открутил — бутылка. Чего-нибудь закрутил — бутылка. Спивается народ.

О. Ну это вы вообще... знаете... не надо. Я считаю, беда не в том, что много пьют, а что мало закусывают. Ну давайте еще?

Н. О'кей.

Чокаются, выпивают, закусывают.

О. Вообще я считаю, в целом все идет нормально. Очень много построено всяких крупных вещей. Спутники летают. Октябрьская революция совершилась не зря. Если бы, скажем, не революция, вот я, Отсебякин, кем бы я был?

Н. Ну так бы и был Отсебякин.

О. Не надо так. Критика в нашем обществе допустима, и мы ее приветствуем. Но она должна быть тщательно конструктивна. Недостатки, конечно, имеются. (Закусывает.) Скажем, я инженер-электрик. У меня одно изобретение, шесть рацпредложений, имею рекомендацию в партию, а вынужден идти на нарушение закона, потому что холостой. Так все и считают: Отсебякин холостой, ему что. И если чего случилось, ну, допустим, там обмотка генератора перегорела, сверхурочно надо работать или праздничное дежурство, кого зовут? Отсебякина. Ты уж, Отсебякин, извини, ты ж холостой, тебя от семьи отрывать не надо. Это еще ладно, если говорят — Отсебякин. А то все путают. То Отсебятиным назовут, то Отсобакиным. Трудно, что ли, запомнить? Фамилия, хотя и простая, но редкая. Я лично однофамильцев своих не встречал. А когда в командировках бываю, в справочных обычно интересуюсь, нет ли там какого-нибудь местного Отсебякина. И ответ всегда один: не значится. А поскольку у меня нет ни папы, ни мамы, ни тети, ни дяди и никаких других родственников, я думаю, может, я вообще на всей земле один Отсебякин остался. И все равно. Никакого уважения. Как-то к Седьмому ноября среди инженерно-технического персонала курицу распределяли... Нет, не к Седьмому, а на День Победы... Нет, вру... Не на День Победы, а на Первое мая. Меня как раз как холостого на демонстрацию послали. Я еще Громыко на палке нес. Так вот на демонстрацию послали меня, а курицу Трошину распределили. У него, говорят, двое детей и диабет. А я вообще не уверен, что при диабете можно курицу есть. Ну ладно, курица — это еще ничего. Курица, допустим, на почве временных трудностей, тщательно Продовольственной программой нашей партии предусмотренных. Но когда мне оказывают политическое недоверие, тут я тщательно прошу меня извинить. У нас сейчас как раз специалистов набирают в Англию. То есть вру, в Анголу. Я, конечно, сразу выразил готовность оказать братскому народу посильную помощь. Характеристики собрал, авторское свидетельство представил. И опять не пускают по той же причине, что холостой. Откуда мы знаем, говорят, может, ты намылился, чтоб слинять. У тебя же ни жены, ни детей. Ни папы, ни мамы. Ни тети, ни дяди. Если что, и спросить не с кого. Ну вот скажите, Надя, вот посмотрите на меня. Я вам человек тщательно посторонний. То есть ни в фиктивном, конечно, а в фактическом смысле. Так вот, скажите, может такой человек, как я, предать свою родину, свой народ и сбежать?

Н. Не знаю. Это зависит, у кого какие возможности.

О. (возмущен). При чем тут возможности? Что ж я, Иван, что ли, не помнящий ничего? Я человек советский. Мне родина дала воспитание, образование, в люди вывела. И вообще я патриот. Я люблю наши просторы, реки, поля, леса. Наши сосны, березы...

Н. Березовый сок тоже любите?

О. Не понял.

Н. Ну сок, говорю. Березовый. Знаете, в песне поется: (Поет фальшиво.) «Березовым соком, березовым соком...»

О. Сок не знаю, не пробовал. А березы люблю.

Н. Береза — дерево неплохое. Горит здорово. Но пальма все же получше. На ней бананы растут.

О. Ну и что, что бананы? Что ж я теперь за бананы родину, что ли, должен продать? (Размышляет вслух.) Ну, допустим, у меня бы там кто-нибудь был. Дядя миллионер или тетя миллионерша. А у меня там никого. И здесь тоже. И все же здесь меня туда-сюда, а там я кому нужен? Конечно, был бы я как этот... гроссмейстер... Или бы на коньках ездил, как эти... вот... Протопопов и Аввакумова. И тоже надо понять, это ж не Англия, а Ангола, там куда побежишь? Джунгли вокруг и дикари. Поймают, как курицу, и распределят между собой. И не посмотрят, что у меня авторское свидетельство и рекомендация в партию. И что, может быть, после меня на земле ни одного Отсебякина не останется.

Н. Слушайте, так вам, может, лучше вообще отказаться? Тем более если бежать не собираетесь, так зачем ехать?

О. Тщательно не понимаю. Как это зачем ехать? Сознательность ведь должна быть какая-то! Не только же для себя живем. Освободившимся народам надо помочь. Они же развиваются. Они еще в электричестве не понимают и плюс замыкают на минус. И вообще... Зарплата у меня какая? А там все же сертификатами платят. И на дубленку можно накопить, и даже на «Жигули».

Н. О'кей, «Жигули». У нас тоже один в Узбекистан... нет... в Афганистан... Поехал за «Жигулями», а вернулся без головы. В цинке запаян, как шпрот.

О. Слушайте, я забыл. У меня же и шпроты есть. Я еще в прошлом году достал банку. Вот, хотел сразу съесть, да потом подумал, может, какой торжественный случай будет. Вот, пожалуйста. Подождите, сначала выпьем. (Наливает.) Ну вот. За все хорошее. Чтобы и шпроты и все такое можно было всегда достать.

Чокаются, выпивают, закусывают.

А я все же не пойму, для чего вы-то на эту фикцию согласились? У меня, можно сказать, служебная необходимость, а для чего вам-то?

Н. А просто так. Назло Витьке. Он хоть и пьянь, а задается. Ты, говорит, и мне нужна только время от времени. А другому и вовсе никому не нужна. О'кей, говорю, ты еще увидишь, нужна или не нужна. (Мечтательно.) Теперь колечко в магазине новобрачных по талону куплю, приду к Витьке, видал, скажу, вышла замуж. И не за алкаша какого-нибудь вроде тебя, а за инженера. В Англию едет, за «Жигулями».

О. (скромно). Ну не в Англию, а в Анголу.

Н. А ему все равно. Он не различает. Он когда набухается, политуру от антифриза не отличит.

О. Я, конечно, в вашу личную жизнь не вмешиваюсь, но все же тщательно не понимаю. На вашем Витьке свет клином не сошелся. Есть много других мужчин.

Н. (недоверчиво). Мужчин? Не встречала. Алкашей полно. Да еще такие, вроде вас, иногда попадаются. Вот вы, чем меня, себя бы лучше спросили. Вам-то зачем эта фикция? Если у вас служебные интересы и к тому же бежать не собираетесь, так и женились бы не фиктивно, а как положено. Семью б завели, детишек. Таких ма-аленьких отсебякинят. Это ж какая радость! Годы-то ваши идут. Сколько вам лет? Пятьдесят?

О. (возмущен). Почему это пятьдесят? Откуда пятьдесят? Вы что это, замуж выходите, а даже в паспорт не смотрите? Я еще молодой. Мне только сорок два исполнилось.

Н. Ничего себе молодой. Моему брату сорок один, а у него уже внук есть. Рыжик. И потом, сегодня вам сорок два, а завтра будет восемьдесят.

О. Вы что, смеетесь? Сегодня сорок два, а завтра восемьдесят. Вы арифметику в школе проходили?

Н. Господи, я ж не про арифметику, я про жизнь. Будете старенький, с палочкой будете ходить. В аптеку надо будет сбегать, клизму поставить. Кто побежит? Кто поставит?

О. (сердится). Да что это вы такое говорите? Палочка, клизма. Когда это еще будет? Я ёще молод и полон сил. Я двухпудовую гирю четыре раза одной рукой выжимаю.

Н. О'кей. Гирю, четыре раза. А остальное вы можете?

О. Это в каком же смысле?

Н. Ну в каком, в каком! Мужчина должен не только с гирями свою силу показывать.

О. Не понял.

Н. Надо ж, какой непонятливый! В школе арифметику проходил, а на переменах ему ничего не рассказывали. Я имею в виду, как у вас насчет этого дела? Или вы только гири таскать умеете?

О. Я вашей нездоровой развязности не одобряю, но если уж вы так интересуетесь и лезете во все дырки, могу объяснить, что я к женщинам тщательно равнодушен.

Н. Эй, дядя! Так вы гомик?

О. Кто? Комик?

Н. Не комик, а гомик. Я имею в виду гомосек. Надо ж, такой здоровый, лысый, двухпудовую гирю таскает — и гомик. Ой, не могу, принесите воды, умру от смеха!

О. Умрете, и зря. У меня порочных наклонностей нет. У меня была одна дама. Нинелька. Двенадцать лет под ручку ходили, а потом три месяца пожили и разошлись. Вот и все. И с тех пор я ни на какие серьезные отношения не согласен. А насчет того, что вы говорите, насчет этих комиков, так я лично их тщательно осуждаю. Потому что сами отвлекаются и других от общенародных задач отвлекают. И вообще. Сейчас, как вы знаете, рост коренного населения падает, а азиатского возрастает. Скоро уже все будем косые. А эти ваши комики... от них не то что человек, даже мышь родиться не может. Ну хорошо если этим занимается какой-нибудь, скажем, творческий человек. Ему, может быть, для вдохновения нужно. Но ведь есть же такие, что он, может быть, даже средней школы не кончил, может, даже закона Ома не знает, а туда же лезет. Как будто он какой-нибудь художник или артист. (Помолчав.) Я, между прочим, и сам был артистом. В заводской самодеятельности Ленина изображал.

Н. Вы? Ленина? Никогда не поверю. Хотя вообще-то похож. Плешь точно такая.

О. Плешь тут ни при чем. Плешь и налепить можно. А главное — уметь изобразить. Во всей простоте и величии. (Неожиданно преображается, вскакивает на стул, говорит быстро, громко и сильно картавя.) Октябрьская революция, о необходимости которой всегда говорили большевики, свершилась!..

Н. (смеется до слез на глазах, до истерики). Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ой, убил! Зарезал!

О. (доволен). Что, похоже?

Н. Жуть как похоже! Как это... социалистическая революция... (Опять смеется.) Ой, не могу! Так, пожалуй, и чокнуться можно! Слушайте, а чего это он так картавил?

О. Ну мало ли чего! У разных людей бывают всякие дефекты. Речи и всего остального.

Н. А мне говорили, что он был еврей.

О. (поспешно). Не знаю, я политикой не интересуюсь.

Н. О'кей, я тоже не интересуюсь, но мне говорили.

О. Что говорили?

Н. Ну что еврей.

О. (строго). Кто?

Н. (неуверенно). Ну этот... ну... Ленин.

О. Я спрашиваю, кто вам это говорил?

Н. Ну, Витька.

О. Я вижу, у вашего Витьки язык слишком длинный. Да за такие разговоры знаете, что бывает?

Н. А что? Что такое? Что я такого сказала? Ну еврей, ну и что. Среди евреев тоже неплохие люди бывают. У нас директор, Борис Маркович...

О. Я не спорю. Может быть, ваш Борис Маркович и хороший, но разве можно сравнивать с Лениным?

Н. А вы Бориса Марковича знаете?

О. Не знаю и знать не хочу.
Н. Ну вот и не говорите. Борис Маркович, между прочим, «р» выговаривает не хуже нас с вами. Не то что некоторые...
О. Ну, знаете. Это вы уж совсем. Да раньше за такое...
Н. Мало ли чего раньше было! А теперь за это не сажают. Теперь что хочешь, то и говори. Хоть про русских, хоть про евреев.
О. Я бы все-таки воздержался. Нет, вы не подумайте. Я лично против евреев ничего не имею. Это Трошин считает, что все от них. Диабет его от евреев. Вывести, говорит, их надо всех, чтоб больше не было. А я этого тщательно не понимаю. Это даже противоречит основным положениям. Мы интернационалисты. Мы ко всем нациям терпимо относимся. И к плохим, и к хорошим. С другой стороны, и об экологии надо подумать.
Н. О чем?
О. Я имею в виду природное равновесие. В природе лишних организмов никаких не имеется. Одно выведешь, другое появляется. Еще худшее. Вот китайцы, допустим, воробьев уничтожили, и что получилось? Жуки всякие развелись, личинки. Рис весь поели, китайцам ничего не оставили. Опять пришлось воробьев за границей на золото закупать.
Н. Не пойму, что это вы городите. Евреи и воробьи. Какая связь?
О. А такая связь, что если природа без воробьев не обходится, так, может, ей и евреи для чего-то нужны.
Н. Еще б не нужны! Да у нас в салоне... если б не наш Борис Маркович... Слушайте, а я вчера анекдот слыхала.
О. (заинтересованно). Про евреев?
Н. Нет. Про Чапаева.
О. (поспешно). Политических анекдотов не слушаю.
Н. Да он короткий. Значит, Чапаев идет, а Петька сидит на дереве... Нет, наоборот, Петька идет, а Чапаев сидит на дереве...
О. Чапаев? Сидит на дереве? Ха-ха-ха-ха.
Н. Он сидит на дереве, а Петька идет... Ха-ха-ха.
О. (одновременно и сердится и хохочет). Чапаев на дереве... Ха-ха-ха... Да что вы мне глупости рассказываете? Как это может быть: Чапаев и на дереве? Он же не птица какая-нибудь, а народный герой. А вы: Чапаев и на де... (Не выдерживает и опять смеется.)
Н. Значит, Петька идет, а Чапаев...
О. Стоп! Стоп! Не хочу слушать! И вообще в моем присутствии прошу сомнительных анекдотов не рассказывать. Чапаев не птица какая-нибудь, а легендарный герой. Он жизнь свою отдал, чтоб мы с вами сегодня жили в хороших условиях. И вообще я принципиально против таких насмешек над самым святым, что у нас есть. (Помолчав.) Тем более что моего дедушку за анекдот расстреляли.
Н. Извините, я не знала.
О. Это, конечно, был перегиб. Во времена культа личности. Тем более что дедушка пролетарского происхождения. Его, конечно, потом реабилитировали. Бабушке компенсацию дали. Девятьсот рублей. Старыми деньгами. (Помолчав.) Теперь дело другое. Возвращение к ленинским нормам. Теперь за анекдоты не расстреливают. Теперь гуманность, больше трех лет не дают. Доверие нам оказывают. А мы им злоупотребляем.
Н. (поднимаясь). Ну ладно. Я, пожалуй, пойду.
О. Куда это вы?
Н. Не знаю куда. К Витьке пойду.
О. Как это «к Витьке»?
Н. А в чем дело?
О. Да как это в чем дело? Что же вы, не понимаете?
Н. Не понимаю.
О. Да как это вы не понимаете? У вас, конечно, представления обо всем очень смелые. Но все-таки надо знать и границы. И потом, в какое же положение вы меня ставите? Я все-таки занимаю заметное место. Инженер-электрик. У меня диплом есть, авторское свидетельство и рекомендация. И я не желаю, я не допущу выставлять себя на посмешище. Я не позволю, чтобы про меня ходили всякие сплетни. Что моя жена гуляет с какими-то алкоголиками. Я не дам мне рога наставлять. Я вам не козел какой-нибудь, и не олень, и не этот... тур кавказский.
Н. (удивленно). Надо же какой старомодный!

О. В этих вопросах — да, старомодный. В технике я признаю все передовое и современное. И в электричестве разбираюсь, и в электронике, и на компьютере работать могу. Но в вопросах сексуальных не желаю знать никаких революций и жене своей налево гулять никогда не позволю.
Н. Хо-хо-хо! Какой отсталый! А еще инженер. Да сейчас, если хотите знать, все гуляют. У меня подружка, Люська, диспетчером на Речном вокзале работает, так она с одним развелась, за другого вышла, живет с обоими, а с третьим в Сочи ездит.
О. Какая гадость!
Н. Гадость не гадость, а Люська довольна.
О. Все равно гадость. Вот родит ваша Люська ребенка и даже знать не будет от кого.
Н. А зачем ей знать? Какая разница, от кого? Лишь бы человек вырос хороший. И вообще, Люська — женщина современная, со спиралью ходит.
О. Какой разврат! А вы?
Н. Что я?
О. Вы тоже... гм... гм... современная?
Н. А вам-то какое дело? Что вы ко мне в душу лезете? Какой тоже нашелся. Учитель жизни. Женился фиктивно, чтоб делишки свои обстряпать, так еще в душу с сапогами лезет. Или вы, может, того... может, забыли, что женились фиктивно?
О. (опомнившись). Да, действительно. Забыл. Потому что вы мне своими дурацкими анекдотами голову заморочили. Вы заморочили, а я забыл, что фиктивно.
Н. (примирительно). Хорошо, что вспомнили хоть теперь.
О. Теперь вспомнил. Да. (Взрывается, озаренный новой идеей.) Да, но изменять вы мне собираетесь не фиктивно, а самым натуральным и тщательным образом!
Н. О, господи! Какой-то кусок придурка попался. Ладно, я пойду.
О. К Витьке?
Н. Да какое вам дело — к Витьке, к Петьке, к Митьке?
О. Не могу позволить. (Загораживает дорогу.)
Н. Слушай, Оттебякин. Ты что, из дурдома выскочил? Пусти!
О. Не только не пущу, а вот еще и дверь запираю. Раз, два оборота, ключ в карман. Вот и все.
Н. Надо же. Слушай, Отсобакин...
О. Я не Отсобакин, а Отсебякин. Это все-таки разница.
Н. А мне все равно, хоть Отсобакин, хоть Откошкин. Открой — и все.
О. И не подумаю.
Н. О'кей. Тогда я... тогда я... Слушай, Отфедякин, открой или я из окошка выпрыгну.
О. С шестого этажа? Счастливого полета.
Н. (меняя тон). Слушайте, ну что вы какой чудной, ну откройте. Мне же пора. Что вы из себя дурака строите? Вы же не дурак. Вы человек образованный, артист, Ленина изображаете. (Срывается.) Открой, тебе говорят, а то я кричать буду. (Кричит.) А-а!
О. (смеется). Голосок есть. Ну-ну, давай еще!
Н. А-а! Насилуют!
О. (смеется). Еще громче. Ну покричишь. Ну придет кто-нибудь. Допустим, даже участковый. А я ему брачное свидетельство в зубы. Какое насилие? Смешно даже.
Н. (успокаивается). О'кей. Дайте выпить.
О. С удовольствием. Тут как раз на две рюмки осталось. За что пьем?
Н. Чтоб ты сдох.
О. Некрасиво.
Н. У вас бумага и ручка есть?
О. А зачем?
Н. Заявление писать буду.
О. Не понял. Это какое же заявление? В милицию?
Н. Зачем в милицию? В партком.
О. В партком?
Н. А что? Имею право. Прошу принять меры против мужа моего Отсебякина, который фиктивно женился, чтобы сбежать в Англию и разрушить крепкую советскую семью.

О. Да что вы говорите? Фиктивно женился и крепкая семья. Это же просто чушь.

Н. Вот вы там, в парткоме, и скажите, что чушь.

О. Ну уж это шантаж. Тщательный шантаж. Хорошо. Я не против. Мне эта Ангола и не нужна. Чего мне там делать? Чтоб мне там голову отрезали? От заграницы отказываюсь и завтра же подаю на развод.

Н. О'кей, я согласна.

О. Ну и хорошо.

Н. Хорошо.

О. И я говорю: хорошо.

Н. И я говорю: хорошо. (Помолчав.) А квартиру как, на две комнаты в коммуналке поделим или вы как благородный человек полностью уступите брошеной жене?

О. Какая квартира? Это моя квартира!

Н. Нет, Оторвакин, это наша квартира.

О. Надо же, какая наглость! Фиктивно вышла замуж и уже в первый день... Аферистка!

Н. И я же аферистка. Он женился фиктивно, чтобы сбежать, а я аферистка. Да я на тебя не только в партком, я на тебя в органы напишу, я иностранным корреспондентам заявление сделаю.

О. (задыхаясь). На меня... в органы?.. Иностра...а...а...а...

Н. Вот тебе и а!

О. А...а... (Валится на кровать).

Н. (оторопев, смотрит на Отсебякина). Эй, вы чего это? Вы опять, что ли, Ленина изображаете? В Мавзолее? Слышишь, Отсебякин, ты это не надо. Не надо меня пугать. Я мертвяков с детства боюсь. А насчет органов, так это ж я пошутила. Ты ж меня запер, а мне чего делать? Меня Витька ждет. А органы эти, да ну их... Я их сама боюсь. Вставай, Отсебякин, не придуривайся. Чего ты так разволновался? Что мне, квартира твоя нужна? Холодильник или телевизор — допустим. Ну даже если он и цветной, чего я по нему не видала? Хлеборобов Кубани, что ли, не видела? Слышишь, Отсебякин, я тебе серьезно говорю, ты вставай, ты меня не пугай. Ты пошутил, я пошутила, а помирать незачем. Ты еще молодой, хотя и лысый. И тебе надо после себя еще хотя б одного Отсебякина оставить. А насчет Витьки, так что ж... У нас с ним фактически ничего и нет. Он же пьянь пропащая. Уже вообще ничего, кроме бутылки, не видит. Руки дрожат, ноги дрожат, про остальное и говорить нечего. Слышишь, что ли, эй! Молчит. Видать, помер. Надо же! Только что был живой, а теперь мертвый. Дурак какой! Сам все затеял, и сам же помер. Где ж у него телефон? (Набирает номер.) «Скорая»? Очень срочно. Как что случилось? Человек помер! Как это вы к мертвым не ездите? Может, его еще откачать можно. И вообще я мертвяков от живых не отличаю. Сердце работает ли? О'кей, я послушаю, держитесь у телефона. Вы слышите? Чего-то вроде чикает. А может, это часы чикают на руке. Откуда я знаю? Я не медик и не часовщик. Сколько лет? Да не старый еще. Лысый, правда, как Ленин, но еще в силе. Гири таскает. Да нет, сейчас не таскает, сейчас лежит. Отчебукин фамилия... то есть этот... Отчебякин... Отсебякин точнее. Какой адрес? А откуда я знаю? Знаю только, что в Беляево, а улицу и номер дома я не посмотрела. Держитесь у телефона, сейчас я в брачное загляну, там должно быть записано. Где ж у него брачное? В кармане, должно быть... (Лезет к Отсебякину в карман.)

О. (очнулся). А? Что? Где я? Кто это?

Н. Это я. Надя.

О. Откуда Надя? Какая Надя?

Н. Жена ваша.

О. А зачем по карманам лазить?

Н. Да ты, Отсебякин, не волнуйся, я только адрес хотела посмотреть, я думала, что ты мертвый. А если ты живой, то адрес и ни к чему. Может, тебе что-нибудь нужно, ты скажи, я все сделаю.

О. (слабым голосом). Пить хочу.

Н. Пить? Сейчас. Минуточку. Ой, про «скорую»-то забыла. «Скорая», он пить хочет. Да кто хулиганит? Человек пить хочет, а при чем же тут хулиганство? (Бросает трубку.) Дураки какие-то, честное слово. Уже и попить человеку нельзя. Мало того что жрать нечего, так и пить нельзя. (Приносит воду.) Пей, Отсебякин, пей от пуза, вода не курица, она еще пока не дефицит. Ох, как ты меня напугал. Ты что же, сердечник? Так тебе надо не гири, а валидол с собою таскать. У меня Витька тоже сердечник, так у него валидол всегда при себе. Водку пьет, валидолом закусывает. И чего-то там у него расширяется. Тебе еще чего нужно?

О. Нет, спасибо. Мне уже лучше. Я вам за вашу заботу тщательно благодарен.

Н. Ой, что вы! Не за что. Спасибо, что живой остался. А то я мертвяков до ужаса боюсь. А то б еще следствие было. Как умер да почему? А я следователей боюсь еще больше, чем мертвяков. Я когда еще в торговой сети работала, сама чуть под следствие не попала. Потому и ушла. (Пауза.) Ну ладно, пожалуй, пойду.

О. Куда?

Н. К Витьке пойду, куда ж еще?

О. Не надо к Витьке.

Н. А куда ж мне? Домой? Там тоже весело. Мать, брат, жена брата, племянники, Рыжик...

О. И домой не надо.

Н. Слушай, Отсебякин, у тебя, может, не только с сердцем, у тебя и с головой не в порядке. К Витьке не надо, домой не надо. А куда надо? На улицу, на вокзал, куда?

О. Никуда. Здесь оставайся, живи.

Н. Ой, что это вы такое говорите? Как это я буду здесь жить? Я же здесь не прописана и вообще никто, и вы холостой человек... то есть я имею в виду, не фиктивно, а фактически. Может, кого привести захотите, чего ж я вам буду мешать?

О. Почему я буду кого-то приводить? Что же я... за кого же вы меня принимаете?.. Что же я, понимаете, легкого поведения? Я человек солидный, женатый...

Н. Вы женатый? Ах, да... (Смеется.) Вы имеете в виду это... Вы имеете в виду, что... Так это ж просто так... Это просто фиктивно. На бумаге. И вообще мы даже, можно сказать, не знакомы.

О. Это ничего. Поживем, познакомимся.

Н. О'кей. Я вообще-то не против. Вы мне вообще-то нравитесь. Смешной, лысенький и Ленина здорово представляете. Только юмора не понимаете. Идейный слишком.

О. Да по правде сказать, никакой я не идейный, я их просто боюсь.

Н. Кого?

О. Властей. Местных. Ну и всяких других тоже. Они дедушку моего расстреляли. А дедушка у меня был хороший. Он тоже пошутить любил. И дошутился. Сейчас, конечно, гуманизма стало побольше, а все-таки страшно. (Помолчав.) Оставайся, Надежда. Может, чего и получится.

Н. Вообще-то могу и остаться. Я женщина современная, меня долго уговаривать не надо. Но все-таки, чтобы жениться не фиктивно, а фактически, надо же как-то полюбить друг друга, чувство свое проверить.

О. (очень волнуясь). Полюбить, проверить... Мы с Нинелькой двенадцать лет проверяли. А друг мой, Семен, Варвару свою пьяный приволок с танцплощадки. Утром не мог вспомнить, как ее звать. А вот уже двадцать два года живут, дочка в институт поступила, а сын ПТУ кончает. Вот тебе и любовь, вот тебе и проверка. Оставайся.

Н. О'кей. Допустим. Я говорю: не о'кей, а допустим. Вы человек как будто неплохой. Я тоже вроде добрая и... готовлю хорошо. (Смутившись.) Витька так говорит. Ну... в общем, можно попробовать. Если, конечно, вы просите.

О. (взволнованно). Прошу и тщательно умоляю.

Н. О'кэй. Я... (Плачет.) я... остаюсь.

О. Наденька, Надюша, что же ты плачешь?

Н. Мне... (Плачет.) Ви...

О. (недоуменно). Тебе? Ви?

Н. Ви... Ви...

О. Виви?

Н. Ви... Витьку жалко.

Конец

Давид САМОЙЛОВ

Канделябры

ПОЭМА

Эти черные поэты
Собираются на даче,
На той даче избяной,
И сидят к стене спиной.
В рощах осень
Листья носит,
Вьются тучи над землей.
Рано начало смеркаться.
Замутился белый свет.
А хозяин здесь не робкий,
С рыжей остренькой бородкой.
А хозяйка городская,
Как царь-лебедь колдовская,
Улыбается поэтам.
А они сидят. Молчат.
— И чего сидеть всухую? —
Говорит один поэт.
И хозяйка городская
В рюмках водку подает,
Взором каждого лаская,
Всех улыбкой обдает.
После рюмочки Горбатый
Молвит странные слова:
— Заенделилась енделя,
Заендилась ендова!
Покачали головами:
Может, так оно и есть.
А хозяин взликовался
И гостей зовет поесть.
Вновь хозяйка городская
В рюмках водку подает.
За тесовый стол зовет.
Сели тесно. И молчат.
Тут один поэт приманно
Говорит другим гостям:
— Надо б... это... атамана...
И того... по волостям...
— Ишь ты как, — сказали гости, —
Надо выбрать атамана,
А потом — по волостям!
— Нет, — темнит остробородый, —
Надо выше забирать!
Покачали головами.
В даче сделалось темно.
И хозяйка городская
В канделябрах зажигает
Шесть затейливых свечей.
Все-то есть у москвичей!
— Ишь ты как темнеет рано...
— Осень — света негде брать...
Снова выпили по рюмке.
От хмельного похрабрели:
— Надо выбрать атамана!..
— Нет, повыше забирать!..
По стенам лихие тени
Заплясали от свечей.
В головах пошло смятенье
От неслыханных речей.
А Надежда Николавна
Ходит, будь она неладна,
Подает еду поэтам,
Улыбается при этом.
Как тут сердцу не взыграть!
— Надо выше забирать!
Там один поэт был Федя
И другой поэт — Илья,
Закадычные друзья.
Пошептались меж собою:
— Как же так — по волостям?
Ну а если это дело
Не понравится властям?
Вышли, словно покурить,
Дверь толкнули и — фьюить!
Сокрушается хозяин.
А поэты утешают:
— Пусть плутают в темноте.
Кто-то вслух соображает:
— Ну а если донесут,
Неужели нас на суд?
— А за что, — вскричал Горбатый, —
Мы-то разве супротив?
Мы-то разве виноваты,
Что ендится ендова!
— Если суд, нам горя мало,
Свалим все на атамана,
Отвечает пусть-ка сам,
Ну а мы — по волостям...
— Гей! — хозяин подбивает, —
Выходите, братцы, в круг!
Все захлопали в ладоши,
Но никто не вышел в круг.

Там один был молодец
По фамильи Горобец.
Начал часто черт являться
Валентину Горобцу,
Соблазнял он Валентина,
Перед ним жевал мацу.
— Это он попутал Федю,
Это он смутил Илью!..
А Надежда Николавна
К Горобцу подходит близко:
— Разрешите, я налью.
— Он! — взвился острбородый. —
Он на нас готовит рать.
Чтобы справиться с нечистым,
Надо выше забирать!..
А Надежда Николавна
Валентину Горобцу
Предлагает холодцу.
Заенделилась енделя,
Заендилась ендова.
От красавицы и хмеля
Замутилась голова.
— Эх, мели, мели, Емеля!
Встрепенулся Горобец:
— Впрямь сюда бы Емельяна,
Укорот бы дал чертям!
Вот кого за атамана,
Вот бы с кем по волостям!
В головах совсем мутится
От неслыханных речей.
— Это верно... Это воля...
Ну а как насчет харчей?..
— Да, харчей на всех не хватит,
Кое-кто и не ухватит...
— Емельян-то, значит, тоже
Умышлялся на харчи?
— Ну а что же — не в холопы,
В ковачи да в копачи —
В государи шел Емеля,
Чтобы выше забирать,
Чтобы все поотбирать!..
Заенделилась енделя —
Решетом не посбирать!
— Он-то метил в государи,
А ему понюхать дали.
Вот и выше забирай —
Не попасть бы к Богу в рай!
— Нет, теперь дела иные, —
Усмехается хозяин, —
Можно выше забирать...
А они уже хмельные
Песни вздумали играть.
В рощах осень листья носит,
Над землею тучи мчатся,
Замутился белый свет.
— Не пора ли покачаться? —
Говорит один поэт.
Сразу сдвинулись теснее,
Руки на́ плечи друг другу.
А хозяин взял гитару.
И под музыку гитары
Закачались молодцы.
Закачались, закачались,
Закачались, закача...
«Пожалей, душа-зазноба,
Молодецкого плеча...»
С ними свечи закачались,
Словно сделались хмельны.
Мрак за окнами безбрежен,
А они поют, качаясь:
«Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны...»
Вдруг раздался тихий стук.
— Это он! — вскочил, бледнея,
Непугливый Горобец.
Всё замолкло на минуту.
Но вошел сосед Заикин:
— Я сегодня одинок,
Забежал на огонек.
— Га! — вскричал острбородый. —
Выпей с нами, хоть не наш!
С нами вместе покачайся,
Но гляди, коли продашь!
— Я всегда готов качаться...
Ах, Надежда Никола...
И Заикину хозяйка
Рюмку водки подала.
Вот он рюмку выпивает,
Вот садится к Горбуну,
Горб рукою обнимает.
И опять поют, качаясь:
«И за борт ее бросает
В набежавшую волну!»
За окном густым туманом
Ночь ползет с лесных полян.
— Га! — кричит острбородый. —
Так и надо бусурманам!
В воду! В воду бусурман!
А Надежда Николавна
Все поближе к Горобцу,
Ее кудри своенравно
Льнут к суровому лицу.
«Если б мне такая краля,
То не надо помирать!
Можно выше забирать, —
Про себя Горбатый мыслит, —
Там неважно, что горбат!..»
И опять острбородый:
— Надо строже со свободой!
Персияны-бусурманы
Тоже воли захотят,
Чтоб их наши атаманы
Не топили, как котят!
Все захлопали в ладоши.
Наконец распался круг.
И с хозяином веселым
Снова чокнулся Заикин,
Снова выпили.
Но вдруг —
Клубы дыма повалили,
Гарью горькою запахло
И донесся странный гуд.
От стола вскочил Горбатый
И в переднюю вбежал.
Там — огонь. «Пожар! Пожар!»
За Горбатым следом — пламя.
Раму вышиб Горобец
И, схватив в охапку шапку,

Первый выскочил наружу.
Суматоха, суета.
Бег, и крик, и суматоха.
Все покинули места
И в пылу переполоха
Сбились около окна.
  Лишь Надежда Николавна
В пламя бросилась одна.
  Но Горбун ее хватает,
Как персидскую княжну,
И в окно ее бросает.
Слава, слава Горбуну!
  Словио сразу рассветало,
Мрак окружный развело.
Дача грозно полыхает,
Погибает барахло —
Зря из ведер поливают.
Ну и знатный же костер!
  А над домом языки,
И павлины, и султаны,
Гривы, пряди и хвосты.
Озаряются поляны,
Освещаются кусты.
С воем рушатся стропила,
С треском лопнуло стекло.
Вот всю дачу охватило,
Стало страшно и светло.
  Хладный дождь, летящий в пламя,
Превращается в пары.
Дым сплетается с парами
В блеске дьявольской игры.
Птицы сонные взлетают,
И вслепую на огонь
В жженых перьях упадают,
И, крича, изнемогают.
  Потрясенные поэты
Сбились в кучу и глядят.
Лишь Горбун, измазан в саже,
На нечистого похож,
Вкруг пожара пляшет в раже,
Закусив зубами нож.
— То-то лихо, то-то славно!
Эх, Надежда Николавна,
Ничего уж не спасешь!..
  Горобец губами шепчет:
— Это он, проклятый бес!
Убивается хозяин.
А Заикин вдруг исчез.
Пламя, пламя удалое
Освещает дикий лес...
  Как приехала команда
Из соседнего села,
Ничего уже не надо,
Дом успел сгореть дотла.
Лишь хозяйка городская
Канделябры упасла.
А Горбун унес бутылку
Да и выпил из горла́.
. . . .

Жалко, жалко, чада Божьи,
Вас, бредущих по земле,
Средь глухого бездорожья
В предрассветной полумгле.
Жалко вас, лесные птицы,
Залетевшие в огонь.
Жалко всех, кому приснится
Наша вечная юдоль.
  Надо плакать и молиться!..

Май 1978

Публикация Г. МЕДВЕДЕВОЙ

Наталия ИЛЬИНА

Печальные страницы

Ахматова. Чуковский. Твардовский.

На мою долю выпало счастье знать этих людей, знать не издали, и мне казалось, что я должна рассказать о них все, что смогу.

Их, таких разных, объединяла общая черта: страстное отношение к слову, к литературе. И, разумеется, такое явление, как Солженицын, мимо них пройти не могло.

Твардовского я встречала в редакции «Нового мира», а с 1964 года получила счастливую возможность видеться и говорить с ним в обстановке неофициальной, в дачном поселке Красная Пахра. Время от времени я записывала слова Александра Трифоновича. Часть этих записей опубликовала в статье «Мои продолжительные уроки» («Огонек», 1988, № 17). Но в сборниках воспоминаний о Твардовском участия не принимала.

В семидесятые годы Солженицына в нашей печати либо следовало называть «предателем», «изменником» и «литературным власовцем», либо не упоминать его имени вообще. Писать о последних годах жизни Твардовского — а именно тогда я виделась и говорила с ним — не говоря о том, какую роль в его судьбе сыграл Солженицын, мне казалось невозможным. Да и материала на такие воспоминания у меня не хватило бы. Мое знакомство с Ахматовой и Чуковским, более близкое и длительное, позволяло мне рассказать о них, не затрагивая их отношений с Солженицыным. Поначалу-то его имя в моих воспоминаниях присутствовало, но прежде чем сунуться с этими сочинениями в легальную печать, я вычеркнула все строки, касающиеся Солженицына...

Девятого января 1974 года из Союза писателей исключают Лидию Корнеевну Чуковскую. Повод: статья «Гнев народа» в защиту академика Сахарова. Попадает под запрет ее имя. Не было у Чуковского дочери Лиды. Не было у Ахматовой друга Лидии Корнеевны...

Я вновь возвращаюсь к своим воспоминаниям — они еще не покинули моего дома, еще не пошли гулять по редакциям журналов, читаны пока только друзьями. Теперь, если я хочу мной написанное опубликовать (а я хочу!), мне следует убрать еще одно имя. Убираю. Свой рассказ о первом посещении Переделкина начинаю так: «Путь от станции к дому был мне подробно описан». Кем? Неизвестно. «Летом я ездила в Переделкино навещать родных Корнея Ивановича». Каких родных? Неизвестно. В своих записках об Анне Ахматовой, опубликованных за границей, Л. К. Чуковская говорит и о том, как они вместе с Анной Андреевной бывали у меня. Я же о посещениях Лидии Корнеевны не произношу ни звука.

Каждый печатающийся советский литератор — в той или иной степени соучастник «общей лжи и общего молчания» *.

Была этим соучастником и я. Занималась арифметическими вычислениями, знакомыми многим моим коллегам: об этом умолчу (а что поделаешь!), но ЗАТО расскажу о том!

Однако и в урезанном виде мой рассказ о Чуковском был отвергнут двумя журналами, а рассказ об Ахматовой — тремя.

Тем, что эти воспоминания все же увидели свет, я обязана А. А. Ананьеву, главному редактору журнала «Октябрь». В шестидесятые годы я и доро-

* Л. К. Чуковская. Процесс исключения. ИМКА — Пресс. Париж. 1979.

ги в этот журнал не знала. Но в семидесятые положение изменилось. Не тот стал «Новый мир» после вынужденного ухода Твардовского. Не тот стал «Октябрь» после смерти Кочетова.

Летом 1976 года «Октябрь» опубликовал мой рассказ «Корней Иванович». Моей собственной цензуры оказалось достаточно, редакция ни во что, помнится, не вмешивалась, текст был опубликован без изменений. Это было мое первое выступление в жанре, который я позже, в нем освоившись, решусь назвать «автобиографической прозой». С главным редактором и сотрудниками отношения сложились самые добрые, и вот я уже несу в «Октябрь» отвергнутое другими журналами сочинение, тогда озаглавленное так: «Анна Ахматова в последние годы ее жизни». И это сочинение принимают.

Но тут начинаются сложности. Ибо: «Семидесятые годы — уже почти сплошь эпоха неупоминаний»*. Темы ссылок, тюрем, лагерей — касаться запрещено. Ничего этого у нас не было. А ведь я познакомилась с Ахматовой в августе 1954 года, когда ее сын был на каторге. Зная правила игры, я об этом не произнесла ни звука. Однако рассказала о майском вечере 1956 года, о застолье у Ардовых: праздновали возвращение Льва Николаевича,— в тот вечер я впервые его увидела. Сценка занимала всего полстраницы, но к ней сразу же приковалось внимание редакции. Потребовали у меня немного, самую мелочь,— убрать коротенькое словцо «уже». «Я застала Льва Николаевича УЖЕ чисто выбритым...» Я не поняла, чего они опасаются, попросила времени для размышлений, а поразмыслив, сообразила: это чтобы читатель не понял, ОТКУДА вернулся Л. Н. Гумилев. И мне показалось, что с исчезновением «уже» сценка примет характер идиллический, а значит — лживый, и предпочла убрать ее вообще. Спустя три года в мою книгу «Судьбы» я включила эту сценку вместе с крамольным словцом «уже». А вскоре один из моих читателей гневно упрекнул меня в письме: «Почему вы не вписали, что Гумилев вернулся из лагеря? Читая вас, можно подумать, что он с курорта приехал!» Догадался наш вдумчивый читатель, ОТКУДА вернулся Лев Николаевич! Выходит, права была редакция, убирая словцо «уже». Это невинное на первый взгляд словечко наводило на размышления...

Было мне также предложено выкинуть два слова из стихотворения Ахматовой:

Почти не может быть, ведь ты была всегда:
В тени блаженных лип, в блокаде и в больнице,
В тюремной камере и там, где злые птицы,
И травы пышные, и страшная вода.

Меня попросили обойтись без тюремной камеры. Потому что тюремных камер у нас не было. Я пыталась оказать сопротивление. Потрясала ахматовским сборником: вот глядите, эти стихи там были опубликованы, были, были, были! Поглядели, но остались непреклонны. Пусть в сборнике стихи появились, это на совести издательства, а редакция не желает нести ответственности за упоминание тюремных камер. Их у нас не было, не было, не было. «А блокады у нас тоже, быть может, не было?» — мрачно осведомилась я, пытаясь этим язвительным вопросом сохранить свое достоинство, все равно уже потерянное, ибо я знала: на уступки пойду и «камеру» уберу—ах, как мне хотелось увидеть свое сочинение в печати! Убрать пришлось, конечно, не только «камеру»: из ахматовской строфы уцелела лишь первая строчка... Едва я успела это пережить, как в редакции накинулись на сценку в морге больницы имени Склифосовского, где москвичи прощались с Ахматовой. Траурный митинг на дворе морга. Дождь. То и дело во двор въезжают грузовики, разбрызгивая лужи и гудя в спины собравшимся. Уж очень это как-то... Это и в самом деле звучало «очень как-то...» Просили смягчить. Смягчила. Рассказ о траурном митинге убрала. Пусть вдумчивый читатель сам догадывается...

Я ни в чем не упрекаю редакцию журнала «Октябрь». Я до сегодня чувствую признательность к А. А. Ананьеву и его заместителю, ныне покойному, В. Н. Жукову. Никто не желал печатать моих сочинений об Ахматовой и Чуковском, а «Октябрь» пожелал — и напечатал!

А что до умолчаний и компромиссов, то все мы жили в те времена с удавкой на шее. Причем автору было проще: он не был прикован к журналу, ответственности за него не нес. Не поладив с редакцией, автор, человек свободный, мог уйти домой, сесть за стол и писать для потомков. Либо, забросив чепец за мельницу (как выражались в старину), публиковать свои сочинения в самиздате, а то и в тамиздате. А за легальную печать, за доступ к широким читательским массам соотечественников свободному автору следовало платить соучастием в общей лжи и в общем молчании. Я и платила. И знала, на что иду. И винить тут мне некого.

* «Процесс исключения».

Позже в свои книги «Судьбы», а затем «Дороги и судьбы» я вставляла кое-что из вычеркнутого в журнальных публикациях и радовалась: проскочило! А чему было так уж радоваться? Ну, вернулась «тюремная камера» в ахматовское стихотворение, уже много раз к этому времени опубликованное. Ну, восстановлено застолье у Ардовых в честь возвращения Льва Николаевича, сценка, несмотря на словцо «уже»,— уклончивая: ведь о том, ЧЕМ была вызвана долгая разлука матери и сына,— ни звука. Ну, прочитают наконец соотечественники о траурном митинге на дворе морга. Но это было поначалу написано у меня гораздо жестче, и опять-таки ни звука о том, ПОЧЕМУ москвичи были вынуждены прощаться с Ахматовой в морге... Но я все равно радовалась и благодарила Бога за то, что это — пусть смягченное, недоговоренное, подгримированное — попало в печать. Это было то самое «что-нибудь», которое лучше, чем «ничего». И это «что-нибудь», не нарушая закона, не вздрагивая от неожиданного звонка в дверь, сидя в кресле у себя дома, спокойно и неторопливо прочитает мой сообразительный, натренированный на чтение между строк соотечественник.

Середина восьмидесятых. Издательство «Советская Россия» выражает желание переиздать «Дороги и судьбы», и я готовлю книгу к печати. Дожили. Слава тебе, Господи, дожили: уже можно говорить о тюрьмах, лагерях и ссылках. Я вставляю в главу об Ахматовой страницы, касающиеся судьбы ее сына. А в главы о моей семье вписываю то, о чем в предыдущих изданиях лишь отдаленно намекала: в Ленинграде тридцать седьмого года арестован мой дядя, и до сегодня неизвестно, когда он погиб и где. В том же году в астраханской тюрьме кончает самоубийством мой двоюродный брат. Об этом — можно. Можно и о том — ах, как мы становимся свободны! — какие бытовые трудности переживала страна в двадцатые и тридцатые годы, и я, цитируя письма бабушки, вставляю в них куски, прежде выброшенные иногда редактором, а иногда и мною самой. «Нет стекол, замазки, гвоздей, люди годами живут с разбитыми окнами»,— писала бабушка. «Не пройдет!» — говорил редактор. И я соглашалась: не пройдет. «Десять тысяч человек принимает наша булочная, все получившие новые карточки кинулись вчера прикрепляться, образовав мятущуюся толпу, настроенную весьма злобно». «Убираем!» — говорил редактор. «Гром победы насчет снижения цен — не оправдывается...» «Да вы что?» — усмехался редактор и вычеркивал. А еще бабушка писала о том, как часто стали воровать, причем крадут не только жулики, но и люди, казалось бы, вполне порядочные... Но эти строки я редактору и не показывала, сама вычеркнула, понимала: нельзя такое писать о советском человеке!

Переиздание книги «Дороги и судьбы» вышло в 1988 году. Но в то время, когда я готовила книгу к печати, до Солженицына очередь не дошла: его уже не клеймили, но о нем еще молчали... Молчала и я, не включив в переиздание записи моих разговоров о Солженицыне с Ахматовой и Твардовским.

В. В. Непомнящий, рассказывая о своих встречах с Чуковским, вспоминает слова Корнея Ивановича, говорившего, что «в драматическую историю русской литературы входят и обстоятельства смерти и похорон многих писателей, составляя подчас ее особые и многозначительные страницы»*.

В драматическую историю нашей литературы вошли обстоятельства смерти и похорон не только Пастернака, но также Ахматовой, Чуковского, Твардовского.

В августе 1962 года я была по делам в Ленинграде и навестила Ахматову в Комарове, в том дачном домике, который Анна Андреевна, как теперь всем известно, окрестила «будкой».

После обеда на веранде Анна Андреевна удалилась к себе отдохнуть, но, едва закрыв за собою дверь (это была единственная комната с дверью), вновь

* «Воспоминания о Корнее Чуковском». Москва, «Советский писатель», 1977

ее открыла, вновь появилась на веранде и положила передо мною на стол папку с завязанными тесемками. Сказала своим медленным голосом, отчеканив каждое слово: «ЭТО НАДО ЧИТАТЬ». И вновь удалилась.

Я развязала тесемки, откинула обложку. Машинопись. На титульном листе имя автора: А. Рязанский. Ниже — заголовок произведения, заголовок чрезвычайно странный: «Щ-854». И вот — первая страница:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота было долго звонить».

Я читала медленно, к некоторым абзацам возвращалась, перечитывала их вновь, никогда ничего подобного читать не приходилось, поражало и то, О ЧЕМ написано, и то, КАК написано...

И вот, отдохнув, Ахматова вышла на веранду, предложила пройтись, и мы отправились, и я все думала, что ей сказать по поводу прочитанного,— говорить о ТАКОМ банальные слова, вроде «Как интересно!», язык не поворачивался. Но Анна Андреевна не спрашивала меня ни о чем. Понимала, что я не могла успеть дочитать рукопись, понимала и то, что я растеряна и не могу найти слов. Ничего не спросила. И я, в свою очередь, не спросила, кто этот неведомый автор, и тем более не поинтересовалась, откуда у нее эта рукопись. Такие вопросы задавать у нас не принято.

Об этой повести мы говорили спустя три месяца, когда она под названием «Один день Ивана Денисовича» появилась в номере 11 «Нового мира» под настоящим именем автора: А. Солженицын.

Через какое-то время Анна Андреевна упомянула, что к ней заходил Солженицын. Я встрепенулась:

— Так вы видели его? Говорили с ним? Какой он?

Она ответила одним-единственным словом:

— Светоносец.

От нее же, тогда ли, позже ли, я услышала, что она сказала ему: «Вы многое вынесли. Вынесете ли вы славу?»

Среди читателей «Ивана Денисовича» находились такие, кто упрекал автора в «плохом языке». Не раздражения, которое я ощущала, с ними споря, заслуживали эти люди, а — жалости. Их годами воспитывали на казенно-выхолощенном языке советской печати, а также на литературе «соцреализма», этим обездоливая их, заставив утратить представление о возможностях русского языка, о его великом богатстве, о его многоцветье. Годы спустя я прочитаю в одной из статей Ю. Карякина восклицание: «И язык раскулачили!» — и подумаю, что слова эти точно выразили мои тогдашние мысли... Этими мыслями мне тогда пришло в голову поделиться с Анной Андреевной. Я собиралась произнести маленькую речь на тему о том, что тех, кто ругает Солженицына за «плохой язык», можно понять, а поняв, и простить, как говорят французы, но этой речи произнести мне не дали. Едва я упомянула о «плохом языке», как меня тут же гневно перебили:

— Что? Что?

— Есть люди, которые...— уже несколько сникнув, пыталась продолжать я.— И их даже можно понять, потому что...

Тут меня вновь перебили, вновь грозно спросив:

— Что? Что такое?..

Анна Андреевна так взволновалась, так раздувала ноздри, что я была не рада, что этот разговор затеяла. Нет. Она не желала понимать этих людей и прощать их не желала.

В последних числах февраля 1966 г. мы с А. А. Реформатским уехали в Малеевку, в писательский Дом творчества неподалеку от Рузы. Там вечером пятого марта писатели из передачи Би-Би-Си узнали о кончине Анны Ахматовой. Я навещала ее в Боткинской незадолго до отъезда, она сидела в кресле, она казалась выздоравливающей. Из Малеевки я звонила в Москву и знала, что в первых числах марта Ахматова выписалась из больницы и вместе с Н. А. Ольшевской уехала в санаторий в Домодедове. Там и скончалась.

Нет, не отечественная радиостанция, а английская Би-Би-Си уведомила нас о нашем горе. А газеты — что? А «Литературка» — как? Я бы могла сейчас пойти в читальню и полистать газеты того года и тех чисел, но не считаю нужным тратить на это время. Ибо главное помню: ни один печатный орган

не сообщил, ГДЕ москвичи смогут проститься с Ахматовой. Церковная панихида будет в Ленинграде, похоронят в Комарове, ну а нам-то, здешним, куда идти, чтобы поклониться ее праху? Неизвестно. Шестого утром я звонила друзьям в Москву, восьмого получила телеграмму. Выяснилось: гражданская панихида состоится в морге больницы имени Склифосовского. Прощание предполагалось поспешное, на него выделялся один час: с девяти до десяти утра. Что понятно: ведь не только гроб Ахматовой стоит в этом помещении, там в каждой комнате по гробу, и постоянно прибывают грузовики, привозящие новых усопших. Печати об этом сообщать было, видимо, неловко. А кроме того, боялись большого скопления народа в тесноте морга. И вот — промолчали. Но, разумеется, все, кто хотел узнать, узнал, и скопление народа было...

Спрашивается: неужели нельзя было, не позорясь на весь мир с прощанием в морге, привезти тело Ахматовой в Центральный Дом литераторов? Нельзя. До сих пор не знаю, чего именно опасались наши секретари во главе с Фединым, Марковым и Воронковым. Кто-то говорил, что они не пожелали омрачать светлый праздник, Международный женский день, падающий на 8 марта. С моей точки зрения, нет более лицемерного праздника (для наших широт, во всяком случае!), чем этот. «Все выносящего русского племени многострадальная мать!» — писал Некрасов. После революции и всех этих красивых слов о равноправии — многострадальной матери легче не стало. И поздравления, ею выслушиваемые, и цветы (мимозы главным образом — по сезону), и славословия на праздничных заседаниях — все это мне кажется не чем иным, как лестью, как стремлением отвлечь внимание женской половины населения от ее тяжкой доли. Таково мое личное мнение, и я никому его не навязываю. Некоторым — нравится. Их дело.

И, значит, накануне в ЦДЛ был праздничный вечер, после него надо было еще убираться, и вообще это как-то не вязалось: сегодня день праздничный, завтра — траурный, хорошо бы оставить гроб с телом Ахматовой там, куда его привезли из Домодедова,— в морге. Оставили. Умыли руки.

Девятого марта был серенький день, с сеткой мелкого, упорного дождя. На дворе морга теснились люди, много знакомых лиц.

Откуда они все узнали, КУДА надо было прийти, ведь официальных сообщений не было, наш главный источник информации, Би-Би-Си, вряд ли был в курсе дела,— но люди пришли, обзванивали, видимо, друг друга... Против ворот — серое невысокое здание, каменные выщербленные ступени крыльца. Сразу за передней — комната, в ней — гроб. Я шагнула к нему, но стоявшая у гроба Аня Каминская удержала меня: «Здесь не она! Побудьте тут, говорите всем, что это не она!». Я просьбу выполнила. Постояла у чужого гроба, направляя вливавшуюся цепочку людей в соседнюю комнату. Затем попросила кого-то меня сменить.

А там была она. Мертвое лицо ее было суровым, напряженным, и мне показалось, что это выражение я знаю, видела на ее живом лице... Остро пахли цветы, покрывавшие гроб. А люди все шли и шли. Здесь были те, кто любил ее, кто понимал, что с ней ушло. И не тому следовало удивляться, что этих людей так много, а тому, каким образом все они узнали, куда надо было прийти проститься. И еще следовало удивляться порядку. В комнате, где стоял ее гроб, было тесно, но никакой давки: все видели, что задерживаться тут нельзя. Каждый входивший приближался к гробу, целовал ее ледяную руку, ледяной лоб и вновь выходил наружу, давая место другим.

Всему этому, однако, я удивлялась позже. Тогда я не удивлялась ничему. Духота и запах цветов в помещении, сырость, серость, дождь и лужи во дворе, мельканиe лиц знакомых и незнакомых — от всего этого на душе было странно, смутно, и все мне виделось, как она стоит на крыльце своего домика в Комарове (я знала, что похоронят ее на тамошнем кладбище), и в ушах звенели, звенели, не желая уходить, ее стихи, ее слова:

Здесь все меня переживет,
Все, даже ветхие скворешни,
И этот воздух, воздух вешний,
Морской свершивший перелет...

И кажется такой нетрудной,
Белея в чаще изумрудной,
Дорога не скажу куда...

Видимо, эта погруженность в себя помешала мне запомнить тех, кто выступал на траурном митинге. Его можно было провести только на дворе. Мы

стояли среди луж, спиной к воротам, а тот, кто говорил, стоял на крыльце. Когда въезжал очередной похоронный автобус, он гудел нам в спины, мы расступались, а говоривший делал паузу, пережидая гудки и урчание мотора.

Так прощалась Москва с Анной Ахматовой.

Не заезжая домой, я отправилась на Белорусский вокзал и оттуда в Малеевку.

Электричка вырвалась из окрестностей города, за окном пошли мелькать подмосковные пейзажи, уже нет зимы, но нет и весны, хмурость, серость, природа строга, обнажена, готовится к переменам, белые пятна снега, размываемые дождем на черных полях, она все это так любила, она этого больше не увидит. «Многое еще, наверно, хочет быть воспетым голосом моим...» Голос смолк.

И вновь возникла перед глазами эта комната в морге, цветы, нескончаемая цепочка людей, медленно двигавшаяся вокруг гроба, и внезапно мне почудилось, что я разгадала выражение ее мертвого лица. Оно говорило то, что я столько раз слышала от нее при жизни:

«У меня только так и бывает».

Корней Иванович Чуковский скончался 28 октября 1969 года в Кунцевской больнице. Хоронить его должны были 31-го. Похоронная комиссия заседала 30-го. Вечером накануне этого дня Лидия Корнеевна попросила меня к ней зайти. Внук Корнея Ивановича, Дмитрий, должен был как представитель семьи принять участие в заседании комиссии. Лидия Корнеевна хотела, чтобы я отправилась на заседание вместе с Митей и передала комиссии желание семьи. Следовало удержать некоторых лиц от произнесения речей над гробом Чуковского. Мне был дан список этих лиц.

И тут я вспомнила, как однажды на Пахре я услышала от Твардовского, вернувшегося с похорон Михаила Светлова, такие слова: «Страшно умирать! Лежишь, а гроб твой обступят те, кто при жизни дохнуть тебе не давал, и они тут главные, они распоряжаются, да еще выступать будут! Умрешь, а они заберут тебя себе!».

От этого Лидия Корнеевна и хотела защитить своего покойного отца.

Комиссия заседала в кабинете В. Н. Ильина, секретаря Московской писательской организации по оргвопросам. Нас с Митей допустили не сразу, велели подождать в коридорчике. Затем пригласили войти.

К тому времени я знала Корнея Ивановича пятнадцать лет, но особенно сблизилась с ним в последние месяцы его жизни. Я забывала о его возрасте, и мне казалось, что его драгоценному обществу я смогу радоваться еще долго. В 87 лет у него было здоровое сердце и никакого намека на склероз, он мог бы жить еще и жил бы, если б не внезапная болезнь—инфекционная желтуха. В двадцатых числах октября я уже знала, что надежды — никакой, и все же кончина его потрясла меня, и, быть может, поэтому я жила в те дни в каком-то тумане, и испарились из моей памяти лица членов похоронной комиссии. Лишь В. Н. Ильина и С. В. Михалкова помню. Наше с Митей присутствие длилось недолго. Я прочитала фамилии тех, кого просили воздержаться от выступлений,— уверена, что некоторые из них сидели тут же,— Митя подтвердил: да, таково желание семьи, а затем...

А затем, насколько я помню, ничего и не было. Выслушали, помолчали и попросили нас удалиться. Мы удалились, а они, видимо, там еще посидели, посовещались.

В тот же вечер ко мне домой позвонил В. Н. Ильин. Сказал: просьбу семьи мы выполним, но и у нас к семье просьба. Очень нежелательно, чтобы на похоронах присутствовал один персонаж.

— Вы меня поняли?

— Да, да,— правдиво ответила я, ибо сразу поняла, что речь идет о Солженицыне.

— Семье нашу просьбу передадите?

— Да, да,— лживо ответила я, ибо сразу же решила ничего не передавать.

...Корней Иванович был одним из первых, прочитавших по просьбе Твардовского рукопись «Ивана Денисовича», и назвал эту повесть «литературное чудо». Так же, как и Твардовский, Корней Иванович понимал масштаб солженицынского дара, так же, как и Твардовский, говорил, что появился писатель долгожданный, России необходимый.

Еще в сентябре 1965 года, когда органами Государственной безопасности был захвачен роман Солженицына «В круге первом» и стала распространяться и расти клевета против его автора,— «...в эту пору К. И. Чуковский предложил мне (бесстрашие для этого было нужно) свой кров, что очень помогло мне и ободрило. В Рязани я жить боялся, там можно было взять меня совсем беззвучно и даже беспрепятственно, всегда можно было свалить на произвол, на «ошибку» местных гебистов. На переделкинской даче Чуковского такая «ошибка» исполнителей была невозможна» *.

С каждым годом Солженицына преследовали все более жестоко, клевета против него уже не только просочилась в печать, но заливала ее страницы. В октябрьские дни 1969 года готовилось его исключение из Союза писателей, оно и последовало 4 ноября в Рязани, где голосовали тамошние члены Союза в числе пяти человек, а затем в нарушение Устава, не только без общего собрания, но и в отсутствие Солженицына, исключение было подтверждено в Москве. Велика была ненависть к этому человеку чиновников, и литературных, и нелитературных. И то, что Чуковский не раз в трудные для Солженицына дни предлагал ему убежище, укрывал в своем переделкинском доме, и невозможно было это запретить, в это вмешаться, и оставалось лишь скрипеть зубами в бессильной злобе, обращало часть этой ненависти, этого «державного гнева» против самого Чуковского.

Наступил день его похорон.

В нашем иерархическом обществе иерархия, разумеется, соблюдается и при похоронах. Для рядовых членов СП отводится Малый зал Центрального Дома литераторов. Для тех, кто рангом повыше,—деревянный зал ресторана. Члены секретариата, так называемые «литературные генералы», могут после своей кончины рассчитывать на Большой зал. Однако рассчитывать на то, что в этом просторном зале, кроме родных, друзей и некоторых коллег покойного, будут присутствовать и те, кто с ним не был знаком, но любил и ценил его творчество, на это рассчитывать не приходится. Явиться на похороны людей не заставишь, тут уж похоронная комиссия бессильна. Быть может, наиболее впечатлительным членам комиссии накануне дня похорон снятся страшные сны... На сцене все, как положено: меняется почетный караул, и венки, и цветы, и читаются по бумажкам хорошо обкатанные слова о том, что смерть вырвала из наших рядов,— но в зале-то, в зале всего три-четыре первых ряда заняты, остальные — а их много! — зияют пустотой, и никто не идет, и никто не придет! Выступающие на сцене, уткнувшись в бумажки, читают о вкладе, внесенном покойным в отечественную литературу, и о всенародной к нему любви, но зал пуст, отсутствуют любящие читатели, да и писателей по пальцам можно пересчитать... Был случай, когда мне позвонила одна из секретарш СП и добрым голосом осведомилась: знаю ли я, что завтра будут хоронить такого-то?.. Я знала, конечно, об этом взахлеб сообщили сразу несколько газет, сообщили вовремя, а бывало, когда дело касалось писателей рядовых, троном не обласканных, о месте и времени прощания с ними сообщали тогда, когда похороны уже миновали. Тут речь шла не о рядовом. Всего один роман был на счету у этого, тогда уже вполне пожилого писателя, написанный Бог знает когда, чуть ли не в тридцатые годы, обещанного продолжения романа не последовало, и ничего больше заслуживающего внимания из-под пера этого человека не вышло. Зато заслуживали внимания его общественная деятельность, его членство тут и членство там, его безотказная готовность следовать указаниям сверху: кого приказывали — душил, кого приказывали — ласкал. «Так вы будете завтра?» — спросила секретарша, и в голосе ее прозвучали нотки искательные. Мне хотелось сказать: «Еще чего!» Но я взяла себя в руки и произнесла любезно: «Спасибо за сообщение». А секретарша, думаю, водя пальцем по строчкам писательской телефонной книги, звонила кому-то следующему на букву «И» и вот-вот должна была перейти на букву «К». Она, конечно, выполняла поручение похоронной комиссии, и именно тогда я представила себе, как эта комиссия встревожена, как ей мерещится завтрашний почти пустой зал и как она страдает от невозможности дать приказ всем явиться!..

Начальство, разгневанное поведением Чуковского, однако, понимало: всенародная любовь к нему (не выдуманная, а истинная) такова, что хоронить его придется по первому разряду: Большой зал. Но тут уж у секретариата,

* А. И. Солженицын. Бодался теленок с дубом. ИМКА — Пресс. 1975.

у похоронной комиссии были иные заботы. Не пустого зала следовало опасаться, а переполненного. И скопления автомобилей у входа в ЦДЛ следовало опасаться, и я не удивилась, когда накануне похорон незнакомый голос спросил у меня по телефону номер моей машины. Значит, известно, что завтра на моей обязанности вместе с Митей и его женой было заехать в магазин на Масловке и привезти оттуда заказанные там цветы. Итак, близко к ЦДЛ будут пропускать лишь определенное число машин, остальным автовладельцам придется оставлять свой транспорт на других прилегающих улицах.

Этого я ожидала. Но такого скопления милиции, голосов, называвших в мегафон номера пропускаемых машин, и того, что была перекрыта не только улица Герцена, но и улицы, к ней прилегающие, такого я не ждала, такое видела впервые. Кордон в вестибюле ЦДЛ. В воздухе разлита тревога. Создавалось впечатление боевой готовности. К чему? Я не сразу об этом догадалась.

Убеждена, что военная обстановка на похоронах Чуковского, оскорбительная для всех, любивших его, вписавшая еще одну драматическую страницу в историю нашей многострадальной литературы последних лет, не забыта, кем-то записана, и гораздо подробнее, чем могу сделать сегодня я из-за моего тогдашнего состояния некой заторможенности... Уже шел траурный митинг, и в какой-то момент, оглянувшись, я увидела Шостаковича. Знакома с ним я не была, видывала издали в консерватории и помню, как с первого взгляда меня поразило трагическое выражение, застывшее на его тогда еще молодом лице... Вот он пришел сюда проститься с Корнеем Ивановичем, но почему он (в то время уже тяжело больной) стоит и почему не снял пальто? (Позже я узнала, что тем, кто опоздал, явившись уже во время митинга, верхнюю одежду снимать не разрешали и задерживаться в зале тоже не разрешали.)

А что касается митинга... Открыл его Михалков, сказал что-то выспреннее, дал слово какому-то представителю какого-то министерства с хорошо отработанным набором привычных, дежурных фраз. Говорил Л. Кассиль. Что — не помню. Но помню, что выступление ленинградца А. И. Пантелеева как бы прорвало блокаду официальщины. Выступал Евтушенко, в то утро, как мне кто-то сказал, специально прилетевший из Гагры. Еще помню, что хотела произнести прощальное слово Любовь Кабо, но ее почему-то не допустили... А в комнатке за сценой выдавали нарукавные повязки тем, кто сменялся в почетном карауле, среди них — Твардовский... У гроба бессменно находились члены семьи Корнея Ивановича во главе с Лидией Корнеевной.

Был момент, когда я решила выйти покурить. Открыла недалекую от сцены правую дверь и очутилась на боковой лестнице. Там, не у самой двери, а на ступеньках пониже, стояли два молодых человека в одинаковых темных костюмах. И сразу стало ясно, что не проститься с Чуковским они сюда явились. Они тут дежурят. Им что-то поручено. Что? И только в эту минуту я поняла, чем вызвана необычная обстановка на похоронах,— опасались появления Солженицына. Задержать его силой, что ли, было велено этим молодцам? Позже я узнаю, что в этот день он сидел в Рязани, и были причины, по которым приехать в Москву не смог...

Кончилась траурная церемония. Люди стали высыпать на оцепленную со всех сторон улицу Герцена. Одни расходились, другие, собиравшиеся ехать в Переделкино, либо встали в сторонку, ожидая автобусов, либо шли к своим машинам. Это происходило под звучавшие в мегафон милицейские голоса, руководившие передвижениями. Слышалось: «Машина такого-то, номер такой-то! Можете подъехать к входу!» Мне подъезжать к входу не надо было, я везла в Переделкино четырех дам, вполне ходячих, способных одолеть расстояние от дверей ЦДЛ до автомобиля. Нас беспрепятственно выпустили из оцепленного пространства, и мы помчались. И приехали в Переделкино значительно раньше, чем прибыла туда похоронная процессия.

Эта процессия была громоздка. За похоронным автобусом следовало еще несколько и целый караван автомобилей. Потом мне расскажут, что процессия, въехав в Переделкино и поднявшись от пруда в гору, не повернула налево, чтобы двинуться прямо к кладбищу, а сделала крюк и тем самым должна была проехать мимо дома Чуковского. У ворот дома стояла группа людей, группа друзей. Один из них мне и расскажет, что едва на горизонте показался похоронный автобус, как в мегафон прозвучал голос, исходивший от дежурившего неподалеку милицейского поста: «Едут! Приготовиться ко всему!» (Хотелось бы все-таки знать: к чему именно они готовились?)

А тем временем головной автобус приближался к дому, к любимому нами всеми дому. Какие грозы начнут вскоре греметь над его крышей, греметь почти двадцать лет, но дом выстоит, дом уцелеет, так вот, из группы друзей крикнули: «Остановитесь! Отсюда мы понесем гроб на руках!». Не остановились. Напротив. Шофер прибавил скорость — без мегафонной команды. Кто-то, видимо, там, внутри, рядом с шофером сидел и им руководил...

Все это я знаю с чужих слов. Что же касается нас, пятерых, раньше времени явившихся в Переделкино, с нами было вот что...

Машину я оставила во дворе Дома творчества, и куда затем делись три мои спутницы, не помню. Мы же с Т. М. Литвиновой, одним из ближайших многолетних друзей и помощников Корнея Ивановича (они познакомились, когда Тане было 12 лет), пешком отправились на кладбище. Серое небо. Мокрый снег. У самого подъема, у дорожки, ведущей на кладбищенский пригорок, снова милиция. Трое. Обычные милиционеры или рангом выше, не знаю, не мастерица я чины-то различать. Наше появление их насторожило. Произошел быстрый обмен репликами, что-то вроде: «Внимание! Сейчас будут...» — «Ждём. Готовы!» А мы побрели наверх. Побрели, говорю я, ибо скользили ноги на глинистой раскисшей земле. Шел снег, тут же таявший... Брели, поддерживая друг друга, снег, небо, деревья. И после многолюдья, гудков, урчания моторов, мегафонных воплей нам показалось тут так тихо, так, Господи, тихо, что и говорить не хотелось, как вдруг... Как вдруг справа, из-за могилы, прозвучал мужской голос: «Первый!» И сразу же из-за другой могилы, повыше, откликнулось: «Второй!» и так далее, и кажется, дело дошло до шестого, пока мы добрались до уже вырытой ямы, куда вскоре опустят гроб с прахом Корнея Ивановича... А за могилами, значит, залегла ко всему готовая милиция. Сколько же, интересно знать, ее сотрудников было в этот день оторвано от своих текущих дел и расточительно брошено на охрану?.. На охрану чего?

Снизу гул, несут, осторожно ступая, гроб, за гробом толпа, мы с Таней отошли в сторонку, гроб установлен, начинается траурный митинг. Митингом распоряжался В. Н. Ильин. Первое слово вновь предоставлено С. В. Михалкову. Поразительна энергия этого человека, замечу в скобках! Уже тогда немолодой, а с той поры еще двадцать лет миновало, но Сергей Владимирович по-прежнему неутомим, действуя не столько в литературе, сколько на своих руководящих постах,— кого-то снимает, кого-то назначает, кого-то распекает, а иных одобряет... И опять вслед за ним мы услышали какого-то чиновника местного значения: он поведал нам о том, что покойный много лет проживал на территории подмосковного Ленинского района, был большим гуманистом, тружеником и Человеком с большой буквы... И тут В. Н. Ильин сделал попытку митинг закрыть, но вперед вырвался Павел Нилин со словами: «Нет уж, я скажу!», оттеснил Ильина плечом и рассказал о том, как совсем недавно гулял с Корнеем Ивановичем вон там, внизу, на этом поле, и говорили они о жизни, о смерти и о том, что такое посмертная слава, и нужна ли она, и о связи времен, рвущейся с уходом таких людей, как Чуковский. Он говорил, а Ильин беспокойно озирался, и едва говоривший замолк, как митинг был закрыт.

Господи, думала я, ну чего он боится? Быть может, его беспокоит мокрый снег, падавший на мертвое лицо Корнея Ивановича? Нет. Он и не глядит на это лицо. Неужели он до сих пор опасается, что в последнюю минуту с какой-нибудь неожиданной, непредусмотренной стороны возникнет у гроба рослая фигура, появление которой сведет на нет все принятые меры и грозит выговором тем, кто отвечает за похороны? Или того боялся, что вдруг пожелает что-то сказать Лидия Корнеевна? И попробуй не дать слова родной дочери, а от нее неизвестно чего ждать, вернее, хорошо известно, чего от нее ждать, и ясно, что такое выступление грозит неудовольствием, а то и гневом начальства. Миновала и эта опасность. Началось прощание. Но и тут, по инерции, что ли, распорядитель спешил: скорей, скорей... И внезапно снизу послышались голоса: «Чего торопишься?», «Да успокойся ты!» И еще что-то в том же грубовато-неодобрительном духе, и голоса эти, обращавшиеся к распорядителю на «ты», явно не принадлежали писателям. Я глянула вниз. Весь склон от могилы до асфальтовой внизу дорожки был тесно покрыт людьми, падал снег на обнаженные головы мужчин, на головные платки женщин. Это была деревня Переделкино. Это были отцы и матери детей, которым Корней Иванович построил библиотеку, детей, приходивших на костер, ежегодно устраи-

ваемый на участке Чуковского, десять еловых шишек — плата за вход! Много лет жил в Переделкине Корней Иванович, сменялись на его глазах поколения детей, и пришли с ним проститься те, что выросли около него, а теперь сами стали родителями, и уже их дети ходили на костер и в библиотеку, и казалось, что так будет долго, что так будет вечно, но вот ЕГО не стало, и как же теперь будет странно и пусто в Переделкине!

И вот закрылась крышка гроба, и звуки забиваемых гвоздей, звуки, мучительные для всех, кто любил того, кого сейчас медленно опустят в яму, навсегда, навсегда... Но с облегчением вздохнули те, кто нес ответственность за эти взрывоопасные похороны.

Вот, пожалуй, только в эти минуты я поняла, в чем была взрывчатая опасность. И в Солженицыне было дело, но не только ради него одного была создана обстановка боевой готовности...

В те времена незапланированных собраний не разрешалось, выступать публично следовало по бумажке, и кто ЧТО скажет, было известно заранее. А тут? Народу набежала туча, сдерживали, как могли, но всех не удержишь. Это ведь что получалось? Неорганизованное, никем не санкционированное и нежелательное сборище! На чьих похоронах? На похоронах писателя, ну да, известного, но запятнавшего себя симпатией к «врагу», к «предателю», другому бы не простили, а Чуковскому с рук сошло, и стар, а главное — слава мировая, в Оксфорде, нас не спросивши, какой-то мантией его наградили... Ну, короче говоря, лицо, власти неугодное! А власть наша издавна привыкла сама решать, какой писатель (художник, композитор, режиссер) должен считаться «великим», а какой — «выдающимся», а какой — обычным, рядовым. По этим категориям и привилегии распределялись, и хоронили соответственно. А тут все выбилось из привычных рамок, и чего ждать — неизвестно. Вот и понадобилось быть готовыми ко всему!

С 1963 года Твардовский вел борьбу за опубликование повести Солженицына «Раковый корпус», тогда еще до конца не дописанную. Всех перипетий этой борьбы я тогда знать не могла. 16 ноября 1966 года я проникла на обсуждение первой части этой повести в Малый зал Центрального Дома литераторов. Говорю «проникла», ибо обсуждение, поначалу объявленное в календарном плане, было затем отменено. Членам Союза писателей разослали уведомление: обсуждение откладывается. На какое число? Этого сказано не было. О том, что обсуждение все-таки состоится, каждый из нас узнал случайно: кто-то узнал первым, обзвонил знакомых, а те — своих знакомых. Трусливый секретариат полагал, что его уклончивые действия приведут к тому, что народ не соберется, но народ собрался и атаковал Малый зал. У дверей стояла охрана, скрупулезно проверяя членские билеты. Многие писатели в тот день впервые увидели живого Солженицына. О произносимых в Малом зале речах, о радостном (и преждевременном!) чувстве свободы, нас охватившем, уже написано и еще будет написано. Я лишь о том, как поразила меня улыбка Солженицына — открытая, добрая и даже немного наивная, сразу менявшая его суровое лицо... Дело с опубликованием «Ракового корпуса» не двигалось. В мае 1967 года Солженицын написал письмо IV съезду Союза писателей, предлагая внести изменения в Устав. Свыше ста писателей это письмо поддержали, требуя, чтобы съезд письмо обсудил. Письмо не обсудили, и результатом было то, что доступ писателей на IV съезд был строго ограничен: член СП на его собственный съезд мог попасть по «гостевому» билету и только на один определенный день. Тем временем повесть «Раковый корпус» расходилась в сотнях машинописных экземпляров. Возникла опасность появления повести на Западе, что автоматически закрывало возможность опубликования «Ракового корпуса» у нас,— не на это ли надеялся секретариат Союза писателей?.. В ему адресованном письме от 12 сентября Солженицын предупредил, что его повесть против его желания, а по вине тех, кто задерживает ее появление у нас, может попасть за границу. Ответ последовал. Солженицына пригласили на беседу. Собралось 30 секретарей. Беседа состоялась 22 сентября того же года. Я, как и многие, знала о ней, ибо Солженицыну удалось эту беседу записать и машинописные копии ходили по Москве.

В праздничные ноябрьские дни я гостила на Пахре у Верейских. Вот моя запись разговора с Александром Трифоновичем, датированная 9 ноября 1967 года:

— Он мне ни сват, ни брат, ни друг, не во всем разделяю его взгляды, но я люблю его, люблю... Давно это должно было прийти, такое русское, и вот — пришло! Если бы вы видели, как он держался на секретариате, с каким достоинством!..

— Один против всех этих!

— Не один. Я был там. Я с ним был. Я сказал Федину, жестко сказал: «Помирать будем!». А это, между прочим, и ко всем нам относится... Солженицын — сложный человек. Но не для следователей. Для писателя, для литературы...

Я сказала о том, что в редакциях, в учреждениях есть среднее звено, интеллигентная и мыслящая молодежь, с которой можно иметь дело...

— Это у вас правильное наблюдение. Между прочим, в главном учреждении то же самое. В коридорах запросто все, но как сел за стол — обедню служит...

Тут он вспомнил о своем недавнем разговоре с Шауро*:

— Называет Солженицына «ваш любимчик». А что им делать с «моим любимчиком», сами не знают! Говорит: «Мы его подняли». А я ему: «Ну, так опустите его теперь, опустите!» Он: «Мы его сажать не собираемся!» «Да вы не можете этого сделать! Он у вас с крючка сорвался!»

К этому времени Солженицын был уже защищен своей мировой славой...

Александр Трифонович Твардовский скончался 18 декабря 1971 года. «Есть много способов убить поэта. Для Твардовского было избрано: отнять его детище, его страсть — его журнал. Мало было шестнадцатилетних унижений, смиренно сносимых этим богатырем, только бы продержался журнал, только бы не прерывалась литература, только бы печатались люди и читали люди. Мало! — и добавили жжение от разгона, от разгрома, от несправедливости».— Из письма Солженицына от 27 декабря 1971 года, к девятому дню кончины поэта. Это письмо, всем нам адресованное, разошлось в списках, многими было прочитано и переписано.

Умер. И теперь гроб Твардовского, как он сам и предвидел, должны были обступить те самые, кто травил его, поносил, унижал, вырывал и вырвал из его рук журнал. Это пыталась предотвратить вдова поэта Мария Илларионовна: обратилась к Ю. Верченко, назвала несколько нежелательных имен. Просьба уважена не была. Травившие распоряжались похоронами, почетным караулом обступали гроб, а один, и устно, и в печати называвший Твардовского «кулацким сынком» (нежелательность присутствия этого человека Мария Илларионовна подчеркнула особо!), тем не менее не только присутствовал, но и речь на траурном митинге не дрогнул произнести. Зал, набитый народом, безмолвствовал. Однако когда в почетном карауле появилась вальяжная, массивная фигура Софронова, тогдашнего редактора «Огонька», особо отличившегося в клевете и травле «Нового мира», по залу прошел ропот, напоминавший шум прибоя, и смыло со сцены массивную фигуру...

Как и два года назад, перекрыта улица Герцена и все к ней прилегающие улицы, и повсюду милиция, но тут еще и военная охрана, уже и пешеходу нельзя было приблизиться к зданию ЦДЛ. Кордон в вестибюле. Дежурные на лестницах. И я не знаю, каким Божьим чудом тот, появления которого так опасались, что и на войска не поскупились, в дом все-таки проник! Как я помню его внезапное возникновение в проеме распахнувшейся, близкой от сцены двери, не всеми сразу это было замечено, но вот вошедший шагнул вперед, к первому ряду, к семье Твардовских, и тут уж его голова, его плечи всему залу видны — и шорох, и шепот, и волнение... Я только не помню, шел ли уже траурный митинг, и выступал ли кто-нибудь в эти минуты, и если да, то не запнулся ли? А он уже сидит бок о бок с Марией Илларионовной, а через какое-то время, когда началось прощание, я увидела его склонившимся над гробом и осеняющим крестным знамением мертвое лицо Твардовского.

Позже Л. З. Копелев расскажет мне, что он в эти минуты находился в вестибюле и услыхал, как кто-то из там дежуривших кинулся к телефону, набрал номер — и в трубку: «Объект прибыл. Что будем делать?». Ответа на вопрос Копелев слышать не мог, но краток был ответ, звонивший почти сразу же от телефона отошел, видимо, инструкций не получив. А какие тут могли быть инструкции? Проморгали, прошляпили, недоглядели, недо... А теперь

---

* В. Ф. Шауро — зав. Отделом культуры ЦК КПСС.

что уж делать? Не силой же выводить! Тем более что вдова взяла «объект» под руку, и так, вместе, они и двигались к выходу, к похоронному автобусу...

Потом, прочитав у Солженицына: «Допущенный к гробу лишь по воле вдовы (а она во вред себе так поступила, зная, что выражает волю умершего)...»,— я вспомню слова Твардовского: «Ни сват он мне, ни брат, ни друг, не во всем его взгляды разделяю, но я люблю его, люблю... Давно должно было прийти такое русское...»

Морозный декабрьский день. Новодевичье кладбище. Велика была толпа, множество спин заслонили от меня гроб, и я не видела, как Солженицын, прощаясь, вновь осенил покойного крестным знамением,— это запечатлено на фотографии, обошедшей весь мир. Испарился из моей памяти краткий траурный митинг. Не помню и того, кто распоряжался похоронами, позже от старшей дочери Твардовского Валентины Александровны узнаю: и тут торопились. К вдове обращаться не смели, обращались к дочери: «Пора гроб закрывать!». А все текла, все текла цепочка людей, желавших прикоснуться к покойному, поклониться ему, и дочь отвечала: «Нет еще. Подождите».

И тут — почему торопились? Худшее свершилось, лицо, появления которого опасались, присутствует, чего же еще опасаться? А того же, чего опасались, хороня Чуковского. Мероприятие, хорошо продуманное, отработанное, отрепетированное, в привычные рамки не укладывалось. Была искренна скорбь людей: помню залитое слезами лицо Кайсына Кулиева, и не один он плакал. Плакали и те, кто не был знаком с Твардовским лично. Прощались не только с любимым поэтом, автором «Василия Теркина» (это бы власти снесли!), а и с редактором «Нового мира», павшим в борьбе за этот журнал. Многие, думаю, пришедшие в тот день на кладбище, понимали то, о чем скоро скажет в своем письме Солженицын: Твардовского убили, «отняв у него его детище, его страсть — его журнал». Об этом шептались, эти слова носились в воздухе, нервируя распорядителей, и как бы это не выплеснулось наружу в чьем-нибудь выкрике... «Пора закрывать гроб!» — «Нет, подождите!».

«Страшно умирать. Умрешь, а они заберут тебя себе!» — говорил Твардовский.

Пытались.

В послесловии к сборнику «Анна Ахматова» («Художественная литература», 1974) Н. Банников сообщит читателю:

«Революция толкнула ее (Ахматову) на большой и длительный путь самовоспитания». «На долю Ахматовой выпало немало испытаний, немало тяжелого». Что же это были за испытания? Туберкулез, оказывается, перенесенный в молодости. Ну и еще были какие-то «обиды». Кто обижал ее? Об этом ни звука.

В предисловии к сборнику под тем же названием (Лениздат, 1976) Дм. Хренков пишет: «Она шла к постижению истины, к самораскрытию, не щадя себя. Каким же запасом прочности должно обладать сердце, чтобы после тяжких испытаний сказать самой себе: «Надо снова научиться жить». И она училась, училась, оставаясь наедине с чистым листом бумаги, в недоброжелательной иностранной аудитории, как это было, например, в Ленинградском доме писателя имени Маяковского, когда Ахматова говорила английским студентам о своем отношении к известному постановлению ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград», не оставив слушателям ни малейших надежд посочувствовать ей. Она училась политической мудрости...»

Какой же вывод должен сделать для себя читатель из этих преди-послесловий?.. Ахматова множество лет занималась перевоспитанием. Училась и училась, преодолевая свою идейную отсталость. В «постижении истины» ей, видимо, очень помогло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». В послесловии, впрочем, об этом постановлении ни звука. А в предисловии звуки произнесены. И понимать эти звуки следует так: Ахматова с постановлением согласилась. Ну, тяжело, ну, обидно, но Ахматова, достигшая к этому времени «политической мудрости», поняла: ЦК и товарищ Жданов об ее же пользе заботились! И с ей свойственным патриотизмом не позволила чужеземцам себе посочувствовать, себя пожалеть. Браво!

Из книги Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» можно узнать, как все это было на самом деле. Ахматову на встречу с любознательными студентами привезли чуть ли не насильно. Приказ явиться был отдан по телефону из Союза писателей: «Вы должны быть непременно, а то они скажут, что вас удавили»...

И самого главного не сказано в предисловии Дм. Хренкова: у Ахматовой в том же мае 1954 года был в лагере сын — Л. Н. Гумилев. Сын-заложник! Она-то хорошо знала, как отразится на его судьбе ее ответ англичанам. И кстати, строка «Надо снова научиться жить» вырвана из стихотворения, написанного летом 1939 года: «И упало каменное слово на мою еще живую грудь». Под «каменным словом» подразумевается приговор, вынесенный арестованному сыну. Это стихотворение из цикла «Реквием» так и названо: «Приговор», но в 70-е годы печаталось без заголовка. Надо было учиться жить, каждую минуту помня, что сын — на каторге. А автор предисловия восклицает: «И она училась, училась, оставаясь наедине с чистым листом бумаги...» В общем, упорно работала над собой, стремясь все осмыслить и, видимо, одобрить.

Записки Лидии Чуковской тогда не были доступны широкому читателю. В сборниках Ахматовой не полностью давалась «Поэма без героя», а несколько стихотворений из «Реквиема» попадали в печать, лишенные заголовков и оторванные друг от друга, чтобы не был понятен их истинный смысл, чтобы скрыть судьбу сына. Из после-преди-словий и иных статей, посвященных поэту, вырисовывается образ Ахматовой удобный и угодный.

Что касается Корнея Ивановича, то после кончины его было сделано все возможное, чтобы отодвинуть от широкого читателя яркую и разнообразную деятельность Чуковского—никем не превзойденного критика, литературного исследователя, мастера высокого искусства перевода, знатока Некрасова, борца за чистоту страстно им любимого русского языка! Какими средствами это достигалось? А достигалось тем, что огромными тиражами переиздавались «Айболиты», «Мойдодыры» и прочие детские стихи Чуковского, к переизданиям других работ не стремились и, Господи Боже, с какими муками, пятнадцать лет пролежав в издательстве, ободрав себе бока о цензурные выдергивания, вышел в 1979 году бесценный альбом «Чукоккала»... Удобный и угодный образ Чуковского был таков: добрый дедушка, писавший в основном для малюток дошкольного возраста.

Твардовский. Да, бесспорно. Всенародно любимый поэт. Автор «Страны Муравии». Поэмы «За далью — даль». А главное — автор «Василия Теркина». А был ли редактор «Нового мира», много лет подвижнически сражавшийся за этот любимый всеми мыслящими людьми журнал, единственный журнал, смевший говорить правду? Не было такого редактора. Во всяком случае, в печати о «Новом мире» Твардовского не поминали много лет. Столько лет, что целое поколение успело за эти годы вырасти...

«Умрешь, и они заберут тебя себе».

Пытались.

Но время все расставит по своим местам. Уже расставляет. Уже многое расставило.

●

Вадим БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

О будущей конституции и проекте Сахарова

Как и большинство людей в СССР и в мире, я глубоко уважаю Сахарова и счастлив, что имел возможность познакомиться с ним (в 1972 г.), когда по мере сил помогал демократическому крылу диссидентов. Но, как говорится, плохо ты воздашь учителю, соглашаясь с ним во всем. В проекте Конституцни Сахарова много замечательного, но я считаю более важным остановить внимание на некоторых ее существенных недостатках. Первый — в национальном разделе.

Конституция Сахарова предполагает высшим законодательным органом власти Союза Съезд народных депутатов, состоящий из Палаты республик, избираемой по территориальному принципу — «по одному депутату от избирательного территориального округа с приблизительно равным числом избирателей», и Палаты национальностей, избираемой «по национальному признаку... а именно по одному депутату от 2 (полных) миллионов избирателей данной национальности и дополнительно еще два депутата данной национальности». (Ст. 29). Такой съезд должен утверждать союзный орган исполнительной власти — Совет Министров Союза, и Верховный Суд Союза. Президент Союза избирается также в ходе прямых всеобщих выборов на всей территории Союза. (Ст. 35).

То есть и Сахаров (даже Сахаров!) считает возможным и нормальным, что во главе Союза **суверенных и равноправных** республик будет стоять парламент, в котором более 50% мест будет принадлежать представителям одной республики — Российской, население которой будет играть решающую роль и при выборах Президента Союза.

Академик, народный депутат СССР от Литвы В. Статулявичус, получивший от Сахарова текст разработанного им проекта союзной Конституции и опубликовавший его впервые в литовской «Комсомольской правде» (12.12.89), в предисловии с научной емкостью в одной фразе выявил суть сахаровского проекта: «Мне представляется, что этот проект подразумевает федеральное государство». Федеральным государством, к примеру, являются США, где большинство штатов не представляют собой национальных суверенных республик. Федерация — это не союз. Поэтому и **Соединенные** Штаты, а не Союз Штатов. Союз суверенных и равноправных республик может строиться лишь на **конфедеративной** основе. И в этом случае верховный законодательный орган может состоять лишь из равноправных депутатских делегаций от всех союзных республик вне зависимости от численности их населения. По принципу: одна республика — один голос. Делегации эти могут избираться либо населением республик, либо их парламентами. Как они установят. Такой союзный парламент будет избирать и союзную исполнительную власть. Скорее всего возглавлять ее будут по очереди представители или главы республиканских депутатских делегаций. И вряд ли во главе конфедеративного Союза будет стоять Президент, настоящий, наделенный большой властью, так как таковой власти не может быть у центральных правительственных органов конфедеративного Союза.

Вадим Белоцерковский, участник движения в защиту прав человека в СССР. Родился в Москве в 1928 г. Работал преподавателем химии и физики в школах рабочей молодежи, потом журналистом в центральной прессе. В 1962—1964 гг. опубликовал повесть «В почтовом вагоне» (в журнале «Москва» и в изд-ве «Советский писатель»), по поводу которой КГБ было проведено расследование обстоятельств выдачи Главлитом разрешения на ее публикацию, и в 1968 г. была запрещена публикация сборника рассказов «Кто я?», подготовленного к печати в «Советском писателе». Эмигрировал в 1972 г. Сейчас живет в ФРГ в Мюнхене. Работает на «Радио Свобода».

Известен на Западе своими работами в области теории самоуправления, которое он рассматривает как основу синтезного строя между капитализмом и социализмом, как основу конвергенции между нимн.

Специализируется В. Белоцерковский и в национальном вопросе. Он выступает за самоуправление народов и считает, что ликвидация русско-советской империи — необходимое условие благоденствня русского народа.

Президенты могут стоять во главе союзных республик, которые того пожелают.

Интересно, что конфедеративный принцип формирования центральной власти был в 1989 г. предложен главой литовской компартии Бразаускасом для формирования руководящих органов КПСС. Если КПСС, сказал тогда Бразаускас, действительно хочет быть объединением **равноправных** республиканских компартий, то съезды и ЦК должны формироваться из равновеликих и, следовательно, равноправных представительств всех компартий страны, а Политбюро — из представителей или руководителей этих компартий, которые по очереди должны были бы занимать пост генсека (или председателя) ЦК КПСС. Но голос Бразаускаса остался без внимания. Пережитки «державного» мышления просматриваются и в статьях сахаровского проекта Конституции, определяющих правила вступления и выхода республик из Союза. (Ст. 16 и 17). Так, для вступления республики в Союз достаточно решения ее законодательного органа власти, а для выхода уже требуется референдум! В то время, как это должно быть делом парламента суверенной республики — решать, каким образом выявлять волю народа, с помощью ли референдума или голосования в парламенте. В мировой практике выход из империй, как правило, решался без помощи референдума. Таковой проводился лишь на спорных территориях со смешанным двунациональным населением, не представляющих в то же время собой национальных автономий с собственными органами законодательной власти.

Вопрос о референдуме при выходе республики из Союза имеет и сугубо практическое значение. Раз референдум должен предшествовать выходу, то, следовательно, он должен проводиться при наличии на территории республики общесоюзных войск и органов госбезопасности, которые могут оказать давление на местное население, чтобы оно голосовало против выхода из Союза. На парламент же, демократически избранный, оказать такое давление практически невозможно.

Кроме того, на референдум может оказать влияние и некоренное население, ранее искусственно переселенное в желающую отделиться республику для ее русификации. Центральным властям повлиять на это население особенно легко. Сахаров не уточняет в своем проекте, каким большинством должен решаться на референдуме вопрос о выходе из Союза,— простым или в $^2/_3$, как в законе о порядке выхода, принятом СНД СССР. В большинстве советских республик коренное население, как известно, уже не составляет двух третей. В ряде случаев даже меньше 50%. И в этих случаях пришлое население может заблокировать волю коренного населения к отделению уже при выборах в республиканский парламент. Решение таких тяжелых случаев должно, очевидно, содержаться в новом Союзном договоре. Иначе почти неизбежны кровавые стычки коренного населения с перемещенным, чтобы его изгнать.

Я лично вижу здесь два возможных решения. Первое — установление ценза оседлости для участия в выборах законодательных органов республик. Ценза, охватывающего период целенаправленного переселения в данную республику людей из других республик. Либо — второе решение — предусмотреть возможность отделения регионов, заселенных преимущественно пришлым населением так давно, что в этих регионах проживает уже третье поколение переселенцев. Срок такой давности тоже должен быть определен Союзным договором. Возможно и комбинированное применение обоих решений, а также и обмен населением, желающим переселиться к «своим». Об отделении регионов от республик может идти речь, разумеется, лишь в случае, если население этих регионов проголосует за то, чтобы остаться в составе Союза. Вот тут, возможно, будет правомочен и референдум.

В ряде случаев потребуется и присоединение к республикам соседних районов, где большинство населения состоит из людей их коренной национальности. Короче говоря, необходима будет коррекция границ, ликвидация сталинской географии, произвольной, а часто и провокационной. Республики (нерусские) не согласятся отдавать свои районы, заселенные пришлым населением? Вполне возможно. Но в этом случае они сами себя загонят в тупик, так как коренное население не будет иметь большинства голосов в парламенте. Но я думаю, что здравый смысл тут рано или поздно восторжествует.

Мы выше критиковали проект сахаровской Конституции для Союза суверенных советских республик Европы и Азии. Но в порядке «выжимания» из себя остатков имперского сознания встает еще и такой вопрос: а нужна ли и правомочна ли вообще какая-либо конституция для конфедеративного союза? Может быть, достаточно будет одного только Союзного договора? Скорее всего достаточно! Конституция — это для федеративного или унитарного государства.

Но можно и нужно нам идти еще дальше в освобождении от имперского мышления и осознать, что и все наши разговоры о Союзном договоре и структуре будущего союзного государства скорее всего излишни, так как очень мало шансов есть на создание даже и конфедеративного Союза республик! Так, если мы попытаемся реально посмотреть на вещи, то увидим, что в Союзе с Россией в обозримом будущем пожелают остаться в лучшем случае лишь Белоруссия, может быть, Украина и Армения да еще несколько автономных (сейчас) республик, которые пожелают повысить свой статус до союзного. Армения, между прочим, может предпочесть иметь с Россией

договор о взаимопомощи на случай нападения на нее мусульманских соседей. Но в любом случае удельный вес России станет настолько велик в этом Союзе, что союзное правительство либо сделается придатком правительства России, что приведет в конце концов к отделению всех республик от России, либо союзное правительство станет обузой для правительства российского. Уже сегодня иностранные правительства начинают задумываться о том, на кого им больше обращать внимания: на Горбачева или Ельцина? А что будет завтра, когда Россия добьется суверенитета и многие республики выйдут из Союза? Будет ли смысл для России какие-то права передавать союзному правительству и содержать его?

Представим весьма вероятную ситуацию. Представители России остаются в меньшинстве при голосовании в союзном парламенте по какому-то вопросу, входящему в его компетенцию. Одна республика — один голос! И России нужно будет подчиняться, ущемлять свои интересы в пользу нескольких относительно маленьких республик, которые еще останутся в Союзе? Придется! А что будет иметь Россия от этого союза, тем паче в рыночных условиях, когда так и так надо будет все покупать за рыночную цену?

Короче, если большинство нынешних союзных республик выйдет из Союза, то он потеряет смысл (в его демократическом, конфедеративном варианте) прежде всего для самой России. Достаточно будет объединения, подобному Британскому содружеству наций, входивших в бывшую Британскую империю, или таможенного союза, или общего рынка. Я так думаю, что даже если большинство республик останется в Союзе, он все равно потеряет смысл для России. Смысл имела только империя, когда можно было, скажем, нефть или хлопок брать из республик за бесценок.

А вот таможенный союз или общий рынок могут иметь смысл, особенно в случае, если в России и в ряде республик установится социально-экономический строй, отличный от строя западного мира. Таким может быть строй самоуправляющихся трудовых коллективов на основе групповой, трудовой преимущественно, формы собственности на средства производства и соответствующей рыночной системы.

Имело бы смысл и создание коллективной системы безопасности нового содружества наций, вплоть до создания, может быть, общих полицейских сил, наподобие сил ООН, для противодействия возможным межнациональным (межреспубликанским) конфликтам. Эта система могла бы со временем интегрироваться в общеевропейской системе безопасности. Короче, идеальным было бы, если бы общественность России добилась скорого роспуска СССР и замены его упомянутыми выше формами сотрудничества и двусторонними соглашениями между Россией и республиками с различными взаимными обязательствами. Но такое развитие событий пока еще, увы, малореально. Пережитки имперского сознания мешают, да и общая активность российского населения еще очень недостаточна. Союзный договор будет, наверное, разработан и утвержден в нынешнем «имперском» парламенте Союза и будет содержать имперские или унитарные пункты, и союзную Конституцию успеют, наверное, разработать и принять. Но вскоре же после рождения оба эти документа начнут вызывать возражения в мужающих республиках, начнут мешать естественному ходу событий и дальнейшей демократизации и будут рано или поздно всеми отвергнуты. Однако центральные власти, цепляясь за них, боюсь, успеют наломать дров.

Второй недостаток сахаровского проекта Конституции лежит, на мой взгляд, в политическом разделе. Недостаток в прямом смысле этого слова: недостаток того, что по логике вещей должно было бы присутствовать. Я имею здесь в виду уже Конституцию для одной России.

Сахаров пишет в проекте, что цель Союза — способствовать конвергенции двух основных укладов жизни: социализма и капитализма. Но существует мнение, которое и я разделяю и, насколько мне известно, разделял раньше и Сахаров, что «здоровая» конвергенция (эпитет Сахарова), т. е. конвергенция на пути развития демократии и большего обеспечения прав человека, может проходить за счет создания синтезного строя по отношению к капитализму и социализму. И Конституция должна была бы отражать принципы этого строя, но не отражает. Однако перед тем, как говорить об этом отражении, я должен объяснить читателю вкратце, каким мне видится этот строй.

Видится он мне как строй демократического самоуправления, самоуправления на всех уровнях: трудовом, региональном, национальном. Иначе — строй всеобъемлющей демократии, новой ступени в ее развитии, когда демократия через проходные предприятий и учреждений входит внутрь трудовых ячеек общества, когда роль законодательных органов власти начинают играть Советы трудовых коллективов (или сами коллективы, если они небольшие), а исполнительных — администрация, избираемая по конкурсу Советами коллективов.

Измениться должна, естественно, и демократическая структура государства. Измениться в сторону децентрализации и конфедеративности: верховная власть у регионов, и они часть своей власти делегируют центру, главным образом для координационной деятельности, выделяя и средства для обеспечения этой деятельности.

Естественно тут и развитие прямого представительства трудовых коллективов в законодательных органах власти всех уровней. В переходный период возможна двухпалатная структура законодательной власти: одна палата с представительством через партии, комплектуемая на территориальных выборах, а вторая — прямого представительства, комплектуемая на выборах по производственному принципу. Полностью самоуправляющиеся и самофинансирующиеся коллективы, жизненно заинтересованные в объективности и эффективности законодательной власти, всегда и везде заинтересованы иметь в законодательных органах своих прямых представителей, которые защищали бы и представляли только интересы избравших их коллективов, легко контролировались бы и отзывались *.

Исполнительная власть в описываемой модели в любом случае избирается на отдельных территориальных выборах из кандидатов, выдвигаемых партиями (или фракциями одной партии!), т. е. по президентскому принципу.

Вторая основа строя самоуправления — групповая трудовая форма собственности на средства и продукты производства, синтез частной и общественной (государственной) собственности. Разумеется, при свободе всех других форм собственности, включая частную с наемным трудом.

Основной принцип групповой трудовой собственности: «Кто не работает, тот не владеет!» Владеют все, кто работает, и только те, кто работает и до тех пор, пока работает. Уходящий получает деньгами свою долю группового капитала. Поступающий на работу выкупает (сразу или в рассрочку) свою долю капитала (средства производства и другое имущество). В прибылях (и потерях) работники участвуют пропорционально своему трудовому вкладу или делят прибыли поровну (имея различные зарплаты) — все тут зависит от внутренних уставов. Наемный труд применяется только для временных работ. Акции, настоящие, со свободной продажей на стороне, и вклады со стороны не применяются. Коллективы таких предприятий не хотят, чтобы кто-либо эксплуатировал их труд, не хотят вновь оказаться в частных руках в положении бесправных наемных работников, что неизбежно при выпуске акций и допущении вкладов извне.

Я говорю об этих предприятиях в настоящем времени ввиду того, что они уже во множестве существуют в развитых странах Запада. В США их уже около 11 тысяч, и занято на них 10 миллионов человек — 9% используемой рабочей силы. («Известия», 21.3.89, В. Ругтайзер, Работник и хозяин). В их число входят крупные, средние и мелкие предприятия, магазины, рестораны и кафе, больницы, школы, банки, средства информации и т. д.*.

Третий «кит» самоуправления — свободный рынок. Но без агрессивной конкуренции, конкуренции в накоплении частных или групповых капиталов за счет расширенного воспроизводства, то есть за счет создания филиалов или присоединения, скупки других фирм. Групповым предприятиям, как правило, невыгодно такое экстенсивное расширение. Для этого им пришлось бы заниматься самоэксплуатацией.

Благодаря агрессивной конкуренции капитализм создал современную индустриальную цивилизацию, но теперь она уже становится опасной, так как природу и человека превращает в средство накопления. Проблемы экологии и третьего мира при агрессивной конкуренции решить вряд ли удастся.

Чтобы не допустить развития агрессивной конкуренции, расширенным воспроизводством группового сектора должно заниматься государство с помощью специального инвестиционного фонда, первоначальный капитал которого может быть создан за счет продажи госпредприятий и учреждений в собственность трудовым коллективам. (Государство должно оставить себе лишь те отрасли, где затруднена рыночная конкуренция и необходима централизация управления, например, энергетика, связь, железные дороги и т. п.). Создавая (или финансируя создание по инициативе снизу) новые предприятия и продавая их (по себестоимости) новым трудовым коллективам, государство будет конкурировать с частным расширенным воспроизводством. У людей будет выбор, куда идти работать: в частный сектор наемными работниками или на новые групповые предприятия — совладельцами.

Судя по тому, что уже сейчас на Западе групповые предприятия в тяжелой конкуренции с мощными капиталистическими фирмами, как правило, идут впереди по всем экономическим показателям и обеспечивают более высокие заработки (по сравнению с сопоставимыми частными или акционерными предприятиями **), — остается мало сомнений, что при становлении строя самоуправления

* «Палата самоуправления» имеется в парламенте Югославии, проектируется она и сторонниками самоуправления в польской «Солидарности». Прямое представительство имеется и в федерации самоуправляющихся предприятий «Мандрагона» в Басконии (Испания). Но при отсутствии настоящего самоуправления прямое представительство теряет всякий смысл, как мы это и видим в Югославии.

* Подробнее я пишу об этом и о принципах строя самоуправления в книге «Самоуправление» (Мюнхен, 1985) и «Россия перед выбором» (Изд-во Хердер—Фрайбург, Базель, Вена, 1989). Последняя готовится к изданию по-русски в англо-советском издательстее «Интер-версо».

** В среднем на 50% больше прибыльность, в 2 раза выше среднегодовой прирост производительности труда. Данные «Национального исследовательского центра предприятий, принадлежащих рабочим и служащим» (Арлингтон, США, 1984). Сходные данные приводятся и финансовой комиссией Сената США (1979).

свободная рабочая сила начнет стягиваться на создаваемые государством групповые предприятия и экстенсивное расширение частных предприятий сделается невозможным: не будет для этого рабочих рук. Самоуправляющийся групповой сектор будет расширяться, частный и кооперативный — сужаться. Хотя теоретически в России или, скажем, в Закавказье возможен и прямо противоположный результат из-за недоразвитости у людей каких-то качеств, необходимых для самоуправления. Строй самоуправления с государственным расширенным воспроизводством — открытый строй, допускающий соревнование различных укладов.

Но сможет ли государственный фонд вести эффективное инвестирование капитала? В условиях демократии, децентрализации и свободного рынка, безусловно, сможет. Демократия обеспечивает контроль законодательных органов власти, а рынок — объективные данные: динамику, к примеру, цен. Растут цены в какой-то отрасли — значит можно смело строить в ней новые предприятия. Децентрализация будет еще больше облегчать задачу. Не один инвестиционный фонд будет действовать на всю страну, в каждом регионе (область, республика) свой.

Прообраз такого механизма можно видеть в крупных капиталистических концернах. Филиалы там ведут самостоятельно **рыночную** конкуренцию, а расширенным воспроизводством занимается исключительно центральное правление концерна.

Описанный механизм расширенного воспроизводства почти в чистом виде существует в федерации самоуправляющихся групповых предприятий «Мандрагона» в Испании. (Около ста предприятий с 25 тысячами работников, совладельцев.)

Государственное расширенное воспроизводство представляет собой также мощный рычаг регулирования рынка и инструмент для решения экологических, демографических и гуманитарных проблем. Государство самоуправления, владея капиталом для расширенного воспроизводства и свободное от необходимости субсидировать убыточные предприятия, будет на порядок богаче как капиталистического, так тем более и госсоциалистического государства. И это — второе решающее преимущество строя самоуправления в нынешнее кризисное для экологии и «развивающихся» стран время. (Первое преимущество — демократия в трудовых ячейках.) Частный капитал не заинтересован ликвидировать районы нищеты даже в собственных (развитых) странах, а в государственной казне не хватает для этого средств.

Теперь, когда читателю, надеюсь, стало более понятно, что я имею в виду под строем самоуправления, можно вернуться к обсуждению проекта желаемой Конституции, Конституции общества самоуправления.

Обзор принципов и основ общества самоуправления показывает, что перед каждым гражданином этого общества открывается возможность овладения новым, неведомым доселе (при любых режимах) правом — **правом решающего голоса** во всех структурах общества, в которые человек будет входить либо в качестве гражданина (район, город, область, государство), либо в качестве хозяина или совладельца (предприятия, учреждения, ассоциации).

Право решающего голоса за каждым членом общества необходимо рассматривать и как правовую формулу (суть) самоуправления, и как неотъемлемое естественное право истинно свободного человека. Все остальные ныне декларируемые права человека без права решающего голоса не могут быть полностью гарантированы и по-настоящему действенны. Описанная выше модель общества самоуправления является логическим следствием права решающего голоса и одновременно является суммой средств для его реализации. Соответственно основополагающая статья Конституции общества самоуправления может звучать примерно так:

«Конституция гарантирует каждому дееспособному гражданину страны осуществление права решающего голоса во всех структурах и организациях, в которых он состоит либо как гражданин, либо как хозяин или совладелец».

Право голоса в государственных структурах будут гарантировать их децентрализованное конфедеративное строение и институты прямого представительства. Такое представительство дает избирателю право и возможность требовать от своего депутата (в любом органе власти) выполнять его волю, его наказ. В случае, если большинство избирателей (региона или трудового коллектива) своими голосами поддерживают этот наказ, он становится обязательным. Исчезнет унизительное положение, когда депутаты зависят от воли рядовых граждан только во время выборов.

Далее. Каждый гражданин в соответствии с основополагающей статьей Конституции должен иметь право на выступление в любых органах власти или в их печатных органах, право постановки на обсуждение любого предложения, право требовать создания комиссии или проведения всенародного или регионального референдума по какому-либо вопросу. Все это, разумеется, с применением каких-то защитных от произвола и злоупотреблений процедур. Уже при современном уровне счетной и информационной техники реализация подобных прав и предварительных процедур вполне осуществима в достаточно оперативном порядке.

Все эти права и гарантии, вероятно, также должны быть отражены в Конституции. По существу, речь идет о предо-

ставлении всем дееспособным гражданам тех прав, которыми сегодня в демократических странах обладают депутаты. Подобные права можно также охарактеризовать как права хозяев, хозяев государства и трудовой ячейки. При налаженности всех механизмов власти потребность в использовании таких прав будет, очевидно, возникать нечасто, что не умаляет необходимости этих прав и их психологического значения.

Могут сказать, что строй самоуправления и соответствующая ему Конституция — дело далекого будущего. Но это субъективное впечатление. Объективное положение требует введения основ строя самоуправления, что называется, уже вчера, т. к. государственный социализм и государственную собственность без насилия над людьми и правом можно преобразовать соответственно лишь в строй самоуправления и в групповую собственность. Государственные средства производства создаются трудом наемных работников и вырабатываемым ими прибавочным продуктом, и поэтому их коллективы имеют исключительное право приобретения государственных средств производства. Потом они могут делать с ними что угодно, но передача или продажа этих средств государством кому-то на стороне представляет собой новую экспроприацию. Имеется и масса других препятствий движению вспять. Вот от самоуправления и групповой собственности переход к капитализму, как мы уже отмечали, теоретически возможен без насилия, такое развитие будет происходить без нарушения чьих-либо прав собственности, постепенно, эволюционно, параллельно с приобретением цивилизованности новыми капиталистами и отработкой институтов социальной защиты наемных работников.

Попытка же прямо перевести госсоциализм в капитализм (на деле в госкапитализм, так как государство обязательно сохранит за собой контрольные пакеты акций большинства приватизируемых предприятий) может вызвать либо силовое сопротивление рабочих, восстание, либо, что самое страшное, может отдать их во власть демагогии национал-сталинистов.

Перед тем как начать вырабатывать новую Конституцию, надо было бы честно и четко поставить на обсуждение, на референдум вопрос, какой строй люди хотят иметь — самоуправление или капитализм государственный. От выбора будет зависеть и Конституция.

Сергей ЛЁЗОВ

Национальная идея и христианство

ОПЫТ В ДВУХ ЧАСТЯХ

Христианство после Освенцима

Нынешнее культивирование агрессивного национализма и антисемитизма в русском обществе, приведшее к исходу евреев из России и обещающее множество серьезных последствий в будущем, чаще всего рассматривают в чисто политическом контексте. Если привлекается историческое измерение, то это, как правило, наша собственная, т. е. «ближняя», история: русская националистическая мысль XIX—XX вв., русская имперская государственность последних трех веков, десять веков русского христианства и т. п. Мы, русские люди, всегда увлекались историософской проблематикой, и в этой области написано столько, что сегодня автор, пытающийся при анализе антисемитизма опереться на некоторое понимание русской истории, оказывается как бы на митинге, где каждый пытается перекричать всех и никто никого не слушает. Ведь у любого публициста уже есть мнение о евреях, о св. равноапостольном князе Владимире, о причинах русской революции, церковного раскола XVII в., о русской идее, о Достоевском, о Ленине, об истоках и смысле русского коммунизма, об истинной сути православия и о многом другом.

Как мне кажется, для серьезного разговора о русском национализме в XX веке, в частности о месте православия и антисемитизма **внутри** этого феномена, могла бы пригодиться и точка зрения, находящаяся **вне** плоскости привычных политических и историософских дискуссий. Я хочу предложить такую точку зрения в надежде, что она окажется полезной читателю в его размышлениях на эти темы.

Многие, вероятно, согласятся, что главное изобретение XX века — это лагеря массового уничтожения, что он войдет в историю как век ГУЛАГа и Освенцима. Меня, христианина и историка христианской мысли новейшего периода, профессионально интересуют существующие попытки **теологического** осмысления этого подлинно нового явления.

В таком случае читатель вправе ждать рассказа об осмыслении православным богословием ГУЛАГа и всего, что стоит за этим словом, он вправе ждать сообщения на тему **«русское христианство после ГУЛАГа»**. Но православного осмысления ГУЛАГа нет, если, конечно, не считать творчества авторов, которые упоминаются во второй части этой работы, «Русское православие и новый патриотизм». **Православного богословия после ГУЛАГа нет**, просто потому что и христианского богословия на русском языке сейчас нет.

Остается Освенцим. Я надеюсь показать, что некоторые смысловые позиции, найденные в этой области западной христианской мыслью, могут стать важными и для нас.

I

В западной, прежде всего в немецкой, теологической литературе слово «Освенцим» — одно из обозначений геноцида европейского еврейства в годы господства национал-социализма. Евреи называют это событие Катастрофой, или еврейским словом «Шоа», т. е. «уничтожение». Но чаще всего употребляется слово «Голокауст», что по-гречески значит «всесожжение». Это слово из древнегреческого перевода еврейской Библии, им обозначается такое жертвоприношение, при котором тело жертвенного животного сжигалось целиком.

Смысл библейской метафоры прозрачен. Писатель Жан Амери, спасенный из лагеря уничтожения и всю жизнь затем пытавшийся справиться с «необходимостью и невозможностью быть евреем» (борьба эта кончилась самоубийством 17 октября 1978 г.), так сказал об этом: «Все арийские узники, хотя и оказались в одной пропасти с нами, евреями, стояли выше, более того, были отделены от нас расстоянием в несколько световых лет... **Еврей был жертвенным животным.** Ему предстояло испить чашу до последней, горчайшей капли. Я выпил ее. Вот тогда до меня и дошло, что значит быть евреем».

Что такое «христианство после Освенцима»? Какой смысл имеет тема Освенцима в современной христианской теологии? Первый подход к этой теме можно сформулировать так: «Евреев уничтожали не христиане, а нацисты и их пособники (хотя в большинстве они были крещеными и воспитывались в христианской среде, а некоторые продолжали считать себя членами Церкви). Но ответственность за то, что это стало возможным, лежит **и на христианах**».

Какого рода ответственность имеется в виду? В 1946 г. известный немецкий философ Карл Ясперс опубликовал книгу «Проблема вины», в которой говорилось о «немецкой вине», т. е. о вине немецкого народа за преступления против человечества, совершенные национал-социалистами. Эта книга стала значительным явлением в духовной жизни послевоенной Германии. Подобной постановки вопроса ожидаешь и здесь, в разговоре о «христианстве после Освенцима». Но на самом деле речь идет не о «немецкой вине», перенесенной в область религии и теологии, а о чем-то более фундаментальном. В современной христианской (причем не только немецкой) теологии обсуждается главным образом не морально-политическая ответственность христиан за Голокауст, а вопрос о смысле собственно «христианского» после Катастрофы, вопрос о содержательном ядре христианства перед лицом Голокауста.

Философ и теолог Пауль Тиллих (1886—1965), один из наиболее значительных творцов христианской мысли нашего века, сказал, что христианин сейчас «не может присоединиться к хору тех, кто живет в мире неопровергнутых утверждений». Я прошу читателя обратить внимание на эти слова, они будут важны в нашем дальнейшем разговоре. Тиллих имел в виду не Голокауст, а современный кризис доверия ко всем наличным мировоззренческим системам, в том числе и к христианству. Однако словами Тиллиха можно выразить исходную смысловую установку **теологии-после-Освенцима:** сейчас, после Катастрофы, христианин больше не может жить «в мире неопровергнутых утверждений».

Почему геноцид евреев вызвал у христиан кризис доверия к содержанию собственной веры? Мы будем говорить об этом подробно. Но сразу замечу: западное христианство сегодня было бы, подобно коммунизму, мертвой идеологией, если бы этот кризис, пусть с большим опозданием, все же не начался. Самые первые попытки христианского осмысления Голокауста относятся к концу 60-х годов. Так что мы обсуждаем направление христианской мысли, которое **начинает** развиваться на наших глазах. Еще в 1968 г. еврейский философ Эмиль Факенхейм с полным правом говорил: «Нееврейский мир избегает темы Освенцима из ужаса перед ней, но также и потому, что эта тема подразумевает вину — реальную или воображаемую — за случившееся».

Исторически я бы выделил здесь три этапа продвижения в глубину проблематики.

1. Признание морально-политической ответственности церквей за Голокауст. Речь идет о том, что уже после прихода Гитлера к власти церкви — протестантская и католическая, европейские и американские — могли бы выступить в защиту евреев, но не сделали этого. Такое признание собственной ответственности содержится, например, в «Резолюции об обновлении отношений между христианами и евреями», принятой Рейнландским (земельным) синодом немецких протестантов в 1980 г.

2. Христианские теологи начали исследовать многовековой **церковный антииудаизм** как один из источников современного **расистского антисемитизма.** Долгая история церковной вражды к евреям стала теперь приобретать новый, зловещий смысл. Например, правила IV Латеранского собора (1215 г.) относительно режима, который должен был быть создан для евреев внутри христианского общества, оказались сравнимыми с нацистским расовым законодательством. Собор даже постановил, что евреи должны носить отличительные знаки на одежде, как прокаженные или проститутки. Это предвосхитило предписание от 1 сентября 1941 г., согласно которому евреи на контролируемой Рейхом территории должны были нашить на одежду желтые шестиконечные звезды.

Христиане начали замечать голоса свидетелей, переживших Голокауст. Тут следует хотя бы упомянуть имя Эли Визеля, подростком попавшего в Освенцим. Эли Визель стал всемирно известным писателем, лауреатом Нобелевской премии мира, «вестником для всего человечества», как сказал о нем известный христианский теолог Роберт Макафи Браун, написавший книгу о его творчестве. Для христиан, начавших понимать, о чем идет речь, стали важны также голоса еврейских философов, теологов и историков, писавших о Голокаусте. Поэтому и мы будем прислушиваться к ним.

Черты сходства между раннехристианским и средневековым каноническим правом, с одной стороны, и нацистским законодательством, с другой, подробно разобрал историк Катастрофы Рауль Хилберг в своем фундаментальном труде «Уничтожение европейских евреев». По мнению Хилберга, нацистское «окончательное решение еврейского вопроса» следует рассматривать в преемственности с христианским преследованием евреев. Хилберг выделяет три типа антиеврейской политики, хронологически следовавшие один за другим начиная с IV в. н. э. — с тех пор, как христианство стало государственной религией в Римской империи: обращение в христианство, изгнание (в том числе изгнание в гетто) и уничтожение. «Христианские

миссионеры,— пишет Хилберг,— говорили нам, в сущности, следующее: вы не имеете права жить среди нас как евреи. Пришедшие им на смену светские правители провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. Наконец, немецкие нацисты постановили: вы не имеете права жить... Таким образом, этот процесс начался с попытки насильно обратить евреев в христианство. Развитием этого процесса стало изгнание преследуемых. И в конце этого процесса евреев обрекли на смерть. Следовательно, нацисты не отбросили прошлое; они основывались на нем. Не они начали этот процесс, они лишь завершили его».

На этом этапе христианские теологи впервые задумываются над темой «антииудаизм в Новом Завете». Они обнаруживают юдофобский потенциал Нового Завета, потенциал, который сполна реализовался в истории Церкви. Чуть дальше я попробую объяснить, на чем основываются эти необычные для русского культурного сознания представления.

3. От Нового Завета естествен переход к самому глубокому пласту — к смысловому центру христианства, к христологии — христианскому учению об Иисусе из Назарета как о Мессии (Христе) и Сыне Божьем и к вытекающему отсюда универсальному притязанию христианства. Внутренние закономерности размышлений над всеми этими новыми вопросами привели некоторых теологов к убеждению, что после Освенцима и смысловой центр христианской догматики должен выглядеть по-иному.

Конечно, для такого осмысления требуется честность и готовность к мучительным усилиям по пересмотру всей традиции. Я бы сказал, что для последовательного теологического продумывания Голокауста христианам требуется известное мужество — мужество задать вопрос об основах собственного мировоззрения.

Неизбежность поворота в христианской мысли очень точно выразил в 1979 г. немецкий лютеранский теолог Фридрих-Вильгельм Марквардт: «Сегодня Освенцим надвигается на нас как суд над нашим христианством, над прошлым и нынешним образом нашего христианского бытия, и более того — если смотреть глазами жертв Освенцима — он надвигается на нас как суд над самим христианством. И еще: Освенцим надвигается на нас как призыв к покаянию-обращению. Должна измениться не только наша жизнь, но и сама наша вера. Результатом осмысления Освенцима должны стать не только этические, но и вероучительные последствия. Освенцим зовет к тому, чтобы сегодня мы услышали Слово Божие совсем не так, как нам передали его наши теологические учителя и проповедники старших поколений. Это покаяние-обращение затрагивает сущность христианства, как мы понимали ее до сих пор».

II

Чтобы разобраться, почему сами западные христиане пришли к мысли о необходимости таких изменений, и чтобы лучше увидеть, что именно они хотят изменить, я предлагаю вместе перечитать текст, недавно ставший широко доступным и многим, вероятно, запомнившийся,— статью Н. А. Бердяева «Христианство и антисемитизм». Надо иметь в виду, что эта работа Бердяева не относится к числу его малоизвестных или забытых произведений; напротив, ее всегда знали специалисты, ее переводили на иностранные языки. Политическая ориентация опубликовавших ее «Дружбы народов» и «Огонька» позволяет предположить, что эти журналы решили использовать произведения одного из самых уважаемых русских философов как «старое, но грозное оружие» в борьбе с растущим антисемитизмом, культивирование которого стало исходным пунктом также и наших рассуждений.

Это эссе Бердяева о религиозной судьбе еврейства — таков его подзаголовок — позволит нам увидеть «прошлый образ нашего христианского бытия» (Ф.-В. Марквардт), т. е. некоторые важные для нас аспекты той теологии, с которой в эпоху Освенцима входили даже наиболее чуткие христианские мыслители. Бердяев написал это эссе в начале 1938 г. как опыт христианского ответа на расистский антисемитизм немецких нацистов.

Но наш разговор — о западном христианстве, и мы могли бы рассмотреть известные работы крупнейших западных теологов, написанные в то же время и с той же целью — дать христианское обоснование борьбе с нацистским антисемитизмом. Однако круг идей, занимающих нас сейчас, одинаково отчетливо выражен и у этих теологов, и у Бердяева: ведь дело идет об идейном наследии, общем для разных христианских традиций.

Тем важнее для нас обратиться именно к работе Бердяева.

Историк христианской мысли, читающий этот текст сейчас, в эпоху после Освенцима, когда начался еврейско-христианский диалог, в котором христиане пытаются смотреть на себя глазами жертв Освенцима (Ф.-В. Марквардт) и учатся слушать голоса евреев,— историк отметит у Бердяева как автора трактата о религиозной судьбе еврейства прежде всего отсутствие интереса к реальной истории евреев. Не то чтобы Бердяев не знал еврейской истории и еврейской мысли. Он ссылается на Франца Розенцвейга и Мартина Бубера, на еврейского историка середины XIX в. Сальвадора, написавшего жизнеописание Иисуса из Назарета, на некоторые эпизоды из истории евреев последних двадцати веков. Но история евреев — «то, что произошло на самом деле» — не становится у Бердяева предметом осмысления, потому что

ее место у нашего философа заняла их религиозная судьба, которая при ближайшем рассмотрении оказывается интерпретацией истории евреев, с необходимостью следующей из христианского учения.

Так, в начале статьи Бердяева мы встречаем положение, на котором автор основывается как на чем-то самоочевидном: «Евреи народ особой, исключительной религиозной судьбы, избранный народ Божий, и этим определяется трагизм их исторической судьбы. Избранный народ Божий, из которого вышел Мессия и который отверг Мессию, не может иметь исторической судьбы, похожей на судьбу других народов».

Я не предлагаю читателю подумать о том, какой смысл приобрели бы эти благочестивые слова о закономерном трагизме еврейской судьбы, если бы они прозвучали на краю киевского Бабьего Яра через три года после их написания — в последние дни сентября 1941 г., когда в Яр легли десятки тысяч киевских евреев, земляков Бердяева, который первые 24 года своей жизни провел в Киеве. Не предлагаю потому, что никакого нового смысла они бы не приобрели: «историческая судьба» евреев, на которую их обрекли христианские народы, в Бабьем Яре просто продолжалась. Гитлеровцы были не первыми, кто устроил массовое уничтожение евреев на Украине. Их предшественником был Богдан Хмельницкий, один из самых страшных злодеев в памяти еврейского народа.

Задумаемся лучше над тем, какое теологическое обоснование дает Бердяев этой судьбе: «Избранный народ Божий... отверг Мессию». Принимая это положение, Бердяев развивает тему о христианском антисемитизме: «Религиозный антисемитизм есть в сущности антииудаизм и антиталмудизм. Христианская религия действительно враждебна еврейской религии, как она кристаллизовалась после того, как Христос не был признан ожидаемым евреями Мессией. Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа — явления духовно различные». Все эти классические постулаты теологического антисемитизма Бердяев тоже принимает и идет дальше. Он соглашается и с известным обвинением евреев в богоубийстве, и с представлением о том, что евреи в своей истории несут за это проклятие:

«Еврейский народ сам себя проклял, он согласился на то, чтобы кровь Христа была на нем и на его детях. Он принял на себя ответственность... Таково обвинение. Но ведь евреи же первые и признали Христа. Апостолы были евреи... Еврейский народ кричал «распни, распни Его». Но все народы имеют непреодолимую склонность распинать своих пророков, учителей и великих людей... И не только евреи распяли Христа. Христиане или называвшие себя христианами в течение долгой истории своими делами распинали Христа, распинали и своим антисемитизмом...»

Тут Бердяев повторяет древнюю клевету на евреев, которую можно сравнить лишь с кровавым наветом, т. е. обвинением евреев в ритуальных убийствах иноверцев, которое в средние века часто было предлогом для массовых гонений на евреев.

В самом деле, что значат слова «евреи отвергли Христа»? Легко убедиться в том, что отвержение Христа, т. е. сознательное непризнание евреями Иисуса из Назарета своим Мессией, относится не к истории еврейского народа, а к истории христианского вероучения. Принято считать, что Иисус был распят по приговору римского префекта Иудеи в 30 г. I в. общепринятого летосчисления. Его последователи в Палестине, христианская первообщина, состоявшая из соблюдавших Закон евреев, была немногочисленной и воспринималась теми, кто знал о ее существовании, как часть фарисейского движения. (Об этом свидетельствует историк Иосиф Флавий.) Первая половина I в. в Палестине характеризуется растущей политической напряженностью, партизанской борьбой зелотов (сторонников «священной войны» против Рима) с римской оккупацией, частой сменой римских наместников и зависимых от римлян местных правителей, обилием религиозно-политических партий и течений, появлением мессианских претендентов, одним из которых, вероятно, был и Иисус из Назарета. В целом страна медленно сползала к Великому Восстанию 66—73 гг. Поражение восстания, разрушение Храма, утрата народом последних остатков национальной государственности, гибель и продажа в рабство сотен тысяч палестинских евреев — все это стало началом новой эпохи в истории еврейского народа.

Если учесть, что этот период (до Восстания) был отмечен бурным расцветом религиозного творчества в еврейской общине, что резко отличает «ранний иудаизм» той эпохи от классического иудаизма, возникшего после поражения антиримского восстания, когда началась консолидация вокруг формирующейся ортодоксии, то можно сказать: с точки зрения историка Иисус и его последователи, так же как, например, Иоанн Креститель и его последователи,— одна из групп внутри плюралистичной структуры раннего иудаизма. Поэтому повторяемое Бердяевым положение о том, что «еврейский народ отверг Мессию», не имеет исторического смысла. В истории еврейского народа такого события просто не было.

Я не буду отвлекать внимание читателя сведениями об истории евреев конца I и II—III веков, это уведет нас слишком далеко от нашей главной темы — «Христианство после Освенцима». Упомяну лишь о том, что незадолго до 120 г., когда существовала опасность полного запрета практиковать еврейскую религию, когда против римлян восстала диаспора и назревало новое восстание в

Палестине, синедрион отлучил евреев-христиан от общины как ненадежных членов (еврейский источник называет их «доносчиками»). Это решение, впрочем, было одинаково маловажным как для еврейской общины, так и для Церкви, в которой тогда уже преобладали христиане из язычников и которая практически не заметила этого решения. Важно здесь то, что Церковь на очень раннем этапе эллинизировалась и пополняла свои ряды за счет обращения язычников, так что в реальной истории II—III веков еврейская и христианская общины не очень сильно соприкасались между собой.

Впервые в истории евреи как община получили шанс «отвергнуть Иисуса Христа» лишь после того, как христианство стало в IV веке государственной религией в империи и Церковь, опираясь на мощь государства, начала ограничивать евреев в правах, принуждая их к крещению. Это ситуация, которую я уже описывал словами Рауля Хилберга.

Но самую зловещую роль в истории христианских гонений на евреев сыграло принимаемое Бердяевым обвинение евреев в том, что они «распяли Христа» и теперь несут на себе проклятие, коллективную ответственность за то, что стало называться преступлением «богоубийства». Чудовищные последствия традиции проклятия таковы, что после Голокауста даже католическая церковь пришла к необходимости отмежеваться от этой традиции в декларации (1965 г.) Второго Ватиканского Собора:

«Хотя еврейские руководители со своими сторонниками потребовали смерти Христа (Евангелие Иоанна, XIX, 6), тем не менее то, что произошло в Его страстях, не может быть вменено в вину ни всем без различия евреям, жившим в то время, ни современному еврейству. И хотя Церковь — это новый народ Божий, не следует считать, что евреи отвергнуты и прокляты Богом, как если бы это вытекало из Священного Писания».

Это с трудом выдавленное из себя Собором половинчатое признание поможет нам понять, как возникла идея о том, что «евреи отвергли Христа», и как возникло представление о богоубийстве и проклятии.

Конечно, наше Священное Писание, Новый Завет, содержит начатки учения, согласно которому «евреи отвергнуты и прокляты Богом». Авторы Декларации лукавят. Интереснее другое: соборная Декларация ясно указывает на то, что это учение связано с другой теологической идеей, тоже восходящей к Новому Завету,— с концепцией Церкви как «нового народа Божьего», или нового Израиля.

Связь этих двух комплексов идей объясняет значительную часть новозаветного антииудаизма и возникшей на его основе христианской юдофобии.

Давайте подумаем: что могла значить для судьбы евреев новозаветная идея Церкви как нового избранного народа Божьего, нового Израиля? Только одно: устранение «старого Израиля» из истории как сыгравшего свою роль источника единственно-верного учения. Поэтому христиане назвали еврейские Писания Ветхим Заветом, т. е. утратившим силу законом, противопоставляя его содержание Новому Завету, т. е. спасительному откровению Бога во Христе, новому божественному декрету, отменившему старый.

Идея «нового Израиля» подразумевает христианскую версию истории спасения — версию, которая начала формироваться уже в посланиях апостола Павла (напр., Послание к Римлянам, IX—XI) и в евангелии Луки. Здесь дается ответ на вопрос: как бывшие язычники стали новым избранным народом? Так как понятие избранного народа и идея истории спасения заимствованы христианами из еврейской Библии, то и ответ на этот вопрос должен был включать упоминание о «старом» избранном народе.

Этот ответ можно резюмировать примерно так: Бог совершил спасительное деяние, послав людям своего Сына, который «вочеловечился» как член народа Божьего — Израиля. Явление Христа — решающее событие истории спасения, т. е. истории того, что произошло между Богом и людьми. Предварительным этапом истории спасения, на котором шла подготовка к этому событию, была история отношений между Богом и Израилем, описанная в Ветхом Завете. Каждый человек, согласившийся с истинностью вести о спасении во Христе и выполнивший определенные условия, становился членом общины «спасенных», т. е. христианской Церкви.

В обычной, несвященной истории этому соответствовал тот факт, что Церковь пополнялась главным образом за счет язычников, эллинизированного населения Римской Империи, духовные потребности которых удовлетворялись христианским учением, которое, в свою очередь, уже со времен Павла (50-е годы I века) в своем развитии ориентировалось именно на эллинистический мир.

Таково происхождение исходных постулатов христианского антисемитизма, согласно которым «евреи отвергли Христа, распяли Его и несут за это вечное проклятие».

Христиане узурпировали еврейскую идею истории спасения, которая в качестве сакральной истории охватывала не только все прошлое от сотворения Адама, но и все будущее — до Последних дней, когда Бог положит конец миру; они вытеснили Израиль из этой истории, заместив его Церковью и оставив евреям место лишь в прошлом. Заодно христиане присвоили и всю еврейскую Библию в качестве первой части христианского Священного Писания, истолковав ее как собрание пророчеств о Христе.

Однако настоящий, т. е. «старый», Израиль был все еще жив, и ранней Церкви пока что приходилось мириться с

этим фактом, давая ему теологическую интерпретацию, с новозаветными истоками которой мы познакомились. Так возник миф о дурных евреях, отвергших Спасителя и распявших его. Но спасительным событием стала считаться сама смерть Иисуса, толкуемая христианами из язычников как искупительное жертвоприношение Сына Божьего. И здесь появляется самая зловещая сторона мифа о дурных евреях: в христианском сознании они стали служителями дьявола и врагами Бога, намеренно умертвившими Спасителя и тем самым — помимо воли — ставшими орудиями Провидения. Евреям, к их несчастью, досталась функционально важная роль в христианском мифе. Так, в евангелии Матфея мы находим представление о Церкви как о подлинном Израиле, по отношению к которому сбываются обетования Ветхого Завета, а также пароль христианского антисемитизма: «Весь народ сказал: пусть кровь Его будет на нас и на детях наших» (27 : 25). Что же касается евангелия Иоанна, то в нем есть текст, ставший ключевым для христианского варианта идеи жидо-масонского заговора: «Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять желания отца вашего» (8 : 44). У Иоанна «иудеи» вообще и «фарисеи» в особенности — символ неверия и духовной слепоты.

Теперь мы можем понять, что значат процитированные выше суждения Бердяева, в частности, такое: «Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа — явления духовно различные». Ясно также, почему у Бердяева еврейское сознание времен возникновения христианства характеризуется как «закостенелое», хотя историческая оценка была бы противоположной: это сознание было очень подвижным и быстро развивалось. Наш философ просто воспроизводит общие места христианской традиции, отрицавшей положительную ценность иудаизма в «христианскую» эпоху. Исторические сведения не вписываются в эту традицию и поэтому не играют заметной роли в бердяевской концепции «религиозной судьбы еврейства».

В последней части своего эссе Бердяев спрашивает: «Разрешим ли еврейский вопрос в пределах истории?» Четкого ответа в эссе нет, но теперь читатель легко догадается, какой исход кажется Бердяеву наиболее приемлемым: конечно, обращение евреев в христианство. Вот что он пишет: «Мы живем в эпоху не только зверского антисемитизма, но и все увеличивающегося количества обращений евреев в христианство... Религиозные антисемиты могут видеть единственное разрешение еврейского вопроса в обращении еврейского народа в христианство. В этом с моей точки зрения есть большая правда». Дальнейшие рассуждения сводятся к тому, что в отличие от христиан-антисемитов Бердяев настаивает на строгом соблюдении принципа добровольности в этом деле и не считает «естественным погром... при несогласии евреев обратиться».

Константин Леонтьев назвал христианство Льва Толстого и Федора Достоевского «розовым». Религиозные убеждения Николая Бердяева на основании этого эссе можно было бы охарактеризовать как «христианство с человеческим лицом», т. е. «приверженность традиции минус погром». Эта позиция подкрепляется у Бердяева фразами, которые теперь воспринимаются как нестерпимая псевдоблагочестивая фальшь: «Для обращения евреев в христианство очень важно, чтобы сами христиане обратились в христианство, т. е. стали христианами не формальными, а реальными».

Чем же аргументируется высказанное в эссе убеждение Бердяева, согласно которому христианство на самом деле несовместимо с антисемитизмом, а «антисемитизм неизбежно должен выявить свою антихристианскую природу»? Бердяев приводит два доказательства. Одно из них внешнее: германский расизм «имеет совершенно не христианские корни». Имеется в виду исторический факт сдержанного отношения национал-социалистов к христианству. Собственно христианское доказательство сводится к напоминанию о еврейских корнях христианства. Мы уже видели, что анализ «еврейских корней» помогает объяснить характер христианской юдофобии. Но доводом против антисемитизма это напоминание может служить только на эмоциональном уровне, вроде восклицаний о еврействе Марии, Иисуса и апостолов, с чего и начинается статья. История показывает полную неэффективность таких доводов и ссылок на «общее наследие»: к сожалению, они никогда еще не помогали.

Разумеется, к предпосылкам рассуждений Бердяева относится представление о христианстве как о квинтэссенции всего высокого и прекрасного. Это представление обнаруживается в многочисленных пышных сентенциях вроде следующих: «Ненавидящие и распинающие не могут быть названы христианами, сколько бы они ни били поклонов... Христианам прежде всего подобает защищать правду... Именно христианам подобает защищать достоинство человека, ценность человеческого лица, независимо от расы...»

Может, это и так. Однако Бердяеву, видимо, не приходилось думать о том, что еврей, член общины веры Израиля, может оказаться религиозно важен для него, Бердяева, именно благодаря своему еврейству, а не как потенциальный неофит.

Заканчивая разбор этого текста, я бы хотел заверить читателя, что не стремился создать у него неблагоприятное мнение о Н. А. Бердяеве. Как и многие мои сверстники, выросшие в нерелиги-

озной среде, я в свое время именно из книг Бердяева почерпнул свои первые сведения о христианстве и всегда буду благодарен их автору.

Ведь, повторяю, речь идет об общем достоянии христианской теологии — о том, что казалось самоочевидным до Освенцима. Скажем, величайший из русских философов В. С. Соловьев, известный своей юдофилией, обладавший огромными знаниями в области истории евреев и талмудической традиции, специально выступавший в защиту Талмуда от антисемитских наветов, разделял тем не менее все те общие места, которые мы рассмотрели на примере эссе Бердяева. Дело в том, что после Голокауста начал меняться сам язык теологии.

Ссылка на русских христианских писателей в связи с нашей темой важна еще и потому, что «Освенцим» для нас не должен быть просто именем-шифром, вызывающим в сознании образ ГУЛАГа. Создание таких культурных ассоциативных связей и само по себе было бы гнусным делом, так как каждая невинная жертва уникальна и не должна становиться поводом для политических спекуляций. Кроме того, мы не имеем права противопоставить Освенцим ГУЛАГу по признаку «чужое — свое». Ведь значительная часть Голокауста происходила на территории нашей страны. Из шести миллионов евреев, умерщвленных во время Голокауста, полтора миллиона были гражданами СССР в старых (до 1939 г.) границах. Гитлеровцы не смогли бы сделать этого без помощи коренного населения. Так же как и во всех оккупированных странах, судьба евреев часто бывала в руках национального большинства. Каждый знает, как датчане спасли практически всех своих евреев. Гораздо меньше известно у нас о том, что коренное население оккупированных нацистами территорий СССР активно участвовало в уничтожении евреев. А ведь историки знают даже о погромах, которые местное население устраивало после ухода Красной Армии и до вступления гитлеровцев *. А в Израиле известны и имена «праведников народов мира» из нашей страны, — тех, кто спасал евреев в годы Катастрофы.

III

До сих пор я пытался хотя бы отчасти прояснить следующее: почему во время Голокауста церкви не выступили в защиту евреев; почему после Голокауста христиане не могут жить «в мире неопровергнутых утверждений», в том числе и догматических утверждений об Иисусе из Назарета; почему у западных теологов возникла мысль о том, что осмысление Голокауста должно иметь для христиан вероучительные последствия.

Теперь мы обратимся к содержанию «теологии-после-Освенцима».

Вот что говорит о возможных направлениях пересмотра, обращаясь к христианам, еврейский теолог Эмиль Факенхейм: «Соответствует ли изменение в христианском отношении к евреям по своей радикальности тому, что после Освенцима стало категорическим императивом? Церковному христианству легче всего отбросить древнее обвинение в богоубийстве, труднее — увидеть корни антисемитизма в Новом Завете, но самое трудное для него — признать тот факт, что евреи и еврейская вера все еще живы. Сохранение еврейства после прихода христианства оказалось неудобным обстоятельством для теологов, они стали воспринимать иудаизм как некое ископаемое, анахронизм, тень... Нелегко признать, что и евреи, и еврейская вера прошли несломленными через целую эру христианства».

Мнение Факенхейма согласуется с тем, что мы отметили при разборе статьи Бердяева. И теперь мы можем взглянуть на дело шире. Ведь речь идет не о хирургическом лечении «больного» христианства путем отсечения негодных элементов доктрины и не о безоговорочной капитуляции, т. е. не о признании христианской веры чем-то порочным, более не способным распрямить человека. Нет, речь идет об ориентации в мире, где уже не осталось неопровергнутых утверждений. Стало быть, тут возникает творческая задача обновления самых основ христианской идентичности.

Вот что писал о прежней христианской идентичности, рухнувшей после Голокауста, христианский историк Роберт Эриксен: «Христианство настолько смешалось с целым набором культурных факторов, что его уже невозможно извлечь в чистом виде. Христианство — это немецкая культура. Христианство — это нравственность среднего класса. Христианство — это уважение к власти. Христианство за закон и порядок. Христианство на стороне «положительных» социальных групп в их борьбе против анархии. Именно в подобных воззрениях причина того, что очень многие христиане приняли национал-социалистическое движение за религиозное возрождение».

Таким образом, необходима новая концепция отношений между Церковью и государством, новое осмысление связи между «христианским» и «национальным», и самое главное — новая постановка вопроса о религиозной истине. То, что христианство «до Освенцима» было неспособно признать самостоятельную ценность иудаизма, мы должны истолковать как указание на центральное место нового понятия о религиозной истине в «теологии-после-Освенцима». Речь идет о содержании христианского кредо и о связанном с ним вопросе об универсальном притязании христианства на выражение полноты истины, о его притязании исключить или ограничить истинность других религий и мировоззрений.

Мы вернемся к этому вопросу после краткой характеристики проблематики «христианское и национальное». В теологии культуры «до Освенцима» господствовал следующий постулат: христианство составляет **ценностный стержень национальной культуры.** Национальная культура обладает ценностью в той мере, в какой она — христианская культура.

В более вульгарном варианте это соотношение меняется на обратное, и христианство воспринимается как **часть** национальной культуры. А на практическом уровне эти концепции сливаются, они неразличимы, и мы можем наблюдать «национально-религиозные движения».

И здесь «теология-после-Освенцима» приходит к выводу о том, что несостоятельность христианства в нацистской Германии перед лицом Голокауста поставила под вопрос самое возможность совмещения «христианского» с «национальным».

И теперь, воспользовавшись процитированными словами Роберта Эриксена, я сформулирую центральный для рассматриваемого теологического направления вопрос: как могло бы выглядеть после Голокауста «христианство, извлеченное в чистом виде»? Размышления над тем, что называют «теологией после Освенцима», подводят к следующему выводу: это было бы христианство, выработавшее собственную политическую культуру, не зависящую от характера политических режимов; христианство, отказавшееся от всякой опоры на национальные ценности и традиции; наконец, христианство, релятивировавшее собственное притязание на причастность к абсолютной истине и изменившее вытекающие из этого притязания миссионерские установки. Как мы видели, последнее дается с наибольшим трудом. Известный католический теолог Иоганн-Баптист Метц спрашивает в этой связи: «Готово ли и способно ли христианство — и если да, то в какой мере — признать мессианскую традицию иудаизма в ее неотчуждаемой самобытности, признать ее продолжающееся мессианское достоинство — и при этом не предавать и не унижать содержащуюся в христианстве христологическую тайну?»

Я бы сформулировал этот вопрос в более общем виде: как можно с последней серьезностью относиться к своей истине — и с такой же серьезностью принимать существование «чужих» истин? Может ли плюрализм значить нечто большее, чем способ мирного сосуществования в мировоззренчески расколотом мире? Возможно ли, чтобы плюрализм стал положительной ценностью в самом христианстве, т. е. христианской ценностью?

IV

Но для ответа на этот вопрос я должен обратиться к понятию **веры.** Если вера — это согласие с истинностью ряда утверждений, то она, конечно, несовместима с сомнением, которое подразумевается при серьезном отношении к чужим взглядам. Как говорится в таких случаях, сомнение разрушает веру. Если же мы, вслед за Паулем Тиллихом, определим веру как **захваченность тем, что касается меня безусловно** («захваченность» в смысле «плененность»), т. е. поймем веру как способ существования, то сомнение становится необходимым элементом такой веры. Если вера как безусловная отдача («захваченность») связана с риском (это утверждение привычно для многих традиций христианского благочестия), то, как говорит П. Тиллих, «сомнение верующего — это сомнение человека, охваченного последним устремлением, имеющим конкретное содержание». Это экзистенциальное сомнение, отличное от методологического сомнения ученого и догматического сомнения скептика. Вера как безусловная отдача заключает мужество, а потому и сомнение, в самой себе. Сомнение оказывается структурным элементом веры, а не психическим состоянием.

И я хотел бы показать, что связанное с этими размышлениями над «теологией-после-Освенцима» понятие веры, отрицающей собственные универсальные притязания, и, конечно, соответствующее такому понятию веры понятие о БОГЕ, — более «благочестиво», чем абсолютистское и «неплюралистическое» понятие веры. Ведь легко понять, что вера, включающая риск и сомнение в свою структуру, подразумевает более «возвышенного», более «божественного» Бога, чем вера, живущая «в мире неопровергнутых утверждений». В самом деле, вера, лишенная элементов риска и мужества, утрачивает характер веры и приобретает черты единственно-верной идеологии. Здесь происходит неблагочестивое умаление Бога, низведение Его на положение идола.

Чтобы пояснить мое представление о плюрализме как о собственно христианской ценности, я обращусь к традиционному в западной теологической мысли различению «последнего» и «предпоследнего». Вполне достоверна (не вызывает сомнения, не связана с риском) лишь безусловность Безусловного, — реальность, которая дана мне столь же непосредст-

---

* О погромах в Литве см. Levin D. On the relations between the Baltic peoples and their Jewish neighbours before, during and after World War II. // Holocaust and genocide studies. An international journal. — Oxford, etc., 1990. — Vol. 5, № 1, pp. 53—66. О погроме во Львове см. Redlich S. Metropolitan Andrei Sheptyts'kyi, Ukranians and Jews during and after the Holocaust. — Ibidem, pp. 39—51. Об участии украинцев, литовцев и белорусов в геноциде евреев на территории, оккупированной нацистами, см. также в фундаментальной монографии Доры Левин о Голокаусте: Levin D. The Holocaust. The destruction of European Jewry 1933—1945. — N. Y., 1973. — P. 247 ff.

венно, как мое собственное «я» (т. е. охваченность тем, что касается меня безусловно). Это область «последнего». Но принятие конкретного содержания этого безусловного — акт мужества, связанный с риском.

Христианин может сказать: Иисус из Назарета стал для меня содержанием моего «последнего», содержанием того, что касается меня безусловно. В нем, в Иисусе из Назарета, Бог открыл мне все необходимое для того, чтобы моя жизнь наполнилась смыслом. Апостол Павел пишет: «А если Законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Послание к Галатам, II, 21). Так и для меня смысл Радостной Вести (Евангелия) выражается в похожем условном периоде: «Если я не беру на себя определенную ответственность, если я уклоняюсь от нее,— то Христос напрасно умер».

Есть слова, которые в нашем сознании связаны с именем немецкого мистика XVII в. Иоганна Шеффлера (Силезского Ангела): «Если нет меня, то и Бога нет». Эти слова встречаются в мистических традициях разных религий. Мистик пытается выразить свой опыт: бытие Бога в каком-то смысле «зависит» от бытия человека. А в Британской энциклопедии, в статье «Философская антропология», я неожиданно нашел слова, с другой стороны касающиеся того же предмета: «Удивительное соответствие есть между темами смерти Бога и смерти человека. («Теология смерти Бога» была популярна на Западе в 60-е годы.— С. Л.). Кажется, что это соответствие выявляет глубинную взаимосвязь между теологией и антропологией... Если в прошлом мысль стремилась прежде всего доказать бытие Бога, то главная трудность для современной мысли — доказать бытие человека». (Я думаю, не нужно подробно объяснять, что вопрос «о бытии человека» возникает в мире, где был Освенцим.)

Так и в моем понимании Вести: в Иисусе Бог уже сделал все, что зависело от Него. А теперь смысл жизни и смерти Иисуса зависит от меня. Если я не беру на себя то бремя следования за Иисусом, о котором говорит Новый Завет, то он «напрасно умер».

Таков мой опыт восприятия смыслового центра христианской Вести. И этому соответствует понятие о Боге как о Том, Кто может дать мне силы взять на себя это бремя.

Конечно, такая теология и такая христология не станут выдвигать абсолютистское притязание на обладание всей полнотой истины. Я воспринял эту веру в Церкви, но не могу притязать на то, что и другие «поверят» в нее. Я даже не испытываю потребности «передать», т. е. как-то навязать ее.

Мое безусловное и «последнее» не обязывает других. И здесь открывается пространство для христианского плюрализма.

Русское православие и новый патриотизм

В первой части этой работы мы говорили об осмыслении западными христианами Голокауста и в этой связи — о специфике христианского отношения к «еврейскому вопросу». Я пытался показать, что эта вроде бы частная тема позволяет увидеть нечто важное в «прошлом и нынешнем образе христианского бытия» и даже заставляет задуматься о «сущности христианства, как мы понимали ее до сих пор» (Ф.-В. Марквардт).

Но, конечно, наша главная тревога и отправной пункт всех рассуждений — рост агрессивного национализма и антисемитизма в русском обществе.

И здесь тоже еврейская тема только кажется частной. У писателя Бориса Хазанова есть слова, над которыми стоит задуматься: «Антисемитизм — это универсальная школа зла». В последнее время немало говорится о сходстве между идеологией современного русского национализма и немецким нацизмом. А для национал-социалистов антисемитизм был чем-то гораздо более важным, чем просто одним из положений их программы. Как известно, деление человечества на «арийцев» и «неарийцев» (под которыми понимались прежде всего евреи) составляло стержень их расистской мифологии. Эмиль Факенхейм пишет: «Евреи в Освенциме были не представителями одной из низших рас, но скорее прообразом, исходя из которого определялось само понятие низшая раса. И движение национал-социалистов достигло успеха лишь тогда, когда стало антиеврейским. И когда все другие нацистские планы потерпели крушение, осталась одна цель — уничтожение евреев».

Говоря о сходстве этих двух видов агрессивного национализма, я предлагаю оставаться на почве исторического подхода к ним и поэтому вовсе не пытаюсь внушить читателю мысль об их идентичности. Тот тип национализма, что прочно связан в сегодняшней политической жизни с названием «Патриотическое объединение «Память», возник в условиях, лишь отдаленно напоминающих Германию после Первой мировой войны. И, конечно броские параллели и констатация реальных черт сходства не заменят исторического анализа.

Поэтому, основываясь на сказанном ранее и следуя общему плану первой части этой работы, я попробую кратко изложить свое понимание «нового патриотизма» (участников движений типа «Памяти» я буду называть патриотами, используя их самоназвание). Затем — и это главное для меня — я разберу православные оценки этого движения — оценки, которые я считаю типичными. Я надеюсь, что такой подход позволит нам увидеть некоторые существенные черты современного русского православия.

I

Новый патриотизм часто уподобляют черносотенству — расистскому национализму протонацистского типа, вышедшему на поверхность политической жизни России в самом начале XX в. и активизировавшемуся в период демократических реформ, начавшихся в 1905 г. Затем русский национализм этого толка развивался в эмиграции, на Дальнем Востоке даже действовала Русская фашистская партия с центром в Харбине. Историческая связь между черносотенством и новым патриотизмом несомненна (например, одно движение получило в наследство от другого «Протоколы сионских мудрецов»), но черты преемственности не должны заслонять специфику нового патриотизма.

Попробуем выделить те специфические черты нового патриотизма, которые обусловлены его возникновением внутри коммунистического сообщества. Я предлагаю двойное утверждение об этой специфике:

1. Содержание идеологии нового патриотизма черпается главным образом из расистской мысли, будь то русской, немецкой или западноевропейской вообще (например, из английских и французских расовых теорий прошлого века).

2. Структура новой национальной идеологии во многом определена структурой той коммунистической идеологии, что до недавнего времени почти безраздельно господствовала в нашей стране.

Стремясь избежать «крупноблочного» мышления, мы должны были бы определить, что здесь понимается под коммунистическим сообществом и коммунистической идеологией. Но это увело бы нас в сторону, так как удовлетворительного определения этих понятий нет, а поэтому я просто выделю те черты коммунистической идеологии, которые существенны для нашей темы.

Итак, под структурными характеристиками коммунистической идеологии здесь имеются в виду тотальность и дуализм. Тотальность — это притязание идеологии дать ответы на все вопросы человеческого бытия, охватить собою все, не оставив открытых вопросов. Дуализм — это четкое определение светлого и темного полюсов, образ социальной реальности, поляризованный по признаку «свои — чужие», «друзья — враги», «прогрессивное человечество — силы реакции».

Можно сказать, что коммунизм в России сформировал ту массовую политическую культуру, внутри которой возник национализм «Памяти». Ведь если рассматривать коммунизм и расизм как наукообразные учения, возникшие в Европе XIX века и ставшие массовыми идеологиями в XX веке, то надо будет отметить их общую особенность: антилиберальный пафос, их общее противостояние либеральным ценностям.

В новом патриотизме, как и в коммунизме, присутствует тотальность, отвечающая потребности в простом и всеохватывающем истолковании социального опыта. Что касается дуализма, то новейший национализм считает темным полюсом, источником всех зол «сионистов», составивших заговор с целью захвата власти над всем миром. Пожалуй, теперь уже всерьез, а не эвфемистически, говорят именно о «сионистском» заговоре, а не просто о «еврейском» или «жидо-масонском». В том, что именно «сионизм» стал ключевым словом для обозначения врага в идеологии нового патриотизма, сказалось и влияние официальной антисионистской пропаганды, влияние созданного ею мифического образа сионизма.

Итак, мы видим, что и для новейшего русского национализма «еврейский вопрос» — не частность. Расистский антисемитизм в форме антисионистского мифа и здесь составляет самый центр программы.

Вспоминается известный афоризм Гегеля из введения к его «Философии истории»: «Единственный практический урок истории заключается в том, что она никогда никого ничему не научила».

Конечно, хотелось бы надеяться, что история тем не менее научит чему-то и сторонников «нового патриотизма». Но нас, простых людей, обывателей, не горящих любовью ни к одному «изму», история Освенцима и история ГУЛАГа должны были бы научить тому, что самое страшное в человеконенавистнических идеологиях — это деление реальности на Абсолютное Добро и Абсолютное Зло, отождествление Зла с каким-либо человеческим сообществом и вытекающее отсюда «окончательное решение» проблемы Зла, попытка уничтожения тех людей, на которых идеология указала как на воплощение темного полюса.

II

Передо мной два текста, авторы которых стремятся дать критический анализ агрессивного русского национализма с православной точки зрения. Это статья Глеба Анищенко «Кто виноват?» (журнал «Гласность» № 15, февраль 1988 г.) и открытое письмо Виктора Аксючица Владимиру Осипову, редактору журнала «Земля» («Гласность» № 18, апрель 1988). Мы вправе рассматривать две эти работы вместе, так как В. Аксючиц пишет: «В целом мое отношение к «Памяти» совпадает с мнением моего соиздателя по журналу «Выбор» Глеба Анищенко».

Авторы обоих текстов воспроизводят обсуждавшийся в первой части этой работы постулат, согласно которому христианство составляет ценностный стержень национальной культуры, а нацио-

нальная культура обладает ценностью в той мере, в какой она — христианская культура. Мы видели, что после Освенцима в западной христианской мысли этот постулат был поставлен под вопрос. Более того, в ходе великой переоценки ценностей, которая началась в эпоху после Освенцима, христианские теологи усомнились в самой возможности совмещения «христианского» с «национальным». Но, несмотря на историческую катастрофу, пережитую нашим народом, подобное по смыслу движение не возникло в русском христианстве.

По мнению Г. Анищенко, «для утверждения христианского миропонимания (а это и есть основа русского национального сознания) необходимо стремиться к положительному, умиротворяющему разрешению проблем, а не к разжиганию вражды и злобы, не к воспитанию национальной безответственности». В. Аксючиц считает, что «среди разрушенного в нашей стране особенно пораженным оказалось патриотическое сознание,— его десятилетиями выжигали из наших душ. **Понятно, что возрождаться безболезненно оно не может** (выделено мной.— С. Л.)».

Размышляя над этими опытами христианской критики новейшего русского национализма, я заметил в них две особенности.

1. Христианский взгляд на проблему неявно отождествляется с идеологической позицией, которую я бы назвал «классическим националистическим антикоммунизмом» — идеологией, враждебной по отношению не только к коммунизму, но и к либерализму. Эта идеология возникла в первой послереволюционной эмиграции. Ее рецепция на отечественной почве произошла в публицистике А. Солженицына, И. Шафаревича, Д. Дудко и др. (впервые в развернутом виде — в сборнике «Из-под глыб», 1974 г.). Православие составляет ее необходимый компонент: «безбожник» не может стать полноценным антикоммунистом в смысле этой идеологии.

В сознании многих политизированных православных младшего поколения этот националистический антикоммунизм приобрел почти канонический авторитет. В 1986 г. автор одного из ответов на самиздатскую анкету о современном православии советовал сомневающимся «почаще перечитывать великолепную «Образованщину» Солженицына, а еще лучше — выучить ее наизусть».

Г. Анищенко исходит из самоочевидного для него «факта, что параллельно с духовным уничтожением русской нации шел другой процесс: формирование русофобии». «Я не буду,— говорит он,— останавливаться на анализе русофобии: он дан в работах А. Солженицына «Наши плюралисты» и И. Шафаревича «Русофобия». Добавлю только, что Аксючиц в статье «Из глубины» весьма точно показал органическую связь коммунизмофилии с русофобией».

Таким образом, те сторонники идеологии националистического антикоммунизма, для личной идентичности которых важнее всего их принадлежность к Русской Православной Церкви (среди них — издатели журнала русской христианской культуры «Выбор» В. Аксючиц и Г. Анищенко), исходят в своих оценках «нового патриотизма» из ряда политических и историософских утверждений, истинность которых сами они, судя по всему, уже не проверяли. Эти утверждения принимаются на веру и, следовательно, теперь уже считаются частью русской христианской культуры.

2. Мировоззрение христианских критиков агрессивного национализма имеет немало общего с идеологией, ставшей объектом их критики. Г. Анищенко пишет: «Если соборность, лишенная религиозной основы, превращается в стадность, то точно так же «всемирная отзывчивость», оторванная от православных корней, создает предпосылки для коммунистического «интернационализма» и космополитизма. Процесс кастрации русского национального сознания шел все эти 70 лет». Такой, считает Г. Анищенко, должна быть точка зрения подлинного христианина, которому русская культура дорога лишь потому, что она, по мнению того же автора, «основана на высшей истине — христианских идеалах». Г. Анищенко соглашается: «Память» поставила вопрос о разрушении русской культуры довольно радикально и правдиво».

Ту же оценку «новому патриотизму» дает В. Аксючиц: «Меня радует, что в «Памяти» впервые во весь голос заговорили о многих животрепещущих наших проблемах... Я считаю, что в определенных кругах столичной интеллигенции бытуют сильно преувеличенные представления об опасностях, исходящих от общества «Память». В. Аксючиц упрекает авторов воззвания «Памяти» от 8 декабря 1987 г. в том, что они «не хотят доходить до некоторых выводов из предлагаемых ими же посылок».

Итак, «Память» и ее православных критиков объединяет любовь к русской культуре и стремление «восстановить национальное самосознание». Г. Анищенко и В. Аксючиц упрекают идеологов «Памяти» в недостаточном антикоммунизме и в неправильном понимании христианства. Г. Анищенко поясняет: «История показала, что культуру народа не спасут отреставрированные храмы, могут даже не спасти и те, где идет служба. Самосознание нации зависит от того духа, который царит в храме. Единственный антипод существующей идеологии — Христианство. Если бы удалось изъять из русской культуры христианский стержень, то она перестала бы приходить в прямое противоречие с коммунистическими идеалами».

Все это напоминает мне один эпизод из истории христианской апологетики,

едва ли известный русскому читателю. В октябре 1930 г. Альфред Розенберг опубликовал антихристианскую, антилиберальную и антиеврейскую книгу «Миф XX века». В январе 1934 г. Адольф Гитлер назначил Розенберга своим «уполномоченным по идеологической работе в партии». Из работы частного лица «Миф XX века» превратился почти что в официальное выражение нацистской идеологии. И тогда теологи Германской евангелической (лютеранской) церкви почувствовали себя обязанными дать ответ на «Миф» Розенберга. Так появились книги Вальтера Кюннета «Ответ на Миф: решение в пользу нордического мифа или библейского Христа», «Миф и Евангелие» Рудольфа Гомана, «Евангелический ответ на Миф XX века Розенберга» Генриха Гюфмайера и др. Вот почему я вспомнил про них: сегодняшний читатель этих критических по отношению к нацистской мифологии сочинений, написанных в середине тридцатых годов, тоже заметит прежде всего черты сходства в позициях евангелических теологов и критикуемого ими Розенберга. Так, В. Кюннет доказывает, что христианин понимает немецкие национальные и расовые ценности **глубже**, чем Розенберг: лишь христианское Откровение позволяет познать Расу, Народ и Государство как порядки сотворенного бытия, укорененные в охранительной воле Бога. Согласно «Мифу XX века» германская раса извечно противостоит тлетворному влиянию еврейской «противорасы». Оспаривая с христианских позиций расистские суждения Розенберга о Ветхом Завете, В. Кюннет добавляет: «тлетворность современного «мирового еврейства» — следствие проклятия, тяготеющего над евреями после того, как они распяли Христа. Розенберг же, отвергая христианство, не может постичь этот глубочайший источник описанной им расовой вражды».

В середине тридцатых годов немецкие теологи еще не понимали, что национал-социализм — это тотальная идеология (в предложенном выше смысле этого термина) и поэтому **ее языком пользоваться нельзя:** на нем можно выразить лишь смыслы, принадлежащие этой идеологии. Это непонимание объясняется историко-культурными причинами: упомянутое изначальное сходство позиций (а точнее, общность ряда принимаемых на веру утверждений) не позволяло христианским оппонентам Розенберга найти точку зрения, необходимую для последовательной и глубокой критики национал-социализма. Такая точка зрения должна быть внеположна объекту критики, т. е. находиться если не «вверху», то хотя бы где-нибудь «сбоку». А евангелические христиане ощущали себя в ту пору внутри бурного подъема национальной жизни.

Выходит, что тогдашнее (первой половины 30-х годов) непонимание того, что христианская церковь не вправе заигрывать с «национальной идеей», исторически объяснимо. Как писал Карл Барт, величайший протестантский теолог нашего века и последовательный враг нацизма, «в Германии было много причин выступить именно за это новое сочетание (христианства с национальной идеей.— С. Л.). Особенно благоприятным оно было для немецкого лютеранства... Оно могло предстать могучим потоком, в котором соединятся разные до сих пор разделенные струи немецкой церковной истории... Казалось, оно поднимет севший на мель корабль церкви и, как приливная волна, наконец-то вынесет его в открытое море национальной жизни».

Это заблуждение так же объяснимо, как объяснима разобранная нами неудачная попытка Бердяева противостоять расистскому антисемитизму, используя традиционный христианский образ иудаизма и евреев.

Но ведь катастрофы нашего века как раз и выявили **несочетаемость** тех взглядов и идеологий, которые раньше казались сочетаемыми (это относится, например, к «союзу» либеральной традиции с национализмом: на таком сочетании были основаны многие политические учения XIX века). Произошло великое разделение в мире идей. Очевидными истинами стали мысли, которые раньше были мнением незначительного меньшинства. И, наоборот, стало невозможным повторить то, что раньше воспринималось как общее место. Католический теолог И.-Б. Метц пишет: «Я даю своим студентам вроде бы простой, но весьма жесткий критерий оценки теологических систем. Спросите себя: могла ли теология, которую вы учите, оставаться одинаковой до и после Освенцима. Если да — то держитесь от нее подальше!»

Теперь такого рода непонимание стало непростительным.

III

Однако это разделение, прояснение и очищение не затронуло нас. Именно поэтому новейшие православные ответы на человеконенавистнический миф русского национализма обнаруживают **отсутствие точки зрения**, которая была бы адекватна задаче настоящего критического анализа. Православная критика не может охватить свой предмет в целом, ей не хватает глубины: ведь, как мы уже видели, у нее нет собственной смысловой позиции. В нашем случае это значит, что у нее нет самостоятельно выработанного понимания христианства,— понимания, вобравшего в себя опыт нашей исторической катастрофы; понимания, вышедшего из размышлений о том, почему в 1917 году «не спасли те храмы, где шла служба», т. е. почему русское православие оказалось несостоятельным перед лицом большевизма, почему Русская Православная Церковь не справилась с делом духовного руководства народом.

Беда не только в том, что авторы-раз-

бираемых работ, как и многие другие современные православные писатели, не могут и не хотят разделить **христианское и национальное**, не только в том, что **они**, как кажется, считают классикой современной христианской мысли «Русофобию» И. Р. Шафаревича, содержащую новую редакцию мифа о всемирном еврейском заговоре и о русском народе как о жертве этого заговора (как мы видели, это основополагающий миф «нового патриотизма»). Хуже то, что неизменной осталась культурная матрица, порождающая подобные высказывания: **образ нашего христианского бытия** остался **прежним** (Ф.-В. Марквардт).

Русское православие продолжает жить «в мире неопровергнутых утверждений», который рухнул под ударами истории XX века. Задача очищения, т. е. критического анализа традиции, вообще не поставлена. Напротив, усилия направлены как раз на сохранение целостности православной традиции, все элементы которой признаются ценными и важными. Поэтому сегодня в России возрождается то самое православие, которое не выдержало испытания и во многих отношениях уже проявило свою несостоятельность.

Я думаю, что наше православное христианство утратило характер **Евангелия**, т. е. радостной вести, «хорошей новости». Взамен оно стало «стержнем русской культуры». Плоть этого нашего православия соткана переплетением своеобразных политических, национальных и духовных устремлений. Произошло нечто очень простое: после того как новые типы самопонимания (например, «коммунистический интернационализм») потерпели крушение, стали возвращаться оттесненные было прежние формы массового сознания: «религиозное» и «национальное». За идеалом не пришлось далеко ходить: он лежал под рукой и готовый к употреблению. Но степень закрытости, непроницаемости этого идеала (вернее, этой идеологии) обнаруживается лишь постепенно в «живом религиозном опыте», о котором у нас всегда так сладостно писали и говорили. «Религиозное» и «национальное» внутри нашего православия слились до такой степени, что «выделить христианскую основу в чистом виде» невозможно, да никто к этому и не стремится.

Естественно, что такое православие не дает настоящей опоры для противостояния расистскому антисемитизму «новых патриотов». В самом деле, мифотворческий национализм голосит: «**Сионизм перешел в открытое наступление на патриотический фронт!**» («Обращение» Совета патриотического объединения «Память» от 1 февраля 1988 г.). А Глеб Анищенко поясняет, что «предлагаемый **Памятью** ответ на вопрос «Кто виноват?» вовсе не фикция, тут в основе лежит реальнейший и серьезнейший вопрос — проблема драматических (если не трагических) отношений между русским и еврейским народами **в русской истории и в русской жизни** (выделено мной — **С. Л.**)».

Как это напоминает ответ лютеранского теолога В. Кюннета на миф о противостоянии арийской и еврейской рас «в немецкой истории и в немецкой жизни»...

Самое большее, чего можно ждать от православных богословов и публицистов в деле противостояния антисемитизму,— это воспроизведения тех утверждений, которыми пользовался и Бердяев:

— христианство вненационально и персоналистично;

— «антисемитизм противен Евангелию Христову, которое обращено ко всем людям без какой-либо расовой дискриминации» (это слова из опубликованного в апреле 1990 г. Заявления нескольких русских православных богословов Зарубежья по поводу роста антисемитизма в России);

— апостол Павел в Послании к Римлянам дал нормативную христианскую интерпретацию иудаизма, сосуществующего с Церковью (избранность евреев не отменена, а лишь приостановлена для того, чтобы дать место язычникам; в конце времен «весь Израиль спасется»);

— не будем говорить о вине евреев в смерти Спасителя, а лучше подумаем о том, что мы сами ежедневно распинаем Его своими грехами.

Вот все или почти все, что могут сказать православные, встревоженные тем, что «некоторые лица и группировки соединяют антисемитизм с Православием» (из Заявления православных богословов). Это относится и к недавним полемическим заметкам Зои Крахмальниковой о «Русофобии» И. Шафаревича.

Мы знаем, что такая теология уже позволила Церкви молчать все те годы, пока нацисты уничтожали Шесть Миллионов.

Молчит Русская Православная Церковь и сейчас, хотя ее зарубежные члены знают: «Еще поныне висит над миром ужас уничтожения евреев во время второй мировой войны».

Боюсь, что она не нарушит молчания: ей нечего сказать в защиту евреев.

Апрель 1988 — сентябрь 1990

Инна БОРИСОВА

Штормовое предупреждение

Здесь важна хронология, и потому сосредоточимся на датировке.

В 1981 году, за пять лет до Чернобыля, В. Астафьев в предисловии к первой повести Г. Медведева «Операторы» писал: «Все чаще и чаще среди рукописей, присылаемых мне на дом молодыми авторами, ощущается «нерв» этой будущей, как мне кажется, литературы — он прежде всего в новизне не только самого материала, но и в осмысливании его, и во взгляде на наше прошлое, да и настоящее, как бы издалека, из опередившего нас спутника — так бывает на марше — более тренированный, выносливый и прыткий молодец опередит отряд и потом с нетерпением, досадой и надменною насмешкою поджидает его... и отставшие ворчат на него, порою досадливо спрашивают: «Куда торопишься-то? Успеем еще. Все туда успеем!..»

Но прогресс окриком и даже мольбой не остановишь. И возникают свои проблемы у литературы, пробующей сблизить нас с наукой будущего, а значит, и с будущим этим самим».

Повесть об операторах атомной станции была написана Г. Медведевым в 1977 году, в 1981 году напечатана в журнале «Литературная учеба», и лишь недавно, в 1988-м, эта повесть опубликована в полном виде [1].

В апреле 1984 года, ровно за два года до чернобыльской аварии, одна из редакций, отклоняя повесть Г. Медведева «Энергоблок», тем не менее признала: «Тема защиты планеты от ядерной катастрофы стала у Вас предметом художественного исследования. Это событие для самой темы и событие для нашей литературы, перед которой открылась новая целина. То, что человек, глубоко осведомленный в ядерной энергетике, связанный с нею профессионально, ежедневной практикой, оказался наделенным недюжинным литературным дарованием и что это дарование сумело себя реализовать, само по себе является примечательным фактом и кажется не случайным. Это значит, пришла пора исследовать соотношение атома и духовной жизни человека. Это знак, сигнал, поданный самой жизнью».

[1] Г. Медведев. Миг жизни. Повести и рассказы. Советский писатель, 1988.

Но напечатан «Энергоблок» был лишь в 1989 году, в первом номере журнала «Дон», а написан в 79-м.

Предупреждение, содержавшееся в обеих повестях, на ход жизни не повлияло, оно замкнулось в авторском сознании. Перекрыв пути своевременной публикации, мы приблизили себя к необратимым последствиям Чернобыля.

Сюжет обгона, сюжет *состязания энергий*, лежит в основе повести «Энергоблок». Образ прущей радиоактивной воды, сбрасываемой в море, и образ встречной энергии человеческого разума, вдруг проснувшегося и рванувшегося ей наперерез, составляют драматургию повести, как две вырвавшиеся из-под контроля стихии. Здесь интересен даже не характер Владимира Ивановича Палина, начальника отдела радиационной безопасности, а взрыв сознания, выброс нравственной энергии, который в нем совершается. Медведев видит своего героя как энергетик. Потрясенную душу он рассматривает как сотрясаемую материю. Как атом уходит из-под контроля разъявшего его человека, так сознание Палина уходит из-под контроля инстанций, которым он подчинен. Палин — человек своей эпохи, живой и обычный ее отпечаток. Крестьянский сын, интеллигент в первом поколении, переброшенный почти от сохи в горнило современной индустрии, он мыслит в категориях, в которых воспитан, которые его плоть и кровь. В аварийной ситуации, возникшей на энергоблоке, развертывается сюжет глубоко исторический.

Пока радиоактивные воды скапливаются на низовых отметках, т. е. в стенах и емкостях пускаемого блока, мы читаем написанное, будто сугубо производственную прозу; когда же они начинают сбрасываться в море и творение Природы превращается в дренажный бак, т. е. становится технической емкостью, в сознании Палина пробегает первая и глубокая трещина,— а под пером автора пробуждается художественность и начинает набирать силу.

Природа в этой повести не вековечна, не всевластна и не является ни обителью, ни символом высших, надличностных сил. Медведев видит природу сквозь дымку окутывающего ее тлена. Пейзаж

и техника проницают друг друга, образуя реальность, в которой химера становится бытом. Но быт обладает способностью быстро обволакивать сознание и его себе подчинять. Быт вкрадчив, стремителен и любит новые территории. В обличье привычного он ослепляет и усыпляет сознание, примиряя его с любой новизной, делая новизну обиходной. Вторжение новой терминологии в поэзию пейзажа кажется кощунственным и разрушительным, но будит и отрезвляет сознание. Ближе к концу повести Палин подумает: «Все происходит так нагло, так классически нагло, что кажется всем должным и закономерным».

«Стыд бывшего крестьянина давил его»,— резюмирует автор. «Эффект колючей проволоки»,— жестко диагностирует крестьянский сын Палин душевное состояние — свое и своих коллег.

Природа физическая и природа нравственная с равной неумолимостью восстают против насилия над собой. «Какая-то приглушенность сознания, совести. ...Массовый конформизм и невежество... Курчатов, и тот не до конца осознавал опасность радиации». Гражданская смелость Медведева была в том, что в положенный час он предупредил: беда у порога, «бомба никого не жалеет, даже когда не взрывается». Его художественная отвага в том, что он дерзнул написать мучение человеческого разума как гул естества, не смиряющегося с обреченностью. Вынужден был дерзнуть. И эта вынужденность тоже прочитывается. Она — в грубоватой поспешности, с которой прорублены ступени палинского прозрения. В прямолинейности его диагностики. Однако в этой поспешности тоже есть печать времени. Это не постепенное восхождение к истине, когда все плавно, этапность неуловима, а связи между персонажами неразличимы и многосложны. Здесь все резко, прямолинейно, почти плакатно.

У Берии — вспоминает Палин — лицо «очень мягких непугающих черт». И — «глаза всесильного хозяина». На той же странице обнаружим «серые, натужные, властные глаза» у «маленького бодрячка», который командует ротой, прибывшей по приказу Берии, таскать на себе плутоний, поскольку «транспортно-технологическая эстакада от корпуса «А» до корпуса «Б» не готова». «Но ведь непосредственный контакт с продуктом... в некотором роде...— начал было начальник завода, но спохватился: — Слушаюсь, Лаврентий Павлович!» «Через семьдесят пять часов все сто человек погибли»,— резюмирует автор.

Маленького бодрячка он видит так же значимо, как и всесильного министра,— иерархия рухнула.

«И всюду первым был Курчатов. Тяжкую ношу взвалил он на себя».

Я иду по тексту повести, соблюдая очередность палинских воспоминаний. Они сцеплены — звено к звену.

«...Разве он жалел себя?.. Вообще Игорь Васильевич, казалось, жаждал личного контакта с нейтронами...» Дальше — случай, похоже, реальный. В нем психология времени — отсюда и достоверность. Пущен первый в Европе атомный реактор. «Прибыли члены правительства.

— Чем вы докажете, что урановый котел работает? — спросили его...

Неспешным шагом Игорь Васильевич пошел на сближение с урановым котлом. Щелчки из динамика участились и постепенно перешли в лавинный треск. Курчатов поднял руку и окинул всех лучистым взглядом.

— Слышите? Сейчас идет ядерный разгон... Я стал отражателем, утечка нейтронов из активной зоны уменьшилась...— И... улыбнувшись, широким жестом пригласил: — Прошу неверующих, подходите...

Присутствующих охватило суеверное чувство. Делегация поспешила удалиться. Бороде поверили...

— Берегите здоровье! — говорили ему.

— Не та задача, чтобы беречь себя! — любил отвечать Курчатов».

Берия, Курчатов или безымянный командир той сотни людей, что таскала на себе плутоний и через трое суток так же безымянно погибла, прописаны в одной системе мышления при всей неравнозначности их способностей, власти и греха. Мышление же самого писателя принципиально антииерархично. Он утверждает равенство всех перед прозрением. Так же, как перед заблуждением. Что участь всеобща и коллективна и что решается она артельно, всем миром,— это Медведевым признается и познается как данность. Атомная тема делает эту рефлексию о коллективизме насущной, как личный интерес. Та производственная авария, которая более полувека была каркасом нашей литературы, омертвляя ее, в атомной энергетике обнаруживает себя как сюжет апокалипсический.

Только через пять лет после первой повести «Операторы», в 1982 году, Медведев приблизился к аварии и написал не канун ее, не подстраховку удавшуюся, не предчувствие, а аварию — случившуюся, непредотвращенную. В повести «Ядерный загар» он взял поставарийную ситуацию. До Чернобыля оставалось четыре года [1].

Трем ремонтникам, «гвардейцам старого ядерного призыва, дергавшим «козлы» еще на бомбовых реакторах», «волкам ядерного ремонта», и такому же гвардейцу и волку, их начальнику Ивану Фомичу Пробкину, предстоит в зоне интенсивного ядерного взрыва выдернуть разрушенную урановую кассету. Как бы ни был высок наш читательский интерес к таинственному миру сверхскоростей и живого лучащегося космоса,

[1] Повесть была опубликована только через пять лет после ее написания, уже после чернобыльской катастрофы, в 1987 г. в журнале «Урал».

жить в этой повести нам предстоит с Васей, Федей, Димой и Пробкиным Иваном Фомичом.

Не надо думать, что полтора куска (1500 рублей) и трехлитровая канистра спирта были единственным стимулом, толкнувшим Васю, Федю и Диму к реактору. Тогда бы и повести не было, а была бы статья или очерк о порядках на АЭС. Эти стимулы скорее ритуал, которым измерена и символизирована смертельная опасность работы. Еще есть чувство долга, а также азарт и достоинство высокого профессионализма — рабочая гордость. Такова клавиатура, которой касаются пальцы искусного исполнителя задания Ивана Фомича Пробкина. Его, бригадира, дело — загнать своих товарищей и себя вместе с ними в «уютненький космос», чтобы исправить очередное головотяпство. Он посылает своих друзей на смерть, как посылал не раз, и себя не щадит в такой же мере, как не щадит их. Но смерть эта не одноразова, а поэтапна. Каждый ремонт откусывает по куску жизни и ускоряет приближение конца. Каждый из них это понимает и ропщет. Для Фомича этот ропот — та же расплавившаяся урановая кассета, которую надо выдернуть. И для того, и для другого требуется мастерство. Он вкрадчив, зорок и гибок, и так же зорко писатель следит за тонкостями его маневра.

Страницы, когда Федя, Дима, Вася и Иван Фомич выдергивают центрального «козла» под остерегающий гул ревунов (избыток радиации и хватаемых рентген), гул столь мощный, что не только в ушах — в ревунах уже мембраны трещат,— страницы эти могли бы служить гимном рабочему классу и его героизму, если бы одновременно с ревунами — но уже подземно, подспудно — не гудела бы в этих сценах ярость повествователя. Кажется, что в повесть вживлен праздничный очерк о героях труда, но гнев повествующего его отторгает как чужеродную плоть. Это внутренний, скрытый сюжет повести, сюжет лирический и полемический в то же время. Проза борется с очерком, жанр с жанром, словно классово чуждые элементы, и тут обнаруживается, что идеологическая догма не справляется с жизнью, лопаются стереотипы управляемого сознания под напором неуправляемой энергии.

Не только о сумеречности сознания, порождаемой нейтронным излучением, постоянно напоминает Медведев, но он описывает и эйфорию, «то самое «нейтронное похмелье», вызванное интенсивным излучением, которое много позже вспоминалось с бравадной усмешкой и тайной гордостью: мол, «смертельно, а весело...». Это состояние написано как соблазн горький, гибельный, и что не менее страшно — управляемый. Самозабвение, удаль и безоглядная жертвенность — эта стихия души, может быть, высшая из нам данных,— в жестких руках Фомича вполне послушны.

Фомич последовательно выдерживает свой собственный стиль. Стиль этот проверен и отработан. Можно было бы заподозрить, что это игра, въевшаяся в его кости. Но сказать так было бы кощунством, потому что не раз на протяжении этой маленькой повести мы увидим, как разъедаема и тленна плоть. «У Ивана Фомича одна ладонь обструплена и оголена до голого мяса ядерным ожогом, а у Петровича — обе». Петрович (директор АЭС Булов) повернул вверх ладони: «В глубине обструпленных ран, под белесоватой пленкой краснела плоть».

Мы вступаем в область, где сопоставление, истолкование, попытка оценки может задеть нравственное чувство. Но живая плоть, краснеющая сквозь белесоватую пленку, сквозь выжженный покров,— это и есть природа, взывающая к познанию и защите. Эта беззащитно краснеющая плоть все время присутствует в воображении автора, она-то и заставляет его видеть без покрова дух своего героя.

Что состояния духовное, нравственное и физическое столь близки и сопоставимы, что структура их и проявления родственны — очень ощутимо у Медведева, и эти сопоставления — не прием вовсе, а реальность, вплывающая в область художественного освоения. Эти параллели прочерчены как явь, как данность: сумеречность сознания от нейтронного облучения такова же, как от рассеянного давления фальши, взрыв самоотдачи, порождаемый нейтронной эйфорией, так же ослепителен, как самозабвенное и жертвенное сознание, что надо не дать обогнать страну в ядерной гонке.

Разговор директора АЭС Булова с Фомичом так же искренен и так же хозяйски снисходителен, как разговор Фомича с ремонтниками. Теплое обаяние патриархальности, отчего очага Медведев видит в момент полного их кризиса, когда иерархия холопства и рабства оказывается губительной для всех ее зон и ступеней. Ликвидируя производственную аварию, медведевские герои попадают в ситуацию конца света. Таковы ТУ — технические условия. В поле их представлений конец света в конце концов и есть производственная авария. В хронике чернобыльской катастрофы, написанной через пять лет после «Ядерного загара», апокалипсическая печать проступит как общедоступная очевидность, как быт, требующий мер, как роковые будни, ждущие технически грамотных распоряжений и мероприятий.

Но в «Ядерном загаре» мы остаемся пока еще в области сказки, страшной, однако все-таки сказки, поскольку герои ее с заданием справились. В «Ядерном загаре» охота, рыбалка, сказка все время мерцают как давнее детство и древняя образность. Мы найдем здесь медведя, волка, быка, козла, гусака, ворона, сазана, лягушку-квакушку. «Козлом» назовут застрявшую урановую кассету. В «гусак» во время извлечения за-

стрявшей кассеты будут сыпаться обломки ядерного горючего. В этих образах душа ищет защиту и хочет набраться сил и устойчивости. Этой домашностью представлений крестьянская Россия пробует освоиться с атомной. Как ни крутит и слепит «ядерная эйфория» и «нейтронное похмелье», раскачка живого сознания нарастает, оно крадется, просачивается, пролезает на передний план. Мелькнувшая обида на то, что будут скрыты подлинные дозы их облученности, для Фомича уже дерзость. Он не знает, как благодарить своих гвардейцев, потому что и трехлитровая канистра спирта, и полтора куска — не плата за этот труд. Он говорит, что дал бы каждому по ордену Трудового Красного Знамени и что они стержневая кость державы — больше нечего у него для них нет — ни в руках, ни в воображении. Он выкладывает все, но мы уже видели, как варварски сжигается эта кость. Где вина, а где жертва — вот в чем остается нам разобраться, хотя познание в отличие от нравственности имеет пределы. Писатель подвел нас к этому рубежу и тут закончил повесть. Федя взваливает Фомича на себя, думая, что он пьян, а он мертв. «Полуторатысячная пачка банкнотов выскользнула из кармана покойного и нырнула в сугроб».

Чернобыль сквозь призму «Хроники» [1]

Приступая к хронике чернобыльской катастрофы, Медведев пишет: «Проследим день за днем, час за часом, как развивались события в предаварийные и аварийные дни и ночи». Последняя дата, которая фиксируется в Хронике,— первая годовщина аварии. В мае восемьдесят седьмого года, завершая свое произведение, Медведев пишет: «В конечном счете это мучает больше всего: те рассеченные радиацией нити хромосом, убитые или изуродованные гены, они уже ушли в будущее».

Хроника остается с открытым финалом, ибо само событие обречено не иметь финала, оно принципиально бесконечно. Но жанр ограничивает себя фактами и лицами, доступными обозрению и осмыслению.

В поле зрения писателя — взорвавшийся реактор и люди, оказавшиеся в зоне взрыва по долгу службы, по месту жительства. Реконструкция реального события, тем более столь масштабного и трагического, требует воображения и фантазии в не меньшей мере, чем высокий художественный вымысел.

Да, автор подчинен дисциплине сюжета, который предложила реальность, и списку действующих лиц, ею обозначенных. В рамках этой дисциплины и этого штатного расписания он должен осуществить свою свободу исследователя. Без этой свободы ему делать нечего.

Мы говорим о «Чернобыльской хронике» как о суверенном явлении жизни не потому, что Медведев бесспорен или неопровержим (здесь вполне возможны неточности и тем более свободные субъективные оценки), а потому, что перед нами и хроника событий, и — одновременно — ценнейший документ современного состояния духа. Академик А. Д. Сахаров оценил Хронику как «компетентный и бесстрашно-правдивый рассказ».

Восемнадцать секунд (1 час 23 минуты 40 секунд — 1 час 23 минуты 58 секунд 26 апреля 1986 года), в продолжение которых разрушался реактор четвертого блока Чернобыльской АЭС, спрессовали в себе — как явленный итог — длительный исторический опыт множества людей, опыт социально-политический и научно-технический совокупно. До этого мига — 1 час 23 минуты 40 секунд 26 апреля 1986 года — ход событий имел варианты, был обратим, допускал воздействие человека, был открыт для этого воздействия, хотя эта возможность и сокращалась с бешеной скоростью. Но оставались еще миги и щели, проницаемые для человеческой воли. Свобода человеческой воли и ее качество входят в технические параметры катастрофы.

Есть пределы физической выносливости и выносливости психической. «Нейтронная эйфория», «ядерное похмелье»,— читали мы в «Ядерном загаре». Теперь из «Чернобыльской хроники»:

«На асфальте вокруг блока что-то валяется. Очень густо. Черным-черно. Но в сознание не шло, что это графит из реактора. Как и в машзале. Там тоже глаза видели раскаленные куски графита и топлива. Однако сознание не принимало страшный смысл увиденного».

«Сознание спутывалось, его душил... да, его душил стыд... То горячая, то ледяная волна обжигала сердце, как только воспаленное сознание пыталось донести до него всю правду случившегося. Ах, этот чертов шок... шок от сознания величайшей ответственности».

«Если нет ветра, воздух обычно не ощущается. А здесь он ощущал будто давление невидимых лучей, будто пронизывающих его насквозь. Его охватил идущий из глубины организма какой-то внутренний панический страх. Но тревога за товарищей брала верх...»

«Изнемогая от навалившейся ядерной усталости... он спустился вниз, его непрерывно рвало, мутилось и мгновениями отключалось сознание, он падал, но приходил в себя, снова вставал и шел, шел».

Медведев четко обозначает слагаемые поведения. Он пишет векторы сил, работающих в аду. И чем более строг и дисциплинирован он в определении этих сил, чем крепче привязывает он себя к факту, к конкретной цифре и технологическому параметру, тем инфернальней оказывается картина. Допуская, что факты вполне достоверны и разночтения с реальностью, если они и есть, находятся в допустимом диапазоне, мы все же немного насторожены: не нагнетает ли умело автор страстей или ад предъявлен бесхитростно, как таковой?

[1] Г. Медведев. Чернобыльская хроника. Современник. 1989. Журнальный вариант — «Чернобыльская тетрадь». «Новый мир», 1989, № 6.

Не Медведев сочинил, а реальность породила сюжет, когда реактор последовательно лишался системы защит. Повествователь дает лишь контур и рельеф реальной производственной ситуации, когда производственная структура настолько разбалансировалась, что уже не может защитить самое себя, т. е. она стала самоубийственной — инстинкт самосохранения выработался, и это показатель нежизнеспособности структуры. Человеческое сознание — в лице повествователя — с изумлением обнаруживает, что оно породило или по меньшей мере содействовало развитию такой ситуации, когда источник столь разрушительной силы, каким является атомный реактор, возможно оставить без защиты. Это изумление — уже откровение о себе. Тут-то сознание и бросается искать дефект в себе самом, познавая себя как порочную реальность, которая к тому же норовит от познания ускользнуть.

Завязка технического сюжета заключалась в том, что на четвертом блоке Чернобыльской АЭС предполагалось провести эксперимент с отключенными защитами реактора. Предполагалось сымитировать условия, при которых может произойти максимальная проектная авария (МПА) — расплавление активной зоны. Смысл этой допускаемой аварийной возможности в том, что станция окажется вдруг обесточенной: выйдет из строя энергоснабжение, остановятся все механизмы, в том числе и насосы, прокачивающие охлаждающую воду через активную зону атомного реактора. Активная зона расплавится. Цель эксперимента — в использовании резервов, способных дать электроэнергию, когда АЭС полностью обесточена. Такие эксперименты — объясняет автор — не запрещались, но лишь при условии, что электроснабжение на самом деле действует, т. е. предполагаются игровые, а не реальные условия аварии. Кроме того, реактор при этом эксперименте должен непременно глушиться.

Почему прежние испытания такого рода обходились без ЧП? «Ответ простой: реактор находился в стабильном у п р а в л я е м о м состоянии, весь комплекс защит оставался в работе».

Программа испытаний на Чернобыльской АЭС — констатирует Медведев — была составлена так, что условиям безопасности эта программа не отвечала. В сущности, комплекс защит постадийно выводился из работы. Казалось, жаждали чистого опыта — обронит Медведев позже. И эта жажда была удовлетворена.

Возможность катастрофы была заложена и в конструкцию реактора, и в программу испытаний, и в профессионально-нравственное состояние персонала. Катастрофу допускали и проектировщики реактора, и составители программы испытаний, но это допущение не мобилизовало ответные защитные силы. Ножницы между допустимостью, возможностью аварии и ее неизбежностью, даже обязательностью в сознании проектировщиков и экспериментаторов, по всей видимости, были сведены на нет. Прежде чем произойти в действительности, чернобыльская катастрофа прописалась и прижилась в сознании, пустила в него корни, приучила сознание к себе, осуществилась в нем. Сознание не отторгло эту возможность и поэтому не мобилизовалось против нее. Оно уже несло в себе катастрофу, вживив ее в себя. Как инфекция. Допустив возможность катастрофы и при этом не выработав иммунитет против нее, сознание само стало носителем инфекции. Система защит постадийно и поэтапно выводилась из работы именно этим обессиленным, теряющим жизнеспособность сознанием. В Хронике перед нами предстает разум, постепенно отдающий себя во власть аварийности. Эта агрессия аварийности, проникновение разрухи в разум, прежде чем она осуществится в действительности, составляют незримый внутренний сюжет повествования.

Медведев назовет имена конкретных людей и конкретные инстанции, обозначит должности, круг обязанностей, сферу ответственности каждого. Но чем доказательней и достоверней он в канве фактов, тем очевидней всеобщая порабощенность смирением и безразличием, всеобщая депрессивность перед катастрофической реальностью, всеобщая потеря иммунитета. Эти вины наслаиваются друг на друга — большие и малые, доказуемые и недоказуемые, очевидные и еле внятные,— пока не рухнут под собственной тяжестью. Наступает момент, когда уже нельзя отличить причину от следствия, они взаимопорождаемы и образуют кольцо, порочное уже тем, что оно замкнуто. Чернобыльская катастрофа в Хронике — это иммунная катастрофа.

В картине свершившегося реконструирован самый ход неминуемости, физиология неотвратимости. Одновременно — в каждом звене и на каждой стадии заново — Медведев реконструирует возможность н е п р о и с ш е с т в и я аварии, возможность ее предотвращения. Он продумывает, проигрывает все шансы отпора. Всякий раз он ввязывается в спор со своими персонажами и, объясняя их просчеты, отбегает назад, чтобы понять, где, в каких недрах психики и привычек эти просчеты родились. И всякий раз приходит в отчаяние, понимая их неизбежность и оттого непредотвратимость.

«Акимов вплоть до самой смерти 11 мая 1986 года повторял, пока мог говорить, одну мучившую его мысль: «Я все делал правильно. Не понимаю, почему так произошло». Десять раз на протяжении Хроники начальник смены четвертого энергоблока Александр Акимов повторяет эти слова: «Я все делал правильно», «Мы все делали правильно». Авария произошла в смену Акимова.

Все предшествующие причины аварии, приближавшиеся издалека (с правительственных и академических орбит), созревавшие долго, годами, потому что копились они в характерах и стиле работы,— и причины случайные, мимолетные, которые в такой же мере могли быть, как и не быть,— все они сошлись в дежурство Александра Федоровича Акимова, Саши Акимова.

«В 1 час 22 минуты 30 секунд (за полторы минуты до взрыва)... Еще не поздно было прекратить эксперимент и осторожно, вручную снизить мощность реактора, пока цела активная зона. Но этот шанс был упущен, и испытания начались. Все операторы, кроме Топтунова и Акимова, которых все же смутили данные вычислительной машины, были спокойны и уверены в своих действиях... «Еще две-три минуты, и все будет кончено. Веселей, парни!»

Прежде чем был разбалансирован реактор, разбалансировался механизм служебных отношений, в котором безграмотная амбициозная установка не имела сопротивления, не встречала обязательного, непреложного, автоматического противостояния. В последние предаварийные минуты грамотная тревожная интуиция персонала (и Акимова, и Топтунова) была смята ложной, малограмотной победоносностью отдаваемых приказов и распоряжений.

В 1 час 23 минуты 40 секунд 26 апреля 1986 года была нажата кнопка АЗ, аварийной защиты, «по сигналу которой в активную зону вошли все регулирующие стержни, находившиеся вверху, а также стержни собственно аварийной защиты. Но прежде всего в зону вошли те роковые концевые участки стержней, которые дают приращение реактивности в половину беты...

Эти проклятые 0,5β и были той последней каплей, которая переполнила чашу терпения реактора».

Напомним, упростив разъяснение, данное автором. В семиметровом стержне-поглотителе лишь верхние пять метров являются поглощающей частью, лишь в них заключено спасение. Нижние два метра — при том количестве стержней, которые были опущены в активную зону,— дают в первый момент всплеск реактивности. Стержни заклинило на этих двух — двух с половиной метрах. Каналы реактора были уже деформированы, реактор не впустил в себя то, что могло помешать ему разогнаться; он впустил лишь ту часть, которая, напротив, могла сделать и сделала этот разгон неминуемым и неуправляемым. Ни конструкторы-разработчики реактора РБМК, ни руководство Чернобыльской АЭС, ни операторы «не думали, что будущий взрыв спрятался в каких-то концевых участках поглощающих стержней, которые являются наиглавнейшей системой защиты атомного реактора. Убило то, что должно было защищать, потому и не ждали отсюда смерти»,— констатирует Медведев.

«Убило то, что должно было защищать». Не Медведев придумал эту ситуацию, но он прочитал ее смысл и сделал одним из главных художественных узлов повествования. Он исследует ситуацию, когда последний шанс спасения реализуется как гибель. Полюса — жизнь и смерть, спасение и гибель, польза и вред — теряют энергию контраста и противостояния. Эта порочная зыбкость воспроизводится Медведевым неотступно, обнаруживая едва ли не исчерпанность самих контрастов. И если твое творение настолько не отвечает твоей воле, значит, в тебе самом работают силы, которые тебе неведомы. Они-то и вырабатывают неожиданный для тебя результат. Познавая свое творение, ты познаешь себя.

Медведев разговаривает с читателем как с коллегой, который знает реактор так же, как он. Авторское доверие несколько избыточно, и читателю — не атомщику трудно воспринять полностью весь анализ наваливающейся катастрофы, все следствия неверных или неточных действий и тем более — следствия действий, которые субъективно верны, а на самом деле самоубийственны. Эта самоубийственность действий, совершаемых во спасение, когда разрушительная энергия с лихвой обгоняет шанс выжить и устоять, фиксируется Медведевым особенно устремленно и тщательно. То, что будет понято здесь, на последнем интервале спасения, когда шанс удержаться от катастрофы сходит на нет, потому для нас так существенно, что мы видим: предкатастрофическая ситуация тем и страшна, что концентрация неизбежности, обреченности достигает точки, когда от профессионализма и нравственности уже ничего не зависит, когда высокие и проверенные критерии уже не в состоянии противостоять аннигиляции, они теряют свою конструктивную, структурирующую роль, и властью завладевает хаос с его кромешностью. «...Аварийная защита реактора была заблокирована, чтобы иметь возможность повторить испытания, если первая попытка окажется неудачной. Тем самым было сделано еще одно отступление от программы, но **весь парадокс заключается в том, что если бы действия операторов были в данном случае правильными, а блокировка не выведена, то по отключении второй турбины сработала бы аварийная защита и взрыв**

настиг бы нас на полторы минуты раньше...»

Ножницы сошлись почти до нуля, действие почти уже не отличалось от бездействия. И тем не менее повествователь продолжает исследовать возможность позитивных спасательных мер. Вероятно, только специалист может оценить справедливость его рекомендаций — читатель верит повествователю на слово. Читателю важно здесь не столько проникнуть в техническую суть даваемых рекомендаций, сколько ощутить себя в зоне последних, конечных возможностей, когда воля к спасению продолжает пульсировать и заставляет профессионализм мобилизовать весь свой потенциал. Но рекомендации повествователя остались неосуществленным постскриптумом — «была нажата кнопка, и начался разгон реактора на мгновенных нейтронах».

И тут в Хронике наступает момент глубоко личный — это момент страха. Здесь повествователь реконструирует самого себя в качестве участника аналогичных аварийных ситуаций, но которому выпал шанс выжить.

«...Мне знакомо чувство, переживаемое операторами в первый момент аварии. Неоднократно бывал в их шкуре, когда работал на эксплуатации атомных станций. В первый миг — онемение, в груди все обрушивается лавиной, обдает холодной волной невольного страха прежде всего оттого, что застигнут врасплох и вначале не знаешь, что делать, пока стрелки самописцев и показывающих приборов разбегаются в разные стороны, а твои глаза вразбрад вслед за ними, когда неясна еще причина и закономерность аварийного режима, когда одновременно (опять же невольно) думается где-то в глубине третьим планом об ответственности и последствиях случившегося. Но уже в следующее мгновение наступает необычайная ясность головы и хладнокровие. Следствие — быстрые и точные действия по локализации аварии...»

Как ни страшна аварийная ситуация, она допускает свою, аварийную балансировку. Но Акимов и Топтунов были вышиблены из этого равновесия, последняя, спасительная балансировка была сорвана. Ибо на них давила, продолжала давить та же совокупная сила, которая спроектировала порочную конструкцию реактора и составила порочную программу его испытаний.

«Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов и начальник смены блока Акимов задумались, и было над чем... Восстановление параметров еще было возможно...» Но когда «оба изложили свои опасения...», их встретила брань, «это была уже психическая атака». И тогда подчиненный оператор, которому всего двадцать шесть лет, испугавшись окрика, подавляет свое профессиональное чутье. «Может, проскочу... Ослушаюсь — уволят...» — вот какая логика вступила в действие. Компетентности тут хватило, более того, она была уже доведена до интуиции, до профессионального чутья, но компетентность эта была перекрыта и сорвана — только ли некомпетентностью?

Не зря, обратившись к истории реактора типа РБМК и установки его на Украине, в Чернобыле, Медведев приводит слова, произнесенные министром энергетики Украинской ССР: «Но ведь академики... Применение этого реактора утверждено Совмином... Вы сгустили краски. Но ничего, освоим...»

Снова, как за семь лет до Хроники в повести «Энергоблок», Медведев обозначает повсеместность истребительной установки на успех. «Но ничего, освоим...» и «Веселей, парни» — это однородные звенья одной цепи.

Акимов оказался в точке, где скрестились эти две энергии — неуправляемого реактора и жажды успеха. «...Процесс развивался вначале медленно. Кто знает, может быть, рост мощности и в дальнейшем оказался бы плавным, кто знает...»

Старший инженер управления реактором Леонид Топтунов первым забил тревогу. «Надо бросать аварийную защиту, Александр Федорович, разгоняемся»,— сказал он Александру Акимову. Акимов быстро посмотрел распечатку вычислительной машины. Процесс развивался медленно. Да, медленно... Акимов колебался. Был, правда, и другой сигнал: восемнадцать стержней вместо двадцати восьми,— но... Начальник смены блока испытывал сложные чувства. Ведь он не хотел подниматься после падения мощности до 30 МВт. Не хотел... До ощущения тошноты, до слабости в ногах не хотел. Не сумел, правда, противостоять Дятлову. Характера не хватило. Скрепя сердце подчинился. А когда подчинился, пришла уверенность».

Характер, который здесь — коллективно, совокупно, целокупно — проступает, доверчив и простодушен. Но где грань между простодушием и послушанием, между производственной дисциплиной и профессиональным чутьем? Между доверием к вышестоящему и доверием к своему профессиональному знанию? Здесь важен опыт нравственной и профессиональной самообороны, который в людях не был взращен и воспитан, не был привит им. Обученные и прирученные подчиняться, взращенные и воспитанные в слепой подражательности и исполнительности, они оказались безоружны и беззащитны в ту решающую минуту, когда им, честным и чистым, прирученным к жертвенности и самоотдаче, надо было противостоять тому решению, порочность которого они ощущали до «тошноты, до слабости в ногах».

Это торможение уже созревшей, уже накопившейся энергии противодействия, но еще не смеющей себя осознать и тем более себя выразить, ощущается в Хро-

нике как один из самых драматических узлов. Хронист срывается здесь на крик, но крик этот не кажется риторикой, потому что вырывается из недр опережающего сознания. Мало того, что за плечами повествователя уже грянувший Чернобыль,— за плечами его (что не менее, может быть, важно) неподдельный, невычитанный, многократно продуманный личный производственный опыт. Атомный агрегат, внедренный в систему окрика и нищеты,— эта коллизия катастрофична исходно, изначально. Она отчетливо очерчена в первой повести Медведева «Операторы» (1977). В «Операторах» авария не случается лишь потому, что в начальнике смены Метелеве инстинкт опасности и сострадания к людям был личным, природным его свойством, что состояние людей в их безрадостной изнурительной повседневности фиксировалось в его сознании, как показания самописцев и приборов. Сюжетное напряжение повести тем и держалось, что казалось: выйди из строя трепет метелевского сердца — и аварии не миновать. Эта приглушенность, придавленность, порабощенность общего сознания висят в повести как неосязаемый дурман, но много ли таких Метелевых и где предел их устойчивости, так ли уж они неистребимы и сколь долго можно на эту неистребимость рассчитывать как на энергетический ресурс — хотелось тогда спросить. Вот финальный абзац повести, написанной за девять лет до Чернобыля: «Он отвернулся и быстро двинул к проходной. Снег скрипел под ногами. Метелев шел и думал, что все это неоднократно повторится в невиданных масштабах и на огромном пространстве. И он вдруг понял, что это вспыхнувшее в нем суеверное чувство рождено неотвратимостью предначертанного пути».

Трагедия, развернувшаяся на БЩУ-4 — на блочном щите управления четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС,— выступает в Хронике как трагедия двойная и закономерная. Это трагедия жертвеннической гибели и трагедия слепого сознания, самозаклание работает не во спасение, а на развитие катастрофы. Операторы не испугались ни огня, ни радиации, но начальственный окрик затормозил их профессиональную и нравственную интуицию. Как деформировались каналы реактора, вследствие чего стержни заклинило, так сознание было деформировано конформизмом и заглушило интуицию. Наслоения свидетельств донесли до нас эти метания стреноженного, деформированного сознания. Повествователь не может позволить себе лишь ужасаться. Он гонит себя исследовать и *знать*. Ужас и сострадание питают энергию познания.

Физик Перевозченко — в Хронике — первым диагностирует ситуацию. «Он видел начало катастрофы. Он уже верил в невосполнимость, в страшную правду разрушений. Он видел в центральном зале такое... После того, что он видел, реактор существовать не может. Его просто нет...»

Правда о реакторе — *реактор цел — реактор разрушен* — становится главным импульсом сюжета, ибо от своевременного осознания того, цел реактор или разрушен, оказалась зависима судьба неисчислимого множества людей и их потомства. Зависимость здесь элементарна, если не примитивна: чем раньше осознали бы — тем меньше бы погибло. Развертывается ситуация, когда жизнь множества людей и судьба их рода оказываются в прямой зависимости от состояния сознания.

Но вернемся к прерванной цитате: «...После того, что он видел, реактор существовать не может. Его просто нет. А раз его нет, значит... Надо спасать людей. Ему подчиненных парней надо спасать. Он за их жизни головой в ответе. Так свою ответственность определил в эти минуты начальник смены реакторного цеха Валерий Иванович Перевозченко. И первое, что он сделал, пошел искать Валеру Ходемчука».

Определение ситуации и самоопределение в ней есть действие чисто духовное. Перевозченко доказал, что правда о катастрофе реактора уже в первые мгновения была доступна сознанию, даже пораженному шоком, но при условии, однако, что это сознание открыто восприятию правды, т. е. если оно честно. Другая и связанная с первой особенность сознания Перевозченко заключалась в том, что для него человеческая жизнь, жизнь его товарищей, была ценностью столь же безусловной и приоритетной, как и атомный реактор, который был его специальностью, службой и должностью (начальник смены реакторного цеха). Угроза человеческой жизни, связанная с разрушением реактора, обостряла его восприятие как физика. Стремясь спасти нескольких, немногих своих подчиненных, Перевозченко в ходе этого поиска, «изнемогая от ядерной усталости», тем не менее как «опытный физик», т. е. как профессионал, окончательно «...понял, что реактора больше нет, что он превратился в гигантский ядерный вулкан, что водой его не загасить, ибо нижние коммуникации оторваны от реактора взрывом, что Акимов, Топтунов и ребята в машзале, запускающие питательные насосы, чтобы подавать в реактор воду, зря гибнут. Ведь воду сюда не подашь... *Надо выводить всех людей с блока.* Это самое правильное. *Надо спасать людей*».

Как пробивалась в сознание правда о реакторе, как сопротивлялся мозг мысли, что «реактор разрушен» и почти каждый, давя на себя и так же давя на окружающих, защищался мыслью, что «реактор цел»,— физиологию этого дурмана Медведев восстанавливает беспощадно и сострадая.

Здесь уже неважно, в чьем мозгу ложная версия родилась впервые, но охотно, даже желанно воспринятая другими, толкавшая к неверным и жертвенническим действиям и этой жертвенностью тоже себя укреплявшая мысль о том, что реактор цел, тогда как он был разрушен и надо было спасать людей, стала в Хронике олицетворением той «иной силы», которая, как радиация, пронизывала все вокруг и гибельна была тоже, как радиация. «Давление невидимых лучей» — это и радиация, и ложная версия, исторгнутая сознанием. Сознание уходило от правды, сбегало от нее, оно оглушало себя ложной активностью, и дело не становилось верным оттого, что под ним струилась кровь. «...Здесь было сверхдопинговое состояние, необычайная внутренняя собранность, мобилизация всех сил от запоздалого сознания вины, ответственности и долга перед людьми. И силы откуда-то брались сами собой. Они должны уже были умереть, но они работали!..»

«*Они должны уже были умереть, но они работали*».

Фомин, главный инженер Чернобыльской АЭС, вызывает из дому заместителя главного инженера по эксплуатации первой очереди Анатолия Андреевича Ситникова и говорит: «Ты опытный физик. Определи, в каком состоянии реактор. Ты будешь как бы человек со стороны, не заинтересованный врать».

«В десять утра Ситников доложил Фомину и Брюханову, что реактор, по его мнению, разрушен. Но доклад Анатолия Андреевича Ситникова вызвал раздражение и к сведению принят не был. Подача воды в реактор продолжалась». Таким образом, разума хватило на то, чтобы послать квалифицированного и «не заинтересованного врать» человека диагностировать ситуацию. Но этот порыв тем же разумом был аннулирован. Опираются, заметим, не на честность саму по себе, а на незаинтересованность врать; т. е. честность как таковая уже не является гарантом, она в расчет не принимается. А это — тоже свидетельство и показатель. Честность как бы изымается из обращения — и неудивительно, что, когда гонцы, добровольные и посланные, приносят (приняв смертельную дозу радиации) весть, что реактор разрушен, эта правда не только умалчивается, она даже не воспринимается, и взамен внушается губительная ложь о том, что реактор цел. А раз цел — значит охлаждай, качай воду, ставь под угрозу обесточивания три других блока и приближай возможность Чернобыля четырехкратного.

В системе защит снята таким образом еще одна защита, еще один ее параметр и шанс — честное, бескорыстное свидетельство. Честность оказывается бессмысленной и безрезультатной, каким самопожертвованием она ни оплачена.

И даже умница Смагин, которого «слепота в людях... всегда доводила до бешенства», тот, что в восемь утра должен был сменить Акимова, когда понял, что «с реактором дело швах», замечает за собой, что сам же в глубине души *не хочет* верить, что раз графит на земле — значит реактора нет. Однако он все же доказывает своему начальнику, что видят они именно графит, а раз графит — значит, реактора нет. Профессионализм и нравственность упорствуют в нем, не дают себя сломить. Он встречает Ситникова, который только что заглянул в реактор сверху, Ситников подтверждает: «По-моему, он разрушен». А результат? Вместе «с абсолютным большинством эксплуатационников» Смагин выдавал «в эти несусветные часы желаемое за действительное».

Это почти всеобщее сопротивление правде, охотность и мобилизованность этого сопротивления Медведев пишет как силу объяснимую и надличностную. Какие бы мотивы ни лежали в основе этого сопротивления — психологические и даже биологические,— механизм этот трудно понять, если оставаться в пределах каждого в отдельности, в пределах одной индивидуальности. Заблуждение, гнездившееся в каждом, отчаянно стремилось вырваться из своего гнезда и слиться с заблуждением общим, чтобы себя сохранить. Снизу доверху — от БЩУ-4 до кочующей резиденции зампредсовмина — все хотели уверить друг друга в том, что реактор цел. Уверенность давала возможность действовать, а действие — каким бы вредоносным, губительным оно ни было — оправдывало себя собственной активностью. Это не была видимость или имитация действия, это действительно был навал предпринимаемых мер и инициатив, как будто бы энергическое действование оправдывало само себя независимо от своего содержания. Коллективная ответственность и острота ответственности за всех, за тысячи людей, за жизнь вообще давили своим тоннажем, но не гарантировали сами по себе разумности действий.

Хроника погружает нас в работу сознания, не привыкшего, не тренированного принимать собственные свободные решения. Правда ломится в это сознание и до взрыва, и после него. Но мощная инертность сознания доводит опасность до аварийности, аварийность до катастрофы. Собственным глазам люди верят меньше, чем глазам начальства, и заставляют себя видеть то, что хочет видеть начальство. Они заставляют себя себе не верить. Слишком поспешна в них готовность отдать себя во власть над ними стоящей воле. Они инициативны, талантливы, виртуозны в выполнении приказа, но их самостоятельная мысль не желает отстаивать себя.

Исподволь и напрямую, может быть, не осознавая того полностью, ибо он сам выходец из этой среды, ею выпестованный и от нее не отлучаемый, Медведев каждого из своих персонажей испытывает на разрыв — выдержит он или нет, сохранит ли сопротивляемость под разрушительным давлением губи-

тельного приказа и собственного страха перед окриком. Это давление сверху, укоренившись в сознании как истина и неизбежность, делает это сознание исходно аварийным, как бы предрасполагает его к катастрофичности. Такое сознание способно стать и плацдармом катастрофы, и даже источником ее. Оно столь же катастрофично, как и лишенный защит реактор. Способность к анализу и сопротивлению предполагает опыт свободы, достаточную разработанность и зрелость этого опыта. У Медведева подобный опыт предстает как звено в системе защит, звено, которое — констатирует Хроника — ослаблено, если не сорвано.

И вдруг эта инерция обрывается.

Когда начальник смены блока № 3 Юрий Эдуардович Багдасаров понял, что всю воду переключили на аварийный блок, он тут же доложил в бункер Фомину, что остановит реактор. Фомин запретил. К утру Багдасаров сам остановил третий блок. «Действовал мужественно и в высшей степени профессионально, предотвратив расплавление активной зоны третьего реактора в свою смену...» В этом коротеньком, мимолетном сюжете (он почти не заметен в событиях, сотрясающих четвертый блок) есть одна деталь. Она связана с Дятловым, заместителем главного инженера по эксплуатации.

Если, следуя Хронике, проследить маршруты Дятлова, то картина получится весьма противоречивая, во всяком случае, неоднозначная. Еще до того, как Багдасаров запросил у Фомина, главного инженера Чернобыльской АЭС, разрешение на остановку третьего блока и получил отказ, заместитель Фомина Дятлов сбегал к Багдасарову и приказал третий реактор глушить. Может быть, даже раньше Багдасарова он почувствовал в этом необходимость. Почему? Да потому, что все его существо было уже охвачено аварией, он уже принял в себя этот опыт, а приняв, бросился тут же спасать от аварии соседний, третий блок. У него здесь был свободный выбор, над ним не тяготела обязательность, и он повел себя мужественно, самоотреченно и профессионально — ибо пошел на риск самостоятельного действия, в ходе которого схватил огромные дозы радиации.

Но пока на него давил приказ, он действовал в его рамках и давил на других так же, как давили на него, передавая, транспортируя это давление. До взрыва Дятлов требовал продолжать эксперимент с выбегом ротора, не считаясь с аварийной реальностью. После взрыва он фабриковал ложь о том, что реактор якобы цел, ибо этой лжи от него ждали.

Однако то, что он побежал останавливать третий блок, хотя на четвертом оставался в рамках ложной модели, говорит о том, что правда была доступна ему и он ринулся ей навстречу, как сквозь щель на свободу, туда, где ложь не давила и условий своих еще не поставила. Бросился, не считаясь с опасностью. Следовательно, он уже представлял масштаб катастрофы, а может быть, даже понимал, что реактор разрушен, не допуская себя до формулирования этой мысли. Остановить эксперимент на четвертом блоке он боялся, но после взрыва ответственность уже перекрывала в нем страх. Он пошел не только на риск облучения, но на риск самостоятельного поступка, что было труднее.

В Хронике на Дятлова давят, и Дятлов давит. Система давления развертывается веером. Давит Дятлов, давит Фомин, давит Брюханов, давит Щербина... Хроника фиксирует «физиологию» давления, ее процессы и реакции, доступные наблюдению и протоколированию. И те, кто давит, и те, на кого давят, — они в конечном счете не разведены по лагерям. Медведев очень точно показывает, как тяжесть давления раздавливает того, кто давит. Раздавленный собственной возможностью давить давящий в конце концов сам теряет ориентацию, положившись только на результат своего пагубного давления. Он теряет ощущение реального состояния материальных и психических ресурсов. Давление расплющивает обратную связь.

Вот Брюханов, директор АЭС. «С отличием окончил энергетический институт, выдвинулся на Славянской ГРЭС (угольной станции), где хорошо проявил себя на пуске блока. Домой не уходил сутками, работал оперативно и грамотно. И вообще я позже узнал, трудясь с ним бок о бок несколько лет, инженер он хороший, сметливый, работоспособный». Что смяло его и швырнуло за тюремную решетку? Медведев пишет, пока еще осторожно, пока еще о молодом, тридцатишестилетнем Брюханове: «...но открылось в нем и другое, в частности, стремление из-за недостатка знания людей окружить себя многоопытными в житейском смысле, но порою не всегда чистоплотными работниками». Не только, однако, «порою не всегда чистоплотными», но людьми, умеющими и любящими давить — погонялами, как мы уже видели. Он платит дань времени и обстоятельствам, добирая себе тех и таких, кто дополнит его в недостающей ему способности жать и выжимать. Хроника фиксирует, как в сложившейся системе отношений человек, даже мягкий, накачивает — путем подбора кадров — мускулатуру окрика и давления. Кризис насилия — этот сюжет развертывается в Хронике по разным сечениям и в разных душах.

И еще одно немаловажное обстоятельство оговаривает Медведев, когда пишет, что Брюханов «инженер хороший, сметливый, работоспособный», — «но вот беда — не атомщик». И неатомщиками комплектует директор инженерное руководство АЭС; подбирает исполнителей, а исполнительность обеспечивается и контролируется в рамках и при потолке его

собственной специализации и квалификации. Хроника фиксирует режим, в котором работает система подбора кадров, ее критерии. Чем ближе к катастрофе, тем чаще и грубее ошибки этой системы. Неумолимей и неотвратимей. Компетентность, научная, инженерная, административная, как и ответственность за людей, выглядит партизанским прорывом, почти всегда жертвенническим и подавляемым. Хотя Чернобыльская АЭС, руководимая Брюхановым, считалась одной из лучших, хронист вспоминает состояние Брюханова за год до катастрофы: «Мы разговорились. Брюханов пожаловался, что на Чернобыльской АЭС много течей, не держит арматура, текут дренажи и воздушники. Общий расход течей почти постоянно составляет около 50 кубометров радиоактивной воды в час. Еле успевают перерабатывать на выпарных установках. Много радиоактивной грязи. Сказал, что ощущает сильную усталость и хотел бы уйти куда-нибудь на другую работу...»

Во время XXVII съезда КПСС телекамера несколько раз отыскивала в зале его лицо — «лицо человека, достигшего вершины признания. ...Властное было лицо...»

Брюханов нес в себе катастрофу, не осознавая собственных предчувствий, — власть, маска уверенной в себе власти глушили импульсы еще живой души, не желающей быть погребенной. Но этим импульсам Брюханов уже не внимал, на его действия они уже не влияли. Система защит как система охраны жизни уже отмирала в нем, может быть, прежде, чем отмереть на четвертом блоке.

Автор Хроники, командированный в Чернобыль через полторы недели после взрыва, в первые дни мая, вспоминает: «В коротком полутемном пролете коридора, прислонившись к стене, стоял маленький, щупленький человек в белом хлопчатобумажном комбинезоне, без чепца; седые курчавые волосы, пудрено-бледное морщинистое лицо, выражение смущения, подавленности. Глаза красные, затравленные. Я прошел мимо, и тут меня ударило: «Брюханов!» ...Первое чувство, возникшее во мне, когда я узнал его, было чувство жалости и сострадания. Не знаю, куда подевались гнев и злость. Передо мной стоял жалкий, раздавленный человек...»

Так вот, этот раздавленный, расплющенный, потерявший себя человек, уверявший себя, ЦК и министров, что реактор цел и радиационная обстановка в пределах нормы, утром 26 апреля запросил разрешения на эвакуацию населения Припяти: «Но от Щербины (зампредсовмина) ...поступил четкий приказ: панику не поднимать».

Хронист берется с полным основанием устанавливать, что творилось в недрах ядерного агрегата, но вот в недрах души... В недрах души этого человека наперекор и наперерез подавленности и раздавленности, наперекор привычке и готовности слушаться, исполнять возникает мысль о спасении людей. Как и у Валерия Перевозченко, начальника смены реакторного цеха, когда он увидел головки, пляшущие на концах тысячи семисот каналов, возникла несусветная мысль, что надо уводить всех людей с блока, так и у Брюханова, в отличие от Перевозченко не желавшего верить правде, потому что она была для него сокрушительна, возникла мысль, что населению Припяти надо из города уходить. Явление этой мысли говорит о том, что сознание Брюханова, «недра его души» еще не вовсе заволокло распадом, что они были еще достаточно жизнеспособны и как звено в системе защит еще продолжали работать. Но ему уже недоставало сил и не нажит был опыт свободы, чтобы это решение взять на себя или по крайней мере на нем настоять. Однако удержался бы Брюханов в своем кресле, будь он иным?

Л. Н. Толстой писал:

«...Чего бы ни желал народ, правитель всегда может не дать этому желанию выражения в административном порядке (хотя, само собой разумеется, желание это, если оно есть потребность, найдет всегда обход административному неразрешению и найдет себе удовлетворение в действительности), и все, что ни прикажет правитель, все будет исполнено в административном порядке (т. е. одно звено передаст, очищая себя в ответственности неисполнения, приказание другому, другое — третьему звену администрации и т. д. до последнего, которое по свойству своему, сливаясь с народом, обойдет приказание, ежели оно не согласно с потребностями народа). По общему всем людям свойству считать себя каждому центром всего мироздания, каждый администратор, кроме того, постоянно уклоняется от того непосредственного сближения с массами, которое бы могло показать ему несостоятельность его власти, и привыкает к деятельности той условной иерархии, в которой одно звено отражается на другое, передавая друг другу силу, но не передавая ее главному предмету усилий».

Это рассуждение, относящееся к бегству населения из Москвы, оставляемой Наполеону, не вошло в окончательный текст «Войны и мира», а сохранилось лишь в черновой записи, начало которой утрачено.

Толстой, анализируя механизм управления, увидел недостаточность и порочность иерархической структуры как композиции, и в этом его дерзость как художника. Иерархия — вертикаль. Не подпитываемая энергией горизонтально простирающихся воль, она оказывается хрупкой и ломкой. «Я — ничто теперь. Я — пешка», — говорит себе в том же наброске главнокомандующий Москвы граф Растопчин. «Болтаюсь, как дерьмо в проруби. Никому не нужен», — говорит о себе Брюханов.

Но для двенадцатого года толстовский диагноз был, наверное, преждевремен и потому не пластичен. Толстой уже видел дальнейшее развитие логики административного насилия над жизнью, прозревая свое и наше время. Но эпоха двенадцатого года еще не была подчинена этой тотальной логике.

Массовая гибель дважды входила в современное сознание и пережита уже как опыт. Это гибель миллионов в Отечественную войну и гибель миллионов в лагерях. Хроника завершается скромным и деловым соображением К. Моргана, американского ученого-атомщика, о глубокой аморальности практики «выжигания» персонала, распространенной в атомной энергетике. В «Чернобыльской хронике» нам представлен третий вид современной массовой гибели — сожжение, выжигание радиацией человеческих множеств. Эти множества в отличие от множеств, погибших в войне и в лагерях, не поддаются исчислению, даже приблизительному, поскольку нельзя подсчитать количество преждевременных смертей и вырождений, уносимых в будущее изуродованными генами. Сама возможность подсчета, сама статистика уходят из-под человеческой власти. Сегодня образ истории, творимый в глубинах роевого сознания, из гениального воображения перекочевывает в реальность, материализуется в ней. «Чернобыльская хроника» обнаруживает этот образ как данность, доступную не только воображению, но наблюдению, даже документированию. В Хронике данность эта — человеческий род, сжигаемый радиацией и вырождающийся вследствие этого в глубинах собственной природы.

В вариантах «Войны и мира» говорится о «таинственном телеграфе народного сознания», по объявлению или сигналу которого «мгновенно узналось, что Москва отдается». Уход из Припяти, пораженной радиоактивной грязью, и уход из Москвы, сдаваемой Наполеону,— это события, когда оголяются механизмы отношений между людьми, между двумя суверенностями — человек и «все».

«Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая, осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенные воскресенья, благовестили к обедне во всех церквах и до полдня еще продолжалось постоянное непонимание того, что ожидает Москву. Прежние отношения между людьми еще держались во все прежней силе...»

«В субботу 26 апреля 1986 года все уже готовились к празднику 1 Мая. Теплый, погожий день. Весна. Цветут сады...

Дети пошли в школу, малыши играли на улице в песочницах, катались на велосипедах. У всех у них к вечеру 26 апреля в волосах и на одежде была уже высокая активность, но тогда мы этого не знали. Недалеко от нас на улице продавали вкусные пончики. Многие покупали. Обычный выходной день...»

Это запись свидетельства Л. А. Харитоновой, старшего инженера Управления строительства Чернобыльской АЭС.

«Прежние отношения между людьми», еще державшиеся «во все прежней силе», особенно рельефны в канун их обрыва. Повествующий — независимо от того, гениальный ли он писатель или рядовой советский служащий,— замирает перед этим обрывом, перед этой чертой. Состояние человеческих душ — столь же правдивое и надежное свидетельство, что и показания изобретенных человеком приборов. Любой рукотворный параметр исследования ограничен, частичен, мал перед универсальной панорамой реальности, и лишь художник в состоянии охватить ее всю, в той полноте, какая предрешена временем и для него выносима.

Главнокомандующий Москвы граф Растопчин предстает у Толстого как фигура коварная, злокачественная, но и вполне жалкая, быстро нейтрализуемая стихийным движением населения, уходящего вместе с войском. В чернобыльских сценах мы видим власть, отчаянно и мощно сопротивляющуюся правде о катастрофе, поскольку она в этой катастрофе виновна.

Дуга лжи стягивает, удерживает население города возле смердящего реактора. Население Припяти обманывают даже тогда, когда люди садятся в автобусы,— им говорят, что брать с собой ничего не надо, ни денег, ни вещей, они скоро вернутся.

Хроника воспроизводит эту злокачественную, не пригодную для жизни среду, и многократно засвидетельствованная и задокументированная реальность будто плавает в этой среде, будто парит. Кажется, что эта невидимая среда сильнее видимой реальности. Кажется, что эта реальность обречена распылиться, растаять в этой среде.

«Кожа убита на всю ее глубину», «слизистая отходила пластами», «ткань сердца просто ползет», «умирание, исчезновение плоти на глазах» — все это звучит в контексте Хроники и как анамнез, и как реальная антижизнь, которая уже наличествует, уже сбывается, уже распространяет себя. Кажется, что «иная сила» хочет сделать плоть столь же невидимой, незримой, как и она сама. Но Хроника «иную силу» из невидимой делает зримой. Кажется, что хронист поставил своей задачей обуздать эту незримость, вернув ей вещественность, и этим прекратить ее власть, воспрепятствовать ее продвижению по территории жизни. В Хронике ощутима попытка жизни вернуть утрачиваемые территории. Хроника — плод антикатастрофического сознания в такой же мере, в какой Чернобыль — следствие сознания, мощно реализовавшего свой катастрофический потенциал. Хроника дает увидеть то, что кажется доступным лишь виденью поэтическому,— дурную бесконечность случившегося. Страдания избываемой плоти не прекращаются со смертью страдальца — каждый, кто окунулся в этот котел и остался жив, несет катастрофу в себе, транспортируя ее в будущее. Она ушла в гены, скрылась, сгинула в них, как в бесконечно малых элементах жизни, в ее умонепостигаемых дифференциалах. Она ушла в будущее, оставив погибших как прототипы предстоящих жертв.

В Хронике задокументировано, как мышление закрытых зон, лагерное мышление, мгновенно, едва произошла катастрофа, воспроизводит свою модель, свою структуру. В одном из последних своих рассказов «В лагере нет виноватых» Шаламов писал, что лагерь мироподобен. Медведев фиксирует момент, когда подобие матрицируется вновь, тем самым свидетельствуя, что матрица сохранилась.

Читая Хронику, мы пребываем в странном, парадоксальном, фантасмагоричном пространстве. В первой половине мы не можем выскочить из помещения, стены которого валятся, и все, что было забрано конструкцией, рушится — пространство теряет свою структурированность и рукотворность. Оно становится необузданным. Во второй половине повествования — уже за пределами блока — мы оказываемся в пространстве, будто осиротевшем. Оно пусто и пронизано жесткими радиационными полями.

Стаи, толпы, стада, вереницы, колонны — так именуются множества, которые видны сквозь стекла мимо несущейся машины, но чаще всего — с крыш и с поднявшихся вертолетов. Чтобы увидеть панораму Бородинского поля или Аустерлица, оставляемую Москву или дорогу отступающего наполеоновского войска, или нечто более необозримое — движение «сил двунадесяти языков Европы», или вышедшее из берегов «море народной жизни», или движение народов в пространстве истории,— чтобы все это увидеть, нужно было мощное толстовское воображение.

В современном свидетельстве высокая точка зрения кажется обеспеченной современными техническими средствами и мощностями. Современному человеку она дается как бы даром, не требуя ни воображения, ни вдохновения,— по службе положенная. Но как ни смертоносны служебные обязанности — может быть, именно вследствие этого,— зависающий над четвертым блоком вертолет кажется в Хронике сопряженным с парением духа. Хотя до парения ли духа, когда снизу бьет в тебя столб радиации?

Вот картина, увиденная глазами озабоченного и озадаченного генерала-майора авиации Н. Т. Антошкина, которому зампредсовмина Щербина говорит в ночь с 26-го на 27 апреля: «На вас и на ваших вертолетчиков, генерал, сейчас вся надежда. Кратер надо запечатать песком наглухо. Сверху. Ниоткуда больше к реактору не подступиться. Только сверху. Только ваши вертолетчики...»

Глазами человека, которому велено спасти множество людей, увидена сверху Припять: «Тысяча сто автобусов растянулась по всей дороге от Припяти до Чернобыля на двадцать километров. Гнетущей была картина застывшего на дороге транспорта. Высвечивая в лучах утренней зари, сверкая непривычно пустыми глазницами окон, уходящая за горизонт колонна автобусов остро символизировала собой, что здесь, на этой древней, исконно чистой, а теперь радиоактивной земле, жизнь остановилась.

В тринадцать часов тридцать минут колонна дрогнет, двинется, переползет через путепровод и распадется на отдельные машины у подъездов белоснежных домов. А потом, покидая Припять, увозя навсегда людей, унесет на своих колесах миллионы распадов активности, загрязняя дороги поселков и городов...»

По свидетельству Г. Н. Петрова (бывший начальник отдела оборудования припятского управления Южатомэнергомонтаж), «многие, высадившись в Иванкове[1], пошли дальше, в сторону Киева, пешком. Кто на попутных. Один знакомый аертолетчик, уже позже, рассказывал мне, что видел с воздуха: огромные толпы легко одетых людей, женщин с детьми, стариков шли по дороге и обочинам в сторону Киева. Видел их уже в районе Ирпени, Броваров. Машины застревали в этих толпах, словно в стадах гонимого скота. В кино часто видишь такое в Средней Азии, и сразу пришло в голову хоть нехорошее, но сравнение. А люди шли, шли, шли...»

Не Толстой, «один знакомый вертолетчик» — вот кто смотрит и вот кто видит. Видит стада людей и пугается этой стадности, этой стадоподобности.

Множество смотрит на себя собственными глазами. Сознание очевидца под стать трагедии и не прячется от нее. Сознание, закрывавшее себя перед правдой, что реактор разрушен, в эту ночь совершает сдвиг поистине исторический — оно открывает себя масштабу происшедшей трагедии, прочерчивает горизонт ее безысходности. Не случайно именно в показаниях Г. Н. Петрова находим фразу: «В воздухе вместе с радиацией повисли деланная бодрость и тревога». Состояние людей Петров воспринимает как агрегатное, т. е. в данном случае целокупное и вещественное.

Свидетельства, приводимые Медведевым,— это не только нагнетание фактов, это проклевывающееся самопознание, еще не аналитическое, но уже обобщающее, потому что та действительность, которую это сознание фиксирует, отлилась в формы, доступные обычному, средне

[1] Автобусы довозили людей до Иванкова (60 км от Припяти) и там расселяли по деревням.

му восприятию, и, чтобы с этой действительностью справиться, не дать ей себя одолеть, сознание взмывает на новые орбиты. Чтобы выжить, нужно осмыслить, и сознание откликается на этот зов реальности. Пластичность, художественность этого восприятия, его пронзительность, даже торжественность свидетельствуют о том, что реальность напряглась на пределе, что она конечна.

Множества перемещаются в пространстве Хроники как самостоятельные единицы, как суверенные действующие лица. Начиная с 27 апреля мы оказываемся в радиационном пространстве, в которое, как в гигантский котел, брошены разные целокупности: эвакуируемые (женщины, дети, старики), солдаты химвойск, пилоты, операторы, сварщики, водители и еще одно множество — «десятки министерств. Минэнерго не в состоянии объединять всех».

Но прежде — вслед за тысячной вереницей автобусов — мы видим стаи кошек и собак, которых брать с собой было нельзя, потому что шерсть у них очень радиоактивна. Животные пытливо заглядывали в глаза людям, прорывались в автобусы, их выволакивали, они бежали каждый за своим автобусом и, возвращаясь в город, объединялись в стаи. «Если в городе псы собираются в стаи, городу пасть и разрушиться» — эта древняя мудрость, процитированная в Хронике, дает читающему меру вещей и сообщает чувство исторического пространства, не воображаемого, не идеального — мы уже вдвинуты в него. С этого момента мы уже видим, не можем не видеть, как много в этом пространстве множеств.

...человек сто пятьдесят добровольцев, мужчин и женщин, собранных по соседним хуторам колхоза «Дружба», чтобы загружать для вертолетчиков в мешки песок, который будут сбрасывать на раскаленную активную зону, работали без респираторов и других средств защиты.

...пилотам становилось плохо в воздухе — «ведь активность после сбрасывания мешков на высоте ста десяти метров достигала тысячи восьмисот рентген в час... Люди дышали всем этим. В течение месяца потом вымывали из крови героев соли урана и плутония, многократно заменяя кровь».

...«Водители с машинами, «москвичи», «УАЗы», «волги», «рафики», прибывшие с разных строек, выбрав дозу, уезжают самовольно на своем радиоактивном транспорте. Отмыть машины не удается».

...чтобы «забетонировать куски топлива и графита и тем самым уменьшить радиационный фон», нужно смонтировать трубопровод подачи бетонного раствора, а для этого «срочно требуется 60 сварщиков. Приказ замминистра А. Н. Семенова начальнику Союзэнергомонтажа П. П. Триандафилиди: «Выделить людей!»

Триандафилиди запальчиво кричит Семенову:

— Мы сожжем сварщиков радиацией! Кто будет монтировать трубопроводы на строящихся атомных станциях?!

Последовал новый приказ Семенова Триандафилиди:

«Подготовить список сварщиков и монтажников и передать в Министерство обороны для мобилизации».

Потом доги, пожираемые свиньями.

Наконец, солдаты, весело загорающие возле разрушенного блока. «— Парни, хватаете лишние бэры! Вас же инструктировали только что!

Белобрысый солдат улыбается, привстал на броне.

— А мы что, мы ничего... Загораем...»

И вслед за этим — последний в Хронике, финальный — вид на реактор, но уже не на солнцепеке, а в темноте. К вечеру 9 мая в реакторе прогорела часть графита, отчего под сброшенным с вертолетов грузом образовалась пустота, «и вся махина из пяти тысяч тонн песка, глины и карбида бора рухнула вниз, выбросив из-под себя огромное количество ядерного пепла.

В наступившей уже темноте с трудом подняли вертолет и замерили активность...

Пепел лег на Припять и окружающие поля».

Эта логика — «Погубило то, что должно было спасти» — вновь срабатывает как оборотень: средство спасения оказывается средством уничтожения. Запечатанный наглухо реактор исторгает тучи радиоактивного пепла. В финале взрыва и в завязке его действует один и тот же сюжетный механизм — не придуманный, не сочиненный, а по-прежнему лишь выявленный. Полюса пожирают друг друга, альтернативность не высекает искры, не плодоносит. В чисто технической, в чисто производственной коллизии пробегает ухмылка реальности. Сюжет — снова видим — не придуман, а узнан. Узнан и выявлен. Обретение формы, момент формы означает попытку преодоления, ее насущность. Спасение начинается тогда, когда находится энергия выявленный сюжет предъявить как опыт, как боезапас, вычленив его из реальности, смонтировав его звенья. Само написание Хроники — это попытка обуздать чертовщину, которая настигается хронистом в местах ее обитания, в ее пристанищах, будь то концевики поглощающих стержней аварийной защиты или рухнувшие на прогоревший графит пять тысяч тонн песка, глины и карбида бора, которые казались спасением и в собирание которых вгонялись жизни.

Писатель предлагает нам творчество судьбы как таковое. Сам он выступает в Хронике в двух ролях, в двух ипостасях — как повествователь и как реальный свидетель. Две эти роли не всегда можно разъединить, они скорее насланваются друг на друга. Пройдя сквозь

этот двойной фильтр — участника и повествователя, — чернобыльские впечатления усугубляют не только свою достоверность, но и свою существенность. Стремительный проход, пробег с дозиметром в руках по взорвавшемуся и смердящему четвертому блоку и проезд по территории вокруг блока дают не только новые замеры доз и подробности — через них углубляется вся перспектива происшедшего, только-только свершившегося, но уже погнавшего себя в будущее.

«...даже один рентген в год дает пятидесятипроцентную мутацию...»

«На радиометре — рентген в час», — фиксирует хронист начавшийся гон днем 9 мая. Стрелка медленно ползет вправо. Миновал БЩУ-1 и БЩУ-2. Двери открыты. Видны фигуры операторов. Расхолаживают реакторы. Вернее, поддерживают реакторы в режиме расхолаживания. Третий блок... Активность — два рентгена в час. Иду дальше. Металлический привкус во рту. Ощущаются сквозняки, пахнет озоном, гарью. На пластиковом полу — осколки выбитых взрывом стекол. Активность — пять рентген в час. Вот щитовая КРБ второй очереди. Десять рентген в час. Ощущение, что иду по коридорам и каютам затонувшего корабля. Справа двери в лестнично-лифтовой блок, дальше — в резервную пультовую. Слева дверь в БЩУ-4. Здесь работали люди, которые сейчас умирают в шестой клинике Москвы. Вхожу в помещение резервного пульта управления, окна которого выходят на завал. Пятьсот рентген в час.

...Назад! Вхожу в БЩУ-4. У входной двери пятнадцать рентген в час, у рабочего места СИУРа (умирающего сейчас Леонида Топтунова) — десять рентген в час... В крайней правой стороне БЩУ — пятьдесят — семьдесят рентген в час. Выскакиваю из помещения и бегом в сторону первого энергоблока. Быстро!..»

Реактор, разгоняющийся к взрыву, и мечущееся сознание людей в первой половине Хроники казались скрученными в один упругий и плотный штопор. Неживая материя вела себя как живая, а живые, попав под власть взбунтовавшейся материи, ими же на бунт спровоцированной, оглушены были и этой властью, и ее беспощадностью, и своей беспомощностью перед ней. Та природа, перед которой первобытный дикарь испытывал священный ужас, а после, казалось, изжил его и забыл, в один миг восстановила прежние отношения, вернула позиции. Если Медведев говорит, что в Чернобыле произошла космическая трагедия, то он и запротоколировал ее как космическую, засвидетельствовав спасительную потерянность перед ней. Надменность и победоносность — качества и уровень отчуждения, разрыва. Потерянность — первый шаг и первое согласие на общность. Чем ближе к финалу, тем очевидней на небосводе «Чернобыльской хроники» проступают очертания судьбы человеческого рода и его совокупного образа. Когда рассеченные хромосомы уходят в будущее, сняв вопрос о контроле, о сферах и рубежах человеческого влияния и воздействия и вновь поставив вопрос о стихии, тогда личность начинает ощущать в себе пространство рода и внимать его ритмам, дистанциям и скоростям. Законам.

И здесь опять — параллель.

Как отторгало сознание мысль о том, что реактор разрушен, цепляясь за иллюзию, что он цел, так же костенеет сознание и глохнет перед далью генетических последствий. Вообразить их невозможно, они закрыты от нас, но вообразить и страшно, потому что образ может реализоваться: воображение — это уже воплощение. Сознание бережет себя от прогнозов. В этом есть здоровье, но и риск тоже есть. Риск все тот же, что и с правдой о взорвавшемся блоке. Своевременная информация спасла бы тысячи людей от облучения, а их потомство от мутаций. Оттяжка эвакуации длила и углубляла катастрофу, превращая в аварийный реактор общественное здоровье и общественное сознание.

Последнее из множеств, запротоколированных Хроникой, — двадцать шесть могил на Митинском кладбище. Среди них пожарники и шесть атомных операторов, которые были похоронены в запаянных цинковых гробах. «Так требовала санэпидстанция, и я думал об этом с горечью, ибо земле таким образом помешали сделать ее извечную и нужную работу — превращение тела умерших в прах».

«Позднее я узнал, что фраза «считать жизни» приобрела в эти дни новый смысл. На вечерних и утренних заседаниях Правительственной комиссии, когда речь заходила о решении той или иной задачи... председатель Правительственной комиссии... говорил:

— На это надо положить две-три жизни... А на это — одну жизнь...

Произносилось это просто, буднично...»

Мы не заметили, как новая реальность уже расположилась в нашем сознании, расселась в нем и этим путем сознанием овладела. По существу, Медведев написал катастрофу сознания, не справляющегося с тем, что им создано, и с самим собой.

Медведев пишет жизнь, сопротивляющуюся аннигиляции на последнем своем пределе. Грань выживания столь невнятна и нерельефна, так трудно на ней удержаться и не соскользнуть в небытие, что зыбкость жизни, ее подорванную и исчезающую власть хронист замечает особенно насторожено, внимает этой зыбкости. Рассказывая о последних днях и часах героя пожарника Владимира Правика, у которого «кожа была убита на всю ее глубину», Медведев пишет, что происходило «исчезновение плоти на

глазах. Он стал таять, сохнуть, исчезать. Это мумифицировались убитые радиацией кожа и ткани тела. Человек с каждым часом, с каждым днем уменьшался, уменьшался, уменьшался.

Умершие — почерневшие, высохшие мумии — стали легкими, как дети...»

Плоть написана как обитель, покидаемая жизнью, которая своему уходу сопротивляется. Одна подробность здесь особенно поразительна. Переполненный ядерной болью Правик, пока мог говорить, пытался узнать через сестер и врачей, живы ли его друзья, борются ли со смертью. «Он хотел, чтобы они боролись, чтобы их мужество помогало и ему». «Жгучее нежелание подчиниться смерти» отмобилизовывается как импульс совместный. Это Хроника зафиксирует не раз. Что «каждый умирает в одиночку» — здесь небезусловно. Выживаемость, кажется, усиливается от совместности, от общности судьбы. Плоть, исчезая, обнаруживает, что она не единична и не одинока. Это сознание соединенности не спасло, однако, ни Правика, ни Перевозченко, но хронист пишет об этом сознании как о резерве жизнеспособности, удостоверенном ушедшими. Этот резерв был слишком выжжен и истощен, но умирающие засвидетельствовали его именно как резерв и, следовательно, как завет.

«Чернобыльская хроника» — это фронтальное сопротивление тлену. Любой ее эпизод, портрет, диалог — участок и форма противостояния. Весь дух и строй Хроники конструктивны. Исследуя катастрофичность как состояние и структуру сознания, реализовавшего себя в чернобыльской аварии, Хроника — «опыт художественного исследования» — являет собой возможность иного сознания, иного состояния духа, иной духовной конституции. Искусство выступает как последнее звено в системе защит, последнее прибежище и укрытие жизни, в котором жизнь набирается сил и энергий, поскольку без духовного импульса ей себя не поднять. Там край, где жизнь человека можно отсчитать и оторвать, как талон, где она распределяется, как паек. «На это надо положить две-три жизни... А на это — одну жизнь» — это не подробность, еще одна, а — рубеж.

Сознание, оперирующее прахом,— это сознание гибельное, это образ и язык тоталитаристского мышления. Речь идет не о крепостническом мышлении, а о модификации мышления лагерного. Как превращался человек в лагерную пыль, так теперь он превращается в ядерную. Образ это наличность. «Мелькнувший образ» — не греза и не фантазия. Сознание принципиально не праздно. Раз образ мелькнул — значит, это образ чего-то, что уже существует, что уже рвется себя материализовать.

Управленческая иерархия, громоздится ли она в науке, проектировании или эксплуатации, кажется уже не только социальным злом, она обнаруживает свою враждебность естественным, нерукотворным основам жизни. Ее тоталитаристская претензия выдать себя за естественный порядок вещей выявляет свою смертоносность в гибельном равнодушии к массовой жизни как к жизни низшего разряда и сорта. Роевая жизнь, увиденная Толстым как чрево и лоно всяческой жизни, как материя приоритетная, оказывается — по Хронике — плацдармом и предметом изничтожения. Персонажи Медведева независимо от своего положения и реальной действительности и в художественном мире Хроники определены, сориентированы по тому, насколько каждый из них резонирует на общую боль, насколько сильны в каждом великие артельские качества, ибо эти качества жизнетворные.

О Перевозченко в первой части было сказано, что он кричал «стянутым радиацией горлом». Показания последнего свидетеля процежены через запрет первого отдела. «Я попросил его рассказать, как было в ту ночь 26 апреля 1986 года. Он сказал, что ему запретили говорить о технике. Только через первый отдел. Я сказал, что о технике все знаю, даже больше, чем он. Нужны подробности о людях». Вот речь этого человека, мужественного, самоотверженного, схватившего огромные дозы, но выжившего и продолжающего работать несмотря на инвалидность: «Акимов очень порядочный и добросовестный человек. Симпатичный, общительный. Член припятского горкома партии. Хороший товарищ...»

Живое сознание парализовано запретом. Правда замурована. Речь, костенея, не только скрывает мысль, она эту мысль расплющивает. Обратная связь склеротизируется. Лишенная возможности обмена с внешней средой мысль беднеет, уплощается, задыхается в самой себе. Эту спазматическую речь Медведев фиксирует как реальность, но не как финиш. Преодолевая силу окостенения и власть навязываемых стереотипов, последний свидетель защищает своих коллег-эксплуатационников, спеша определить суть как спасение. «Мы не были чистыми исполнителями. Мы многое переосмысливали. Но во многом поезд уже ушел. Имею в виду технологический процесс на момент приема смены. И остановить его было уже невозможно. Но мы не были простыми исполнителями...»

Он вязнет и задыхается в немоте, но приказ немотствовать заставляет сознание крепче вцепиться в оставшийся клочок живого смысла. И подавляемое сознание хватает главное о себе, а главное в том, что оно, сознание, должно разрастаться, модифицироваться, в нем должна быть распахана способность к самостоятельности, а не только к исполнительности. Должна быть разработана готовность к творчеству, что и есть жизнь, а не только к дублированию, которое мертвенно. Это последнее зафиксированное в Хронике мужество сопротивления

аннигиляции. Аннигиляции способности мыслить.

Вытащив из-под пресса запрета последнее свидетельство, хронист напоследок еще раз перепроверяет себя и вновь устанавливает: «В тот самый роковой миг перед взрывом профессионализм и опыт не сработали... Это был тот самый момент, когда у операторов включился профессионализм, но... страх перед окриком взял верх».

Отсутствие страха перед окриком означает не просто смелость, оно предполагает возможность анализировать приказ сверху, который может быть гибельным, т. е. оно означает зрелость и зоркость, уже чисто гражданские. В восемьдесят шестом году, когда произошел чернобыльский взрыв, эта версия еще не укоренилась в сознании.

«...мужество и бесстрашие у атомных операторов после взрыва стали главной действующей силой»,— определяет хронист в финале. Мужество и бесстрашие вступили в действие, едва только взрыв раскрепостил операторов и дал им свободу действий, хотя это была свобода действий в жестких радиационных полях, среди полыхающих конструкций и рвущихся коммуникаций.

Чернобыльская катастрофа предстает в Хронике как ситуация, уже не пограничная, а запредельная. Здесь все рассеяно, рассыпано, это как бы разбегающаяся реальность. Множественность многопланова и многопутна. Она хранит жизнь, но и хоронит ее в бессчетности своих единиц, их сочетаний и метаморфоз этих изменчивых соединений. Рой — и обитель жизни, и братская могила. В Хронике трепещут эти зыбкие рубежи, эти скользящие состояния. Множество, рой, чтобы выжить, уже не может быть братской могилой, удешевляющей и погашающей индивидуальность своею несметностью. Игра тоталитарных начал с этой несметностью оказывается обоюдоразрушительной. Уже не смерть предстает как антижизнь, а жизнь как антисмерть — настолько гибельность повсеместна и настолько кажется необратимой. Сознание ощутило свою конечность, ощутило себя пронизанным небытием и тут сообразило, что шанс спасения надо искать в себе самом, что идея вторичности сознания, его подчиненности бытию гибельна для самого бытия и пора воспрять.

Хроника читается как суровый диалог сознания с самим собой, как острая и пристрастная рефлексия, когда система защит инженерно пройдена до конца, обнаружена ее ненадежность, ее открытость шальной случайности в звеньях крупных и малых, поскольку она фундаментально безнравственна.

«Графит валялся и за изгородью, рядом с нашей машиной. Я открыл дверь, подсунул датчик радиометра почти вплотную к графитовому блоку. Две тысячи рентген в час. Закрыл дверь. Пахнет озоном, гарью, пылью и еще чем-то. Может быть, жареной человечиной...

Солдаты и офицеры, набрав полное ведро, как-то, мне казалось, неспешно шли к металлическим ящикам-контейнерам и высыпали туда содержимое ведер.

«Милые мои,— подумал я,— какой страшный урожай собираете вы... Но где же? Где миллионы рублей, отпущенных государством на разработку робототехники и манипуляторов? Где? Украли?.. Пустили по ветру?..

Лица солдат и офицеров темно-бурые. Ядерный загар. Синоптики обещают ливневые дожди, и, чтобы активность не смыло дождями в грунт, вместо роботов, которых нет, пошли люди...

Вдали видны навалы песка. Минтрансстроевцы уже роют захватки под реактором. Пробили уже два тоннеля. Потом эстафету у них возьмут угольщики.

— Под бетонную подушку роют,— сказал Володя.— Говорят, бутылка водки под реактором стоит сто пятьдесят рублей... Для дезактивации...»

В маленьком эпизоде: тысячи рентген, тысячи солдат и рабочих, миллионы рублей, навалы песка... Конкретные данные в который раз, казалось бы, помимо авторской воли, питаемые лишь его свидетельской добросовестностью, вдруг исторгают поэтический звук, факты, фиксируемые репортерски, оказываются поэтически ассоциативны, и уже опять не понимаешь, где клубятся ассоциации,— в воображении ли автора, или сама реальность заговорила их языком. Но книга имеет автора, и все, что творится на ее повествовательной территории, излилось на лист сквозь фильтры его сознания и воображения. Оставаясь свидетельским показанием и не отрываясь от этого своего качества, Хроника постепенно, чем ближе к финалу, тем очевидней, обнаруживает, что задокументированная ею реальность развертывается уже как ядерный эпос. В чернобыльских событиях Хроника узнала жанр и выявила его документально.

Обилие свидетельских показаний создает многоголосие, и сознание автора при всей его дерзости и самостоятельности выступает в конечном счете как сознание совокупное. Он и не отказывается от этой своей миссии — напротив, миссия раздвигает его художественные горизонты, питает его созерцательность. Способность к реконструкции есть уже действие. Реальность структурирует себя художественно, может быть, много раньше, чем начнет меняться, а может быть, художественность и есть явление ее изменчивости. В художественности реальность осознает предстоящий ей путь наиболее чутко, свободно и независимо. Это проба сил, полигон. Образ есть начавшееся действие, его пролог.

Из истории общественно-литературной борьбы 60-х годов

ТВАРДОВСКИЙ, СОЛЖЕНИЦЫН, «НОВЫЙ МИР» ПО ДОКУМЕНТАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР. 1967—1970

III. ИСКЛЮЧЕНИЕ СОЛЖЕНИЦЫНА ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ (ноябрь — декабрь 1969 г.)

От составителя: 4 ноября 1969 г. Рязанская писательская организация исключила А. И. Солженицына из Союза писателей СССР. Писатель, «замечательный талант которого не оспаривают даже самые ярые его противники» (Твардовский, цитировавшееся письмо Федину), чье имя «приобрело мировую известность как имя одного из крупнейших писателей современности» (там же), был изгнан из «творческого союза», тем самым вновь (в который раз!) запятнавшего себя холуйским соучастием в преступлениях антинародного режима. Этот позорный для советского государства акт на том этапе явился своего рода итогом многолетней войны, в которой вся мощь тоталитарной системы оказалась бессильной перед стойкостью человека, убежденного, что за ним — правда. По материалам советской печати, а главное, по архивам КГБ и ЦК КПСС, столь же непроницаемо закрытым в «эпоху гласности», как и двадцать, и пятьдесят лет назад, будущие историки литературы, я надеюсь, проследят, как за два года, отделяющих 4 ноября 1969 г. от 22 сентября 1967 г., все разрасталась и усиливалась кампания травли писателя-гражданина. Единственным его произведением после 1963 г., опубликованным по эту сторону границы, оставался небольшой рассказ «Захар-калита» («НМ», 1966, № 1). Набранные в «Новом мире» для январской книжки за 1968 г. первые восемь глав «Ракового корпуса», который, по словам Твардовского, стал бы «украшением и гордостью нашей литературы» (там же), естественно, уперлись в глухую стену цензуры, подтвердив лицемерие заявлений литературных боссов, будто судьба этого произведения «всецело относится к компетенции редакции».

В то же время чем более систематическими и злобными становились нападки на Солженицына с позиций казенно-марксистской и казенно-патриотической идеологии[1], тем выше был его писательский и нравственный авторитет как у нас, так и за рубежом. Несмотря на все более серьезный риск, с которым сопряжено было распространение «самиздата», «Раковый корпус», «В круге первом» и другие не опубликованные в СССР художественные и публицистические произведения Солженицына ходили по стране в сотнях и тысячах машинописных экземпляров. 50-летие автора «Одного дня Ивана Денисовича» (11 декабря 1968 г.) вызвало поток поздравительных телеграмм и в Рязань, и в редакцию «Нового мира».

Все это, конечно, заставляло партийное руководство медлить с расправой над ненавистным ему писателем. Но успешное пресечение «Пражской весны» и то обстоятельство, что даже такой крупномасштабный акт международного разбоя вызвал тогда сравнительно вялую реакцию Запада, вероятно, развеяли опасения «руководителей партии и правительства», тем более, что в условиях, когда «после Праги» в самом Советском Союзе началось резкое ужесточение режима, «безнаказанность» Солженицына должна была представляться уже совершенно невыносимой для их политического самолюбия. Возможно, что поторопиться с исключением заставила и вероятность присуждения Солженицыну Нобелевской премии: исключать лауреата было бы уже слишком скандальным, тогда как премию исключенному легче было представить как чисто политическую акцию «классового врага»[2].

[1] Иные из ее пропагандистов, между прочим, уверяли, что настоящая фамилия Александра Исаевича — Солженицер.

[2] Так это и будет, когда годом позже присуждение премии станет свершившимся фактом; см., в частности: «Недостойная игра» («Известия», 1970, 10 октября), «Где ищет талант и славу Нобелевский комитет?» («Комсомольская правда», 17 октября), И. Александров. Нищета антикоммунизма («Правда», 17 декабря), аналогичные выступления в «Литературной газете» (21 и 28 октября), «Красной звезде» (26 декабря) и других органах советской печати.

Продолжение. Начало см. «Октябрь», 1990, №№ 8, 9.

Итак, 4 ноября 1969 г. маленькая, всего из 5 человек группа малоизвестных рязанских литераторов, правда, усиленная представителями руководства Союза писателей и Рязанского обкома КПСС, приняла следующее постановление (обнаружено в делах секретариата правления СП РСФСР, недавно переданных в Центральный государственный архив литературы и искусства — ЦГАЛИ).

Постановление

собрания Рязанской писательской организации «О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей»

(ЦГАЛИ, ф. 2938, оп. 2, ед. хр. 326, л. 4—5)[3]

Заслушав и обсудив[4] информацию секретаря правления Союза писателей РСФСР тов. Таурина Ф. Н. о постановлении секретариата СП РСФСР «О мерах усиления идейно-воспитательной работы среди писателей», собрание Рязанской писательской организации одобряет практические меры по усилению идейно-воспитательной работы среди писателей, по повышению их ответственности перед народом за свое творчество, выработанные секретариатом СП РСФСР.

1. Писатели Рязанской области с гневом и возмущением осуждают факты измены Родине перерожденцев и предателей Кузнецова, Демина, Белинкова[5] и заявляют о своей непоколебимой верности идеалам коммунизма, о своей готовности самоотверженно трудиться на благо советского народа, своего социалистического Отечества.

Собрание подчеркивает, что в условиях обострившейся идеологической борьбы резко возрастает ответственность каждого литератора за свое творчество и общественное поведение.

2. Собрание считает, что поведение члена СП СССР, члена Рязанской писательской организации А. Солженицына носит антиобщественный характер, в корне противоречит принципам и задачам, сформированным в Уставе Союза писателей СССР, и **постановляет:**

За антиобщественное поведение, противоречащее целям и задачам Союза писателей СССР, за грубое нарушение основных положений Устава СП СССР исключить литератора Солженицына из членов Союза писателей СССР;

Просить секретариат Союза писателей РСФСР утвердить это решение.

3. Собрание поручает руководству писательской организации усилить требовательность к каждому члену организации за дальнейшее повышение идейно-художественного уровня создаваемых произведений, за укрепление связей с жизнью трудящихся.

Собрание выражает твердую уверенность, что Рязанская писательская организация будет и впредь активно способствовать духовному формированию нового общества, вместе со всем народом бороться за построение коммунизма.

Принято — пятью голосами

Против — один (Солженицын)

Председатель собрания С. Баранов (подпись)

Секретарь собрания Н. Родин (подпись)

4 ноября 1969 г.

[3] Публикация А. Воздвиженской.

[4] Заседание не стенографировалось. Краткая запись выступлений, которую вел Солженицын, приведена в его книге «Бодался теленок с дубом».

[5] Перечислены фамилии писателей-«невозвращенцев»: Анатолия Васильевича Кузнецова (1929—1979), Михаила Демина (Трифонова Георгия Евгеньевича, р. 1926) и Аркадия Викторовича Белинкова (1921—1970). Все трое были исключены из Союза писателей: М. Демин и А. Белинков в 1968 г., А. Кузнецов в 1969 г.

От составителя. Хотя постановление занимает полторы страницы машинописного текста, мотивы исключения из «творческого союза» сформулированы здесь более чем кратко и невнятно. В чем именно выразилось «антиобщественное поведение» писателя? И какое «грубое нарушение» совершил он по отношению к «основным положениям Устава СП СССР» — опять-таки к каким именно? Все это никак не раскрыто, и лишь общий контекст документа — «гнев и возмущение» по поводу «предателей Кузнецова, Демина, Белинкова», клятва в «непоколебимой верности идеалам коммунизма» и пр.— заставляют догадываться, что мероприятие носит характер сугубо политический. Ясно, что судят здесь не за что иное, как за собственные убеждения, и за то, что данный член Союза писателей в своем понимании «ответственности перед народом» исходит именно из них, а не из «постановлений секретариата СП РСФСР». Следующий документ ставит в этом отношении все точки над i.

Исключение состоялось 4 ноября, а уже назавтра секретариат правления Союза писателей РСФСР с молниеносной скоростью «утверждает» инспирированное им же самим решение, чем и будет знаменит в истории русской культуры.

Откуда такая спешка? Почему, как заметит на следующий день Твардовский, «так важно, так срочно это предпраздничное мероприятие»? Ответ очевиден: нужно постараться исключить присутствие на нем Солженицына. Во-первых, при нем осуществить эту акцию было бы много труднее. Во-вторых, неизбежной стала бы широкая, скорее всего мировая огласка хода заседания, поведения каждого из его участников,— никто из них в

этом не был заинтересован. Поэтому, хотя и вынуждены его пригласить, сделано это в такой форме и при таких обстоятельствах, чтобы в максимальной степени затруднить для него согласие. (Можно предположить, что если бы Солженицын тем не менее согласился, заседание пришлось бы перенести и приложить усилие к тому, чтобы все равно провести его в отсутствие «обвиняемого».)

Итак, вот протокол и стенограмма этого заседания, ход которого до сих пор оставался тайной узкого круга прямых соучастников.

Заседание секретариата правления союза писателей РСФСР 5 ноября 1969 г. (ЦГАЛИ, ф. 2938, оп. 2, ед. хр. 326; протокол и стенограмма, полностью) [6]

Присутствовали:

Председатель правления СП РСФСР Л. С. Соболев. Секретари правления СП РСФСР Ф. Н. Таурин, А. Л. Барто, Д. А. Гранин, В. А. Закруткин, А. П. Кешоков, Г. М. Марков, В. К. Панков, Л. К. Татьяничева, В. Д. Федоров, С. Т. Хакимов. И. о. секретаря по орг. вопросам В. В. Шкаев.

Секретарь правления СП СССР К. В. Воронков.

От отдела культуры ЦК КПСС Ю. С. Мелентьев [7], Н. П. Жильцова, Г. М. Гусев.

Председательствующий — Л. С. Соболев.

Повестка дня: 1. О решении Рязанской писательской организации СП РСФСР об исключении литератора Солженицына А. И. из членов Союза писателей СССР [8].

Информация Ф. Н. Таурина.

Слушали: О решении Рязанской писательской организации СП РСФСР об исключении литератора Солженицына А. И. из членов Союза писателей СССР.

Информация Ф. Н. Таурина.

В обсуждении вопроса приняли участие: Л. С. Соболев, Г. М. Марков, К. В. Воронков, В. Д. Федоров, Л. К. Татьяничева, В. А. Закруткин, А. Л. Барто, В. К. Панков, С. Т. Хакимов, А. П. Кешоков, Д. А. Гранин, В. В. Шкаев. Стенограмма прилагается.

Постановили: Утвердить решение Рязанской писательской организации об исключении литератора Солженицына Александра Исаевича из членов Союза писателей СССР.

Председатель правления Союза писателей РСФСР
Леонид Соболев (подпись)

Стенограмма [9]

Л. С. Соболев. Вчера в Рязанской писательской организации было проведено собрание, на котором присутствовал секретарь нашего правления Ф. Н. Таурин. Собрание было посвящено постановлению, принятому секретариатом правления СП СССР об усилении идеологической работы среди писателей и повышении бдительности по отношению к выезжающим за границу.

На данном собрании произошли явления <прения?>, которые кончились тем, что Рязанское отделение вынесло решение об исключении А. И. Солженицына из числа членов Союза писателей.

Сейчас наш секретариат СП РСФСР по Конституции должен утвердить это решение.

Надо сказать, что вопрос этот давний. Напомню его историю. Здесь присутствуют секретари СП СССР и могут более обстоятельно и подробно рассказать об этом. Я не был на этом заседании секретариата СП СССР; судя по стенограмме, обсуждение было очень доброжелательным по отношению к А. Солженицыну [10], и содержание его заключалось в том, что Солженицыну протягивали руку, призывая к тому, чтобы он честно высказался в печати перед советским народом, как он расценивает шумиху, которая поднята враждебным лагерем за рубежом вокруг его имени.

Вы все это знаете. Но я подчеркиваю, что ему еще на этом заседании Секретариата 23 сентября 1967 года [11] было предложено это сделать. Однако в течение двух с лишним лет, прошедших с того времени, он не нашел в себе откровенного желания исполнить эту не просьбу, а требование нашей организации.

Это первое, что побудило Рязанское отделение СП просить у Солженицына ответа на этот вопрос.

Во-вторых, на партийном активе Московской писательской организации неоднократно задавались вопросы: до каких пор будет молчать Солженицын и как расценивать это его молчание.

Это дошло до нас, и мы вынуждены

[6] Публикация А. Воздвиженской.

[7] В преамбуле к стенограмме (где повторяется список присутствовавших) указана должность — зам. зав. отделом.

[8] В преамбуле к стенограмме повестка дня изложена иначе: «1. О ходе подготовки к съезду писателей (III съезд писателей РСФСР состоялся в марте 1970 г. — **Ю. Б.**); 2. Прием в члены СП; 3. Решение Рязанской писательской организации об исключении А. И. Солженицына из членов СП».

[9] За исключением выступлений Л. С. Соболева, В. К. Панкова и Ф. Н. Таурина, стенограмма не выправлена.

[10] Стенограмма, помещенная в предыдущем номере нашего журнала, дает полное представление о характере этой «доброжелательности».

[11] Неточность: заседание состоялось 22 сентября 1967 г.

были просить товарищей разобраться в этом вопросе. Если коммунисты Москвы нас об этом спрашивают, отмалчиваться мы не можем, а потому мы вынуждены были обратиться к собранию Рязанской организации [12].

И в решении этого собрания совершенно правильно сказано, что собрание считает, что поведение Солженицына носит антиобщественный характер и в корне противоречит принципам и задачам, изложенным в Уставе нашей организации. И в итоге предлагается за антиобщественное поведение исключить Солженицына из членов Союза.

В заключении излагается просьба в наш адрес утвердить данное решение.

Прежде чем предоставить слово желающим высказаться, хочу обратить внимание на одно обстоятельство. Порой приходится слышать такого рода пояснения:

— Я не могу иметь суждение о судьбе писателя, так как не читал его произведений, а в опубликованных не вижу ничего антисоветского и антикоммунистического. Потому и не могу иметь суждения.

Но я хотел бы поставить вопрос в ином плане. Мне думается, если чуждый нам, враждебный, весьма сильный и умный лагерь пользует произведения какого-то писателя, находя в его литературе что-то для себя драгоценное, то есть то, что может служить орудием антикоммунистической пропаганды в бою. Если нет этой «изюминки», то вряд ли это произведение может послужить поводом для того, чтобы прославить данного писателя и издавать в бесконечных количествах книжные тиражи и как-то пользовать его книги [13].

Я не думаю, чтобы каждый из нас, нечаянно попав в такое положение (был вопрос — передавал ли Солженицын сам свои произведения, имел ли контакт,— я это отвергаю. И это к делу не относится, но факт налицо), каждый, когда его имя употреблялось бы врагами для борьбы с идеями общества, в котором мы живем, если человек честный и живет в этом обществе, то он не потерпит, чтобы его именем кто-то пользовался. А если человек молчит, не желает в этом смысле объясняться или после заседания Секретариата в «Литературной газете» появляется только объяснение, что он протестует против публикования его произведений незаконченных [14], то ведь это просто отговорка.

Но как я могу терпеть, чтобы моим именем пользовались враги, как я могу терпеть, когда мне мои товарищи говорят: «Посмотри, что с тобой делают»,— а я на это отвечу, что не слушаю радио, что не читаю газет и не знаю, что там делается?

Если говорить о нашем Уставе, то прочтите тот пункт, в котором сказано о правах и обязанностях члена Союза писателей. Там говорится о том, что самое главное — это идейная чистота. Вот об этом-то мы и поговорим.

Теперь, кто желает высказаться?

В. В. Шкаев. Поскольку зашла речь об Уставе Союза писателей, разрешите мне прочитать пункт из этого Устава. (Читает.)

В связи с этим в Рязань была послана телеграмма с приглашением Солженицына на заседание сегодняшнего Секретариата. Сегодня утром заместитель секретаря партийного бюро Рязанской писательской организации т. Левченко сообщил, что Солженицын присутствовать на заседании не может. Сказал он так: «Сегодня снегопад, поезда переполнены, и вообще за 24 часа я собраться не могу. После праздников я готов присутствовать на Секретариате. Но сегодня я присутствовать не могу» [15].

Л. С. Соболев. Возникает вопрос о правомочности нашего решения.

Ф. Н. Таурин. Может быть, мне доложить, как происходило вчера дело.

Мне представляется, что вчера все было проведено очень точно, четко, наша позиция была принципиально правильной. Все говорилось в глаза. Шел откровенный разговор. Все высказывались. И сам Солженицын отметил, что собрание проводилось согласно Уставу, что никаких претензий у него к собранию нет.

Когда после ему было сообщено о сегодняшнем Секретариате [16], то он ответил, что так быстро вряд ли он сможет приехать, что он просит дать ему несколько дней. Насколько его причины уважительны, я судить не могу. Он ссылался на то, что кто-то у него тяжело болен. Я не поставил себе задачи проверять эти причины. Мне кажется, что было бы значительно лучше во всех отношениях, если бы мы этот вопрос решили в его присутствии, иначе мы оставим большой повод для того, чтобы он мог оспаривать наше решение. Очень трудно доказать необходимость такого экстренного, спешного решения.

Собрание окончилось в 6 часов вечера. Прошли всего сутки после собрания в Рязани. Я не могу решать за Секретариат, но я просил его приехать на наше заседание. Он сказал, что не отказывается, но в такой спешке и неожиданности

[12] Документальное подтверждение того факта, что решение об исключении было принято московским руководством, а в Рязани только исполнено.

[13] Комментарием к этому утверждению могут служить Нобелевская премия М. А. Шолохову (1965) и огромное количество зарубежных изданий «Тихого Дона».

[14] «Литературная газета», 1968, 26 июня.

[15] Трудно себе представить, чтобы в Рязанской писательской организации, состоявшей всего из нескольких членов, существовало «партийное бюро». Так или иначе версия Н. С. Левченко (или передавшего ее В. Б. Шкаева) отличалась от объяснения Ф. Н. Таурина (см. ниже).

[16] В своем кругу можно не скрывать, что рязанское решение принято было в Москве и что стремительное его утверждение тоже назначено было заранее.

он этого сделать не может, что ему не позволяет здоровье и прочее.

Поэтому я и считал бы, что следует лучше обсуждение вопроса отложить с тем, чтобы обсуждать его в присутствии Солженицына, чтобы не оставлять ему лазейку для обжалований.

В. Д. Федоров. А как записано в Уставе? Что это может разбираться на всех уровнях? В отсутствие члена Союза?

К. В. Воронков. В уставе прямо сказано, что член Союза *имеет право* присутствовать при разборе его дела.

Л. К. Татьяничева. Ему было предоставлено это право, но он им не воспользовался.

Г. М. Марков. Его предупреждали, ставили в известность, так что затягивать обсуждение вопроса для секретариата СП РСФСР считаю нецелесообразным. Нельзя забывать, что Солженицын — фигура одиозная, вокруг него начинает много накручиваться, и важно, чтобы Секретариат выразил свое отношение и свою точку зрения по горячим следам. Никаких нарушений здесь я не вижу.

Л. К. Татьяничева. Поддерживаю Г. М. Маркова. Стоит вопрос о подготовке к съезду, перед нами большая работа, съехались товарищи со всей России[17] для участия в Секретариате, и вызывать их повторно, откладывать это обсуждение нельзя.

Л. С. Соболев. Если мы перенесем Секретариат, нам будет трудно в решении целого ряда вопросов.

Ф. Н. Таурин. Если в какой-то степени наше решение будет формально неправильным, поскольку он просил, чтобы вопрос решался при нем, то он напишет вам в секретариат СП СССР жалобу, и что может получиться: вы обяжете нас пересмотреть наше решение. Не попадем ли мы в глупое положение?

Г. М. Марков. Вопрос надо решать посерьезному. Вопрос о Солженицыне созрел. Более того, вы все великолепно знаете, что партийная общественность, читатели, советская общественность давно задают этот вопрос. Обсуждение, которое было два года и два месяца тому назад, было в отношении Солженицына чрезвычайно лояльным. Правда, и тогда было предложение — исключить его из членов СП. Такое предложение вносил М. А. Шолохов[18]. Секретариат 7 часов обсуждал Солженицына в его присутствии. Были высказаны все замечания. Разбор был исключительно полный. Но что же произошло за эти два года и два месяца? В какую сторону повернулась стрелка? Куда она стала тяготеть? В сторону того, что Солженицын попытался выяснить позицию и обрести качества, которые должны быть у советского писателя, или в сторону отхода от Устава, от требований, которые ему были предложены секретариатом Союза писателей СССР?

Вы знаете, что Солженицын широко издавался за границей и получал деньги[19]. Все это известно. В это время его имя широко было поднято враждебной пропагандой. За него ухватились. Он стал в центре внимания всех идеологических буржуазных центров, которые против нас вели войну. Вместе с этим, казалось, что советский писатель на каком-то пункте ударит кулаком и что-то скажет о своих позициях, тем более что разговор был не простой, а очень серьезный, в присутствии представителей всей союзной литературы, не только русской литературы, а всей союзной литературы.

Решение Рязанской организации отвечает общему настроению в стране, в литературе, и с этим мы должны считаться. И теперь пойдут день за днем, а позиция Союза писателей РСФСР не будет выяснена. Пойдут дни, но будет неизвестно, как и что. С точки зрения соблюдения законности мы сделали все. Что касается будущего, то я не буду предрешать. Мне кажется, что откладывать этот вопрос нельзя. Я не считаю это возможным.

В. К. Панков. По процедурным вопросам. Все условия Устава соблюдены. Соблюдено то условие, что собрание в Рязани проходило в полном составе. Секретарей Союза писателей РСФСР вызвать не так просто в такой большой стране, как наша. Солженицын своевременно предупрежден. Рязань расположена в трех часах езды от Москвы, и, казалось бы, не составляет затруднений приехать на такое заседание. Я считаю, что все условия, все законные требования соблюдены, и мы можем рассмотреть решение Рязанской организации. Мы можем рассматривать заявление Солженицына как нежелание присутствовать на данном Секретариате. Я — за проведение обсуждения этого вопроса.

К. В. Воронков. Я считаю, что надо обсудить этот вопрос. Если бы я имел возможность, я вам бы напомнил историю всех так называемых отношений с Солженицыным. Они все время так строились. Мы все время его ждем, мы ему кланяемся. Хватит!

Устав соблюден: в его присутствии разбирался вопрос на Рязанской организации. Она приняла решение. Приехать на Секретариат он вполне мог. Я просто не представляю себе, какой же я член

[17] «Со всей России» съехалось трое: Д. Гранин (Ленинград), В. Закруткин (Ростов-на-Дону) и С. Хакимов (Казань), остальные были москвичами.

[18] По тексту получается, что Шолохов вносил это предложение на упомянутом заседании, но он там не присутствовал. Вместе с тем отрицательное отношение Шолохова к Солженицыну известно было давно. Еще 28 февраля 1963 г. Твардовский писал Овечкину: «Говорят, правда, вешенский старец готовится к разгрому Солженицына, но как это согласовать с тем, что он просил меня передать Солженицыну свой привет и поздравления, не знаю» (см. «Книжное обозрение», 1990, № 35).

[19] Ср. упомянутое на заседании 22 сентября 1967 г. обвинение Солженицына в том, что он не получает гонораров за зарубежные издания своих произведений и тем самым материально поддерживает капиталистический мир.

Союза, если решается вопрос о моей принадлежности к этому Союзу, а я буду ссылаться на погоду, на поезда и на прочее.

Нам следует начать обсуждение этого вопроса, и никаких нарушений Устава здесь нет. Ему предлагали приехать, он не захотел, и все будет правильно.

Л. С. Соболев. Затем мы можем здесь руководствоваться и другим: «Единожды солгавши, кто тебе поверит». Он так долго водил нас за нос, что больше ждать нечего. А потом, какая у нас уверенность в том, что мы соберем кворум на 15 ноября, а он опять не приедет? До каких пор будет это продолжаться?

Д. А. Гранин. Здесь правильно говорилось, что в его поведении много непонятного. Для меня также. И вопрос даже не в том, вправе мы или не вправе решать вопрос без него, но я просто хотел бы выслушать его, чтобы для себя самого решить этот вопрос.

Мне кажется, что если большой Союз, обсуждая вопрос о его поведении, откладывал и ждал, то для нас, решая вопрос об исключении члена нашего Союза, это особенно важно.

В. А. Закруткин. Все-таки хотелось бы выслушать, как вел себя на рязанском собрании Солженицын, нам об этом не сказали.

Л. С. Соболев. Это мы услышим в процессе обсуждения вопроса, а к нему мы не приступали. Согласен ли Секретариат начать обсуждение? Кто за это? Кто против? (Против — тт. Гранин, Таурин, Барто.)

А. Л. Барто. Я также за то, чтобы обсуждать вопрос в присутствии Солженицына.

Л. С. Соболев. Большинством голосов решили начать обсуждение. Первое слово предоставляется Ф. Н. Таурину.

Ф. Н. Таурин. Мне было дано поручение выехать в Рязанское отделение нашего Союза и рассказать там о решении, которое было вынесено секретариатом СП РСФСР. Это было специальное постановление по конкретному случаю, где обращалось внимание всех писательских организаций на необходимость усиления идеологической работы среди писателей и более четкого подхода при их выезде за границу. Постановление было принято по конкретному поводу, но имело более широкое значение, и решено было ознакомить с ним все писательские организации. Рязанская организация особенно важна, и было решено туда направить секретаря, чтобы там провести информационное собрание. После того как началось обсуждение вопроса, естественно, говорили о Кузнецове как о первопричине возникновения этого вопроса и других ненормальных фактов в поведении отдельных писателей. Писатели Рязанской организации подняли вопрос, что один из членов их организации также неправильно относится к Уставу Союза писателей, не соблюдает этот Устав.

На собрании было 7 (6. — Ю. Б.) человек. Одного члена этой организации на собрании не было, он находился в больнице и явиться не смог. Все остальные 6 человек были на собрании. Таким образом, собрание было правомочным. На собрании присутствовал и Солженицын. Выступили все до единого члена организации. Все в той или другой мере предъявляли претензии к Солженицыну. С одной стороны, в том, что он пренебрегает этой организацией, не желает участвовать в работе, почти никогда не появляется в этой организации, делает такие вещи, которые явно бестактны: когда его приглашают на отчетно-выборные собрания, то он присылает записку, что он присоединяется к большинству.

Обо всем этом говорили с большим неудовольствием. И все считали, что Солженицын ведет себя неправильно, что он дает возможность использовать свое имя писателя для атак и нападок на нашу страну в зарубежной печати. Все считают, что это несовместимо с пребыванием в Союзе писателей. Слово было предоставлено и Солженицыну. Регламент для него был установлен в 10 минут, он попросил прибавить ему время. Его спросили: сколько ему еще нужно времени для того, чтобы окончить свое выступление? Он попросил еще 10 минут. Эти 10 минут ему были даны. И он стал высказывать свои доводы. Они сводились к следующему: он не понимает этих обвинений, которые адресованы ему, что он отмалчивается потому, что он обращался неоднократно в Секретариат по поводу решения целого ряда вопросов. Но эти вопросы решены не были. Он находится в положении человека, который не получил ответа на заданные вопросы, и что поэтому он выступить не может.

При этом он использовал довольно выигрышно один пункт. Правда, этот выигрыш был кажущимся. Он сказал, что он не может ответить на статью в «Литературной газете», потому что в качестве примера был поставлен вопрос: какая разница между Кузнецовым и им? Он счел ниже своего достоинства отвечать на этот вопрос. Признаться, такой ответ Солженицына выглядел несколько юмористически, потому что тогда еще не было известно, что Кузнецов будет предателем[20]. Но никаких других веских доводов Солженицын привести не мог.

[20] В резко осудительной по отношению к Солженицыну редакционной статье «Литературной газеты» (1968, 26 июня) «Идейная борьба. Ответственность писателя» ему в качестве одного из положительных примеров косвенно противопоставлялся писатель Анатолий Кузнецов, судившийся с французским издательством, которое допустило тенденциозную переделку его повести «Продолжение легенды» Через месяц после появления статьи, воспользовавшись официальной поездкой, А. Кузнецов остался в Англии. «По его признанию, чтобы добиться разрешения на поездку в Лондон, а тем самым сделать возможным свой побег, он вынужден был за полгода до этого, став агентом КГБ, доносить на некоторых писателей...» (Вольфганг Козак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Лондон, 1988, с. 408). В этих условиях ответ Солженицына на вопрос, заданный ему через полтора го

Решение состоялось. После этого попросили его приехать на Секретариат. Он сказал, что считает такую поспешность непонятной, что по ряду причин семейного порядка приехать не сможет, но он желал бы присутствовать на Секретариате при разборе этого дела.

Я еще раз попросил его приехать, объяснив ему, что другой раз будет очень трудно собрать такой расширенный Секретариат, т. к. не все москвичи, а много приезжих. Я просил это учесть, что на этом заседании будут представлены все секретари, но он ответил, что приехать он не сможет, и на этом наш разговор закончился.

Л. С. Соболев. Прямого ответа он не дал, как он расценивает свое молчание. Как и раньше, видимо, он уходил от этого вопроса.

Ф. Н. Таурин. Он заявил, что есть ряд невыясненных вопросов. И пока эти вопросы будут не выяснены, он ответить не сможет.

В. Д. Федоров. Ваше впечатление от разговора с ним? От его поведения? Что это — скорее желание вывернуться?

Ф. Н. Таурин. Судить об этом трудно. Я почувствовал, что ему хотелось быть на нашем заседании Секретариата, рассказать о своей позиции, почему я и голосовал за то, чтобы обсуждение отложить. Считаю, что для нас это было бы выгоднее и полезнее, так как сняло бы всякие возможности для него спекулировать этим делом.

А. Л. Барто. Товарищи говорили ему впрямую не по поводу его творчества, с которым многие, может быть, не знакомы, а о том, что он как будто бы возглавляет оппозицию?

Ф. Н. Таурин. Ему говорили многое — очень резко и правильно. Говорили, что «у вас есть, может быть, обиды на Союз писателей, но нельзя переносить это на всю страну в целом; если бы кто-то поносил вашу мать, вы бы просто за нее заступились, а в данном случае ваше поведение нельзя считать правильным». Он считает, что секретариат СП РСФСР по отношению к нему неправильные позиции занимает.

К. В. Воронков. Я целиком поддерживаю решение Рязанской организации, считаю его абсолютно правильным.

Позволил бы себе высказать несколько своих соображений по истории вопроса. Известно, что Солженицын обратился к съезду писателей с письмом, которое было размножено в нескольких сотнях экземпляров и за две недели до съезда разослано. Президиум съезда, получив это письмо, принял решение,— поскольку там были изложены 8—10 пунктов,— поручить Секретариату избранного вновь правления СП рассмотреть это письмо в присутствии Солженицына. Это было поручено сделать Г. М. Маркову, мне, Сартакову и Твардовскому [21]. В присутствии Солженицына мы рассмотрели подробно его заявление. Подавляющее большинство пунктов представляли собой явный обман организации, передержку и ложь, а в отношении неясностей с его биографией можно было кое-что уточнить. Словом, при встрече с ним на этом совещании ему были подробно разъяснены все вопросы, по которым собрался Секретариат и где присутствовали почти все секретари Союза.

Заседание продолжалось семь часов Г. М. Марков спокойно, доброжелательно, по пунктам старался разъяснить Солженицыну претензии его к Секретариату, редакциям, цензуре [22]. Секретариат принял такое постановление (зачитывает). Как видите, имелся специальный пункт, чтобы поручить члену Союза А. Солженицыну в недельный срок сообщить секретариату СП СССР свои соображения, как он намерен реагировать на выступления буржуазной пропаганды.

Во-вторых, считалось целесообразным опубликовать в «Литературной газете» отчет о заседании Секретариата.

Прошло 4 месяца после этого заседания Секретариата. Я написал письмо Солженицыну, что прошла не неделя, а 4 месяца (К. Воронков увеличил срок ровно вдвое.— **Ю. Б.**), и вы на решение Секретариата никак не реагировали как на решение своей организации. Прошу сообщить Секретариату, какое вы приняли решение — в письменном виде, или прошу прибыть в Секретариат и объяснить [23]. Он прибыл. Какие вопросы он поставил? Он сказал: я всегда отреагирую, но выполните следующие мои пункты. И он дал мне новое заявление и снова изложил эти пункты в присутствии т. Сартакова.

И мы начали ему объяснять пункт за пунктом. Он же нам отвечал, что его произведения в журналах не публикуют, потому что запрещает цензура.

— Но позвольте, «Новый мир» принимает вашу рукопись, но делает замечания. Вы отказываетесь эти замечания выполнять. Далее вы передаете ваши произведения в «Звезду». «Звезда» делает вам замечания. Вы отказываетесь эти замечания выполнять. После этого вы передаете ваши произведения в «Простор». Но и этот журнал вам делает замечания, которые вы отказываетесь выполнять. О какой цензуре вы говорите? Идет обычная нормальная работа с писателем в редакции журнала. До цензуры ваше произведение и не доходило [24].

да после описываемых событий, не заключал в себе ничего «юмористического». Достойным откликом на упомянутую статью (в бесцензурной печати) явилась статья Л. К. Чуковской «Ответственность писателя и безответственность «Литературной газеты» («Новый журнал», Нью-Йорк, 1968, № 93).

[21] В этом перечне опущен Соболев, зато ради пущей убедительности в него добавлен Твардовский, не входивший в «делегацию», а присутствовавший по своей инициативе (см. предыдущую часть публикации).

[22] Как помнит читатель, заседание вел Федин. В кратком выступлении Маркова не затрагивался ни один из названных вопросов.

[23] Просьбы о «прибытии» письмо Воронкова не содержало.

И всегда, когда на Секретариате ставились эти вопросы, со стороны Солженицына начиналась торговля. Мы ему задали вопрос:

— Вы член организации или нет? Ваша организация приняла решение и предлагает вам как члену своей организации это решение выполнить. Отреагируйте, как вы считаете: правильно или неправильно ваше поведение? Но Солженицын отказывается это делать. А ведь в течение двух с лишним лет у него была возможность об этом подумать.

Второе, на что мне хотелось бы обратить внимание, это то, что все документы, касающиеся Солженицына, были опубликованы зарубежной буржуазной печатью. Например, первый документ: его письмо съезду. 400 экземпляров размножил Солженицын [25], и, допустим, один из этих экземпляров этого письма попал за рубеж. Но как могло случиться, что запись заседания Секретариата, запись, сделанная самим Солженицыным, оказалась опубликованной за рубежом? Как могло случиться, что письмо, которое я написал Солженицыну и которое было всего в двух экземплярах (один экземпляр был у меня, и даже это письмо не проходило через канцелярию, не печаталось в машбюро), как это письмо могло оказаться опубликованным в буржуазной печати? Как могло случиться, что уже следующее письмо после вызова и после предъявления новых 8 пунктов оказалось опубликованным в печати?

Я считаю, что явно он сам передает эти письма. Иначе как можно себе это представить? Я пишу ему письмо, и текст этого письма оказывается опубликованным в буржуазной печати. Произведения Солженицына продолжают печатать за рубежом как антисоветские произведения. Тот же «Пир победителей» оказался опубликованным за рубежом. Спрашивается, почему Солженицын никогда нигде не выступил с протестом против этого,— не выступил в печати или на собрании и не сказал свое отношение к этому как член организации? Мне кажется, что его поведение за два года после съезда убеждает, что человек просто не хочет отреагировать на требования своей организации.

Словом, он нарушил все требования своей организации, и абсолютно правильным считаю решение Рязанского отделения СП. Секретариат поступит правильно, если утвердит его.

Л. К. Татьяничева. Не только рязанские товарищи, но и писатели, живущие во многих других городах, высказывали неоднократно свое отношение к недвусмысленному поведению А. Солженицына, и решение писательской организации Рязани кажется мне своевременным, и его следует утвердить.

Солженицын своим поведением давно поставил себя вне рядов Союза с о в е т с к и х писателей, делаю ударение на слове «советский». Каждая строка Устава нашего Союза говорит, что советский писатель — это человек, который утверждает идеи ленинизма, способствует строительству коммунизма в нашей стране. Как же можно сопоставить билет члена Союза советских писателей с поведением, которое дает основания именовать его «вождем оппозиции»? Это же полярно несовместимо!

Один из пунктов нашего Устава гласит, что «член Союза писателей обязан:

а. созданием новых произведений, всей своей творческой и общественной деятельностью активно участвовать в строительстве коммунизма».

Является ли таким членом Союза Солженицын? Нет, и это говорит о том, что он давно находится вне рядов Союза. Его произведения как раз дают пищу для враждебной нам пропаганды, вооружают в борьбе против нашей страны и народа. Просто своим поведением как гражданин Солженицын ведет себя нечестно. Он не воспользовался возможностью прояснить свои позиции. Если он находил возможным передавать свои произведения за границу, он давно мог бы при желании найти трибуну, чтобы заявить свой протест против использования его произведений.

Для меня вопрос ясен, и я буду голосовать за исключение Солженицына из рядов Союза.

В. Д. Федоров. То, что я услышал, вызвало у меня совершенно определенное мнение. Этот товарищ, который считается нашим товарищем по организации, не ведет себя, как следует настоящему товарищу. Я не знаю, какие произведения он направлял за границу, но както по радио в передаче Би-Би-Си я слышал его рассказ, который назывался «Крестный ход». Это, видимо, не самый антисоветский рассказ, но и такого рассказа вполне достаточно. Если твой рассказ передали по такому радио, то автор должен отмежеваться от этого или сказать, что это — недоразумение, во всяком случае, как-то отреагировать. Недопустимо ставить в двусмысленное положение свою организацию. Мы не можем этого допустить, мы не можем допускать, чтобы в нашей организации происходили такие вещи.

Конечно, было бы лучше, если бы Солженицын присутствовал здесь. Но мне кажется, что даже если бы он присутствовал, то решение все равно бы состоялось. Если на протяжении двух с половиной лет он занимал такую позицию — игры с нашей организацией, то, мне кажется, этому пора положить конец. И я присоединяю свой голос за исключение.

В. А. Закруткин. Я должен сказать, что все, что является предметом для та-

[24] Напоминаю: это говорится почти через два года после того, как был наложен цензурный запрет на публикацию в «Новом мире» романа «Раковый корпус».

[25] В действительности 250 экземпляров.

кого очень серьезного обмена мнений, отнюдь не является секретом секретариата СП. Должен сообщить, что на протяжении последних полутора лет я много и часто по просьбе целого ряда товарищей выступал с лекциями о советской литературе, о современных проблемах советской литературы в разных, в очень разных обширных аудиториях. 5—6 раз я выступал в Высшей партийной школе в Ростове, в военных аудиториях перед офицерами, генералами, рядовыми, выступал в рабочих аудиториях, перед колхозниками, рабочими совхозов. Подавляющее большинство этих людей читают газеты и слушают радио. Многие из них слушают и зарубежное радио. И я должен об этом доложить Секретариату, что на протяжении всех этих моих выступлений сотни раз задавались вопросы слушателями: как это секретариат Союза писателей, руководство Секретариата терпит явную антисоветчину в своих рядах? И на эти вопросы мне приходилось только разводить руками. Меня спрашивали: почему не исключают из Союза советских писателей человека, о котором зарубежное радио говорит как о своем соратнике в буржуазных антикоммунистических выступлениях? (**С места.** И подкрепляют это текстами.) И называют этого человека членом Союза советских писателей. Что же вы смотрите? И таких вопросов задавались сотнями, коммунистами и беспартийными, военными и гражданскими лицами, колхозниками и рабочими.

Если бы здесь присутствовал Солженицын, он не смог бы это отрицать. Безусловно, он свои произведения за рубеж передавал сам или передавал, может быть, с кем-то. Если бы это было иначе, то он давно бы выступил и сказал, что я — не я и хата не моя. Я ничего не знаю, я не выступал в печати. Но раз он этого не делает, следовательно, он замалчивает истинное положение вещей. (**Л. К. Татьяничева.** И при этом получает гонорары.) Тем более. Мне приходится говорить об этих вещах перед своими товарищами, которые так же, как и я, не могут понять одного. Речь идет об очень серьезных вещах. Мы недавно видели, что творилось в Чехословакии, были свидетелями событий в Венгрии и Польше и знаем, какую роль играли здесь некоторые писатели. Почему же мы притихаем, когда то же самое касается советских писателей?

То, что Солженицын присутствовал на собрании рязанских писателей, выслушал, что там говорилось,— он имел же возможность оправдаться перед своими товарищами! Но он этого не сделал. Он продолжает считать, что правильно антикоммунистическая буржуазная пропаганда использует его произведения.

Плюс к этому он выступает с целым рядом требований, как это было сделано в свое время перед секретариатом СП СССР.

Считаю, что вопрос ясен. Мы должны исключить Солженицына из рядов Союза. Речь идет здесь о политике, о том очень серьезном, мимо чего мы проходить не можем. Если Солженицын сочтет, что исключен неправильно, и своим поведением докажет, что достоин звания советского писателя, секретариат СП СССР и наш Секретариат вправе пересмотреть свое решение. А в данный момент никакого другого решения мы принять не можем.

Л. С. Соболев. Этой осенью в течение 22-х дней я плавал на Средиземноморской эскадре, где мне приходилось проводить разные беседы с офицерским составом, курсантами, матросами. И действительно, как только начинался разговор о литературе, сейчас же всплывало имя Солженицына. Причем как ни неприятно вспоминать, но я был там как раз в те пакостные дни, когда гремел в эфире голос м-сье Анатоля (то есть А. Кузнецова.— **Ю. Б.**), и мне пришлось слышать некоторые его высказывания.

И вот парадоксальная вещь: мои собеседники — и офицеры, и рядовые матросы, которым надо было объяснять случай с Кузнецовым,— сейчас же ассоциативно переходили на разговор о Солженицыне. Так и спрашивали:

— Ну, с Кузнецовым все ясно, все понятно, а как с Солженицыным?

В. А. Закруткин. А мне слушатели ВПШ рассказывали, что читали размноженные на папиросной бумаге произведения Солженицына.

Г. М. Марков. Могу также засвидетельствовать, как и Соболев, Татьяничева, Закруткин, что на всех встречах с трудящимися встает вопрос о Солженицыне. Так же было и на Алтае, в Бийском избирательном округе, где я отчитывался в своей деятельности как депутат Верховного Совета. Вопрос шел о литературе и о Солженицыне. Его поведение глубоко возмущает, потому что встает вопрос о том, что выходят его книги за рубежом. Товарищи спрашивают: правда это? Да, правда, товарищи.

И тогда возникает второй вопрос: как же это терпят в Союзе советских писателей? Да разве советский писатель может так поступать? И вот приходится объяснять, что обсуждают Солженицына, дали ему время на раздумье, чтобы товарищ мог все взвесить. И, казалось, было достаточно время для того, чтобы ответить ему на заданный вопрос.

Должен заметить, что этот вопрос перед нами сейчас ставят и союзы писателей социалистических стран. Недавно я был в Венгрии, вел дружеские переговоры по разным аспектам нашей литературной жизни. И вот одним из этих вопросов был вопрос о Солженицыне. Должен сообщить, что на переговорах со словацкими писателями мы добились успеха и подписали договор в очень сложных условиях. Этого мы еще не достигли с чешскими писателями.

И здесь тоже встал этот вопрос. Наступило время, когда мы не можем не дать оценки этому делу. А оценка может

быть дана одна, когда твое имя превращают в орудие борьбы против твоей Родины, для борьбы против идей — существа советского писателя. Но ты молчишь. К тебе обращаются товарищи и призывают тебя пробудиться. Когда же проснется твоя гражданская совесть? А ты ставишь условия. Так советский писатель поступать не может, так не может поступать просто советский гражданин, самый обыкновенный, самый рядовой.

Л. С. Соболев. Очень правильно у вас была сказана фраза о гражданственности. В данном случае идет вопрос не только об этическом поведении советского писателя, но возникает вопрос об этике поведения советского гражданина.

Г. М. Марков. Солженицын позволил превратить себя (это, видимо, его устраивает, в этом я убежден) в средство борьбы с нами, потому что в противном случае у него была возможность возмутиться и заявить о своей позиции, сказать, как он все это оценивает. И во вчерашнем выступлении. Но, судя по информации Таурина, можно думать, что он не сдвинулся никуда. Как был на этой позиции, так на этой позиции он и остался. И в этом его общественное лицо, его творческое лицо. Сегодня мы должны принять единственное решение, которое возможно в наших сегодняшних условиях,— исключить Солженицына из Союза советских писателей, и я прошу присоединить мой голос к этому решению. Я считаю, что Рязанская организация поступила зрело. Она нашла в себе мужество посмотреть на вещи открытыми глазами и назвать их такими, какие они есть в самом настоящем фактическом состоянии. Рязанская организация приняла верное решение.

А. Л. Барто. Начну с того, что я не читала Солженицына, с ним не знакома, не знаю его даже в лицо, и мне было бы очень интересно услышать, как же он отвечает на все те обвинения, которые предъявляются ему? И я продолжаю сожалеть, что его нет.

Однако факты, которые приводили товарищи, настолько убедительны, что я также буду за его исключение. Мне казалось, что в последнее время, хотя бы в связи с предательством господина Анатоля, все писатели должны особенно четко выяснить, с кем они. Говорят, что Солженицын — большой и крупный писатель. Тогда ему особенно важно прояснить свои позиции. Ведь Анатоль сбежал, а он не сбежал. Я бы предложила ему уехать, если он действительно против нас и ему там хорошо. Может быть, я как детский писатель рассуждаю наивно, но я бы поступила таким образом. Мы отмахиваемся от Би-Би-Си, а все-таки неприятно, если опять будут выступать и лить помои на нас. Было бы лучше, если бы Солженицын был здесь и мы могли бы все это сказать ему в лицо.

Может быть, у него есть какое-то маленькое его окружение, но из больших, крупных писателей не думаю, чтобы кто-то поддерживал его.

И еще хочется сказать об одном. Я хотя член <правления> большого Союза, но ничего не знала о прошедшем Секретариате с участием Солженицына, мне рассказал об этом С. Баруздин, а я хотела бы об этом больше знать.

Сегодня я в трудном положении. Мне кажется, что если бы здесь присутствовал Солженицын, мы просили бы его высказаться и, может быть, что-то стало бы более понятным и ясным.

На этом разрешите закончить. Я говорила то, что думаю.

С. Т. Хакимов. Я также произведений Солженицына не читал всех, читал только две повести, опубликованные в журналах, а произведения в рукописи не читал. Но я верю товарищам, которые проинформировали нас.

Я хотел бы сказать, что наши татарские писатели даже те произведения, которые были опубликованы, повести и рассказы (а вокруг этих произведений в печати было очень много шума, и многие из них оценивались положительно), не считали художественными произведениями, не считали их высокохудожественными произведениями, в частности, и такую повесть, как «Один день Ивана Денисовича», а шума было много.

Товарищи говорят о его поведении, о позиции писателя. Я лично считаю, что Солженицын — это писатель совершенно противоположной позиции, чем наша позиция. И при этом мне иногда вспоминается позиция Мусы Джалиля и его группы, которые работали в труднейших условиях в тылу врага, у фашистов. Их было одиннадцать человек, и все они погибли, и половина из них — это были писатели, журналисты. Амин, Абдул Курманов — молодой поэт и другие.

Мы издавали эти произведения. Вот это и есть позиция советского писателя. Но Солженицын показывает другую позицию. Нам кажется, что мы слишком долго ведем разговоры с Солженицыным. Мы иногда даже популяризируем его имя среди народа.

Я согласен с мнением Секретариата — исключить Солженицына из Союза писателей. И я считаю это решение совершенно правильным. Если он потом обратится в Союз писателей, то это вопрос уже другой. Тогда мы соберемся на Секретариат и рассмотрим этот вопрос.

Ф. Н. Таурин. Я не хочу совсем заводить разговор о значении творчества Солженицына и тех произведений, которые у нас опубликованы. Дискутировать тут нечего, ибо дело не в этом. Я всегда считал, что в лице Солженицына мы имеем крупного и, может быть, даже очень крупного писателя. Так мне казалось. Поэтому я с очень большим огорчением воспринял все то, что мне приходилось слушать о том, какой шум создается вокруг этого имени, в чем он волен или не волен. Тогда я еще совершенно не понимал, как это он становится

орудием пропаганды против нас. Мне всегда было только очень горько и тяжело, потому что я считал его большим писателем.

Когда я ехал в Рязань, не специально по этому вопросу, но я понимал, что и этот вопрос должен был возникнуть, я ехал с надеждой, что, может быть, когда ему скажут в лицо, когда он почувствует, что уже чаша терпения переполнилась, то он сделает разумный вывод. И я был очень огорчен, когда никакого понимания этого вопроса с его стороны не последовало. Поэтому я и внес предложение лучше обсудить этот вопрос при нем. Не потому, что я думаю, что мы могли бы что-то изменить в его позиции. То, что я сейчас говорю, это примерно то, что я говорил там, что было сказано в Рязани, может быть, не так убедительно, не так четко это было сформулировано, но по существу там было сказано Солженицыну в лицо все. И для меня ясно, что он сейчас находится в таком состоянии, когда или не хочет, или не может, или не готов понять эти вещи. И все его поведение таково, что не совпадает с нашими взглядами на литературу и общественные явления, с тем, что мы понимаем под словом писатель. Фактически он сам себя исключает и сам поставил себя вне рядов Союза.

Мы можем с уважением относиться к его художественному мастерству, но это только одна сторона вопроса. Мне очень горько голосовать за его исключение, но есть вещи, которые выше частных интересов литературы. Как говорится, иначе получается, что не суббота для человека, а человек для субботы.

В. К. Панков. Начну с Кузнецова. В сентябре я был во Франции. В Лионе была встреча нашей писательской группы с членами Ассоциации франко-советской дружбы. Там зашел разговор о процессе, который происходил несколько лет назад в Лионе. Возник разговор в связи с заявлением Кузнецова по поводу его «Продолжения легенды». Оказывается, теперь Кузнецов опубликовал заявление, что процесс этот будто бы был подстроен, якобы был ему навязан с нашей стороны, что его заставили пойти на это и сейчас он отказывается от своих претензий.

Встреча происходила в присутствии адвоката, который защищал Кузнецова на процессе. Тогда этот процесс был выигран. Кузнецов поставил своего адвоката в неудобное положение.

Я рассказываю об этом, чтобы сказать: во Франции мы почувствовали, что за границей о Кузнецове у многих людей складывается очень плохое мнение. Фактически своим оголтелым самораздеванием, духовным стриптизом он оттолкнул от себя многих людей на Западе. Его презирают, как предателя.

Я не знаю всех других его выступлений. Я говорю о некоторых впечатлениях. Может быть, после этого сейчас западная контрреволюционная, антисоветская пропаганда с особым усилием делает упор на Солженицына, который остается в Союзе писателей СССР. И возможно, что именно сейчас на него делается еще более усиленная ставка. В этих условиях мы должны строго и принципиально высказать все, что известно о Солженицыне. Я должен высказать свое мнение и о его произведениях. Мне кажется, что оценка произведений Солженицына очень во многом завышена. (**С места.** Правильно.) В целом ряде его произведений явны антисоветские тенденции. Он не работает над художественной стороной произведений. Это видно особенно по «Пиру победителей», по коротким рассказам и по первой части романа «Раковый корпус».

«Пир победителей» — это не художественное произведение. Это антисоветская вещь, написанная самыми плохими виршами, некультурными, безграмотными виршами. И говорить о какой-то художественной высоте Солженицына — это преувеличение. И первую его вещь «Один день Ивана Денисовича» в свое время захвалили. Это произведение привлекло внимание своим фактическим материалом. Я вспоминаю, что даже первое предисловие, когда опубликовали эту вещь, было довольно скромным. Твардовский, который написал это предисловие, чрезвычайно скромно оценил это произведение. Он говорил о том, что, возможно, будут спорить об этой повести [26], отмечал в основном важность темы, которая до того времени не раскрывалась.

Я решительно подчеркиваю это положение. Мы не должны преувеличивать художественные достоинства произведений Солженицына.

Если развивать эту мысль, то рукопись Солженицына «Раковый корпус» была очень небрежно сделана, она нелитературна. Вещь эта чрезвычайно растянута, носит натуралистический, антигуманистический характер. Многое построено на игре низких страстей. Особенно это подчеркнуто в эпизодах с сестрой, когда готовится кислородная подушка больному и вдруг на балконе происходит сближение, а рядом умирает человек, которому нужна кислородная подушка.

---

[26] Этот мотив в предисловии Твардовского отсутствовал. Что касается сдержанности тона предисловия (иначе говоря, отсутствия в нем элемента редакторской саморекламы), то это не помешало Твардовскому сказать, что повесть автора, «впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческих характеров. В этом прежде всего заключается редкостная впечатляющая сила произведения. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «зэков», читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в «особые», крайние условия жестоких физических и моральных испытаний». И дальше: «Я не хочу предвосхищать оценку читателями этого небольшого по объему произведения, хотя для меня несомненно, что оно означает приход в нашу литературу нового, своеобычного и вполне зрелого мастера» («НМ», 1962, № 11, сс. 8 9).

И это показано с одобрительным отношением к герою произведения. Здесь мы видим натурализм в самой неприкрытой форме.

Мне хотелось напомнить, что в истории советской литературы были факты, когда те или другие писатели публиковали свои произведения в зарубежных изданиях, а потом, убедившись в обмане со стороны зарубежных издателей, отмежевывались от них. В большинстве случаев писатели, даже те, которые у нас критиковались за свое творчество, отказывались от использования их имен в зарубежной печати.

Вчера мне попал в руки один журнал издания 1923 года, который называется «Книга и революция». Он выпускался в Петрограде, одним из его редакторов являлся Константин Федин. И вот на 75-й странице № 1 за 1923 год было помещено письмо в редакцию Иннокентия Оксенова. Был такой поэт и критик. Я его не знал. Но в чем дело? Он обращается в редакцию журнала и пишет, что в свое время журнал «Сполохи», который издавался в Берлине, под редакцией какого-то Дроздова... (**Л. С. Соболев.** Что значит — какой-то? Дроздов — это громадная эмигрантская величина) [27]. Так вот, Оксенов пишет: мне было предложено дать свои стихи, при этом меня заверяли, что журнал абсолютно аполитичный. Когда же я познакомился с содержанием этого журнала,— продолжает он,— увидел его враждебность, сожалею, <что> дал туда стихи, и никогда сотрудничать в таком журнале не буду. Таков общий смысл письма Оксенова.

Это было на заре революции. Как только советский человек почувствовал, что это антисоветский журнал, он публично отмежевывался от него.

Мы на протяжении нескольких лет рассматриваем события, связанные с Солженицыным. Имя его используется врагами Советского Союза. Секретариат СП СССР предложил ему официально высказать свои позиции, а он более двух лет тянет и сделать этого не хочет. Дошло до того, что перед открытием IV съезда писателей Чехословакии письмо Солженицына читается перед участниками съезда, а это способствует накаливанию антисоциалистической обстановки в Чехословакии.

Уже одно это должно было бы Солженицына насторожить и вызвать тревогу. Эти факты с наглядной убедительностью свидетельствуют, что Солженицын давно уже поставил себя вне рядов нашего Союза. Подтверждая решение о его исключении из Союза писателей, мы выполняем свой гражданский и партийный долг, подчеркиваем несовместимость такого поведения с членством в Союзе советских писателей.

А. П. Кешоков. Здесь говорили, что не раз возникал вопрос о Солженицыне в любых аудиториях. С этим не соглашаться нельзя. Но этот вопрос о Солженицыне прежде всего ставил перед собой я, ставил его перед своей совестью: может ли писатель Солженицын оставаться в Союзе, в то время как делает все против этого Союза?

К этому вопросу и ответу на него я был готов и раньше, и сейчас считаю, что он не может оставаться в рядах Союза.

Если исходить из того, что писательская организация — это добровольная творческая организация, члены которой своим творчеством участвуют в строительстве нового общества, как сказано в Уставе,— мне кажется, что представление, какое у нас сложилось о Союзе писателей, рушится, когда этой меркой меряешь творчество Солженицына. Сегодня, если бы он и присутствовал здесь, может быть, он согласился бы с чем-то или отверг. Но независимо от этого уже у каждого из нас сложилось определенное мнение, и он перед нами вырисовывается как с отрицательными творческими позициями писатель. И все то, что мы здесь говорили, для него и могло иметь какое-то значение, но в целом переубедить его, заставить сменить свои творческие позиции, наверное, было бы не под силу.

Я говорю о том, что мы не сможем на него повлиять еще и потому, что если писатель, советский писатель ставит перед собой задачу своим творчеством участвовать в строительстве нового общества, то мне думается, что он ставит перед своим творчеством иные задачи, а не демонтировать ту систему идей, которую мы все время утверждаем и хотим утвердить своим творчеством.

Если писатель ставит себе задачу, несовместимую, противоположную тем задачам, которую мы себе ставим, то я думаю, что он не может оставаться в этом Союзе. Он может быть в любом другом писательском союзе, но в советском писательском союзе он быть не может. Его творчество, как ни оценивать, не работает на то, что решаем мы. Его творчество работает совсем на противоположное. Литература, его книги издаются там, где есть на них большой спрос, где они оцениваются по достоинству.

Здесь совсем недавно Сафонов (ответственный секретарь Рязанской писательской организации.— **Ю. Б.**) говорил, что́ издано, и то, что он читал,— это приемлемо. Это то, что не может послужить основанием для того, чтобы решить вопрос о том, чтобы быть или не быть в Союзе писателей. Что же касается других произведений, о которых идет речь, то он их не читал и поэтому не может сделать вывода.

Я хочу сказать, что не по этим документам у нас сложилось представление о нем. У нас представление сложилось о нем в целом <не> как о писателе, у которого что-то можно взять, что-то отбросить. Это невозможно. Солженицын бе-

---

[27] Писатель А. М. Дроздов (1895—1963), в 1920—1923 гг. находившийся в эмиграции, «громадной эмигрантской величиной» не был.

рет на себя право сказать, что он свидетель эпохи, голос и уши и что он увиденное и услышанное хочет передать поколению. Если он — совесть, то позволительно спросить свою собственную совесть: когда ты верен — тогда, когда принимаешь роль лидера оппозиции, призванного разоблачать советские идеи, или когда ты находишься в рядах организации, которая ставит перед собой задачу утверждения новых принципов?

Мне думается, из этого вытекает одно: должен быть сделан выбор. Солженицын мог бы, например, стать членом союза писателей Шведского пенклуба, но сказать, что я — советский писатель, у него нет никакого права. Он не может этого сказать.

Здесь были такие слова, что вот — Достоевский и вот — Солженицын. Я не хочу брать на себя слишком больших обязательств и судить за время. Время — главный судья, оно расставит всех по своим местам. Но я хотел бы высказать свое соображение, что эти два имени не могут ставиться в один ряд. Достоевский всем своим творчеством как бы обращен в будущее. По отношению к Солженицыну трудно сказать, что его произведения были открытием для мировой литературы, он, наоборот, обращен не вперед, как Достоевский, а назад, т. е. ставит своей задачей развенчать все то, что выстраивалось в течение полувека.

Я согласен, что он принес в литературу тот материал, который был запретным до этого, но приоритет здесь мы не может отдать ему, так как XX съезд партии был первооткрывателем этого материала. На этом материале Солженицын и создал свои произведения.

Я читал из его произведений не только то, что напечатано, но кое-что из того, что не печаталось, и кое-что слушал по радио. В связи с этим мне также думается, что он не только поставил себя вне рядов Союза, но в какой-то мере и бросил вызов Союзу своим поведением и творчеством. Поэтому, когда сейчас говорят о том, что что-то надо было бы разъяснить и уточнить, мне кажется, что это время прошло. Два года он не считал возможным ответить на вопросы, поставленные писательской организацией, и ошибочно думать, что через десять дней он сможет что-то ответить. Это — несбыточное желание. Поэтому для меня вопрос о том, состоять ли Солженицыну в нашем Союзе или не состоять, этот вопрос решен задолго до заседания Секретариата. Не кривя душой, я могу сказать, что Солженицын не может состоять в нашем Союзе.

Д. А. Гранин. Дело в том, что не надо преувеличивать значение Солженицына как писателя, но не надо его и преуменьшать. Мы имеем дело с крупным писателем, интересным писателем, и тем более трагично то, что происходит с ним.

Для меня все-таки встает ряд вопросов, связанных с поведением Солженицына. Здесь говорилось о том, как он не реагировал на то, как использовала его имя и произведения зарубежная печать, и почему он молчит. Почему он в течение этих лет никогда не выступал и не дает оценки тому, что происходит. Для меня это совершенно непонятно, и ответ хотелось бы услышать от него. Как у каждого крупного писателя, у него должен быть какой-то политический взгляд, какая-то своя политическая программа, какая-то оценка нашей деятельности, нашей идеологии, нашей системы. И если бы он был здесь, я бы задал прямо ему этот вопрос. Для меня было бы чрезвычайно важно узнать, и я сказал бы, что я не понимаю такой позиции советского писателя.

Г. М. Марков. Все мы не понимаем.

Д. А. Гранин. Но сейчас мы все эти вопросы задаем в пространство. Я не могу, я не имею возможности спросить этого человека: что же он думает и с чем это для него связано? Я лично его не знаю, никогда не видел. Мне кажется, что он мог бы ответить на эти вопросы со всей откровенностью, разъяснить какие-то вещи не скрывая.

С места. Федин задавал такие вопросы.

Д. А. Гранин. Зачем он тогда вступал в Союз советских писателей, для чего?

Г. М. Марков. Не будем сегодня преуменьшать значение Союза. Под его прикрытием хорошо действовать [28].

Д. А. Гранин. Он никогда не использовал Союз. Не знаю, как он мог использовать.

Г. М. Марков. Как деятель определенного толка он сформировался в борьбе с Союзом.

Д. А. Гранин. Вступая в Союз, каждый берет на себя целый ряд идейных обязательств, политических обязательств. Что же он думает в отношении этих обязательств? Я должен сказать, что даже прогрессивные писатели Запада имеют какие-то более или менее четкие позиции в отношении к нашей советской идеологии. Я имею в виду западных писателей, но на каких позициях стоит он, писатель наш, советский?

Г. М. Марков. Это видно из его действий, поступков и заявлений.

Д. А. Гранин. Я читал его опубликованные вещи. И из неопубликованных вещей читал «Раковый корпус». Я не могу сказать, что это вещь антисоветская, хотя в «Раковом корпусе» есть какие-то определенные идейные и художественные изъяны. Но я не могу обвинить его в том, что это антисоветский писатель. Речь идет о его взглядах, случайных или не случайных.

Мне кажется поэтому, что наша торопливость, это наше в общем какое-то

[28] Кому-кому, а Г. Маркову было хорошо известно, что Солженицын не просил принять его в Союз писателей, а был почтительно приглашен туда руководством Союза в тот недолгий период, когда благодаря поддержке главы государства перед автором «Одного дня Ивана Денисовича» сами собой распахивались двери.

опасение, не очень мужественное, встретиться с Солженицыным, задать ему эти вопросы, послушать его ответы, поговорить с ним, нельзя считать правомерным.

Все-таки исключение из Союза писателей предполагает для каждого из нас такой политический приговор, перед которым каждый должен остановиться, в общем, в каком-то раздумье, каждый здравомыслящий человек, воспитанный в нашем обществе. Солженицын воевал, он солдат, защищал свою Родину, и не могу представить себе, чтобы эта его военная биография и единодушное мнение о нем его товарищей не нашли бы отклика в его душе.

Для меня много непонятного во всем этом деле, много непонятного в его фигуре, и потому мне кажется неправильным и я считаю, что политическим проигрышем будет принять эту крайнюю меру без того, чтобы встретиться и поговорить с Солженицыным.

И я не очень понимаю, почему через несколько часов после вчерашнего его исключения из Союза местной организацией надо санкционировать это исключение.

Г. М. Марков. Потому что он стал уже фигурой политической.

Д. А. Гранин. Тогда тем более.

Г. М. Марков. И отсутствие нашей оценки в этом деле также становится фактом политическим. В любом другом случае нечего было бы спешить, а у нас имеются на это основания.

Д. А. Гранин. Мы ждали два года и можем, как мне кажется, подождать один-два дня, чтобы решить вопрос об исключении члена Союза в его присутствии. Мы часто доходим до больших политических убытков в деятельности Союза писателей.

Взять хотя бы дело Кузнецова. Он выступил с совершенно возмутительной статьей о связи писателей и КГБ, где поливает грязью вообще всех советских писателей, оперируя мнимыми фактами. И что же? Союз писателей не нашел нужным выступить по этому поводу, чтобы дезавуировать эти провокации и дать ответ на них. Известно, что Кузнецов заявляет, что каждый писатель, который едет за границу, является сотрудником КГБ. Я считаю, что допускать и оставлять без ответа такие вещи мы как общественная организация не можем.

Мне кажется, что отложить решение вопроса об исключении Солженицына до его приезда было бы правильнее. По крайней мере я для себя сегодня не могу голосовать за его исключение из членов СП. И еще раз прошу Секретариат не устраивать здесь излишней спешки и дать возможность нам открыто и откровенно раз навсегда поговорить с Солженицыным. Для него, может быть, решение Рязанской организации уже что-то означает.

Л. С. Соболев. Высказались все. Я не буду говорить долго. В общем, итог обсуждения сводится к тому, что из присутствующих все, за исключением одного секретаря, за утверждение решения Рязанской организации.

Мне хотелось бы остановиться на нескольких вопросах, а именно. Я обратил внимание на то, что если это крупный писатель, то тем более он должен был высказать свое мнение. В материалах иностранной прессы его беспрерывно ставят рядом с Достоевским, Толстым, Чеховым. В разных местах и в разных градациях. Эти три-четыре фамилии наших классиков за рубежом сплошь и рядом ставятся рядом с Солженицыным. В смысле художественности его произведений. Но это на их совести, что они так считают.

Но мне хотелось бы привести справку из французской газеты «Нувель обсерватер», где приводятся интересные строчки, которые, может быть, могут навести Солженицына на некоторые раздумья. В этих строчках говорится о том, что все большие события в России предварялись писателями.

Л. К. Татьяничева. Разрешите мне прочитать эту цитату. «Как революция 1905 года представляла своего пророка в Толстом, а революция 1917 года — в Горьком, так и революция 19... будет приветствовать в великом, чистом и безупречном А. И. Солженицыне своего незабываемого провозвестника» [29].

Л. С. Соболев. Благодарю за справку. Если логически рассуждать, если соглашаться с положением пророка революции в стране, в которой ты живешь, то ведь слово «революция» в переводе означает «переворот» в нашей системе идей. Выходит, что этот пророк становится пророком контрреволюции? Если бы мне так сказали, то я наверняка пошел бы бить кого-то в американском посольстве. Да как же можно терпеть подобные вещи? Можно иногда говорить об аполитичности писателя, который не касается политики и стремится сидеть в башне слоновой кости. Можно говорить о разных стремлениях писателя «туда — сюда», можно говорить о каком-то неверном поведении. Но в данном случае мы имеем ни то ни другое. Тут надо говорить об антигражданственности писателя в его поведении.

Я вспоминаю, как в молодые годы, в период финской войны, я <и> В. Ив. Лебедев-Кумач попали в Ригу. И на вокзале я купил газетку. Я не видел белоэмигрантской прессы, и меня интересовало посмотреть, что это такое.

И что же? Меня поразило это, как удар. Помню портреты наших красноармейцев, «радостных и довольных», что попали в плен и с удовольствием уплетающих финскую пищу. А на четвертой по-

[29] Замечательный пример согласованности в мыслях: едва успел один из руководителей СП РСФСР вспомнить выдержку из французской газеты, как у другого она уже наготове! Но еще замечательнее (уже без кавычек) та точность, с какой оправдалось через двадцать лет предвидение автора этой выдержки!

лосе увидел перепечатанные из наших изданий — «Известий», «Правды», «Крокодила» — различные фельетоны и карикатуры по поводу наших недостатков, с общим заголовком: «Советская пресса в своих недостатках».

То же самое было и с использованием имени и творчества Солженицына, и если он человек не аморальный, он не мог этого терпеть.

Очень благодарен В. К. Панкову, который привел здесь факты из своего пребывания во Франции, касающиеся Кузнецова. Действительно, сегодня Кузнецов уже сам себя разоблачил.

Гранин задает вопрос: как это могло быть? А вы думаете, ему эти вопросы не задавали? Но он на них не отвечает. На заседании секретариата СП СССР он прямо заявил:

— Вы сначала ответьте на мои восемь пунктов.

Он все время ставит какие-то ультиматумы, и, если отложить это дело, нет уверенности в том, что и через две недели <не> будет то же самое. А то, что говорили здесь Марков и Закруткин, совершенно верно, об этом нас спрашивают трудящиеся, и правильно было сказано, что наше молчанье — это тоже политическая фигура. Мы таким образом являемся как бы покрывателями этих дел.

Л. К. Татьяничева. Давно известно, что молчание — знак согласия.

Л. С. Соболев. Будут ли дополнительные замечания? Если мы утвердим это решение, то никто не помешает ему апеллировать в вышестоящие организации, в секретариат большого Союза или апеллировать к нам с просьбой о пересмотре. Пересматривать мы откажемся, тогда это попадет в ваш уровень.

Д. А. Гранин. Некрасиво делать такие вещи заочно.

Л. К. Татьяничева. А красиво так поступать годами?

Л. С. Соболев. Прошло два с половиной года. Давайте прямо спросим: неужели, если с вами произошла бы такая история, вам сказали — срочный вопрос, а вы бы ответили: завтра я иду на балет «Бахчисарайский фонтан» и приехать не могу. Это же отговорка. Если бы мне сказали, что у меня отбирают союзный билет, да я бы пешком прибежал из Рязани.

Д. А. Гранин. Некрасиво то, что он не пришел, это правильно, но некрасиво и то, что мы не сразились с ним.

Л. С. Соболев. Что-нибудь толкового он ответил на предъявленные ему обвинения? Стенограмма велась? (**С места.** Нет.) Что он вам сказал, о чем он говорил двадцать минут? О том, что он требует, чтобы ответили на восемь пунктов, и только тогда он будет отвечать? И говорит, какие эти восемь пунктов? А ведь тут как получается? Отец Варлаам говорит: «Когда дело до петли, так и я грамотный». У меня будут отнимать союзный билет, а я на это буду говорить, что не решили восемь пунктов.

Г. М. Марков. Вопрос ясен: формулу Д. А. Гранина относительно того, что некрасиво, я не принимаю.

Л. С. Соболев. И я тоже не принимаю.

Г. М. Марков. Мы высказали мнение и правомочны принять решение.

Л. С. Соболев. Подготовлен проект решения. Разрешите я прочитаю: «Утвердить единогласно решение Рязанской писательской организации и за необщественное поведение, противоречащее задачам Союза писателей СССР, за грубое нарушение основных положений Устава СП исключить литератора Солженицына из членов Союза писателей СССР».

С места. Надо записать — не «единодушно», а «единогласно».

К. В. Воронков. А почему не утвердить просто постановление Рязанской писательской организации об исключении Солженицына за то-то и то-то?

Л. С. Соболев. Вы предлагаете принять решение более лапидарное.

Д. А. Гранин. Мне хотелось бы высказать мысль вслух о том, что если все эти обвинения правильны, то Солженицына надо исключать не за необщественное поведение, а за враждебное.

Л. С. Соболев. Предлагается следующая формулировка нашего решения: «Утвердить решение Рязанской писательской организации об исключении литератора Солженицына А. И. из членов Союза писателей СССР».

Голосуем за второй короткий вариант. Кто за это предложение? Прошу секретарей голосовать. Кто против? (Против нет.) Кто воздержался? (Один воздержался) — Д. Гранин.

Итак, с этим вопросом покончено (лл. 9—75) [30].

К протоколу приложен листок опроса секретарей правления СП РСФСР, отсутствовавших на заседании 5 ноября. В графе «за» (исключение Солженицына) свои подписи поставили А. Е. Алга, М. Н. Алексеев, М. А. Дудин, С. В. Михалков, одна подпись неразборчива, в графе «против» — никого (л. 3).

Дополнение к стенограмме (л. 76)

14 ноября 1969 года секретарь правления СП РСФСР Д. А. Гранин в разговоре по телефону с председателем правления СП РСФСР Л. С. Соболевым заявил, что, познакомившись с дополнительными материалами, он согласился с решением Секретариата об утверждении постановления Рязанской писательской организации об исключении из членов Союза писателей СССР Солженицына А. И. и просит считать свой голос поданным за исключение.

(Треугольная печать протокольного отдела СП РСФСР) (подпись)

[30] На стенограмме помета карандашом: «Отпечатано 3 экз. 1 экз.— ЦК, 1 — СП СССР, 1 — СП РСФСР». В Архиве правления СП СССР документ не обнаружен; возможно, он и не поступал в этот архив как «лишняя» улика против руководителей «большого Союза» и их патронов из ЦК КПСС.

От составителя. Нет нужды подробно комментировать этот документ, в том числе характеризовать индивидуальные особенности поведения участников заседания, из которых одни с видимой охотой выполняют палаческие функции, другие делают попытки возражать (но так, чтобы не слишком повредить себе во мнении начальства) и никто не вскрывает позорный смысл происходящего, никто не говорит ему твердого (или хотя бы не совсем твердого) «нет»,— все это достаточно видно из текста. Обращу внимание лишь на два момента. Личное участие в заседании руководителей «большого Союза», а также целой бригады из ЦК во главе с высокопоставленным чиновником Мелентьевым с неоспоримостью указывает на то, что решение о Солженицыне принято в высших сферах партийно-государственного руководства, секретариату же правления СП РСФСР поручено лишь придать ему вид собственного решения (что, конечно, не уменьшает моральной ответственности присутствующих). И понятно, что речь идет не просто о том, быть или не быть в Союзе писателей одному из 6—7 тысяч его членов — нет, совершается акция, которой правящая олигархия явным образом придает особое политическое значение. А та неумолимость, с какой Марков и Воронков вопреки любым, казалось бы, неоспоримым доводам настаивают на безотлагательности решения, не оставляет сомнений и в том, что срок проведения операции им установлен жесткий.

И вот дело сделано.

В тот же день, 5 ноября, Солженицын звонит в «Новый мир» и сообщает об исключении. В числе первых откликов на это событие — несколько записей в дневнике Твардовского [31]. Под 5.XI: «Оно подбиралось потихоньку давно, было «запрограммировано» в мире чиновников, не ведающих или хорошо ведающих, что творят. Солженицын исключен из Союза писателей в **Рязани**». Записи следующего дня полны тем же событием. «Воронков явно избегает меня, два дня подряд звоню... а он то «на вертушке», то «спешно уехал» — не отзванивает... Еду и сегодня (с дачи в город.— **Ю. Б.**), главным образом чтобы позвонить ему. Чует кошка, чье мясо съела. Он понимает, что встреча со мной на этот раз будет ему тягостна... а то и вовсе избежать этой встречи — его чиновничья задача».

В «Новом мире» исключение Солженицына воспринято и как конец журнала. Продолжая ту же запись, Твардовский пишет: «В редакции вчера Хитров на вопрос:— Ну, как тут у вас? — ответил мне с горечью: — Как? Ясно — как.

На этот раз нет ни у кого сомнений, что это конец, приход которого мы, болтая, бывало, отгадывали... Шуток почти что не было и не было «этих слов», упоминание имени. В точности как на поминках».

Горечь, подавленность, возмущение переживают все большее число людей и за стенами редакции «Нового мира», до кого уже успел дойти слух об исключении. 12 ноября это становится известно всем из официального сообщения «Литературной газеты»:

«В Союзе писателей РСФСР.

Состоялось собрание Рязанской писательской организации, посвященное задачам усиления идейно-воспитательной работы. Участники собрания в своих выступлениях подчеркивали, что в условиях обострившейся идеологической борьбы в современном мире возрастает ответственность каждого советского писателя за свое творчество и общественное поведение. В этой связи участники собрания подняли вопрос о члене Рязанской писательской организации А. Солженицыне. Собрание единодушно отметило, что поведение А. Солженицына носит антиобщественный характер и в корне противоречит принципам и задачам, сформулированным в Уставе Союза писателей.

Как известно, в последние годы имя и сочинения А. Солженицына активно используются враждебной буржуазной пропагандой для клеветнической кампании против нашей страны. Однако А. Солженицын не только не высказал публично своего отношения к этой кампании, но, несмотря на критику советской общественности и неоднократные рекомендации Союза писателей СССР, некоторыми своими действиями и заявлениями по существу способствовал раздуванию антисоветской шумихи вокруг своего имени.

Исходя из этого, собрание Рязанской писательской организации постановило исключить А. Солженицына из Союза писателей СССР.

Секретариат правления Союза писателей РСФСР утвердил решение Рязанской писательской организации».

Здесь прежде всего бросаются в глаза умолчания. Когда прошло собрание в Рязани? В каком составе? Участвовал ли в нем кто-нибудь, кроме членов Рязанской организации, и кто именно? Сколькими голосами принято было решение? Когда и с чьим участием состоялось заседание секретариата СП РСФСР? Присутствовал ли Солженицын? Как распределились поданные голоса? Понятно, что отвечать на эти вопросы устроителям рассматриваемой акции было решительно невыгодно. Что касается наличного содержания сообщения, то, как видим, по части аргументации оно ничего не прибавляет к рязанскому постановлению. Все тот же (как и в 1967 г.) мотив: его выступления используются... а он не высказал публично своего отношения... и даже некоторыми заявлениями по существу способствовал... Иными словами, писатель поступает по собственному разумению и совести, а не по правилам, которые кем-то без его участия для него установлены, ведет себя как свободный человек — и за это

[31] Эта и все другие неопубликованные записи Твардовского сообщены М. И. Твардовской.

должен быть исторгнут из общества рабов. По-своему логично, конечно, только логика-то саморазоблачительна. Ну и все та же, как прежде, трусость — боязнь назвать и проанализировать конкретные факты, потому что стоило лишь рассеять словесный туман, как всем стало бы очевидно: здесь собрание лжецов осудило и изгнало правду.

Что же Солженицын? Вопреки тем же правилам он не промолчал, тем более не стал оправдываться, а преподал уже почти усмиренному обществу еще один прекрасный пример истинной гражданственности, непобедимой внутренней свободы. Его «Открытое письмо секретариату Союза писателей РСФСР» далеко выходило за рамки непосредственного адреса, это был вызов всей мертвой силе тоталитарного государства, выражение презрения к ней. И более того. Как ни велико было нравственно-освобождающее значение этого вызова, пожалуй, еще более важным явилось пророческое, историческн перспективное положительное содержание «Открытого письма», во многом перекликавшегося с книгой А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» (1968) — современный читатель способен оценить его намного полнее, чем люди 60-х годов.

Копия «Открытого письма» (с входящим номером 3033 и датой получения — 17.XI.1969 г.) — кстати, характерно, что Солженицын удостоил исключавших его только одной из копий — обнаружена А. Воздвиженской в том же архивном деле (ЦГАЛИ, ф. 2938, оп. 2, ед. хр. 326, лл. 78—80). Поскольку документ этот давно опубликован (правда, пока не в нашей стране), воспроизведение его не является публикацией. Однако в нашем изложении без него не обойтись.

Открытое письмо

Секретариату Союза писателей РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный Устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что РЕШЕНИЕ предшествовало «обсуждению». Удобней ли было вам без меня изобретать новые обвинения? Опасались ли вы, что придется выделить мне десять минут на ответ? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжелые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это не то глухое, мрачное безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредете в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы не способны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держать и не пущать»!

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы, вместе взятые[32]. А готовятся на нее административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу ее читают? Раз ИНСТАНЦИИ решили тебя не печатать — задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно,— теперь же он виноват, что заступается за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил ТАЙНУ КАБИНЕТА[33]. А зачем ведете вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных переговоров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всем знать и судить о т к р ы т о?

«Враги услышат»,— вот ваша отговорка, вечные постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что б вы делали без «врагов»? Да вы б и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала НЕНАВИСТЬ, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись только завтра льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество,— и кому вы тогда будете тыкать

---

[32] «Открытое письмо Михаилу Шолохову, автору «Тихого Дона» (1966), было ответом Л. К. Чуковской на речь Шолохова на XXIII съезде КПСС, в которой он клеймил А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля как «предателей», а защиту их писательской общественностью как «слюнтяйство». Приведено в кн.: «Цена метафоры, или Преступление и наказание Синявского и Даниэля» (М., 1989, с. 502—506).

[33] К тому моменту литературовед и прозаик Лев Зиновьевич Копелев (р. 1912) уже неоднократно выступал против политических преследований, в том числе в связи с процессами А. Синявского и Ю. Даниэля, Ю. Галанскова и др. За эти выступления и за статью «Возможна ли реабилитация Сталина?» (ж. «Тагебух», Вена, 1968, № 2) он был в 1968 г. исключен из партии и уволен с работы. В 1977 г. исключен из Союза писателей. Живет в эмиграции.

в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Все-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим,— это человечеству. А человечество отделилось от животного мира — МЫСЛЬЮ и РЕЧЬЮ. И они естественно должны быть СВОБОДНЫМИ. А если их сковать — мы возвращаемся в животных.

ГЛАСНОСТЬ, честная и полная ГЛАСНОСТЬ — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

12 ноября 1969 г.

А. Солженицын

Копия верна (подпись)

«Открытое письмо» грохнуло громовым раскатом. Одних оно привело в ярость, волны которой с нарастающей силой будут накатывать на автора четыре последующих года, других ужаснуло, заставило поскорее «отмежеваться», третьих обожгло и смутило — слишком резок оказался вдруг ударивший в глаза свет. Тем выше нравственное значение следующей группы публикуемых документов — писательских писем-протестов против исключения Солженицына.

Как уже отмечалось, демократическая общественность восприняла исключение Солженицына как один из черных дней в истории не только отечественной литературы, но и страны в целом. В обстановке, когда печать высказывала только официальные взгляды, а любые сколько-нибудь массовые выражения инакомыслия были начисто исключены, главной да едва ли и не единственной формой заявить протест были письма в разного рода руководящие инстанции. Поскольку заранее было понятно, что ни одно из таких писем (в отличие от заявлений «в поддержку») не будет предано гласности и скорее всего не окажет воздействия на принятое решение, число их, конечно, было в сотни и тысячи раз меньше, чем число людей, которые готовы были их написать. Их, вероятно, было меньше и по сравнению с числом писательских откликов на солженицынское «Письмо съезду» в апреле — мае 1967 г., но все же достаточно много, что знаменовало собой значительность тех изменений, которые произвело уходившее десятилетие в общественном сознании. Секретариат правления СП СССР получил 12 таких корреспонденций (с общим числом подписей —14); секретариат правления СП РСФСР, вероятно, еще больше, кроме того, туда были пересланы 9 писем такого же содержания, пришедших до 11 декабря 1969 г. в Рязанскую писательскую организацию,— ни те, ни другие в архиве СП РСФСР не выявлены[34].

Напрашивается сравнение. Когда в 1958 г. исключали Пастернака, он слышал — отнюдь не публично — лишь отдельные сочувственные голоса, с трибуны же общемосковского собрания писателей (стенограмма — «Горизонт», 1988, № 9) его только клеймили, клеймили, клеймили — в том числе люди, в личной смелости и честности которых нельзя усомниться. В 1969 г. ни о каком таком собрании власти не могли и помыслить. Солженицына пришлось исключать воровски, почти тайно, собрав маленькую группку запуганных рязанских писателей, предварительно помятых прессом обкома (да и то прошло негладко), всесоюзную же общественность поставить уже перед свершившимся фактом. Так же обстояло дело и с письмами-протестами: в 1958 г. их, насколько известно, просто не было... Потребуются еще новых десять лет, чтобы убить в людях наследие 60-х годов, погасить энергию общественного протеста, так чтобы уже ничто: ни интервенция в Афганистан, ни травля и ссылка А. Д. Сахарова — не могло вызвать ничего, кроме апатии, в лучшем случае горькой.

Письма в защиту Солженицына несут на себе зримую печать того исторического момента и того состояния общественного умонастроения, когда пробудившаяся гражданская активность, истинно человеческое чувство личной ответственности за происходящее борются с подступающей к горлу безнадежностью и во многих случаях еще умеют ее одолеть. А если учесть, что к концу 1969 г. власть уже не раз продемонстрировала свою мстительность, карая за подписи под обращениями к ней самой как за крамолу — увольнениями с работы, исключением имен «подписантов» из издательских планов и пр.,— то каждое такое письмо требовало решимости, было поступком.

Ниже публикуются (в последовательности их написания) одиннадцать писем и одна телеграмма, сохранившиеся в архиве правления СП СССР.

Письма писателей против исключения Солженицына

(приложение к протоколу № 47 заседания секретариата правления СП СССР 19 декабря 1969 г.; оп. 37, пор. 348)[35]

1

Секретариату Правления СП СССР

Глубоко потрясена и взволнована решением Рязанского отделения СП иск-

---

[34] Кроме того, часть писем (возможно, даже большая) могла пойти и по другим адресам: в газеты, поместившие сообщения об исключении Солженицына, то есть в «Литературную газету» и «Литературную Россию», а также в правление Московской писательской организации, в Политбюро ЦК. Их судьба тоже неизвестна.

[35] Публикация Ю. Буртина.

лючить А. И. Солженицына из Союза. Не верила слухам. Сегодня прочитала в «Литературной газете» о том, что Секретариат правления СП РСФСР утвердил этот позорный приговор.

Солженицын не рязанский писатель, и даже не «эрэсэфэсэровский». Это народный писатель, гордость, честь и слава всей нашей литературы. Исключение его из Союза писателей ляжет тяжелым камнем на совести каждого члена Союза писателей, где бы он ни был прописан, в какой бы области литературы ни работал.

Поэтому считаю необходимым созвать чрезвычайный Съезд советских писателей.

Член СП Моск. отд. Т. Литвинова,
переводчица [36].

Москва, А-47, ул. Готвальда,
10, кв. 82, тел.: 253-28-29
12 ноября 1969 г. (л. 97)

Срочная Москва Воровского 52

Секретариат
Союза писателей СССР

Маркову Воронкову

Прочли решение Секретариата ССП РСФСР об исключении Солженицына тчк Считаем справедливым рассмотрение этого вопроса на расширенном пленуме правления Союза писателей СССР тчк Алексей Арбузов зпт Евгений Евтушенко зпт Александр Штейн [37] тчк (л. 91)

2

В Правление Союза писателей СССР

Копия «Литературной газете»

Память и воображение необходимо каждому литератору.

Те, кто «прорабатывал» Ахматову, Зощенко, критиков-«космополитов», Пастернака, принесли нашей литературе, нашей Стране только вред.

Помня все это, легко вообразить, какие последствия будет иметь исключение А. И. Солженицына.

Для многих миллионов людей у нас и во всем мире, для всех зарубежных друзей нашей страны Александр Солженицын сегодня олицетворяет лучшие традиции русской литературы, гражданское мужество и чистую совесть художника.

Решение Рязанского отделения СП необходимо отменить возможно скорее.

14 ноября 1969 г.
Москва, А-319, Краснопресненская [38], 21, кв. 1, тел. 151-80-81
Л. З. Копелев (л. 94).

3

В Секретариат Союза писателей СССР

«Литературная газета» сообщила об исключении из Союза писателей Александра Исаевича Солженицына — в порядке «усиления идейно-воспитательной работы».

Однако о конкретных обстоятельствах дела почти ничего не известно.

Когда состоялось собрание в Рязани? Сколько человек на нем присутствовало? Единогласно ли принято решение или были голоса против?

Когда это решение утверждено? Каким количеством голосов? Что говорилось в выступлениях и что отвечал А. И. Солженицын?

Секретариат СП РСФСР не счел нужным поинтересоваться мнением членов Союза писателей, провести предварительно общее собрание хотя бы в такой большой организации, как московская, дать Солженицыну возможность высказаться публично.

Сделано все, чтобы это событие выглядело незначительным, не заслуживающим внимания.

Я не могу с этим согласиться.

Речь идет о выдающемся русском писателе, который давно и неотторжимо вошел в нашу литературу. Ее славы и ее престижа касается все, что касается Солженицына.

Я переводчик, занимаюсь современной западной литературой и хорошо представляю себе, какую реакцию вызовет исключение Солженицына за рубежом, какой позор навлекает на себя Союз писателей, какой удар сам себе наносит.

Я не могу остаться равнодушным и считаю необходимым высказать свое мнение. Секретариату Союза писателей СССР следует пересмотреть решение секретариата СП РСФСР, которое, по моему убеждению, причинит непоправимый вред не только нашей литературе, но и всей нашей стране.

14 ноября 1969 г.
Хинкис Виктор Александрович [39]

Москва, К-45, Сретенский бульвар, д. 7/1, кв. 2 (л. 98)

4

В Секретариат Союза писателей СССР

Я считаю, что исключение Александра Солженицына из Союза писателей — это национальный позор нашей Родины.

Лидия Чуковская [40]

15 ноября 1969 г. Москва (л. 95)

[36] Литвинова Татьяна Максимовна (р. 1918). В 1981 г. исключена из Союза писателей.
[37] Арбузов Алексей Николаевич (1908—1986), драматург; Евтушенко Евгений Александрович (р. 1933), поэт; Штейн Александр Петрович (р. 1906), драматург.
[38] Опечатка, нужно: Красноармейская.
[39] Хинкис Виктор Александрович (1930—1981), переводчик.
[40] Чуковская Лидия Корнеевна (р. 1907), прозаик, литературовед. В 1974 г. исключена из Союза писателей; восстановлена в 1989 г.

5

В Секретариат Правления Союза писателей СССР

Исключение из членов Союза писателей А. Солженицына и способ, которым оно было осуществлено, вызывает мое глубочайшее недоумение и возмущение. Александр Солженицын — гордость нашей литературы; среди современных русских писателей нет равного ему по масштабу таланта. Как можно было вверять его писательскую судьбу в руки крайне малочисленной и слабой Рязанской писательской организации, состоящей всего из нескольких человек? Как можно было утвердить решение этой организации без широкого обсуждения вопроса в писательской среде?

Произошла позорная ошибка. Ответственность за нее ложится не только на Рязанскую писательскую организацию, исключившую А. Солженицына из Союза, не только на секретариат правления Союза писателей РСФСР, утвердивший это решение, но и на каждого писателя, каждого члена Союза. Еще не поздно исправить ошибку.

Я считаю необходимым пересмотреть вопрос о принадлежности Александра Солженицына к Союзу советских писателей с публичным обсуждением этого вопроса в широких кругах писательской организации, созвав по этому вопросу специальное общее собрание.

И. Грекова,
член ССП, членский билет № 7514

Москва А-167, Ленинградский проспект, д. 44, кв. 29, тел. 258-32-69
И. Грекова (Вентцель Елена Сергеевна) [41].

15 ноября 1969 г. (л. 96)

6

Правление Союза писателей СССР

Исключение А. Солженицына из Союза писателей РСФСР глубоко встревожило меня.

А. Солженицын — выдающийся русский писатель, и отлучение его от советской литературы может обрадовать только наших недругов за рубежом.

Хочу надеяться, что правление СП СССР исправит эту ошибку.

Член СП Федор Абрамов [42]

17 ноября 1969 г.

Ленинград (л. 86)

7

В Правление Союза писателей СССР
Москва, ул. Воровского, 52

Из газетной заметки я узнал об исключении из Союза писателей СССР Александра Исаевича Солженицына. Считаю своим гражданским долгом заявить, что не могу пройти мимо этого факта, не могу согласиться с этим решением выборного органа. Исключение из нашей корпорации одного из крупнейших прозаиков советской эпохи — прискорбная ошибка, одна из многих в ряду тех, какие были допущены в разное время нашим Союзом и всем нашим обществом. Я имею в виду факты, когда изгонялись из писательской организации или иными способами были разлучены с читателем такие видные и теперь уже неоспоримо признанные деятели нашей литературы, как Зощенко, Булгаков, Пастернак, Платонов, Бабель, Ахматова, Мандельштам, и другие.

Не слишком ли всякий раз торопимся, всегда ли по-хозяйски относимся к нашему общему делу и с достаточной ли высоты смотрим на литературный процесс и его ценности?

Л. Пантелеев [43]

17.XI.69 (л. 87)

8

В Правление Союза писателей СССР

от члена СП СССР Н. И. Ильиной

«Литературная газета» от 12. XI — сего года сообщает, что Рязанская писательская организация исключила из своих рядов А. Солженицына.

А. И. Солженицын первыми же своими произведениями, опубликованными в нашей печати, заявил о себе как о крупном писателе, продолжающем в русской литературе линию Толстого и Достоевского. На мой взгляд, исключение из организации писателя такого масштаба не может явиться компетенцией узкой группы писателей, входящих в областную организацию. Думается, что подобный вопрос нельзя решить без привлечения широкой писательской общественности, без собрания, на котором были бы четко сформулированы выдвинутые против А. И. Солженицына обвинения и выслушаны все доводы как за исключение, так и против.

Надеюсь поэтому, что правление Союза писателей найдет возможным пересмотреть решение Рязанской писательской организации.

Н. Ильина [44]

17 ноября 1969 г. (л. 99)

9

<К. В. Воронкову>

Уважаемый Константин Васильевич!

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что мало кого интересует мое отношение

[41] И. Грекова (Вентцель Елена Сергеевна; р. 1907), прозаик.
[42] Абрамов Федор Александрович (1920—1983), прозаик.
[43] Л. Пантелеев (Еремеев Алексей Иванович, 1908—1987), прозаик.
[44] Ильина Наталья Иосифовна (р. 1914), прозаик, критик.

к исключению А. И. Солженицына из Союза писателей, но не могу отмолчаться, не сказать, что воспринимаю это сообщение, как беду. Нельзя отлучить от литературы писателя, как мало кто признанного для литературы. А если вспомнить не столь далекое прошлое, исключение из Союза писателей Анны Ахматовой, Пастернака,— то тяжко становится от мысли, что постоянно эта беда поражает наиболее талантливых писателей. Подумайте над этим, ведь еще не поздно пересмотреть решение. Надежда на то, что это должно произойти, не покидает меня.

С. Бабенышева [45]

22.XI—69 г. (л. 92)

10

Президиуму Союза писателей СССР

Уважаемые товарищи!

Из сообщения еженедельника «Литературная Россия» мне стало известно, что Рязанское отделение Союза писателей исключило из своего состава писателя Александра Исаевича Солженицына и что Президиум СП РСФСР это решение утвердил.

Единственная «вина» Солженицына А. И. состоит, как указывается в сообщении, в том, что он якобы передал иностранным издательствам рукописи некоторых своих произведений для их опубликования.

Не будучи осведомлен во всех деталях этого дела, я знаю, однако, что ни одно советское издательство и ни один журнал предложенные Солженицыным А. И. новые произведения к печати не приняли — по причинам, для меня непонятным и, во всяком случае, насколько я могу судить, не зависящим от собственно художественных достоинств этих произведений.

Я уверен, что если бы, в осуществление гарантированного Конституцией СССР принципа свободы печати, Солженицын А. И. смог опубликовать свои новые произведения в каком-либо советском издательстве или в повременной печати, никакой «вины» за ним бы не числилось, как, в сущности, нет ее и теперь.

Как член Союза писателей СССР я призываю его Президиум пересмотреть решение Президиума Союза писателей РСФСР об исключении Солженицына А. И. из состава Союза и отменить это решение, как необоснованное и несправедливое.

Член Союза писателей СССР
Ф. Ефимов [46]

4 декабря 1969 г. г. Минск (л. 89)

11

В Правление Союза писателей СССР

Необдуманность, с какою Союз советских писателей изгоняет из своих рядов лучших писателей России, поистине поразительна. Ахматова и Зощенко, затем Пастернак... Ныне эти имена практически реабилитированы — произведения названных писателей издаются массовыми тиражами, «Литературная газета» печатает о них восторженные статьи, а постановления об исключении стыдливо замалчиваются.

И вот исключают Солженицына.

В прежние времена подобные акции начинались с директивной аргументации моралистов высшей инстанции вроде Семичастного и сопровождались потоками похабной брани литераторов типа Зелинского, Солоухина, Перцова. На сей раз кампанию травли открыли рязанские писатели, а Московская организация Союза писателей не замедлила отозваться: в ряды гонителей литературы влились новые силы из Московского отделения Союза.

Ни в коей мере не поддерживая решения организации, членом которой я состою, я решительно протестую против исключения крупнейшего советского писателя А. И. Солженицына из Союза писателей.

Член СП СССР К. П. Богатырев [47]

6 декабря 1969 г. (л. 93)

От составителя. Как реагировал секретариат правления СП СССР на заявления большой группы членов Союза писателей по столь важному вопросу, касавшемуся, вполне очевидно, судеб всей литературы? Собрал правление СП СССР? Собрался на чрезвычайное или хотя бы плановое заседание сам — в широком ли, в узком ли составе, с приглашением авторов писем или без них? Нет, ничего такого не было. Авторы писем не получили от руководства Союза даже простого ответа — ни в письменной, ни в устной форме: их заявления были «спущены» в местные писательские организации, заведомо неправомочные принимать какие-либо решения по данному вопросу (типичный образчик «спихотехники» и бюрократического лицемерия). Оформлено это было так: без всякого заседания, опросным порядком (в графе «за» подписи Г. Маркова, П. Бровки и К. Воронкова, в графе «против» — никого) были приняты три резолюции, отличавшиеся одна от другой лишь фамилиями авторов писем и наименованиями писательских организаций (московской, ленинградской и минской), куда они отсылались. Вот первая из них по времени принятия (24.XII. 1969):

[45] Бабенышева Сарра Эммануиловна (р. 1910), критик. В 1980 г. исключена из Союза писателей. Эмигрировала.

[46] Ефимов Федор Архипович (р. 1933), поэт. В 1966 г. исключен из КПСС.

[47] Богатырев Константин Петрович (1925—1976), поэт, переводчик. Не раз вступался за людей, ставших жертвами политических преследований. Смертельно ранен на пороге своего дома; поверхностное следствие не выявило убийцу.

«**Слушали**: О заявлениях членов Союза писателей СССР тт. Евтушенко Е., Штейна А., Арбузова А., Бабенышевой С., Богатырева К., Копелева Л., Чуковской Л., Грековой И., Литвиновой Т., Хинкиса В., Ильиной Н., присланных в секретариат правления Союза писателей СССР в связи с исключением А. Солженицына из Союза писателей СССР.

Постановили: Передать заявление в Московскую писательскую организацию.

Просить секретариат правления Московской писательской организации провести беседы с писателями в духе товарищеского объяснения вопроса, связанного с исключением А. Солженицына из Союза писателей СССР».

О том, как могло выглядеть «товарищеское объяснение вопроса», читатель уже составил представление по документам, приведенным выше. В советской печати не мелькнуло ни единого упоминания о том, чтобы кто-то из писателей высказывался против исключения Солженицына.

Это не значит, однако, что никакой реакции не было вообще. Косвенным ответом несогласным послужила публикация официального заявления «От секретариата правления Союза писателей РСФСР» («Литературная газета», 1969, 26 ноября), непосредственную цель которого составляла попытка ослабить действие «Открытого письма» Солженицына. В этом заявлении, происхождение и авторство которого пока неизестно (в делах секретариата правления СП РСФСР сохранились лишь вырезка из газеты и идентичная ей машинописная копия, но никаких следов принятия решения по выработке и публикации подобного документа), в частности, говорилось:

«Как известно из опубликованных в печати сообщений, Рязанская писательская организация исключила А. Солженицына из Союза советских писателей. Решение это утверждено секретариатом правления СП РСФСР и поддерживается широкой литературной общественностью нашей страны (никаких доказательств, «поддерживается» — и баста.— **Ю. Б.**). Для всех, кто внимательно относится к фактам литературной (вернее было бы сказать: политической.— **Ю. Б.**) жизни, вопрос об исключении А. Солженицына не является неожиданным. <...> Враги нашей страны возвели его в ранг «вождя» выдуманной ими «политической оппозиции в СССР» и даже объявили «пророком грядущего». <...> Свидетельством полного забвения гражданского долга, прямого перехода на враждебные делу социализма позиции явилось «Открытое письмо» Солженицына Союзу писателей РСФСР. Датированное 14 ноября с. г. (официально зарегистрированное в секретариате СП РСФСР, письмо имеет дату «12 ноября 1969 г.», но для нужного эффекта ее меняют на 14-е.— **Ю. Б.**), оно уже 15 ноября появилось в «Нью-Йорк таймс», а 16-го — в парижской газете «Монд». <...> Претенциозное, полное ругательств и угроз (!), псевдотеоретических рассуждений (!), оно не содержит ни одного утверждения, которое уже не было бы использовано в идеологической борьбе против социализма (поэтому незачем его печатать, можно ограничиться несколькими вырванными из текста цитатами.— **Ю. Б.**). Видимо, желая оправдать присвоенный ему на Западе титул «пророка», Солженицын выступает, ни много ни мало, от имени «цельного и единого человечества»... Более того, Солженицын отрицает само понятие классовой борьбы, издевается над ним...»

Далее в заявлении «От секретариата...» рассматривалась процедурная сторона вопроса. «В письме Солженицына содержится утверждение: «Вы исключили меня пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов добраться из Рязани и присутствовать». Это утверждение — сплошная неправда. После того, как закончилось собрание в Рязани, Солженицыну было передано официальное приглашение присутствовать на заседании секретариата правления Союза писателей РСФСР. Кроме того, ему была послана и «вызывная» телеграмма из Москвы. Солженицын сознательно уклонился от присутствия на этом заседании».

Здесь опять прежде всего обращают на себя внимание умолчания. Какого числа прошло собрание в Рязани? Участвовал ли в нем кто-нибудь, кроме рязанских членов Союза, и кто именно? Сколькими голосами было принято столь важное решение? Какого числа и с чьим участием состоялось заседание Секретариата? Как распределились поданные голоса? Понятно, что ни на один из этих вопросов устроителям рассматриваемой акции отвечать было невыгодно. Относительно телеграммы. Судя по вышеприведенной стенограмме (см. выступления Ф. Таурина и В. Шкаева), если она и посылалась (хотя в делах Секретариата — никаких следов ее отправки), то лишь между 18-ю часами 4 ноября и ранним утром следующего дня, причем «почему-то» не по домашнему адресу Солженицына, а через посредника — Рязанскую писательскую организацию. Иначе с какой бы стати на нее отвечал не он сам, а «заместитель секретаря партийного бюро... т. Левченко»? Но если даже допустить, что Солженицын мог передоверить ответ одному из тех, кто накануне его исключал,— и в этом случае у него уже не было бы на сборы не то что «24 часов», но и половины этого срока. Таким образом, концы с концами не сходятся; «сплошной неправдой» является версия Секретариата или тех, кто выступал от его имени.

«Вы откровенно показали, что решение предшествовало обсуждению»,— цитируют авторы заявления один из наиболее опасных для них пунктов «Открытого письма». Действительно, указанная последовательность событий видна даже из

текста рассматриваемого заявления. Ведь если «после того, как закончилось собрание в Рязани, Солженицыну было передано официальное приглашение присутствовать на заседании секретариата...», то отсюда явствует, что последнее было назначено загодя. Значит, исход собрания был также заранее известен,— о чем и пишет Солженицын. Как с этим спорить? «Что ж, снова восстановим истину»,— отвечают авторы заявления и, делая вид, что не понимают, о чем идет речь, подменяют тему, уходят в историю. «Обсуждений,— пишут они,— было достаточно. Так, например, еще в мае 1967 года (12 июня.— **Ю. Б.**) с Солженицыным беседовали секретари правления Союза писателей СССР Г. Марков, А. Твардовский, С. Сартаков, К. Воронков (вновь на место Л. Соболева подставлен Твардовский.— **Ю. Б.**). 22 сентября 1967 г. под председательством К. Федина состоялось заседание секретариата правления Союза писателей СССР в присутствии А. Солженицына... Еще на том, сентябрьском заседании секретариата вносились предложения об исключении Солженицына из Союза писателей СССР (полуправда: реплика Маркова, брошенная в отсутствие Солженицына, не была «предложением» и в качестве такового на заседании не рассматривалась.— **Ю. Б.**)... На совести Солженицына остается то, что он столь бесцеремонно обращается с фактами (вор кричит: держи вора! — **Ю. Б.**), стремясь выдать себя за жертву несправедливости».

Вероятно, многие читатели «Литгазеты» уже тогда сообразили, что ссылка на «обсуждения» 1967 г. в качестве попытки устроить алиби для тех, кто два года спустя реально принял решение, порученное для исполнения руководителям СП СССР и РСФСР,— не более как жульническая уловка. Но никаких возможностей публично разоблачить ее не было, а высказанная в конце готовность предоставить писателю возможность «отправиться туда, где всякий раз с таким восторгом встречаются его антисоветские произведения и письма», должна была прозвучать угрозой не одному лишь Солженицыну.

Днем позднее тот же зловещий намек повторен был в выступлении Шолохова на III Всесоюзном съезде колхозников: «Вы успешно боретесь с вредителями полей, а вот у нас на беду еще не вывелись в наших рядах колорадские жучки из тех, которые едят советский хлеб, а служить хотят западным, буржуазным хозяевам, куда тайком и переправляют свои произведения. Но, как и вы в своем хозяйстве, так и мы, советские литераторы, преисполнены желания избавиться от всяких недостатков и помех, и мы от них, безусловно, избавимся».

И все-таки мобилизовать «советских литераторов» на сколько-нибудь массовые операции по изничтожению «колорадских жучков» было уже невозможно. В Ленинградском отделении Союза писателей исключение Солженицына было одобрено лишь в резолюции, принятой отчетно-выборным партийным собранием («Литературная газета», 1969, 3 декабря), в Московской — лишь секретариатом ее правления, куда к этому времени попадали лишь люди, доказавшие свою полную преданность начальству [48]. Знаменательно, что и в этом мероприятии участвовала в основном мелкая, безликая литературная челядь, три-четыре (включая Михалкова и Соболева) литератора средней руки и ни одного действительно крупного писателя.

Наконец, 4 декабря кампания вновь вернулась в Рязань, где на отчетно-выборном собрании писательской организации, опять-таки при участии местных партийных руководителей и эмиссара из Москвы, имя Солженицына снова оказалось в центре внимания. «Ряды широкой литературной общественности нашей страны», якобы поддержавшей его исключение, пополнились здесь еще одним отважным бойцом идеологического фронта — ответственным секретарем этой организации Э. И. Сафоновым. Он по болезни отсутствовал на прошлом собрании и вынужден был теперь доказывать наседающим на него коллегам (не желающим допустить, чтобы кто-то в их среде остался чистеньким), что он тоже за исключение и что болезнь его не была дипломатической.

Ниже публикуется в сокращении протокол-стенограмма этого собрания.

Отчетно-выборное собрание Рязанской писательской организации 4 декабря 1969 г. (ЦГАЛИ, ф. 2938, оп. 2, ед. хр. 972; протокол-стенограмма, в сокращении) [49]

Присутствовали: члены СП — Баранов С. Х., Левченко Н. С., Маркин Е. Ф., Матушкин В. С., Сафонов Э. И., представитель правления СП РСФСР тов. Панкратов Ю. И., секретарь обкома КПСС тов. Кожевников А. С., зам. зав. отдела пропаганды и агитации обкома КПСС т. Сильвестров Б. В., инструктор обкома КПСС т. Гордеев К. С., секретарь парт. организации Повареникин Н. К., заведующий отделом газеты «Приокская правда» Межеков Н. Н.[50]

<...> **Баранов С. Х.** <...> Слово для доклада имеет т. Сафонов Э. И. (текст доклада прилагается) [51].

Баранов С. Х. Доклад окончен. Вопросы к докладчику есть? Значит, вопросов нет. Тогда сделаем перерыв и приступим к обсуждению доклада. Объявляется перерыв.

Баранов С. Х. Слово имеет тов. Панкратов Ю. И.

Панкратов Ю. И. Секретариат правления Союза писателей РСФСР поручил мне передать вам большой творческий писательский привет. Сейчас вся страна готовится к ленинскому юбилею и мы подводим итоги работы писательских организаций. Вместе с тем мы подводим итоги и за последние несколько лет в преддверии III съезда Союза писателей России. <...>

Большое внимание уделялось идейному воспитанию наших писателей и особенно молодежи. Все семинары прошли под знаком идейного воспитания нашей молодежи. Озабоченность, которую проявляли писательские организации об идейном воспитании писателей, вполне обоснована. Взять хотя бы последние факты — бегство Кузнецова, подметные письма, передаваемые за рубеж и т. д.

Рязанскую писательскую организацию можно поздравить — накануне съезда вы проявили высокую идейную бдительность и мудрость, исключив из рядов СП А. Солженицына, который фактически давно уже порвал с советскими писателями. Это решение свидетельствует о вашей зрелости. Ваше решение нашло широкий отклик в писательских организациях. Мы получаем многочисленные телеграммы из разных уголков страны, в которых выражается единодушная поддержка вашему решению.

Сейчас во многих писательских организациях проходят отчетно-выборные партийные собрания. Писатели-коммунисты принимают специальное решение, в котором единодушно поддерживают исключение Солженицына из рядов писателей. В Ленинграде, например, такой пункт постановления отчетно-выборного собрания был встречен аплодисментами.

Даже Александр Трифонович Твардовский заявил, что хотя он положительно относится к Солженицыну как к литератору, но категорически отмежевывается от него как гражданина и считает исключение Солженицына из Союза писателей правильным [52].

Солженицын прислал на имя секретариата правления Союза писателей РСФСР открытое письмо. Я вас с ним познакомлю. (Читает письмо.) Как видите, в этом письме Солженицын полностью раскрыл свое лицо человека, который сошел с позиций советских людей, практически переметнулся в стан наших злейших врагов. И само это письмо подтверждает, что Солженицына правильно исключили из рядов СП, что накануне III съезда Союз писателей правильно сделал, освободившись от такого своего члена Союза.

Баранов С. Х. Кто еще хочет высказаться? Слово имеет Евгений Маркин.

Маркин Е. Ф. Я очень внимательно выслушал отчетный доклад и выступление Ю. И. Панкратова. Мне хочется сказать, что в очень хорошем отчетном докладе Эрнста Ивановича Сафонова упущена одна важная деталь — он слишком мало сказал о тех недостатках, которые есть в работе нашей писательской организации. <...>

Почему я считаю работу неудовлетворительной?

Мы проявили большую сознательность и активность, исключив из Союза писателей Солженицына. Но систематической работы у нас не велось. И основная вина за это лежит на совести секретаря писательской организации. Писательская организация почти всегда закрыта. Нам, литераторам, необходимо общение, это же творческий союз. А когда не придешь, секретаря в Союзе не застанешь.

Мне кажется, что мы сверхдолго не собирались, да и сегодня собрание ожидали несколько часов, для литераторов это обидно. <...>

О Солженицыне. Я его уважал за сверхтрудную судьбу. Но сейчас, прослушав это мерзкое письмо, я еще раз убедился, что мы приняли очень хорошее решение, исключив Солженицына из Союза. <...>

Упрек Эрнсту Ивановичу Сафонову. Я считаю, что при решении вопроса о Солженицыне он поступил как дезертир. Мы тогда не услышали его точки зрения, пусть на этом собрании он официально выскажет свое отношение к Солженицыну.

Баранов С. Х. Вопрос о Солженицыне — это сейчас гвоздь дня. Я читал передовую статью в «Советской России», в которой снова подчеркивается, что главное для писателя — его идейная позиция, что мы, писатели, обязаны создавать именно такие произведения, которые нужны нашему народу, которые способствуют задачам строительства коммунистического общества.

Правильно поступила наша организация, что исключила Солженицына из своих рядов. Теперь, особенно после письма, которое мы здесь слышали, нам

---

[48] В информации, озаглавленной «В секретариате правления Московской писательской организации», говорилось: «Секретариат заслушал также сообщение председателя правления СП РСФСР Л. Соболева и выступление секретаря правления СП СССР К. Воронкова в связи с решением секретариата правления СП РСФСР об исключении из Союза писателей А. Солженицына. В обсуждении этого вопроса приняли участие А. Алексин, Г. Березко, А. Васильев, С. Васильев, И. Нинниченко, Б. Егоров, В. Ильин, Л. Карелин, Л. Кассиль, М. Луконин, В. Маевский, С. Михалков, Ю. Прокушев, Г. Радов, И. Рник, К. Поздняев, А. Самсония, И. Соболев, Л. Фоменко, Я. Цветов, Ю. Чепурин, Л. Якименко. Все выступавшие осудили поведение и позицию, занятую А. Солженицыным, и единодушно одобрили решение, принятое секретариатом правления СП РСФСР» («Литературная газета», 1969, 3 декабря).

[49] Публикация А. Воздвиженской.

[50] Отсутствует по болезни член СП Н. А. Родин; в президиуме С. Х. Баранов — председательствующий, Н. С. Левченко, Э. И. Сафонов — секретарь писательской организации. Большая часть присутствующих членов писательской организации занимает, таким образом, места в президиуме собрания.

[51] В обследованных архивных материалах текста доклада нет

[52] Это из той же категории доверительных официальных информаций «для узкого круга», как и авторитетные сообщения, что Солженицын бежал в Объединенную Арабскую Республику, а его исключение вызвало «единодушную поддержку». О действительном отношении Твардовского к этому событию — см. выше и ниже.

стало еще яснее его настоящее лицо. Он — ярый враг. Нас радует, что крупнейшие писательские организации поддержали наше решение.

Меня тревожит другое. И у нас в Рязани находятся такие люди, которые берут под сомнение наше решение, стараются упрекнуть нас, уколоть за то, что якобы мы неправильно приняли решение. Есть у нас молодой поэт Валерий Сухарев. Он работает литсотрудником газеты «Ленинский путь». Я тоже там сейчас работаю. Так после собрания он демонстративно не подал мне руки и сказал: вы мерзостные, вы исключили такую величину, как Солженицын, а что вы сами из себя представляете? Я привожу этот разговор для того, чтобы показать, что среди наших литераторов есть политически незрелые люди. Тот же Сухарев потом сказал: «Ведь не все же голосовали за исключение Солженицына. Сафонов не голосовал, он был болен, но все равно не стал бы голосовать, хотя его два часа уговаривали». А сейчас в докладе мы слышали, что Сафонов поддерживает наше решение. И я не понимаю: то ли Сухарев лжет, то ли Сафонов здесь говорит неискренне. Я не знаю, откуда у Сухарева такие сведения, но у меня вопрос к Сафонову: что, Эрнст Иванович, скажете по этому вопросу?

Из этого факта следует, что нам необходимо значительно лучше работать с молодежью. <...>

Левченко Н. С. У меня личный упрек к Эрнсту Ивановичу Сафонову. Если бы он проявил побольше настойчивости и заботы, помог мне как следует в устройстве жилья, я бы теперь уже жил в квартире, а не в гостинице. <...> О письме Солженицына. Это гадкое письмо еще раз подтверждает, что мы очень правильно поступили, исключив Солженицына из Союза писателей.

Матушкин В. С. На географической карте мира нет такой страны, но она существует, и я бы назвал ее «Бибиссия». И есть такие поклонники этой страны — «бибисситы», для которых голос их бога является законом. К сожалению, и у нас в Рязани есть эти самые «бибисситы». Они ратуют за «свободу» и «демократию». Но какую «свободу»? Какую «демократию»? Дай, дескать, им «свободу» и «демократию», и они наведут порядок. Но какой порядок? Об этом «порядке» мы можем судить по событиям в Венгрии в 1956 году, по событиям в прошлом и даже в этом году[53], по агрессивной войне американцев во Вьетнаме.

Солженицын глубоко заблуждается в письме, которое мы слышали, он еще раз подтверждает, что стоит на враждебных нашему строю позициях. <...> Еще я хочу сказать об одном эпизоде во время обсуждения вопроса о Солженицыне. У нас был очень критический момент для всей организации, и тут мнение секретаря организации было очень важно. Я понимаю: операция есть операция. Мне тоже удаляли аппендикс, операция неприятная, но тем не менее я уверен, что вы, Эрнст Иванович, могли написать нам записку, в которой высказать свою точку зрения. Вы беседовали с Соболевым, но никому из нас ничего не сказали. Обсуждение Солженицына — дело партийное, ответственное, и ответственному секретарю надо было в него включиться в первую очередь.

Поваренкин Н. К. Приятно отметить, что выступавшие здесь товарищи показали высокое партийное чутье. Нас вынесло на крутую классовую волну, и рязанские писатели оказались здесь на высоте. Встречаются люди, которые скрепя сердце соглашаются с решением организации и правления, говорят, что он талант. Талант, как известно, дается матерью, но все зависит от того, как повернуть этот талант, на что его направить. Ведь и Троцкий был талантлив, а оказался ярым врагом советской власти. Главный критерий любого литератора — его идейная позиция. Что открыл Солженицын? Разоблачал культ личности? Но об этом задолго до Солженицына были приняты партийные решения съезда и пленума ЦК. Открытая критика недостатков — в традициях русской литературы. Но у Солженицына не критика, а критиканство.

Иван Денисович — натура мечущаяся, он не знает своего пути[54] и потому думает лишь о том, как приспособиться к жизни. Разве это в традициях Тургенева, Шолохова? В лучших произведениях русской классической и советской литературы русский человек при любых обстоятельствах всегда оставался русским.<...>

Кожевников А. С. <...> Ваше решение об исключении Солженицына поддержали писательские организации Москвы, Ленинграда и другие. В этом вопросе вы проявили партийную зрелость.

Что следует сказать о Солженицыне? Солженицын стоит на противоположной от нас стороне, он наш идейный противник. И поэтому мне не очень понятна нотка, прозвучавшая здесь о том, что некоторые уважали Солженицына за его сверхтрудную судьбу. А какая трудная судьба у Солженицына? Он отсидел 8 лет, но сидел-то за дело! <...>

В заключение разрешите пожелать писательской организации и каждому из вас больших творческих успехов. Мы, партийные работники, готовы вам всегда помогать.

Баранов С. Х. Больше желающих выступить нет? Заключительное слово предоставляется товарищу Сафонову Э. И.

[53] Намек на события в Чехословакии в 1968—1969 гг.

[54] Здесь верно только то, что герой «Одного дня Ивана Денисовича» не знает своего пути — идет туда, куда сегодня поведут. Однако «метаться» он может лишь в пределах, ограниченных приказом: «Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь б е з предупреждения!»

Сафонов Э. И. В качестве справки. Я сидел и думал, что, наверное, мне следует заставить Евгения Федоровича Маркина публично извиниться передо мной за обвинение меня в дезертирстве. Он бросил сознательно нехорошую тень на меня и на целый коллектив больницы Семашко, в которой я лежал. Потом я подумал, что этого делать не следует, потому что, кроме равнодушия и, простите, брезгливости, это обвинение у меня другого чувства не вызывает. В последнее время Евгений Федорович Маркин обрушил на меня поток мутных провокационных слухов, и я, повторяю, равнодушен уже к ним. Желаю, Евгений Федорович, одного: случится попасть под нож хирурга — вспомните про мои сегодня слова...

Свою позицию к Солженицыну я четко выразил в докладе. От заключительного слова отказываюсь. Думаю, что все замечания будут полезны и мне, и новому руководству писательской организации (лл. 2—18).

Решение
собрания Рязанской писательской организации
от 4 декабря 1969 г.

Ознакомившись с «Открытым письмом» А. Солженицына, направленным Союзу писателей РСФСР 14 ноября 1969 г., собрание Рязанской писательской организации решительно осуждает враждебное делу социализма злобное и клеветническое письмо.

«Открытое письмо» А. Солженицына показывает, что он и как литератор, и как гражданин всей своей деятельностью способствует идеологической диверсии наших врагов, пытается ослабить поступательное движение советского народа к коммунизму.

Председатель собрания Баранов
(подпись)

Секретарь собрания Левченко
(подпись)

(печать)

От составителя. Диаметральная противоположность в оценках писателями-современниками одного и того же события литературной жизни отразила как в зеркале, сколь далеко — уже тогда! — зашел в нашей стране процесс поляризации общественных сил. Но хотя в с я правда, в с я нравственная сила была в этот момент уже только на одной стороне, сила материальная, сила власти — целиком на другой, на стороне правящей олигархии, ни перед чем не останавливающейся в достижении своих целей, все более откровенно беспринципной, коррумпированной и циничной. Отсюда трагизм положения тех, кто тем не менее старался ей противостоять. В этом смысле своего рода итогом «дела Солженицына» (в границах 60-х годов) выглядит еще одна запись в рабочей тетради Твардовского.

Пережив сильное потрясение в связи с «Открытым письмом» и по первому впечатлению весьма резко отозвавшись о нем в своем дневнике (с характерным добавлением, правда: «Но и в эти минуты не унижусь ничем против его таланта» — запись 14 ноября), Александр Трифонович по прошествии двух недель вновь — в который раз! — возвращается мыслью к исключению Солженицына и пишет слова исключительной точности, весомости и силы:

«Постепенно со всей отчетливостью выясняется, что удар был рассчитан и нанесен с необходимой «прозорливостью». Покамест, допустим, Ираклий Абашидзе справлял свой юбилей в компании с Фединым и др. и было ему невдомек, как невдомек было и К. Симонову,— последняя позиция литературы как таковой пала. Он был единственным среди нас со своим н е п о в и н о в е н и е м, и когда мы его уступили, уступили всё».

И чуть ниже:

«Вчера говорил при свечах с Симоновым: не думай, что можно отшутиться или отмолчаться «за письменным столом» (запись 2 декабря).

Последнее не только Симонову, не только себе, но как бы и нам с вами.

Тем временем для самого Твардовского уже наступал его последний час.

Публикация Ю. БУРТИНА и А. ВОЗДВИЖЕНСКОЙ.
Составление, примечания и послесловие Ю. БУРТИНА

(Окончание следует.)

Полнота звука

•

Наталья Астафьева. Заветы. Книга стихов. М., Советский писатель, 1989.

•

Мне кажется, иногда стоит воскрешать старые истории, чтобы понять многое в довольно причудливых перипетиях нашей литературной жизни. В 1957 году критик В. Назаренко напечатал в журнале «Нева» статью «Просто так...». Чуть ранее, в январском номере «Октября», появилось несколько стихотворений Натальи Астафьевой. Одно из них содержало фразу «А эти стихи я пишу просто так...», которая и вдохновила критика на заголовок статьи.

Прямо-таки разрушительную для поэзии программу увидел в этих стихах В. Назаренко, назвав их «туманным излиянием туманных чувств по туманному поводу». «Просто так» пишутся...— уточнял он,— иной раз стихи не только о ...сугубо личных, сугубо частных обстоятельствах... но и о вещах очень широкого значения, чрезвычайно важных и дорогих миллионам». А далее следовал настоящий разгром стихотворений и других поэтов: Б. Слуцкого, поэзия которого была названа «серенькой», Е. Евтушенко, Л. Мартынова. В чем только их стихи не обвинялись: и в унылости, и в мрачности, и в бедности языка, и в «мутности» колорита, и в «непонятности» символики — каждому было выдано свое. Критик отказывал «героям» своей статьи в новизне, «ясном и сильном слове», приписывал и «пассивность творческого сознания», и «душевный сумрак», и отсутствие гражданственности. Даже хрестоматийные ныне «Свадьбы» Евтушенко (помните: «Ах, свадьбы в дни военные...»?), оказывается, искажали жизнь, отличались поэтизацией «паники, истерики, трусости» перед напавшим на нас врагом. Сочувственно цитируя статью, одна из газет затем пугала всех названных в ней авторов грядущим оскудением их таланта.

Теперь-то видно, насколько продуманно подобрал критик жертвы для своего залпа и в какой достойной поэтической компании оказалась Астафьева на пути к своей первой книге. Пусть имя ее не стало столь же широко известным, как имена тогдашних товарищей по несчастью, но уверен, что поэзия Астафьевой и в то время не выглядела «младшей» рядом с их творчеством.

По-разному складываются писательские судьбы. Когда просматриваешь сейчас пожелтевшие газетные вырезки с рецензиями на книги Н. Астафьевой, то улавливаешь некую как бы уклончивую интонацию почти во всех тогдашних откликах на ее поэзию. Вроде бы все говорилось правильно: и о большой душевной чистоте, и нравственной требовательности поэта, и о «подвиге самоотречения», и о «мужественной женственности», и о «свежести восприятия природы.., тонком чувстве слова,.. энергичном и живописном стихе, богатом самыми разнообразными интонациями» (Н. Рыленков). И вместе с тем что-то биографически важное все время оставалось за рамками разговора. Одобрительно цитировались строки про трудовую молодость автора («я мыла полы и стирала рубахи, была штукатуром, копнильщицей, пряхой... Над почерком детским склонялась устало, в бутылках горячую воду меняла и смерть отгоняла от девочки Тони...»). Говорилось и о том, что Астафьева хочет быть достойной памяти героев Великой Отечественной. И о том, что она якобы не спешила печататься...

Все это так, да не так. Все проще и страшнее. Об этом без обиняков только теперь рассказали журнальные подборки поэта и книга «Заветы». Главная ее книга, о которой можно сказать словами Фета: «Здесь человек сгорел». Говорю об этом не ради красного словца, ибо не один десяток лет знаком с Натальей Астафьевой и ее поэзией. В 50—60-е годы мы часто встречались на занятиях и выступлениях знаменитого тогда литературного объединения «Магистраль», сыгравшего значительную роль в творческом становлении многих писателей. Всех нас, «магистральцев», как бы мы ни отличались друг от друга, сближали бескорыстное отношение к литературе, верность романтическим гражданским идеалам нашей молодости. Так что появление в «Магистрали» Натальи Астафьевой было более чем естественным. В атмосфере непоказного, неофициозного интернационального содружества начинающих и многоопытных литераторов близко к сердцу принималась всеми трагическая судьба ее отца — видного деятеля польского революционного движения Ежи Чешейко-Сохацкого. Гибель его в 1933 году на Лубянке, расправа с польской эмиграцией и были ключом к пониманию основного нерва поэзии Астафьевой. Вот чем в первую очередь объяснялись и драматизм этой поэзии, и многие события в человеческой и литературной биографии автора.

Ее первые книги были искалечены цензурой. Как сказала потом в одном из стихотворений Астафьева, в них «искали все зарытую собаку». Вспоминая, наверное, «маяковский» образ, она пишет: «Стихи мои — разбитые полки. Но перестрою, и опять — в атаку». Да, стихи появлялись в печати; она увлеченно занималась переводами на русский язык польской поэзии, стала и сама писать стихи по-польски. Еще в 1963 году в Польше была издана книга ее стихов в переводах на польский язык. Но всю жизнь сквозь чьи-то «громкие слова, слова, слова» Астафьева упорно «пробивала» свою главную книгу. (Рукопись «Заветов» долго лежала в издательстве и была возвращена автору.) Каждая из ее книг была как бы «Заветами» в зародыше. Даже если в ней преобладали, например, стихи о любви или природе. Назову во многом уникальную книгу «В ритме природы» (1977), суть которой Астафьева определила в дарственной надписи автору этих строк как «книгу стихов 1940—70-х гг. о жизни и смерти человека и природы». Стихи эти действительно осмысливают исконность взаимосвязей мира растений и животных, воды, ветра, солнца и облаков с духовной жизнью людей (не говоря уже о физической). Естественная метафоричность ассоциаций воедино связывает здесь конкретные проявления бытия природы все с той же не выраженной тогда до конца болью поэта, которой будет через двенадцать лет пронизана книга «Заветы».

И каждая из пяти книг могла бы в той или иной степени иметь посвящение, которым открываются «Заветы»: «Памяти моих родных и близких и их товарищей — революционеров, борцов за свободу». Недосказанность, вынужденный «подтекст» — теперь все это, к счастью, уже в прошлом. В «Заветах» с убеждающей силой говорится о трагедии поколений, испытавших на себе тяжесть сталинской длани. Можно было бы подробно «разбирать» сюжеты ряда стихотворений об истории семьи их автора. Но я удержусь и от этого, и от соблазна цитировать многие выразительные строки. Мне хочется обратить внимание читателя прежде всего на мотивы, сцепливающие стихи. Потому что «Заветы» — именно книга стихов, а не просто общая крыша для разнородной стихотворной компании. Это стройное, с единым внутренним сюжетом, сугубо документальное повествование (недаром оно сопровождается фотографиями героев книги). Цель его — вызвать у нас желание понять весь ужас и всю опасность того, чем десятки лет омрачалось наше «поступательное движение».

Что сделали со мной! Еще девчонкой
попала я в смертей круговорот...
Душа моя! Скули, как собачонка,
худая собачонка у ворот!
Скули, скребись, рычи, чего-то требуй,
рой землю, отрывай из-под земли
приговоренных без вины к расстрелу,
которых безвозвратно погребли.

Наталье Астафьевой, дочери «врагов народа», надо было жить дальше. Неоднозначно, наверное, отнесутся разные читатели к стихам, где твердо заявлена верность автора заветам тех, кому посвящена книга. «Да, не квартиру и не вещи, а Революции начало, ее порыв и человечность беречь мне детство завещало»; «моей колыбельной был «Интернационал»; «я прикипела к Октябрю, припала к Первомаю»...

Не слишком ли «ортодоксальными» покажутся эти строки в наши дни, наполненные переоценкой столь многих событий в истории страны? Но Астафьева никогда не была в числе славящих власть. Назвавшая себя, ребенка, «веселой искрой революции», она всю жизнь прожила «под отцовским небосклоном», и в самые трудные времена ее «грела отца большая тень». Оставаясь в памяти взрослой дочери живым, реальным, как говорится, домашним человеком, Чешейко-Сохацкий стал для нее символом правды и благородства. Недаром в одном из стихотворений о митингующей Варшаве сказано: «И, страстью окрылен, отец парит над площадью легендой тех времен». Отсветами высоких легенд драматически озарены «Заветы» — книга о романтике революции и трагедии последовавшего за ней террора.

Я не могу знакомиться с людьми,
дрожит ладонь с брезгливою опаской,
пока меж нами бродят (кто? — пойми!)
доносчики тридцать седьмого в масках.
Доныне в сейфах скрыты имена.
Они оклеветали самых лучших!..
Плывет по городу, как душная волна,
толпа седых убийц благополучных.

Книга-реквием, где, казалось бы, одна кровоточащая тема, обнаруживает вместе с тем широту, полнокровность восприятия жизни. Да, читая «Заветы», мы прежде всего задумаемся над главными, мучающими автора вопросами: «Могучий лес тенистый, солнечный, зачем ты срублен под корень был?»; «В церквах кадили почему убийце и тирану? Душой кривили почему?..», «Не зря ль погибли? Не напрасны ль жертвы? Кто виноват?»... Но, размышляя над ними, мы ощутили и «снег мороженого, запах хрустких булок, дым окраин, гул и гомон улиц» Москвы начала тридцатых годов; полынный запах иртышской степи, слившийся в сознании девушки с добротой охранника-казаха, рисковавшего многим, но передавшего детям привет из лагеря от матери. Попав в эти края вынужденно, Астафьева близко к сердцу приняла и красоту чужой природы, и нелегкую жизнь людей. В ее памяти не только «катится... дыней желтая луница», но и «катится рынком веселый обрубок — нет ног и только одна рука». Хотя этот инвалид войны «выпил и матерится», но отчаянностью своего жизнелюбия «дает урок» бедствующей девушке. Рисуя «годы страха, тени чудовищ», «крупность трагической эпохи и резкость черт ее лица», Астафьева, как художник, владеет многоцветием, полифоничностью красок — и поэтому главная ее книга наполняет нас верой в жизнь, в то, что добро не может не восторжествовать. Наполняет потому, что за стихами угадывается «крупность» самой личности автора. «Грудь моя была орга́н многоголосый», «я — многолюдная дорога, я — дом, наполненный людьми»,— сказала о себе

Астафьева. Цельность, глубина мировосприятия помогли ей не сломиться, не потерять себя. И хотя она очень искренне пишет о том, сколь мучительно сдирала с души «хранящую окраску — мимикрию» и ей казалось, что она «обросла воловьей кожей... покрылась зеленью, как медь»,— я неизменно в стихах и 50-х, и 80-х годов вижу свет внутренней, душевной свободы человека, отстоявшего для себя главное: веру, верность и память.

Но разговор о памяти нужен Астафьевой не только для того, чтобы вернуть доброе имя героям всей ее жизни и ее стихов («пролитая... кровь — кровь праведников — не врагов»). Я бы сказал, что «Заветы» — книга, смотрящая и вперед. Именно духовность всего творчества поэта делает книгу особенно нужной в наши достаточно смутные времена. С этим качеством связана одна из важных ипостасей поэзии Астафьевой. Наполненная трепетной (да простится мне этот банальный эпитет) любовью русского поэта к России, ее природе и людям, русским народным традициям, она резко противостоит тем нередко появляющимся стихам, авторы которых не отличают патриотизма подлинного, гуманистического от того, что давно уже заслужил ироническое название «квасного». Боль за сломанные судьбы тех, кому посвящены «Заветы», сливается с болью за то, как в одиночестве умирают в забытых русских деревнях последние хранители почти умолкнувших народных песен: «фольклорная явилась экспедиция... Но умерла последняя певица... Мы к ней зашли, беззвучно губы пели... Мы записать тех песен не успели...». Как многозначны эти строки, в них — и наша вина, и беспамятность, и одухотворенность человека, поющего песню, завещанную предками. Русский поэт Наталья Астафьева, дочь польских революционеров — по какому ведомству зачислят ее ревнители «чистоты крови»? Тоже назовут «русскоязычной»?..

Уверен, что читатель, который впервые прикасается к поэзии Астафьевой, она не оставит равнодушным. Тот же, кто с радостью встречает на страницах «Заветов» среди новых стихов и знакомые ему уже много лет строки, еще раз с уважением к нелегкой судьбе автора убедится в стойкости тех деревьев, что «сквозь почву тощую уходят в глубь земли корнями»...

Виктор ГИЛЕНКО

Автопортрет по памяти

•

Евгений Шварц. Живу беспокойно... Из дневников. Л., Советский писатель, 1990.

•

Вероятно, всем (или почти всем, если быть точным) Шварц представляется таким, каким изобразил его Николай Павлович Акимов.

Комната с бутафорским интерьером. На стул присела тень в цилиндре и с тростью в руке. Она клубится, сгущаясь, вот-вот материализуется. Тень очень устала, ведь пришлось пройти столько дорог, путешествуя из сказки в сказку, побывать у Шамиссо, заглянуть к Андерсену (портрет которого висит тут же на стене комнаты), наконец, прийти в Ленинград.

Тень устроилась вольготно и спокойно. Здесь уютно. Книги лежат высокой стопкой на большом письменном столе, игрушечный верблюд аккуратно расставил ноги. А у стола стоит внушительного вида человек в строгом костюме, человек, всю жизнь сочиняющий сказки. Евгений Львович Шварц.

Однако почему же этот вечно веселый, улыбчивый драматург грустно и строго смотрит вдаль? Он вглядывается в себя, ведь что-то произошло, что-то случилось, если он рассуждает столь резко о себе, о собственных победах. А ведь была известность, даже слава.

«...К концу сороковых годов меня стало пугать, что я ничего не умею. Что я ограничен. Что я немой — так и не расскажу, что видел. Но в эти же годы я невзлюбил литературу — всякая попытка построить сюжет — и та стала казаться мне ложью, если речь шла не о сказках. Я был поражен тем, что настоящие вещи,— в сущности,— дневник, во всяком случае, в них чувствуешь живое человеческое существо. Автора, таким, каким был он в тот день, когда писал. И я заставил себя вести эти тетради».

Их тридцать семь штук. Было бы еще больше, но, уезжая из блокированного Ленинграда, Евгений Львович уничтожил записи, которые вел с 1926 года.

Уничтожил, чтобы не оставлять на произвол судьбы, утверждает исследователь. Так ли? Здесь равно возможны два ответа. Шварц уничтожил записи, потому что они его не устраивали. Или же все-таки устраивали, и он достиг в них той степени верности собственной жизни, что не решился оставить без присмотра, как нельзя бросить, уезжая, кого-то из близких, как нельзя оставить часть себя...

Гадать не будем, хотя в пользу первого ответа говорит и то, что, начиная в эвакуации новую тетрадь, Шварц ставит перед собой несколько самых жестких ограничений, которых не ставил доселе. Не позволяет себе «зачеркивать, переписывать и обрабатывать». Как вышло, так вышло, даже явные описки исправляет, внося уточнение несколькими строками ниже. Неспроста возникли такие строгости.

Что же это за тетради, о которых десятилетиями создавались легенды? В них все перемешано — тут и дневники, тут и записные книжки, тут и мемуары. Жанр необычный. Л. Пантелеев предложил назвать его просто «ме». Шварцу понравилось.

Евгений Львович делал записи, аккуратно проставлял даты, но менее всего

заботился о хронологии. Он исследовал Природу Времени, не произнося таких высоких слов.

В чем состоит абсурд бытия? Кто виноват в нем? Никто не виноват? Подобный вывод схож с размышлениями Шварца. Но Евгений Львович не ставил вопросительного знака, отвечал утвердительно: никто. Отвечал по ходу рассуждения, а сам был занят другим. Он пытался противиться времени, которое идет и которое нельзя (или все-таки можно?) собрать, о чем написал он в повести-сказке для детей. Потерянное, не ушедшее, а просыпанное на пол, в прах размолотое башмаками, в пыль распавшееся время: минуты, дни, годы.

Ощущением тленности бытия проникнута каждая запись, о чем бы ни шла речь: «Как-то меня поразило, что все птицы моего детства умерли, и ни одной собаки майкопской, которых я тщательно приручал и приваживал, нет в живых, и все лошади, которые возили нас кататься или в Армавир, или в Туапсе, в положенное им время испустили дух. Мне хочется, чтобы, вспоминая, перечитывая запись о сегодняшнем дне, я хоть один миг из тех, что мною были пережиты, воскресил бы».

Настоящее уходит, становится прошедшим, а потому размышления о нем сами собой переходят в воспоминания. Евгений Львович пишет дневник своей памяти. Вот то, что случилось с автором сегодня, в день, когда сделана запись, вот портреты погибших друзей, вот размышления о себе.

Вывод один — только искусство и усилие, его созидающее, рождают силы сопротивления небытию. Только искусство может удержать уходящее.

Формы допускаются разные, да и по ходу письма, по течению времени Шварц тоже пробует, ищет. Однако едва только речь заходит об убеждениях, покладистый, тишайший Евгений Львович становится непримиримым. Он не всегда называет имена оппонентов и постоянно соотносит, сравнивает собственный опыт с чужим.

Шварц спорит в записях с формалистами, серапионами, обэриутами. Он всех знал, со всеми был дружен. Он отдает должное таланту и самоотверженности их, даже восхищается, даже преклоняется. И всегда — сам по себе.

Прав ли он, считая сказку единственно свободной художественной формой? Ведь, как вспоминает он позже, товарищи-обэриуты принимали его сказки-пьесы без восторга, Хармс попросту с презрением.

Пока Шварц уверен в своей правоте. И вдруг, всего несколько лет спустя, приходит странное ощущение. «Прежде всего мне надоела моя сказочная манера писать. Все это искусство не слишком точное. Это мне особенно заметно, когда я читаю сказки моих коллег. И не все туда уложишь. В сказку-то»,— пишет он в 1948 году.

Следовательно, правильна только мысль о необходимости формы. Какой? Ведь разговор не об одной литературе, разговор о жизни, в которой литература занимает главное место. Разговор о важности формы в жизни. Обэриуты ощущали бытие так же, как Шварц, а действовали иначе. И проверяли свои теории до конца, о чем размышлял Заболоцкий в «Прощании с друзьями», поминая страну, «где нет готовых форм, где все разъято, смешано, разбито».

Вывод будто бы страшно прост. Если там ничего нет или есть нечто, невнятное уже смыслу, как невнятен, беззвучен язык насекомых, значит, надо жить здесь, бороться, выстраивая бесформенное. Но не может Шварц надеть на себя бесстрастную маску, как Заболоцкий, не хочет жонглировать шариками и разгуливать по Ленинграду в цилиндре, устранивая из жизни представление, как Хармс, не имеет склонности к занятиям высшей математикой, как Николай Олейников. Он не способен относиться к литературе, будто к заклинанию, завораживанию жизни, по подобию обэриутов. Он — другой.

Ощущая приступы небытия, приближение темного, страшного, громадного и невнятного, Евгений Львович хочет разобраться в себе, ответить на вопрос — откуда он. И Шварц ощупью, пробами находит путь к спасению, тот путь, по которому не пошел никто из обэриутов. В самом деле, странно,— они, сочинявшие для детей, избегали вспоминать о собственном детстве. Молчали.

Евгений Львович начинает писать о прошлом, возвращаясь помыслами и ощущениями в Майкоп, как он говорит, «на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким, как есть».

Оказывается, детство было глубоким. Он был сложным человеком с самых ранних лет, в нем сошлись две разные человеческие натуры. По отцовской линии — Шварцы и по материнской — Шелковы. Не то чтобы одни были хороши, а другие плохи. Они были разными. Отец — проще, прямолинейнее, мать — мягче, сложнее, талантливее. Борьбу шварцевского и шелковского ощущает Евгений Львович в себе всегда.

Он вспоминает, и все многозначнее становится изображение прошедшего. Сколько необыкновенного в детстве: и первое ярко-восторженное впечатление от цирка, и неосознанная сначала влюбленность в девочку-акробатку, вертящую сальто на арене. И даже прогулки по улицам летнего южного города, когда не просто шагаешь, а движешься по определенной системе, как маленький Женя Шварц шел только в тени, перескакивая с одного темного пятна на другое.

Оказывается, детство уже сложно, уже противопоставлено небытию. Даже детские ночные страхи неоднозначны — тут и «страшная лошадь», и «скелет под кроватью», и маленькие человечки, прячущиеся в складках одеяла.

Таково же необычное, ступенчатое построение записей, когда мысль по нескольку раз возвращается к одному и тому же, стараясь точнее определить, отчетливей вспомнить.

И опять начинается трудный спор с ушедшими. Даннил Иванович Хармс, как все обэриуты, любил порассуждать о природе времени: «Вот, например: раз, два, трн! Ничего не произошло! Вот я запечатлел момент, в который ничего не произошло.

Я сказал об этом Заболоцкому. Тому очень понравилось, и он целый день сидел и считал: раз, два, трн! И отмечал, что ничего не произошло.

За такнм занятием застал Заболоцкого Шварц. И Шварц тоже заинтересовался этим оригинальным способом запечатлевать то, что происходит в нашу эпоху, потому что ведь из моментов складывается эпоха».

Против такой пустоты бытия каждый борется по-своему: Даниил Иванович манипулнрует теннисными шариками, а Шварц вспоминает. Сам он считает, что прошедшее не только обязано быть закреплено письменно, сначала оно должно быть осмыслено, а потом уже зафиксировано в той или иной форме.

Шварц ставит еще одно ограннчение и выполняет его — с 1950 года он начинает записывать ежедневно. И вот свершается чудо. Он не исправляет, не вычеркивает, а видишь, как пронсходит становленне слова. Чище и чище становнтся слог, звонче и проще проза.

Но что было в уничтоженных тетрадях — этого уже нет. И это должно снова быть.

Вот они появляются...

Маршак, уверяющий, что каждый, кто сильно пожелает, может летать, и семенит короткими ножкамн, разводит руками, пытается взлететь, задыхаясь астматическн, хватаясь за сердце.

Человек демонический Николай Макарович Олейннков.

Гений Хармс.

Вот сидят обэрнуты в «культурной пивной», споря о жизни и бытии.

Шварц далек от иронии — чего-чего, а ее, знаменитой шварцевской иронии, здесь нет. Все достойны уважения, даже подлецы, даже злоден, а не уважения, так объяснения их участи. Оправдання. Да разве можно всех оправдывать?

Шварц оправдывает всех, кроме себя. Как подвести итоги? В раннем детстве мечтал Женя Шварц стать писателем, даже однажды признался матери и в смущенин перепутал слова, сказал, что хочет быть «романистом». Мать строго ответила: нужен талант.

Стал писателем. Что дальше? Неужели все?

Шварц чувствовал приход смерти: «...Все перекладываю то, что написал за мою жизнь. Настоящий ответствениой книги в прозе так и не сделал. <...> Сразу же хочется начать оправдываться, на что я не имею права, так как идет не обвннение, а подсчет. Я мало требовал от людей, но, как все подобные люди, мало и давал. Я никого не предал, не клеветал, даже в самые трудные годы выгораживал, как мог, попавших в беду. Но это значок второй степени и только. Это не подвиг. И, перебирая свою жизнь, ни на чем я не мог успокоиться и порадоваться. <...> Дал ли я кому-нибудь счастье? Не поймешь. Я отдавал себя. Как будто ничего не требуя, целиком, но этим самым связывал и требовал. <...> Дал ли я кому-ннбудь счастье? Пойди разберись за той границей человеческой жизни, где слов нет, одни волны ходят. И тут я мешал, вероятно, а не только давал, иначе не нападало бы на меня последнее время желание умереть, вызванное отвращением к себе, что тут скажешь, перейдя границу, за которой нет слов. <...> Определить, талантлив человек или нет, невозможно,— за это, может быть, мне кое-что и простилось бы. Или учлось бы. И вот я считаю и пересчитываю — и не знаю, какой итог»,— записывает он 29 и 30 августа 1957 года.

Толковать сказанное нет необходимости, но двойную дату надо объяснить. Шварц всегда подчеркивал, что записи ведет ежедневно, но событня отражены лишь выборочно, и потому календарные даты ставятся после написанного. Главное — непрерывность, один и тот же сюжет мог записываться несколько дней кряду. Принцип очевиден, когда сравниваешь те немногие портреты друзей и рассказы, которые созданы Евгением Львовичем на материале своих «ме». Автор убирает повторення, что-то доводит, вписывает. Получается то же и не то.

Шварц не только останавливал мгновение словами, он ценил все, связанное с уходящим временем, вкладывал в тетради письма, телеграммы, фотографии, которые казались ему важнымн. Они входили в структуру текста. К сожаленню, это утрачено в публикации. Да что там, даже собственноручные записн Евгения Львовича вошли в книгу не полностью. Дождемся лн расширенного переиздания? Как знать. Впрочем, и того много, что есть. Взглянулн на Евгения Львовича Шварца, поговорили. Странный человек.

В каких-то мемуарах запечатлена дачная сценка: стоит у забора Евгений Львович, а рядом устроились две собаки и внук Шварца н за чем-то внимательно наблюдают. Шварц пояснил: ничего странного, они глядят на поезда.

Кто-то смотрнт на облака, а кто-то на пригородные поезда. А паровозы свистят, гудят, выдыхают из труб тучн дыма...

Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ

●